7.1975

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

20 ЛЕТ НАЗАД ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

	Стр.
От редакции	3
ШУ ФАНЬ — Колокол (*Стихи*).	5
АННА ЗЕГЕРС — Человек и его имя. (*Повесть*)	6
ИОЗЕФ КАЙНАР — Чешская мечта. (*Стихи*)	60
РОЖЕ ВАЙЯН — Пьеретта Амабль. (*Роман*)	66
БРАНКО ЧОПИЧ — Хоровод козарский. (*Стихи*)	97
ПРЕМ ЧАНД — Избавление. (*Рассказ*)	99
АРЧИБАЛЬД МАКЛИШ — Черные дни. (*Стихи*)	106
ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Лиззи. (*Пьеса*)	107
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ	
РОМЕН РОЛЛАН — Из дневников и писем	127
УОЛТ УИТМЕН. (*Стихотворения и публицистика*)	160
КРИТИКА	
КОНСТ. ФЕДИН — Томас Манн	165
Н. ФЕДОРЕНКО — Творчество Лу Синя	170
А. АНИКСТ — В поисках пути	177
ЕЛ. РОМАНОВА — О некоторых явлениях в послевоенной литературе США	191
ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА	
БОГДАН ЧЕШКО — Наши литературные дискуссии	198
РЕЦЕНЗИИ	
ЛЕВ НИКУЛИН — Эпопея чешского народа	204
Ю. ГАЗИЕВ — Народный поэт Америки	206
Е. ГАЛЬПЕРИНА — Страдания и надежды Алжира	209
З. ХОЛОНИНА — Новый роман о польской деревне	212
ХОАЙ ТХАНЬ — Культурная жизнь Вьетнама	222
ДЗЮНИТИ ИВАКАМИ — В защиту национальной культуры Японии	226
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ	
С. ОБРАЗЦОВ — Театр китайского народа	230

1

1955

СОДЕРЖАНИЕ

Н. ФЕДОРЕНКО — Зарубежная литература: размышления над художественными ценностями 4

Из болгарской поэзии. ДОРА ГАБЕ. БЛАГА ДИМИТРОВА Стихи *(Переводы с болгарского В. Корчагина, Лорины Дымовой)* 15

АНТОНИ ФЕЛПС — Минус бесконечность *(Роман. Перевод с французского Мориса Вакснахера. Предисловие Юрия Дашкевича)* 22

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — Если Бийл-стрит могла бы заговорить *(Роман. Перевод с английского Н. Волжиной)* 59

МИКЛОШ РАДНОТИ — Под знаком Близнецов. Дневник о детстве *(Перевод с венгерского и вступление Е. Малыхиной)* 155

ВОЛЕ ШОЙИНКА — Стихи *(Перевод с английского Андрея Кистяковского. Вступление Виктора Бейлиса)* 181

ОРХАН КЕМАЛЬ — Семьдесят вторая камера *(Повесть Перевод с турецкого Радия Фиша)* 188

Литературное наследие

ВИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ *(Переводы с английского Арк. Штейнберга, В. Левика, Андрея Сергеева, А. Ибрагимова. Вступление Д. Урнова)* 221

Отклики, встречи, впечатления

ЮРИЙ НАГИБИН — До новой встречи, Алан! 230

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

7
ИЮЛЬ
1975

СОДЕРЖАНИЕ

Критика

Т. ГРИГОРЬЕВА — И еще раз о Востоке и Западе *(Вступление А. Долина)* 241

Публицистика

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН — Мышеловка на меху *(Фрагменты из книги. Перевод с английского И. Гуровой)* 259

Изобразительное искусство за рубежом

В. ОШИС — Краска и ее песня 273

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 286

На обложке: картина японского художника КАЙИ ХИГАСИМА «Вечерние сумерки».

На цветной вкладке: работы бельгийского художника ГАСТОНА ТЕЙНИНКА.

© «Иностранная литература», 1975.

Н. ФЕДОРЕНКО

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА: РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

Время жизни нашего журнала подошло к странице, которой отмечается его двадцатилетие. Не все удерживает память из прошлого. Многое незримо исчезает в заботах каждодневности, но увидевшие свет книжки — а их уже вышло двести сорок — не просто запечатленное прошлое или путешествие в минувшее. В них отображается нечто такое, что словно бы сохраняет неугасимость света, художественное воплощение времени и пространства. И в этом видится нам своеобычное приобщение мига к вечности...

Литература, помимо всего,— источник познания мира, народов, культур. Часто люди, не бывавшие в других странах, благодаря книгам знакомятся с жизнью и историей разных земель. И оттого роль литературы приобретает тем большую значимость. Особенно велика ответственность литературы в наше время, с его усложненной духовной жизнью общества и человека, проблемами научно-технической революции. Речь идет не о революции машин, но о революции в сознании человека в условиях широкоохватного влияния средств массовой информации и возникновения новых явлений, тенденций и течений в мировом литературном процессе.

Чем же в главном, в самом сущностном ознаменовалось в области культуры переживаемое нами время, вторая половина XX века? Оно ознаменовалось, в частности, наступлением эпохи социалистических литератур. Движение социалистического реализма становится ведущей тенденцией литературного творчества, идейно-эстетического развития. В этом — международное значение социалистического реализма как важнейшей закономерности общемирового литературного процесса. Все больше осознается несостоятельность апологетического буржуазного искусства — продукта развития антагонистического общества, с его дегуманизацией, нравственным вырождением, чудовищной преступностью и хищническим разрушением природной среды.

Говоря о тесной взаимосвязи эстетического и нравственного начал, известный австрийский ученый Конрад Лоренц в книге «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» признает, что «красота природы и красота культурного окружения, творимого человеком, необходимы для нравственного и духовного здоровья человеческого существа. Абсолютная слепота ко всему прекрасному, которая с такой быстротой повсеместно распространяется в наши дни,— это душевная болезнь, и к ней следует отнестись со всей серьезностью хотя бы потому, что ей сопутствует нравственная глухота».

«Душевная болезнь» и «нравственная глухота» — это не чьи-то со стороны, тенденциозные наветы или облыжные обвинения, но беспощадное свидетельство ученого, принадлежащего той же социальной системе, которая страдает «раковой опухолью». При этом обреченность положения настолько самоочевидна, что Лоренц и не пытается предлагать какие-либо действенные рецепты спасения.

Человеку современного буржуазного общества все больше грозит оскудение этических и эстетических ценностей, равнодушие и опустошенность души. Это не могло не перерасти и давно уже переросло в проблему «болезни духа».

Говоря о месте советской литературы в духовной жизни человечества, М. А. Шолохов назвал ее «ведущей литературой в мире». Он подчеркнул, что «ведущей она стала не потому, что ею достигнуты какие-то ранее недосягаемые для писателей высоты художественного совершенства, а потому, что все мы, каждый в меру своего таланта, глубинными средствами искусства, проникновенным художественным словом пропагандируем всепобеждающие идеи коммунизма — величайшей надежды человечества. Вот в чем секрет нашего успеха!»

Да, именно в этом прежде всего секрет успеха советской литературы — в ее глубоком идейном содержании, в ее коммунистической правдивости. Американский журнал «Рашн литеречер трикуотерли» писал как-то: «Мы игнорируем социалистические романы потому, что они не отвечают нашим устоявшимся представлениям... В основе романа социалистического реализма лежит такое понимание человека, которое может стать откровением для того, кто привык только к западной литературе: он показывает человека, сотрудничающего с другими людьми, человека, стремящегося добиваться чего-то хорошего для всех; человека, который трудится, к чему-то стремится; человека, не поглощенного своими неврозами; человека, исполненного оптимизма».

Идейно-эстетические богатства литературы, вдохновляемой коммунистическими идеалами, привлекают к себе внимание миллионов читателей в разных странах мира, и западная пропагандистская машина уже не может не считаться с реальным фактом. Это, разумеется, не означает, что метод социалистического реализма приобрел доминирующую роль во всех уголках земли и является господствующим. Нет, однако, сомнения, что он неотвратимо распространяется, завоевывая новых единомышленников как в странах социалистического мира, так и далеко за его рубежами. Жизненность социалистического реализма как метода заключена в его многообразии и богатстве эстетических возможностей, в синтезировании опыта художественного наследия прошлого.

Мы знаем, что на формирование социалистической литературы оказали влияние произведения, традиции, идеалы и нормы всемирной и национальных культур, и с этой точки зрения основы социалистической литературы закладывались задолго до эпохи социализма, они восходят к самому высокому уровню культуры национальной и мировой.

Метод социалистического реализма не просто воплощает в себе высокое развитие современного искусства, но и совпадает в своих основополагающих идейных и эстетических принципах с перспективным движением художественного творчества. Это не загадочность судьбы. Нет. Это — наш путь, состояние нашего движения. Мы знаем, откуда и куда идем. Ясно видим свои цели. И стремимся к их достижению. Главные проблемы и задачи в области художественного творчества — это человек нового общества, его сознание, убеждения, мотивы социальной деятельности, нормы морали.

В живом процессе утверждения и развития социалистических литератур весьма существенна роль писателей социалистических стран, их общие, коллективные, творческие усилия. В известной степени об этом свидетельствуют произведения писателей братских стран, публикуемые на страницах наших литературных журналов, в том числе и журнала «Иностранная литература».

С первых же номеров «Иностранной литературы», вышедших два десятилетия назад, художественная проза и поэзия социалистических стран заняла достойное место на его страницах. За минувшие годы наш читатель имел возможность наблюдать неуклонный ее рост — и по количеству опубликованных произведений, и по разнообразию их, тематическому и жанровому,— отдавая должное высокому писательскому мастерству их авторов.

Трудно было бы перечислить всех, или даже большинство, прозаиков и поэтов, чьи произведения вызвали бесспорный читательский интерес и внимание критики. Но нельзя не вспомнить здесь имена Анны Зегерс и Эрвина Штриттматтера, Германа Канта, Гюнтера де Бройна, Франца Фюмана (ГДР); Ярослава Ивашкевича и Яна Парандовского, Ежи Путрамента, Корнеля Филипповича и Ежи Брошкевича (Польша); Эмилияна Станева, Камена Калчева, Георгия Джагарова, Елисаветы Багряны, Атанаса Далчева (Болгария); Дюлы Ийеша, Лайоша Мештерхази, Иштвана Эркеня, Иштвана Шимона, Ференца Юхаса, Антала Гидаша (Венгрия); Захарии Станку, Титуса Поповича, Думитру Раду Попеску, Никиты Стэнеску (Румыния); Андрея Плавки и Яна Козака, Владимира Минача и Зденека Плугаржа, Вилема Завады (ЧССР); Нгуен Динь Тхи и Нгуен Конг Хоана, Нгуен Нгока и Фан Ты, Ань Дыка и Нгуен Чунг Тханя (ДРВ); Десанки Максимович, Меши Селимовича, Эриха Коша, Цирила Космача (Югославия); Лодонгийна Тудэва (Монголия); Николаса Гильена, Алехо Карпентьера (Куба).

Считая своей естественной задачей «открывать» новые имена, журнал познакомил советского читателя с творчеством многих теперь уже известных писателей. Среди этих произведений были повести польских прозаиков «К земле приписанный» и «Танцующий ястреб» Юлиана Кавальца, «В погоне за Адамом», «Пингвин» и «Час пик» Ежи Ставинского; роман «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля и повесть «Новые страдания юного В.» Ульриха Пленцдорфа (ГДР); повести «Терпкая лоза» Лайоша Галамбоша, «Старый доктор» Дюлы Фекете, «Как дела, молодой человек?» Шандора Шомоди Тота (Венгрия); «Дикие рассказы» Ник. Хайтова, повести «Нонка» Ивайло Петрова, «Небо над Велекой» Дико Фучеджиева, «Мария против Пиралкова» Атанаса Наковского (Болгария); рассказы Штефана Бэнулеску (Румыния) и многие другие.

Следует признаться, что порой в буднях быстротекущей жизни, когда редакция занята повседневными хлопотами, связанными с подготовкой очередного номера, трудно представить в полном объеме своеобразие, непохожесть текущего года на предшествующие. Но когда перед тобой все годовые комплекты, есть возможность поразмышлять, увидеть приметы времени, понять то новое, чем журнал обогатил свою собственную практику.

С этой точки зрения самая заметная, отличительная черта в работе журнала «Иностранная литература» в последние годы — создание более широкой, более развернутой панорамы развития социалистических литератур, более глубокое осмысление ее ведущих тенденций. Сказанное относится и к прозе, и к поэзии, и к критике, и к публицистике братских литератур.

Естественно, в первую очередь редакция проявляет интерес к тем произведениям, в которых запечатлены борьба за создание социалистического общества, становление новой морали, образы строителей нового мира. Из произведений такого рода, недавно опубликованных в журнале, в первую очередь хотелось бы сослаться на роман Германа Канта «Выходные данные», своей идейной проблематикой, своим художественным строем подтверждающий высокую зрелость социалистических литератур.

Здесь крупномасштабно изображается переломная эпоха в истории немецкой нации, охватывающая период примерно в сорок лет: от Веймарской республики через господство фашизма, вторую мировую войну к построению первого социалистического государства на немецкой земле. По жанру роман синтетичен — это сплав романа социального, семейного, эссе. При небольшом количестве персонажей автору удалось показать разные пути сознания в эту переломную эпоху, разные человеческие судьбы. Большое место в романе заняла тема освободительной миссии Советской Армии, германо-советской дружбы. При всем том, что уже написано о второй мировой войне, социалистическом строительстве в ГДР, этот роман Германа Канта добавляет существенные черты к известному, дает новый угол зрения на памятные события. Советская пресса и читатели по достоинству оценили эту публикацию.

В том же ряду произведений, рисующих борьбу за построение нового общества, следует назвать повесть монгольского писателя С. Эрдэнэ «Год синей мыши», рассказы болгарского писателя Й. Радичкова, антологические подборки рассказов и стихов болгарских, польских, румынских писателей и писателей ГДР, которыми журнал отметил юбилеи социалистических стран.

Акцентируя внимание советских читателей на этих произведениях, редакция журнала «Иностранная литература» вместе с тем стремится показать и другие аспекты творчества писателей социалистических стран. В прошлом году человечество отмечало юбилей великого итальянского поэта Франческо Петрарки. Обдумывая формы нашего отклика на этот юбилей, мы остановились, поскольку в разделе «Литературное наследие» уже печатались новые переводы стихов Петрарки, на биографической книге «Петрарка», принадлежащей перу известного польского писателя Яна Парандовского. Глубокая эрудиция автора, проявившаяся не только в описании обстоятельств жизни Петрарки, но и в подробном, наглядном изображении эпохи, пластичный поэтический стиль повествования привлекли к этой книге внимание многих советских читателей, сделали публикацию литературным событием.

Широкий интерес вызвала документальная книга другого польского писателя — «20 июля...» Ежи Путрамента. В условиях, когда в ряде стран Запада еще дает о себе знать деятельность неофашистских группировок, когда некоторые буржуазные идеологи вновь обращаются к временам германского рейха, прихорашивая и модернизируя облик палача Гитлера, мы сочли уместным обратиться к недавней книге Е. Путрамента, чтобы напомнить о событиях прошлого, которые никогда не должны забываться.

Публикуя прозу, поэзию и драматургию авторов из социалистических стран, редакция стремится сопровождать их комментариями, размышлениями специалистов, свидетельствами прессы социалистических стран, возвращаться к этим публикациям с тем, чтобы советские читатели могли получить дополнительную информацию. Современное советское литературоведение располагает эрудированными исследователями и знатоками братских литератур. Их статьи, помогающие глубже понять закономерности литературного процесса, довольно часто вызывают доброжелательные отклики на страницах печати социалистических стран.

Наступивший год также принес читателям «Иностранной литературы» новые интересные встречи с книгами писателей социалистических стран. Уже в первом номере наши читатели познакомились с главами из автобиографического романа Яромиры Коларовой «Мой мальчик и я», оцененного чехословацкой критикой как лучшее произведение писательницы. В том же номере представлена ироническая проза Юлиана Тувима (Польша) и стихи Миры Алечкович (Югославия). В февральской книжке — последняя пьеса Г. Джагарова «Маленькая эта земля...» (Болгария), посвященная проблеме защиты окружающей среды, проблеме современного человека, гуманистической проблеме, а в дальнейших номерах — романы Т. Новака «Черти» (Польша) и И. Кршенека «Дички», стихи Лацо Новомеского и Мирослава Флориана (Чехословакия).

На читательских встречах нас порой спрашивают: как редакция отбирает зарубежные произведения, как она ориентируется в огромном потоке произведений, выходящих за рубежом. В том, что касается социалистических литератур, существенную помощь оказывают нам сами писатели и критики из этих стран. У нас установились тесные дружеские связи с союзами писателей, издательствами и литературными журналами. Писатели из братских стран — частые гости нашей редакции. Нередко именно в ходе дружеского разговора с зарубежными гостями мы получаем неоценимую информацию о новых литературных явлениях, о восприятии книжных новинок критикой и читателями, о творческих планах писателей, журналов и издательств. Подчас мы заранее ждем выхода книги, о которой рассказал у нас в редакции сам автор.

С рядом журналов наше содружество оформлено организационно, мы обмениваемся планами, принимаем у себя и направляем в эти журналы сотрудников для изучения опыта. Такого рода поездки расширяют наши представления, позволяют устанавливать контакты с широким кругом писателей и критиков.

За последние годы родилась новая форма общения литературных журналов социалистических стран — регулярные встречи главных редакторов. Такие встречи состоялись в Москве, Софии, Берлине, Будапеште, Варшаве. Это уже не двусторонний, а коллективный обмен опытом работы, размышлениями о современном литературном процессе, предложениями о новых формах сотрудничества.

Нынешнее состояние братских литератур и взаимное желание содействовать благородному делу их популяризации — залог того, что и в дальнейшем советские читатели будут знакомиться с произведениями, ярко рисующими жизнь народов социалистических стран.

■

Широк поток публикуемых у нас произведений писателей разных стран и континентов. Убедительно об этом свидетельствуют систематические публикации иностранных авторов на страницах многочисленных советских литературных журналов, а также выпуск книг зарубежных писателей советскими издательствами — центральными, республиканскими, областными, на языках многих народов СССР. Статистика ЮНЕСКО подтверждает: Советский Союз занимает первое место в мире по выпуску переводной литературы. И здесь без всякого преувеличения можно сказать, что самые крупные имена, самые характерные явления современного литературного процесса не обойдены вниманием.

Все наиболее существенное и заслуживающее внимания, в частности в западном литературном творчестве, несомненно, становится достоянием советского читателя.

Достаточно, пожалуй, назвать некоторые наиболее известные имена современных западных писателей, которые так или иначе представлены, например, на страницах журнала «Иностранная литература»: У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Э. Колдуэлл, Дж. Стейнбек, Дж. Чивер, Дж. К. Оутс, Т. Капоте, Дж. Д. Сэлинджер, Т. Вулф, С. Фицджеральд, К. Воннегут, Г. Видал, А. Хейли, Л. Хеллман, Т. Уильямс, А. Миллер, Э. Олби, Дж. Болдуин, Дж. О'Хара, Т. С. Элиот, Ч. П. Сноу, У. Голдинг, Дж. Олдридж, Г. Грин, И. Во, Дж. Уэйн, А. Силлитоу, С. Чаплин, Л. Арагон, Ж. Сименон, М. Дрюон, Ж.-П. Шаброль, Р. Шар, А. Стиль, А. Моруа, Р. Мерль, Ф. Саган, Б. Клавель, Э. Базен, Н. Саррот, В. Кёппен, П. Шаллюк, М. фон дер Грюн, М. Вальзер, Г. Грасс, Э. М. Ремарк, Г. Бёль, З. Ленц, Ф. Дюрренматт, М. Фриш, И. Бахман, П. ван Акен, М. де Унамуно, М. Делибес, Х. Гойтисоло, Я. Рицос, А. Моравиа, Э. Монтале, В. Пратолини, Ч. Павезе и многие другие. Уже само это — далеко не полное — перечисление говорит о том, что журнал стремится познакомить с писателями разных стран, разных направлений, разных стилистических манер. Список этот можно умножить, не говоря уже о классиках западной литературы, которых переиздают в Советском Союзе систематически и нередко большими тиражами, чем на их родине.

Издание иностранных авторов в СССР прежде всего отражает неизменное стремление знакомить советского читателя с зарубежной литературой, с ее наиболее характерными в художественном отношении явлениями. И, конечно же, в этом нельзя не видеть наших усилий, направленных к обмену взглядами и идеями. Это, однако, вовсе не означает, что здесь может царить стихия, проявляться неразборчивость в переводах и публикациях. Нам отнюдь не безразлично, какой вкус публикуемые про-

изведения воспитывают. Мы стремимся печатать именно то, что способно существенно расширить полезную информацию, обогатить нашего взыскательного читателя новыми мыслями и художественными ценностями.

Неисчерпаемы на Западе всякого рода благие пожелания и декларации о том, насколько важен свободный обмен информацией, идеями, литературой между Западом и Востоком, странами с различным социальным устройством. Раздаются и громкие, порой надрывные голоса якобы об отсутствии «свободы творчества» у советских писателей. Особенно примелькались имена некоторых сенаторов, конгрессменов, членов парламента. Не уступают лидерства и газетные оракулы, конъюнктурные наблюдатели, комментаторы и др. Подчас, к сожалению, и некоторые западные писатели, деятели культуры, не дав себе труда разобраться в существе дела, опрометчиво поддерживают сомнительного рода акции, направленные отнюдь не на улучшение взаимного понимания. Все они, если верить их словам, проявляют трогательную озабоченность положением дел в странах социалистического мира, пекутся о достоверном, из первых источников, ознакомлении с их образом жизни и умонастроениями. Не одну весну и осень продолжаются международные дебаты, принимающие нередко марафонский характер, на тему о пользе расширения культурных связей и всякого рода обменов. Занятие это для многих уже успело стать делом пожизненным и превратилось в профессию. А между тем не похоже, чтобы в результате всего этого существенно расширился приток на Запад идей, информации и книг из Советского Союза. Как свидетельствует опыт, ревнители «либерализации», «свободного обмена» настолько увлечены патетическими речами, высокой и низкой риторикой, будто СССР против обменов, что им некогда подумать о себе, о том, что творится в их собственном доме. И потому каждый раз, когда витийствуют большие эти педагоги, хочется их спросить: а случалось ли вам, сенатор, хотя бы полистать или подержать в руках какую-либо книгу советского писателя?

По собственным наблюдениям — да простят меня великодушно откровенные мои собеседники — такое случается с сенаторами редко, очень редко, если не сказать — совсем не случается. Книг советских авторов они в руки не брали и не берут. Мне, вероятно, не очень везло. Только не приходилось мне на книжных полках конгрессменов встречать произведения современных советских писателей. Не приходилось хотя бы однажды услышать из их уст имя какого-нибудь советского автора, даже в непривычном американском произношении. Почти неправдоподобно. Но говорят же, лучше один раз самому увидеть, чем тысячу раз слышать... Это как со слоном: описать его трудно, но, увидев, узнать легко.

Будем, однако, справедливы: сенаторы, увы, не исключение. Не ломятся полки под тяжестью книг современных советских авторов и в различных американских библиотеках, включая университетские, которые мне достаточно хорошо известны. Впрочем, откуда же быть этим перегрузкам, когда то, что появляется в американских издательствах, настолько мизерно для страны с населением в двести с лишним миллионов и настолько явно обходится молчанием критики, что это нельзя назвать иначе, как парадоксом.

Странный этот «перекос» наблюдается не только в отношении Советского Союза. Об этом также говорит, к примеру, польский профессор М. Добросельский. «Нет нужды доказывать,— отмечал он недавно,— что мировая и европейская культуры представлены в Польше в самых больших масштабах. Нам хотелось бы, чтобы наша культура и сведения о ней в такой же мере присутствовали в Западной Европе, как западноевропейская — у нас. В сотрудничестве и культурном обмене идеями, людьми и информацией между нами и Западом наблюдается явная асимметрия». Об этом же писал Мишель Жуэ в еженедельнике «Франс нувель»: «После 1945 года в Польше было переведено более 1500 книг французских авторов. Много ли французов, включая и специалистов в области литературы, смогут назвать одного или двух современных польских писателей?»

Парадоксальная асимметрия: с одной стороны, патетические речи на Западе о пользе всякого рода обменов и бесконечные сенсационные декларации о «противниках» обмена, а с другой — практически отказ от апостольских своих проповедей, фактическая изоляция.

Вспомним, к примеру, что наша «Литературная газета» лишь в истекшем году познакомила в различной форме миллионы своих читателей с творчеством свыше пятидесяти зарубежных авторов, помимо писателей социалистических стран, а, допустим, литературное приложение к западногерманской газете «Вельт» за тот же год углядело лишь несколько одиозных лиц из враждебной социалистическому миру эмигрантщины. Кстати, именно их произведения выходят массовым тиражом, именно их произведения предлагаются вниманию западного читателя.

Найдутся, конечно, оппоненты вроде «еженедельных газетных оракулов», у которых всегда есть готовые ответы на все случаи жизни. «Значит, нет достойных нашего внимания произведений советских авторов»,— скажут они. Возникает, однако, вопрос: а каким образом им удается установить подобный диагноз? Чтобы вынести такое суждение, читатели, кажется, должны иметь хотя бы самое общее представление о состоянии литературы, знать хотя бы самые крупные, характерные для этой литературы имена. Но ведь ничто подобное не наблюдается в цивилизованном западном мире. Чего

же стоят в таком случае, мягко говоря, априорные оценки? Насколько достойными являются этого рода приемы? И кто, в конце концов, за действительный обмен литературой, а кто лишь растрачивает себя в нескончаемых речах фарисейских? Невольно приходит на память афоризм Хосе Марти: «Лучший способ сказать — сделать».

Быть может, сенаторам, при всей их обремененности, удастся урвать малую толику времени — для этого, пожалуй, достаточно и коротких интервалов между очередными речами о пользе обмена — и поинтересоваться, много ли и какими тиражами издано в их стране произведений современных советских писателей. И поскольку чтение книг — занятие не для всех обязательное, то в этом случае было бы достаточно перечислить авторов и названия сочинений, которые им стали известны.

Думается, что надсаживаться сенаторам не придется. Дело обойдется числом пальцев если не на одной руке, то на двух — заглазно. Речь идет, конечно, о подлинных советских авторах, а не о самозванцах, старой и новой эмигрантщине или о «великомучениках», выдворенных за пределы родины. Нужно ли здесь напоминать, что в СССР на творческом подъеме семьдесят шесть национальных литератур — явление беспрецедентное в истории общечеловеческого художественного развития. Разве для читателя западного мира нет выбора? Неужто в необыкновенном этом многоцветье художественных талантов ничто не привлечет его внимания?

А ведь не очень, кажется, широко известны на Западе книги таких ярких и талантливых авторов, как К. Федин, Л. Леонов, Н. Тихонов. Г. Марков, О. Гончар, А. Чаковский, Ю. Бондарев, Р. Гамзатов, В. Быков и многие другие,— в том числе писателей более молодого поколения — писателей, в чьем творчестве воплощено именно то настоящее и подлинное, которому суждено войти в будущее.

Разумеется, выбор зарубежных произведений для перевода и опубликования — право и компетенция издательств. В каждой стране могут быть свои критерии, своя мера. Но странно слышать от иных западных собеседников, что отсутствие произведений советских авторов на книжном рынке объясняется тем, что издательства публикуют лишь то, что наверняка принесет прибыль. То есть все дело и в мире литературы сводится к купле-продаже, к денежной, долларовой наживе. Как принято в таких случаях говорить, нужны ли здесь комментарии?

Иные критики выражают неудовольствие тем, что книги советских авторов проникнуты социалистической идейностью, славят коммунистическое миропонимание, советский образ жизни... Но это столь же верно, сколь и логично. Разве должно быть наоборот: восхищение капитализмом, буржуазными нравами, вседозволенной извращенностью? Не достаточно ли всего этого в сочинениях правоверных буржуазных писателей Запада, как и в самом образе жизни буржуазного общества? Или советские писатели не справляются с задачей потому, что, подобно иным своим коллегам за рубежом, не наводняют книжный рынок бестселлерами об отцеубийстве, садизме, насилии, грабежах, привидениях, крови, смерти, сомнамбулизме и тому подобном бреде воспаленной психики?

Указывая на то, что даже разрекламированные книги не читаются в Англии, современный английский писатель П. П. Рид отмечает: «Причина — в глубоком заблуждении западного общества, что деньги и то, что на них можно приобрести, приносят счастье. Наивный мираж потребителя. Как сказал поэт, «если невежество — благо, глупо быть мудрецом».

Обращает на себя внимание и другое: с какой бдительностью и тщанием выискиваются иными, скажем американскими, наблюдателями малейшие диссонансы в произведениях советских авторов: то ли фрондирование, то ли промахи, то ли заблуждения. И не только промахи и заблуждения. Как часто спекулируют они на здоровом критическом начале, столь необходимо присущем социалистической литературе. И как часто все это мгновенно расцвечивается, интерпретируется на страницах зарубежной прессы: отступление от «ортодоксальности», «интеллектуальная оппозиционность», «инакомыслие» и тому подобное в том же роде.

Предубежденность — малоподходящий советчик. С любой точки зрения, даже с чисто прагматической, которой всегда отличались американцы. Иметь правильное, непредвзятое представление о советской литературе — не противопоказано людям здравого смысла. Соглашаться или не соглашаться с советским автором, его этическими и эстетическими убеждениями — вопрос другой. Но иметь представление о реальном положении дел, почерпнуть его из первоисточника — отнюдь не предосудительно, даже для сенаторов. Ведь есть, что познать, с чем серьезно ознакомиться, а, может быть, кое-чему и поучиться. Во всяком случае, увидеть иной мир, иные общественные и моральные нормы, а главное — образы новых людей, движимых возвышенными идеалами, нравственными понятиями, благородными целями.

В книге американского буржуазного социолога Фр. Баргхорна «Советское культурное наступление» можно встретить немало ценных свидетельств. Он признает, например, что «господствовавшая в СССР атмосфера оптимизма, идейности и преданного служения общественным интересам произвела огромное впечатление на первых иностранцев, приезжавших в страну, таких как Уильям Буллит, Линкольн Стеффенс, Х. Н. Брейлсворд, Джон Дьюи и многие другие. По возвращении из России Л. Стеффенс сказал: «Я побывал в будущем, и оно действует...»

Столетие назад великий американский гуманист Уолт Уитмен, обладавший чувством глубокой социальной проницательности, с горечью писал: «Общество в Штатах испор-

чено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы политики, таковы и частные лица. Во всех наших начинаниях совершенно отсутствует или недоразвит и серьезно ослаблен важнейший элемент всякой личности и всякого государства — совесть». Изменилось ли с тех пор это печальное положение в «цитадели свободного мира», в «лучшей из демократий»? Удалось ли приобрести Америке этот моральный фактор, нравственное качество, совесть человека и государства или же над ней продолжается «долгая темная ночь»?

Анализируя прошлое и настоящее в исторических судьбах мира, сенатор Уильям Фулбрайт отмечал недавно: «В течение четырех столетий до начала первой мировой войны мировая история была в значительной мере историей западной цивилизации, ее динамизма и творческих сил, ее внутренних связей и разногласий, историей ее воздействия на остальной мир. В результате крупных конфликтов XX века Запад утратил свое превосходство в силе, благодаря которому его идеи, интересы и институты до 1914 года превалировали во всем мире. Ныне же впервые в современной истории мощи и интересам западных государств брошен серьезный вызов извне: теперь Запад уже не может (если у него раньше и была такая возможность) рассматривать свои идеи и ценности как имеющие всеобщее применение. Эта великая историческая перемена является главным фактором, определяющим перспективы Запада во второй половине XX столетия».

В публичном выступлении в Гонолулу Уильям Фулбрайт, по всей видимости не без основания, заявил, что «Великое общество стало больным обществом». При этом сенатор пояснил, что вывод такой он делает в связи с «обманом и лицемерием американской жизни».

Но насилие порождает не просто насилие. Оно подрывает веру, убивает ее, ведет к моральному опустошению. «Дела любой страны плохи,— утверждает другой известный политический комментатор Джеймс Рестон,— если ее народ чувствует, что он не в силах решить свои важные проблемы, и не знает, чему доверять... У нас нет веры ни в наши цели, ни в наши давние религиозные и философские установки, ни в нашу нынешнюю политику, ни в людей, которые планируют или проводят ее в жизнь».

И даже такая писательница, как Эйн Рэнд, отнюдь не ставящая перед собой задачи социальной критики американского общества, вынуждена признать: «...Америка обанкротилась в культурном отношении... Интеллектуальное руководство Америки рухнуло... Америка — это страна, лишенная голоса и защиты, страна, распроданная и покинутая интеллектуальными телохранителями». Продолжая развивать свои идеи, Эйн Рэнд отмечает: «В литературе нам показывают вереницу убийц, алкоголиков, наркоманов, неврастеников и психопатов в качестве воплощения человеческой души — причем нас приглашают найти себя в этой череде и воинственно утверждают, что жизнь — это сточная яма, солдатский окоп или крысиные бега...»

Разумеется, не вся американская интеллигенция — олицетворение псевдокультуры, нравственного распада, патологии. В Америке, конечно, есть интеллигенция истинная, воплощающая подлинную культуру и являющаяся совестью нации. Так было всегда. Однако не ей принадлежит сегодня доминирующая роль в духовной жизни страны. Не она в почете и чести.

■

Не всегда так просто выбрать книгу западного писателя для перевода. Это сложно с точки зрения определенных требований идейного и эстетического начал. Волны насилия захлестывают современное западное общество, где нравственность — острейшая проблема. Мотивы и темы насилия заполоняют литературу и искусство, которые со своей стороны стимулируют проявление вандализма. Фильмами ужаса, пьесами жестокости, уголовными романами перенасыщена атмосфера современного буржуазного быта. Сложно из-за того, что существом книг, рассчитанных на массового западного потребителя, давно уже стали сюжеты насилия и преступности, хладнокровного убийства, грубого натурализма, порнографии. Не просто расправы с человеком: показываются и прививаются наиболее изысканные методы и приемы самого изощренного умерщвления жертвы. Разве это не заставляет с грустью и сожалением отнестись к современной книжной продукции на Западе, к дикой абсурдности повсеместного распространения сочинений бесчеловечных стандартов?

Поиски нового нередко становятся поисками новых структур и выразительных средств — красок, звуков или слов и, как свидетельствует опыт, в значительной мере подвержены быстротекущим веяниям, течениям, капризам моды. При этом неудовлетворенность социальной реальностью, критическое отношение к существующей капиталистической действительности сопровождаются отрицанием коммуникативных взаимосвязей литературы с окружающим миром. Отсюда и тенденциозность концепций, в соответствии с которыми создание произведений литературы выдается за единственно творческий акт «создания новой действительности». Это приводит к тому, что модернизм в современном буржуазном обществе объективно ведет к услужению, к выполнению апологетической и реакционной функции.

Представление о художественности произведения изменилось на Западе настолько, что фактически это подменено нередко распадом формы, распадом слова, распадом

искусства в собственном его смысле. Но именно произведениям этого рода курят фимиам, поют гимны в виде рецензий и рекламы. И читателю не просто ориентироваться в кадильном дыму захваливающих речей. Книги со значением, реалистического, демократического направления, будящие мысль, к сожалению, не так часто встречаются в потоке изданий в глянцевитых обложках. Правда, с этими книжками в мягких обложках и обхождение соответствующее, не очень уважительное: их видишь не столько на сиденьях автомобилей, сколько валяющимися под ногами автомобилиста или брошенными где попало, часто в мусорные урны — гарбичи, вместе с окурками, остатками жевательной резинки и прочими отбросами. Нет нужды останавливаться на том, что подобного рода печатная продукция лишена положительной способности, не обладает очистительной ролью ни в искусстве, ни в жизни.

К чему же направлена воля издателей? Чаще всего это жестокая воля своекорыстия. Для наставников от большого бизнеса неважно, черного или белого цвета кошка, если она ловит мышей. В джунглях их печатной продукции сконцентрировано столько же легковесности, спесивой ограниченности, сколько и вопиющей античеловечности, жестокого варварства. В результате еще больше культивируется доводящая до ослепления и остервенения жажда денег, страх разорения в условиях безжалостной конкуренции с ее волчьими законами. Более всего, отмечает Лоренц в упомянутой работе «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества», современного человека на Западе преследует страх, страх не отстать, страх не стать нищим, не упустить выгодную ситуацию...

Цинизм и пошлость, очевидно, без берегов. И услужливые бизнесмены, эти «скорпионы, оседлавшие лягушку для переправы и смертельно жалящие ее на середине реки», хищнически эксплуатируют низменные вкусы потребителей такого чтива. Книги «массовой культуры» стали духовным наркотиком для невзыскательного читателя общества потребления, где человек занят не моральным совершенствованием, не поиском нравственных основ, а лишь бездумным потребительством вещей. В результате вещи побеждают человека, одолевают в нем его природу и гуманистическую волю.

Изображение насилия и убийства, притом самых отвратительных и жестоких, начинает восприниматься в аудитории зрителей как вещи тривиальные, ставшие привычными, обыденными. Находятся и новые пророки, которые доказывают, что насилие имеет не только отрицательные, но и положительные стороны, высказываясь за все более изощренные и потрясающие воображение зрелища. И нередко на всем этом ставится клеймо «естественных проявлений человеческой природы». В ход пошли всякие чудища — оборотни, вампиры, черные силы, которые заполонили такие фильмы, как «Лицо без глаз», «Цирк ужасов», «Ночь демона» и тому подобная продукция индустрии ужасов. Авторы при этом не скрывают, что прототипами для них служили гитлеровские садисты, образам которых они стремятся придать не только психологическую убедительность, но и наделить некими «воинственными», то есть «героическими», чертами. Однако бить человека дубиной — это знал и пещерный обитатель.

Симптоматичны сами названия американских фильмов на XX кинофестивале в Сан-Себастьяне: «Винтовка с оптическим прицелом», «Пелам, один, два, три...». Все герои с оружием. Все стреляют, как профессиональные гангстеры и убийцы. Бандиты — в полицейских, полицейские — в бандитов. Это и есть жестокое обесчеловечение искусства и мысли.

Да, говорил Фолкнер, никогда не описывай зло ради самого зла; описывать зло можно лишь для того, чтобы высказать какую-нибудь истину, которую вы считаете важной. Бывают времена, когда человеку необходимо напомнить о зле, чтобы исправить и изменить положение. Нельзя постоянно говорить ему о добре и красоте. Думается, что писатель, поэт, романист не может быть простым хроникером человеческих поступков — он должен дать человеку какое-то понятие о том, что человек может быть лучшим, чем он есть. Если писатель вообще к чему-нибудь призван — так это сделать хоть немного лучшим тот мир, который застал, сделать все, что он может, всеми известными ему средствами, чтобы освободиться от зла... это его задача. И не только описанием приятных вещей, он должен открыть истоки — указать на зло, которое способен совершить человек, и ненавидеть себя за это, и потом все-таки восторжествовать, выстоять, выдержать и всегда верить, что он может быть лучшим, чем он есть, и лучшим, чем он, возможно, будет на самом деле.

■

Какими же критериями мы руководствуемся при выборе произведений для перевода? Отстаивая принципы реалистической, прогрессивной литературы и искусства, редакция журнала прежде всего обращает внимание на явления, противостоящие искусству общества массового потребления, отвечающие созидательному началу в человеке, гуманистическим его устремлениям. Нравственная оценка изображаемого и его возможного воздействия является неотъемлемой функцией всякого искусства. Одних привлекают социальные конфликты времени, других — этический кодекс, моральные нормы и их попрание, духовный каннибализм и т. д. И вот писатель рождается как бы дважды: когда создает свое произведение и когда возникает в сознании читателя.

Известный уругвайский писатель Карлос Мартинес Морено, повесть которого «Аборигены» опубликована в журнале «Иностранная литература» в 1975 году, придерживается определенных принципов: «Через творчество общаться с человеком, стараться поддерживать духовную взаимосвязь с людьми... В жизни и литературе я хочу выполнить свой писательский и человеческий долг». Ему принадлежат также слова: «...отвратительны лицемерие и фальшь, подслеповатая маска предрассудков, притворства и в политике и в жизни». А это означает — не оставаться равнодушным к судьбам людей, не уходить от острых и злободневных проблем современности, но силой пера обличать те бесчеловечные нравы и антигуманизм, которые поджидают в западном мире писателя на каждом шагу.

В своей деятельности журнал «Иностранная литература» стремится представить советскому читателю произведения, честно и непредвзято повествующие о реальных проблемах современного общества, о его подлинных человеческих конфликтах.

Новые явления в современной литературе и искусстве исследуются в статьях, которые публикуют отделы критики и публицистики «Иностранной литературы», им дается оценка с марксистских позиций. Здесь и статьи, разрабатывающие и утверждающие принципы социалистического гуманизма, реалистической эстетики, и статьи, обращенные против декадентских влияний, против дегуманизации культуры и искусства.

Наиболее острые, возникающие на наших глазах и привлекающие к себе внимание проблемы ставятся на обсуждение во время творческих встреч писателей, критиков, ученых в стенах редакции; эти проблемы становятся предметом обсуждения на страницах журнала с привлечением и зарубежных авторов. К этому можно добавить, что наш журнал открыт писателям и критикам разных стран и континентов, для того чтобы они имели возможность высказываться по конкретным вопросам культурного развития,— столкновение мнений способствует более глубокому пониманию живого литературного процесса в наши дни.

Мы уже имели возможность, подводя итоги десятилетнего опыта работы журнала, упомянуть о восьмидесяти зарубежных писателях, с которыми впервые состоялось знакомство на наших страницах. Естественно, что теперь этот список существенно расширился. В 1974-м и текущем 1975 году «Иностранная литература» продолжала публиковать лучшие произведения прогрессивных писателей западных стран, произведения о рабочем классе. Так, недавно был опубликован роман Макса фон дер Грюна «Местами гололед» (ФРГ), повествующий о жизни и труде рабочих в условиях современного капиталистического производства.

Писателей разных стран продолжает волновать тема войны, связанные с этим проблемы, и французские прогрессивные писатели снова и снова возвращаются к теме Сопротивления. За последнее время во Франции появилось несколько произведений, пытающихся фальсифицировать историю, перечеркнуть ее героические страницы, когда разные слои свободолюбивого французского народа объединились в своем желании дать отпор фашизму. Тем благороднее выглядит стремление писателей-коммунистов воссоздать истину, своими произведениями напомнить людям о том, как все было на самом деле. К числу именно таких произведений принадлежит и роман Адель Фернандес «Ранний плод — горький плод», напечатанный «Иностранной литературой» и рассказывающий о том, как война калечила судьбы и души людей.

Распад богатой семьи, крушение патриархальных традиций, притягательная сила большого города, оттягивающего человека от земли,— вот проблемы, традиционно интересующие крупнейшего писателя Франции, вице-президента Гонкуровской академии Эрве Базена. Об этом он и пишет в своем новом романе «Крик совы», недавно увидевшем свет в нашем журнале. Не менее интересна с точки зрения знакомства с нравами сицилийской деревни повесть Пьетро Буттитты «Листок», опубликованная нами прошлой весной.

Проблемам интеллигенции в капиталистическом мире посвящены романы известного итальянского писателя Марио Солдати «Актер» и видной английской писательницы Айрис Мердок «Черный принц». Написанные в разной манере, произведения эти показывают сложные человеческие характеры — людей слабых, шатких, хотя порой и талантливых, и противостоящих им, искореженных воспитанием и жизнью, моральных уродов, способных на самую большую жестокость и подлость.

В последних номерах нашего журнала за минувший год опубликован роман испанского писателя Мигеля Делибеса «Пять часов с Марио». Роман написан как монолог ограниченной, озлобленной мещанки, но из ее порой бессвязного лепета встают яркие картины жизни современной Испании, ее политической и духовной атмосферы.

Роман известного английского писателя, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Джеймса Олдриджа «Горы и оружие» и роман видного американского писателя Курта Воннегута «Завтрак для чемпионов» представляют в первых номерах журнала за 1975 год прозу капиталистических стран. Это очень разные по форме и тематике произведения. «Горы и оружие» — продолжение романа Олдриджа «Дипломат». Через тридцать лет писатель возвращается к своим любимым героям, показывает, что произошло с ними за эти годы и какие изменения произошли в них самих. Роман остросюжетен и остросовременен: Олдридж затрагивает в нем и проблемы национально-освободительного движения, и проблемы

молодежи, и проблемы нравственные, которые ставит перед человеком служение высокой цели.

Курт Воннегут, уже известный советскому читателю, на сей раз выступает как яркий сатирик, бичующий разные стороны американской действительности и американского характера.

Предполагаем мы напечатать и другой американский роман — «Вечер в Византии» Ирвина Шоу. Это трагический роман об американском кино, о царящих там нравах, о том, как трудно большому, подлинно талантливому художнику-реалисту работать в условиях, когда творчество подчинено соображениям чистогана.

Интересный роман о рабочем классе, получивший весьма высокую оценку даже буржуазных критиков, создал французский писатель Роже Шатоне, выходец из рабочих-сталелитейщиков, активный участник движения Сопротивления, оказавшийся затем в нацистском плену вместе с советскими военнопленными, которые помогли ему выжить. «Для меня величайшее счастье и честь быть напечатанным на русском языке,— писал он, узнав, что наш журнал собирается печатать его роман «Сквозь самую высокую дверь».— Публикация в Советском Союзе окрыляет меня, побуждает работать и дальше». Об этом же, кстати, пишет и Айрис Мердок (в редакции получено письмо от нее в связи с публикацией романа «Черный принц»). «Мне действительно очень приятно, что мой роман понравился вашему журналу,— пишет Айрис Мердок,— и что он был хорошо принят. Мне доставляет огромное удовольствие уже одна мысль о том, что люди читают его по-русски, и я с нетерпением жду номеров журнала, в которых он опубликован».

Мы знаем по письмам, как интересует нашего читателя современный литературный процесс во всем его многообразии. Рубрика «Литературные иллюстрации» дает нам возможность познакомить читателей «Иностранной литературы» с произведениями, иной раз излишне усложненными, а бывает, просто нам чуждыми по своей художественной манере и, однако, стоящими «на повестке дня» сегодняшней литературной и культурной жизни, с произведениями, «о которых говорят». Так, мы опубликовали в свое время фрагменты из французского «нового романа», пьесу С. Беккета «В ожидании Годо», а в минувшем году — американский бестселлер «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». В портфеле редакции для этой рубрики — повесть Л. Малербы «Сальтоморгале», произведение весьма необычное, получившее широкую известность и переведенное на многие языки.

Мы исходим при этом из доверия к нашему читателю, способному, как мы думаем, разобраться во всей сложности и противоречивости явлений западного искусства.

Существенной задачей журнала представляется также знакомство читателей со значительными произведениями, которые не были в свое время переведены на русский язык, но которые оказали влияние на сегодняшнюю зарубежную литературу. К публикациям такого рода принадлежат «Письма Асперна» Г. Джеймса, «Шум и ярость» У. Фолкнера и готовящаяся публикация «Портрет художника в молодости» Д. Джойса.

Редакция готовит к опубликованию произведения Дж. Д' Агаты, Ф. Й. Дегенхардта, А. Рундберга, К. Карреры, Т. Уайльдера, А. Труайя, Д. Лессинг и многих других. Известно, сколь сложен и извилист порой бывает путь писателя на Западе. Но тут журнал руководствуется главным критерием: гуманистической направленностью публикуемых произведений, реалистически беспощадным взглядом художника на окружающий его мир.

Важное место в повседневной деятельности журнала занимают литературы стран Азии и Африки и Латинской Америки. За двадцать лет мы выпустили несколько специальных номеров, посвященных только этим литературам.

Если говорить о литературе Азии и Африки, то благодаря журналу советский читатель узнал и полюбил произведения таких писателей, как Кобо Абэ и Ясунари Кавабата (Япония), Р. К. Нарайан (Индия), Воле Шойинка, Чинуа Ачебе (Нигерия), Нагиб Махфуз и Малек Хаддад (Арабские страны), Азиз Несин (Турция) и многих других.

Недавно мы познакомили читателя с исторической повестью известного японского писателя Ясуси Иноуэ «Сны о России», рассказывающей о первых контактах Японии и России екатерининских времен и вызвавшей большой интерес у наших читателей, с повестью арабского писателя Ас-Сибаи «Земля лицемерия». Жизни маленькой деревни на берегу Персидского залива посвящено произведение молодого, набирающего силы иранского писателя Голамхосейна Саэди «Страх». О нелегкой судьбе индийского крестьянина повествует пенджабский писатель Гурдиал Сингх в повести «Поминальный огонь».

В ближайшем будущем мы намерены представить на суд нашего читателя новый роман пользующегося у нас популярностью японского писателя Кобо Абэ. «Человек в ящике» — так называется это произведение, тема которого — отчуждение человека в современном капиталистическом обществе. «Осколки» — роман писателя из Ганы А. Квеи Армы. Автора волнуют проблемы, встающие перед молодой интеллигенцией Африки, вступающей в борьбу с многовековой отсталостью своих народов, с разложением и коррупцией, унаследованными от колониального прошлого.

Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что за минувшее двадцатилетие наш журнал если и не «открыл» во всей широте и во всем богатстве литературную панора-

му Латинской Америки, то, во всяком случае, в значительнейшей степени ее представил. На страницах журнала впервые перед нашими читателями «заговорили по-русски» очень многие латиноамериканские писатели, в том числе такие крупнейшие прозаики и поэты, как Мигель Анхель Астуриас и Хорхе Саламеа — впоследствии лауреаты международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», как Андрес Элой Бланко, Жак Румэн, Амадо Нерво, Алехо Карпентьер, Хуан Бош, Луис Энрике Дэлано, Хосе Рамон Медина, Луис Пастори, Эдмундо Десноэс, Эрнесто Карденаль, Габриэль Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, Хуана де Ибарбуру, Карлос Друммонд ди Андради, Хулио Рамон Рибейро, Сесилиа Мейрелис, Мануэл Бандейра, Рамон Амайа Амадор, Хосе Висенте Абреу, Карлос Фуэнтес, Гильермо Атиас, Ренато Прада Оропеса, Марио Бенедетти, Хуан Гонсало Росе...

В журнале активно сотрудничали Пабло Неруда, Жак Стефен Алексис, Рауль Гонсалес Туньон. На протяжении многих лет на страницах «Иностранной литературы» выступают наши «старые» авторы: лауреаты международной Ленинской премии Альфредо Варела, Николас Гильен, Жоржи Амаду, а также Мигель Отеро Сильва, Франсиско Коloане, Анхель Аухьер, Феликс Пита Родригес, Эрико Вериссимо, Эльвио Ромеро, Марио Варгас Льоса,— многие из тех, кто уже был назван выше.

В течение последнего времени наши читатели, кстати, тоже впервые познакомились с произведениями Мануэля Кофиньо Лопеса, Густаво Эгурена, Карлоса Мартинеса Морено, а также посмертно изданным романом Ромуло Гальегоса «Земля под ногами».

И, наконец, предстоит знакомство с гаитянским писателем Антони Фелпсом, которого ранее мы знали как поэта, но который ныне выступает в качестве автора первого своего романа «Минус бесконечность», посвященного борьбе патриотов Гаити против реакционной диктатуры. Интерес читателя, несомненно, вызовет новый роман лауреата международной Ленинской премии Жоржи Амаду «Тереза Батиста, уставшая воевать» — о судьбе простой бразильской женщины; новый роман Алехо Карпентьера «Средство от метода», в котором автор рисует портрет латиноамериканского «просвещенного» диктатора; новый роман Хоакина Гутьерреса «Умрем, Федерико?» — о современной жизни Коста-Рики; новый роман Гильермо Атиаса «Против течения» — о борьбе чилийских патриотов против фашизма; роман «Избранные», принадлежащий перу нынешнего президента Колумбии Альфонсо Лопеса Микельсена.

■

Планы редакции, как видно из этого далеко не полного перечня, не малые. Что же касается нашего принципиального отношения к обмену идеями, людьми, информацией, то оно было ясно выражено Леонидом Ильичом Брежневым еще три года назад: «Нередко приходится слышать, что на Западе придают значение сотрудничеству в области культуры и особенно обмену идеями, расширению информации, контактам между народами. Позвольте заявить здесь со всей ясностью: мы тоже стоим за это. Разумеется, если такое сотрудничество будет осуществляться при уважении суверенитета, законов и обычаев каждой страны и будет служить взаимному духовному обогащению народов, росту доверия между ними, утверждению идей мира и добрососедства».

Судьбы литературы, как средства постижения жизни, обусловлены судьбами мира. И потому литературный обмен, как и обмен культурными ценностями, в интересах понимания народов едва ли возможно переоценить. Необходимость действенного диалога на основе взаимности все более осознают именно те круги на Западе, которые отдают себе отчет в своей исторической и социальной ответственности за будущее без войн, за безопасность на земле.

◆

ДОРА ГАБЕ

* * *

На снимке — мальчуган, ребенок,
такой худой, что на виду все ребра.
Пылают лихорадочно глаза.
Он ест кору древесную.
А рядом —
пес, приковавшийся голодным взглядом
к коре, которую грызет малыш...

О время наше! Чем ты утолишь
мою голодную, как эта вот собака,
и жгучую, как жажда, совесть?

* * *

Осваиваю скорость света,
с упорством ветра
одолеваю даль,
рвусь к встрече — поминутно, постоянно.
Спешу, спешу, спешу
сквозь гром, сквозь тишь,
пока от ожиданья ты горишь,
пока мое воображенье
распалено,
пока оно
не стало кратером потухшего вулкана...

■ ■ ■

Ты — сумасшествие мое.
Возвышенней не знаю муки,
светлей не ведаю мечты,
чем ты.
Но как назвать тебя?
Любовь?
Наверно, нет...
Привязанность?
И это не ответ...
Быть может, ты — моя тоска по родине,
когда бываю с ней в разлуке?

■ ■ ■

Ты говоришь мне: будем вместе
до дня последнего... Неужто уместился
твой мир между тобой и мной?
Тебе в таком не тесно мире?..
Нет, у меня — иной,
куда просторней, шире:
вершину мысли, край земли,
грань времени, рубеж пространства
перешагнуть стремлюсь.
Неужто впрямь возможно
внушить мне, что дороги дальше нет?
Неужто впрямь так тесен белый свет?!

■ ■ ■

Не приближайся! Погоди... Постой...
Представь себя изображеньем
на витраже старинного собора —
недосягаемым, высоким;
покинь мое слабеющее сердце,
не надрывай его, останься лучше
моей несбыточной и вечною мечтой.
Не приближайся...

Расстоянье

Направо —
кружева живые
из вешней зелени, из молодых побегов,
вплетающихся прямо в облака.

Налево —
стены вековые,
полуразрушенная крепость, луч закатный,
молчанье странных каменных фигур.

Ведет нас неширокая аллея.
Ты молод, окрылен огнем порыва,
ты взглядываешь ввысь, лицом светлея
а я — как бы тону неторопливо
в безмолвии древнейших этих стен.

Идем... И голос тишины
звенит о том, что мы с тобою
неодолимым расстояньем
разделены.

Тайна

Если бы измерил кто-нибудь
тот неизмеримо дальний путь,
запечатленный зрением ласточки,—
путь с одной на другую сторону
шара земного,
через тысячу рек и гор,
через океанский простор...

Если б, если б кто-нибудь проник
в тот непроницаемый тайник,
называемый памятью ласточки —
памятью, которая находит
и селенье, и дом,
и крылечко с гнездом,
затерянные в необъятном мире...

Крохотно тельце птичье,
но в нем — всей природы величье,
в нем тайна такая,
что даже другие миры постигая,
мы еще не постигли,
не разгадали
душу маленькой ласточки.

■ ■ ■

Ни единого мига
без горечи расставанья,
ни единого мига
без трепетного ожиданья,
ни мгновенья
без тревог, без волненья —
ни единого мига
за целую жизнь,
ни единого...

Перевод В. КОРЧАГИНА

БЛАГА ДИМИТРОВА

Транзитный пассажир

Я чувствую себя всегда и всюду
транзитным пассажиром на земле.
Дела мои, поступки — преходящи.
Впечатление любое — бегло,
любое настроенье — мимолетно.
Мой дом — зал ожиданья на вокзале,
любовь моя — объятье на перроне,
мой путь — билет с указанным маршрутом,
воспоминанья — мой багаж в пути.
А если где-нибудь я захочу
остановиться — ну, хотя бы ненадолго,
чтоб от скитаний вечных отдохнуть
и мыслям дать немного отстояться,—
я за спиною слышу чей-то голос строгий:
— Нельзя! Не останавливайся! В путь!
И, запыхавшись, я бросаюсь снова
свой уходящий поезд догонять.
И, вырванная с корнем из земли,
я чувствую себя летящим ветром.
И жизнь моя — упущенная жизнь.
Я кинуться в огонь готова
и обгореть, как головня,
пускающая корни в пепелище,—
но только б не пройти
транзитом через жизнь.

Гонг

Сколько упущенных возможностей быть любимыми.

Закат в оленьих рогах леса — не для нас.
Двое на качелях листопада — не я и ты.
Ночная целительная тишина — не для наших слов.

Сколько бесценных даров на мелочи мы променяли:
уединенье — на ненужные встречи,
поцелуи — на пустые насмешки,
нежность — на суету.

Сколько упущенных возможностей быть любимыми.

Можно ль вернуть хотя бы одну луну закатившуюся?
Хотя бы одну дикую ягоду у подножья Пирина?
Хотя бы один удар гонга кукушки?

Девять царств променяю на одного сверчка у порога,
страны чужие — на тишину,
победы — на поцелуй,
славу — на одну любовную ночь.

Сколько упущенных возможностей быть любимыми.

Сколько ненужных вещей

Если захочешь вспомнить меня,
забудь, если сможешь,
какой я была
по утрам, тяжелым от снов,
блеклыми вечерами
и среди суетливого дня.

Забудь, если можешь,
одежду, которую я носила,
переменчивую, как время.
Сколько на вешалке платьев пустых —
обезглавленных устремлений!

Забудь, если можешь,
все чемоданы и книги,
ключи и зонты,
все вещи потерянные —
их не стоит искать!

Забудь, если можешь,
все слова, что я говорила,
добрые или, может быть, злые —
сколько на свете неискренних слов!

Забудь, если можешь,
все, что бросалось в глаза
и от тебя заслоняло меня,—
забудь,
чтобы вспомнить меня!

Капля

Ты спать привыкаешь при немыслимом шуме,
словно пьяный от звуков.

Но почему ты не в силах вынести
самое безобидное:
капанье крана?

Какое-то эхо из прапещеры
колыбели бессонницы —
стучит по черепу морзянкою капель,
каменные глубины твои пробуждая,
это прыгающий шаг времени:

Кап!
Кап-кап.
Кап...

Постоянство

В колебанье — мое постоянство.

Есть очень много возможностей,
есть множество вариантов —
и было бы просто ошибкой
что-то одно предпочесть.
Выбор — самоограбление.
И чтоб не корить себя после,
хочу, чтоб не я, а случай
вместо меня выбирал.

Но случай, увы, никогда
не бывает настолько упорен,
чтоб избавить меня от ответственности
Он мне свободу дает.

Но выбрать одно — это значит
лишиться всего остального.
А если захочешь всего,
совсем ничего не получишь.

Маленькой смерти подобен
выбор — я с ним не спешу.
Я знаю, что нужно решиться...
Пусть завтра, но не сейчас!

Мир еще бесконечен.
Еще все на свете возможно.
И все я навек потеряю,
потянувшись к чему-то рукой.

Еще целый миг все мое!

Считанные мгновения

О смерти мы стараемся не думать,
ее обходим, будто пропасть.
И скрывшись за опущенные шоры,
расположившись мягко и удобно,

сквозь пальцы пропускаем мы
земные
счи
тан
ны
е
краткие мгновенья.

Лицо

Ты рождаешься с лицом округлым,
гладким, как речной овальный камень.
Этот камень времени река
обтесала, сгладила, сровняла.
И неопытной рукой ты начинаешь
высекать, выдалбливать, чеканить —
создавать лицо свое из камня.
Камень этот тверже, чем гранит.
В нем сплелись невидимые жилки —
ты их получил от древних предков.
Каждый взмах твой стерегут они,
чтобы следовал ты их изгибам,
чтобы чей-то облик повторил.
Весь свой век сражаешься ты с камнем —
сам создатель свой и разрушитель.
Каждый шаг твой навсегда оставит
на лице печальную морщину,
тень вины и новую черту.
И любая мысль резцом, огнем
каждый миг твое чело ваяет.
Горе, подлость, и любовь, и боль
образ твой чеканят незаметно.

И когда создашь ты облик свой,
смерть — и та его уж не изменит.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

■

АНТОНИ ФЕЛПС

Минус бесконечность

РОМАН

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Перед могилой Александра Сергеевича Пушкина, в Святогорском монастыре, Антони Фелпс задержался, хотя остальные писатели, советские и зарубежные, прибывшие на Пушкинские дни, в благоговейном молчании выслушав слово о великом русском поэте, уже направлялись далее, к монастырской церкви, где должен был состояться торжественный концерт, посвященный его памяти.

Наконец оторвавшись от своих мыслей, гаитянский поэт произнес:

— Тридцать семь лет. Всего лишь тридцать семь лет было Пушкину, когда его сразила пуля врага. Ровно столько же было нашему Жаку Румэну, когда он погиб. Примерно столько же, чуть больше, было и нашему Жаку Стефену Алексису, замученному палачами Дювалье... Как созвучны судьбы поэтов столь далеких и столь разных стран — поэтов свободы, выступивших против деспотизма и пожертвовавших своей жизнью... Погибли и живы, живы в своей поэзии...

Высказанные вслух раздумья Антони Фелпса пробудили у меня воспоминания о давней, первой и последней, встрече с Жаком Румэном — выдающимся гаитянским писателем, ученым, основателем Коммунистической партии Гаити. Это было в Мехико в 1943 году — за год до его чрезвычайно ранней смерти. Находясь на дипломатической службе (тогдашний президент Гаити Эли Леско, разыгрывая роль «либерала», назначил его временным поверенным в делах гаитянской миссии в Мексике), Румэн вместе со своей женой Николь и двумя детьми жил в помещении миссии на авениде Мадеро, где, как он заметил, бывали и «чужие», и потому наша беседа, после знакомства, протекала во время недолгой прогулки по центру мексиканской столицы. Бросалось в глаза, что здоровье его весьма и весьма подорвано; от природы сухощавый, он выглядел изможденным, и вызывало удивление, откуда еще у человека энергия берется. Негромко, но живо расспрашивал он о Советском Союзе — так хотелось ему побывать у нас; и о положении на фронтах Великой Отечественной войны — с успешным наступлением Красной Армии им связывались надежды на лучшее будущее и своей родины. Он рассказывал о сложном процессе развития гаитянской литературы в стране, где литературные произведения пишут преимущественно на французском языке, а население в массе говорит на креольском,— сам он в то время работал над рукописью своего лиричнейшего романа «Хозяева росы», увидеть изданным который ему не довелось, как не довелось узнать, что первый перевод на другой язык — на русский — был напечатан в одном из первых номеров журнала «Иностранная литература».

Жак Румэн, естественно, не мог не коснуться национальной драмы Гаити — первой в Латинской Америке страны, провозгласившей независимость и поныне ее не обретшей. Выходец из аристократических кругов, он в период американской военной оккупации встал на сторону народа, организовывал забастовки, демонстрации протеста, в 1934 году основал первую в стране коммунистическую партию (из-за жестоких репрессий в начале 40-х годов она была вынуждена прекратить свое существование; восстановлена в середине того же десятилетия), испытал на себе полицейские преследования, тюрьмы, изгнание. Режим тирании сменявших друг друга диктаторов побудил Жака Румэна, по свидетельству его близкого друга, кубинского поэта Николаса Гильена, назвать свою родину «губкой, пропитанной кровью».

Открывший новую страницу в истории гаитянской литературы, вложивший все свои силы в дело прогресса и демократии, в дело освобождения Гаити, Жак Румэн буквально сгорел, сражаясь. Пламя его сердца, однако, не погасло — оно озарило и озаряет путь перед многими писателями-патриотами.

Одним из них был Жак Стефен Алексис, еще в студенческие годы вставший рядом с Жаком Румэном, позднее признанный своими соотечественниками «символом Гаити, страдающего, героического, сражающегося».

Подчеркивая значение Жака Румэна в гаитянской прозе и поэзии, Жак Стефен Алексис еще много лет назад писал в «Иностранной литературе»: «Своим бессмертным шедевром «Хозяева росы» Жак Румэн убедительно показал, что только социальный, воинствующий реализм, неразрывно связанный с перспективой будущего и борьбой за освобождение нашего народа, может привести гаитянскую литературу и искусство к вершинам художественного творчества». Вчера такой была путеводная звезда Алексиса, сегодня — это путеводная звезда Антони Фелпса, других прогрессивных поэтов и прозаиков Гаити.

Как-то беседуя с нами в редакции «Иностранной литературы», Жак Стефен Алексис, всегда полный оптимизма, что так гармонировало с его рослой, атлетической фигурой и даже с его профессией врача-невропатолога, делился своими творческими планами: он мечтал создать цикл из сорока романов о Гаити, названия и тематика которых — передавали его друзья — уже были помечены в записной книжке писателя. А написать он успел всего четыре книги (кроме опубликованного в «Иностранной литературе» романа «Деревья-музыканты», а также вышедшего в Москве романа «Добрый генерал Солнце» появились «Романсеро при свете звезд» и «В мгновение ока»)... Нелегально возвращаясь в апреле 1961 года на родину, чтобы продолжить активную борьбу против диктатуры Дювалье, он был схвачен при высадке на берег Гаити, брошен в тюремные застенки и, претерпев бесчеловечные пытки, убит... Трагически оборвался многообещавший творческий труд Жака-Солнце, любовно прозванного так товарищами по подполью, членами возрожденной им в конце 1959 года организации гаитянских коммунистов — Партии народного единения (ПНЕ), от имени которой он, незадолго до гибели, произносил пламенную речь на международном Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве.

По пути, намеченному Жаком Румэном и Жаком Стефеном Алексисом, ныне идет и Антони Фелпс, на чье творчество огромное воздействие оказали их идейные и эстетические взгляды, их мировоззрение, революционная убежденность, страстность.

Антони Фелпс, по суждению гаитянской прогрессивной литературной критики, «непоколебимый, патетичный, электризующий голос Гаити», принадлежит к поколению поэтов, сформировавшемуся в... подполье. «Сколь же могущественно чудо поэзии,— писал гаитянский поэт Рене Депестр,— если она может заставить распускаться цветы среди камней ада».

В подлинный ад превращена многострадальная земля Гаити с приходом к власти в 1957 году ставленника Соединенных Штатов Франсуа Дювалье. Некогда безвестный провинциальный лекарь, он пробрался было в созданный еще Жаком Румэном Этнографический центр и — по смерти Румэна, после ухода оттуда престарелого ученого Жана Прис-Марса — использовал это научное учреждение для пропаганды антинаучных «доктрин», для толкования в реакционно-мистическом духе древнего негритянского культа воду и теории «негритюда» с единственной целью: поставить на колени народные массы, бесправные, нищие, голодные, почти поголовно неграмотные. А заодно «научно обосновать» особые привилегии местной олигархии, подвизающейся вкупе с монополиями США.

Террор, насилие, пытки, казни воцарились на Гаити. Дювалье запретил деятельность всех политических партий и объединений. По указу Дювалье так называемая «палата депутатов» приняла «закон», осуждающий на смертную казнь каждого, кто «в любой форме исповедует коммунистическую веру, устно или письменно, гласно или негласно, либо распространяет коммунистическое учение, поддерживает устную или письменную связь с ассоциациями или отдельными лицами, посвятившими себя распространению коммунистических идей». По этому же «закону» смерть ожидает каждого владельца книжной лавки, издателя, священника, проповедника, профессора или учителя, «оказывающего содействие коммунистам». Собственно, и до принятия такого «закона» смерть — без следствия и суда — преследовала всякого, кто осмеливался поднять голос против тирании Дювалье, кого просто подозревали в «подрывных мыслях». Тонтон-макуты — злые духи из народной мифологии — отборные убийцы из тайной охранки Дювалье — обеспечивали ему не только «кладбищенское безмолвие» в стране, но и «переизбрание», а затем провозглашение «пожизненным президентом» (на смену Франсуа Дювалье, умершему в 1971 году, пришел его сын, Жан-Клод, правящий теми же террористическими методами). Гаитянский литератор Люк де Энносан, выступая на Латиноамериканском конгрессе писателей в Каракасе, подтвердил, что «жизнь каждого гаитянина висит на волоске, все определяется прихотью какого-нибудь тонтон-макута».

Спустя три года после того, как Франсуа Дювалье занял президентский дворец в Порт-о-Пренсе, вышла в свет первая поэтическая книжка Антони Фелпса, отдельные стихи которого, правда, появлялись и ранее в периодических изданиях. Гражданские

мотивы в его последующих сборниках — «Взорванное молчание» и «Присутствие» — не могли не привлечь внимание читателей, кругов интеллигенции гаитянской столицы. Публикация этих сборников не прошла незамеченной и тонтон-макутами, как не прошла незамеченной деятельность молодых поэтов, группировавшихся вокруг журналов «Литературный Гаити» и «Сев», в которых сотрудничал Фелпс. Журналы были закрыты, а молодые писатели, в том числе Фелпс, заключены в тюрьмы.

Дювалье развернул дикую кампанию физического уничтожения сторонников демократии, прежде всего — деятелей культуры. Антони Фелпсу, выбравшемуся из тюрьмы, пришлось временно покинуть родину. Уже десять лет Фелпс живет в изгнании. Не он один — в эмиграции по сути находится почти вся гаитянская литература, спасаясь от антинародного, обскурантистского режима династии Дювалье. Изгнанниками стали известные поэты и прозаики — Жан Ф. Бриер, Жан-Ришар Лафоре, Феликс Морисео-Леруа, Рене Депестр, Люсьен Лемуан, Франк Фуше, Давертиж, другие. Двадцатичетырехлетний поэт Жак Вио Рено сражался и погиб на стороне доминиканских патриотов, защищавших свою родную землю от интервенции Соединенных Штатов в 1965 году. Безработица, безземелье, нищета, голод, страх перед кровавыми репрессиями, произволом тонтон-макутов вызвали массовую эмиграцию всех, кто смог выехать в соседние или более дальние страны — несколько сот тысяч гаитян, по подсчетам латиноамериканской печати, бежало из ада Дювалье-отца и Дювалье-сына.

«Duvalier est votre Dieu» — «Дювалье — ваш бог» — каждодневно вещала пропаганда диктатора. Радио, телевидение, газеты Порт-о-Пренса пытаются уверять, что режим Дювалье прочен, незыблем, вечен.

Свой первый роман в прозе поэт Антони Фелпс назвал «Минус бесконечность». Что же это означает? В тексте произведения автор, на первый взгляд, не расшифровывает название. Однако подумаем. Минус бесконечность. Бесконечность. Бесконечность, по философскому определению, отсутствие начала и конца во времени, безграничность в пространстве. Не на это ли претендуют большие и малые диктаторы? Гитлер ведь тоже в свое время трезвонил насчет «тысячелетнего третьего рейха». Дювалье присвоил себе всемогущество и вездесущие, во веки веков, божье. А в математике бесконечность — воображаемая величина, бóльшая всякой данной. А в математике минус, как известно, знак, обозначающий действие вычитания, отрицательное число, отрицательную величину. Следовательно, минус зачеркивает иллюзорное представление всяческих дювалье, «воображаемых величин», о бесконечном их господстве. Опять-таки, как не вспомнить тех, кому тщатся подражать дювалье, запродавшие Гаити американским монополиям на девяносто девять лет, установившие в стране фашистский режим!

Династия Дювалье издает «антикоммунистические законы», террором рассчитывая запугать народ. Но в стране, в глубоком подполье, назревает сопротивление, сплачиваются силы для предстоящих решающих битв. В течение последних лет основанная Жаком Стефеном Алексисом Партия народного единения, слившись с Союзом гаитянских демократов, в котором были представлены прогрессивная интеллигенция и антидиктаторски настроенные круги мелкой буржуазии, вступила в борьбу как Объединенная партия гаитянских коммунистов. В первых рядах бойцов — и гаитянское студенчество.

На страницах романа Антони Фелпса мы знакомимся с патриотами, борцами гаитянского подпольного сопротивления.

Обстановка невероятно сложна. Со многими исключительно серьезными, в высшей степени ответственными проблемами теоретического и практического характера приходится сталкиваться действующей в гаитянской столице группе, в состав которой входят поэты, архитекторы, художники, студенты... Проблемы конспирации и проблемы тактики боевых действий. Проблемы единства левых сил. Проблемы эмиграции. Проблемы политической подготовки. Проблемы общего революционного движения в стране... Провалы, аресты, гибель соратников...

Поэтическому повествованию Антони Фелпса, впервые выступающему в прозе, свойствен весьма своеобразный, неровный, подчас нервный тон. Как бы слышится, по словам одного из героев романа, «песня страдания, песня боли и крови, пыток и смерти».

Борьба патриотов тяжела, крайне тяжела.

Читатель, несомненно, обратит внимание на открывающее роман Антони Фелпса посвящение. Первое имя — это имя, к счастью, здравствующей, милой супруги автора. А другие?

Раймон Жан-Франсуа... Он был секретарем Центрального Комитета Объединенной партии гаитянских коммунистов — это к нему Фелпсом обращено взволнованное «Письмо моему товарищу Раймону Жан-Франсуа, героическому борцу, павшему 2 июля 1969 года от пуль врагов Родины», напечатанное в «Иностранной литературе» (№ 9, 1971).

Жаклин Волель-Бриссон... Первая гаитянка, ставшая дипломированным инженером, после ареста находилась в тюрьме Национального (президентского) дворца, была подвергнута ужасным пыткам, погибла.

Жеральд Бриссон... Был секретарем Центрального Комитета Объединенной партии гаитянских коммунистов, убит.

Никлерк Кассеюс, Жак Жанно, Даниэль Сансарик, Жерар Вадестран... Руководители, активисты, рядовые бойцы авангарда гаитянского народа, павшие в бою. Вместе с ними — незримо — Жак Румэн, Жак Стефен Алексис.

Нет, роман Антони Фелпса — не реквием павшим. Это — память о героях, это — призыв к борьбе, это — песнь надежды.

Диктатуре и ее тонтон-макутам не удается подавить народное возмущение. Гнев и ненависть гаитянского народа прорываются в революционных выступлениях, о которых время от времени, несмотря на свирепствующую цензуру, проникают вести из страны-тюрьмы.

Революционное движение нарастает в Гаити как морской прилив, и недалек час — обрушится сокрушающим валом на диктаторский режим, снесет его с земли Румэна и Алексиса.

Незабываемый наш друг Жак Стефен Алексис с трибуны III съезда советских писателей заявил: «Падут последние цепи». Голос его звучал уверенно. Такой же уверенностью проникнут роман Антони Фелпса — верой в конечную победу гаитянского народа.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Элен, моему талисману,

а также Раймону Жан-Франсуа
Жаклин Волель-Бриссон,
Жеральду Бриссону,
Никлерку Кассеюсу,
Жаку Жанно,
Даниэлю Сансарику,
Жерару Вадестрану.

Марко́ остановил свой маленький «фольксваген» позади Пегаса — потрепанного «виллиса» бледно-горчичного цвета.

— Надеюсь, Жанна и Мари уже приехали,— заметила его спутница.— Зверски хочется есть...

И, засмеявшись, вышла из машины. В тупике, скупо освещенном одним-единственным фонарем, было пусто. На противоположной стороне голая лампочка бросала резкий свет во двор галереи Брошетт. Пронзительно трещали цикады, стараясь перекрыть настойчивый гул Порт-о-Пренса, сильный и ровный гул, из которого вырывались удары водуистского барабана [1], временами заглушаемые порывами бриза. Цикады и барабаны в ту пору еще полновластно царили в гаитянских ночах, вольно переговариваясь на просторе.

Марко подошел к молодой женщине. Подняв вверх голову, она смотрела на декабрьское небо, усеянное яркими звездами.

— Ну разве не чудо! — сказал он и обнял ее за плечи.

— Да! Небо выставило напоказ все свои драгоценности. Глаз не отведешь! Скажи, Марко, а ты умеешь их различать? По именам?

— Только некоторые. Вот, например, это созвездие прямо над нами — Малая Медведица.

— А для меня все они на одно лицо. Никогда не умела их узнавать. Зато могу показать тебе Венеру. Гляди, вот она. Самая красивая, и не мерцает.

— Нет, самая красивая — здесь, у меня в руках. Это Пола́, моя земная звезда.

Он прижал ее к себе. Несколько секунд они стояли неподвижно, потом она мягко высвободилась.

— Пошли,— сказала она, беря Марко за руку.— Я что-то придумала.

И потащила его к кованой железной ограде, окружавшей Инкубатор. Из деревянного домика, стоящего в глубине аллеи, глухо до-

[1] Атрибут гаитянского народного культа воду.

носились музыка и голоса; время от времени чей-нибудь силуэт вырисовывался в широком проеме окна.

— Что же ты придумала?

Она без улыбки поглядела на него.

— Обещай, что не будешь надо мной смеяться.

— Обещаю.

— Тогда сделаем, как в прошлом году.

— А что мы сделали в прошлом году?

— Ты уже и забыл? Прежде чем войти, ты решил представить мне всех через окно.

— Да, да,— засмеялся он,— теперь вспомнил. Ты немножко робела перед первым знакомством.

— Немножко множко... Ну как, согласен?

Марко взглянул на обращенное к нему прекрасное лицо. Он знал ее больше года, но так и не привык еще к неожиданным ее порывам, и всякий раз, когда свежая волна накатывала на девушку, скрывая под собой трезвую и деловитую подпольщицу, Марко молил судьбу, чтобы его подруга никогда не утрачивала этой чудесной юной непосредственности.

— Идем,— сказал он.

Чтобы их ненароком не заметили из окна гостиной, они не пошли по усыпанной гравием аллее, а свернули влево и двинулись напрямик через сад, обходя розовые кусты, заросли папоротника и клумбы с георгинами. Перешагнули через куртину с гвоздиками и крадучись проскользнули вдоль стены Инкубатора. Веселый шум вечеринки стал громче, долетали обрывки фраз.

— Думаешь, все собрались?

— Во всяком случае, все пятеро поэтов уже здесь: Пегас на улице.

Обогнули дом и остановились возле окна, чуть отступив в тень. С того места, где стоял Марко, просматривалась вся гостиная.

— Тебе видно?

— Да, но приходится все время вставать на цыпочки, это неудобно.

Она была ниже его ростом.

— Погоди-ка, сейчас я что-нибудь отыщу.

Он оглянулся, увидел сарай, смутно темневший в глубине двора.

— Ага, вот это, кажется, подойдет.

Он направился к недавно поставленному сараю, вытащил из груды строительных отходов два небольших цементных блока и принес на свой наблюдательный пост.

— Вот тебе пьедестал.

Она вскочила на блоки.

— Отлично видно, как из ложи. Гляди, теперь я почти одного роста с тобой.

Он обнял ее за плечи.

— Итак, начинаем? Сперва — хозяин Инкубатора. Вон тот, длинный, он сейчас ром разливает. Узнаешь?

— Да, поэт Бенуа Пардо.

— Точно.

— Почему он назвал свой дом Инкубатором?

— Наименование подобрал Мишель, и оно так здорово подошло к атмосфере дома, что мы сразу его приняли.

— И правда, здесь так славно дышится! Будто обволакивает теплом. Должно быть, это от книг, от картин...

— Стоп-стоп-стоп! Пола, ты забегаешь вперед! Ты ведь еще ни разу не переступала порога этого дома. У нас сейчас прошлый год.

— Правильно,— засмеялась она.— Тогда продолжай.

— На чем же я остановился? Ах, да. Уже три года, как эта хибарка служит нам приютом. Только не надо понимать прозвание Инкубатор превратно. Оно означает сотворение, рождение живого, питомник, а вовсе не теплицу, не укрытие от жизненных бурь. Впрочем, и его хозяина наседкой не назовешь. Это скорее тиран, который все время заставляет нас работать, творить. Бывают минуты, когда хочется свернуть ему шею. Упрям как осел. Любит читать нравоучения, будто китаец. Сумасшедший курильщик. Выкуривает больше сорока сигарет в сутки. Других пороков за ним не замечено.

— А женщин любит?

— Это не порок... Вместе с твоим дядей, папашей Эмилем, владеет радиостанцией 4 VPM...

— Чьи воскресные литературные передачи я слушаю с наслаждением.

— Непременно доложим Бенуа, это ему понравится.

— А кто вон тот худощавый, с профилем хищной птицы?

— Мишель. Тоже поэт. Мишель Лакруа. Механик по профессии, поэт по необходимости. Или наоборот. Владелец Пегаса, открытой машины бледно-горчичного цвета, которую ты видела у ворот. Пегас — излюбленное средство передвижения у поэтов, и Мишель его непременный водитель. Яростный противник участия поэзии в политической борьбе. Пишет красивые стихи и мог бы, наверно, всю свою жизнь прожить в беседах о философии и литературе. Выпивоха. Не пропускает ни одной юбки. Сам называет себя шлюхой мужского рода. Непоседа, больше десяти минут на одном месте усидеть не в силах. Вот он как раз и поднимается. Если Бенуа — мозг и двигатель поэтической группы, то Мишель — ее душа.

— На вид симпатичен.

— Да, ты сразу его полюбишь. Ну, а парня в очках, к которому он сейчас обратился, ты уже знаешь.

— Да, это Жан-Луи Матье. Он в прошлом году окончил педагогический институт, историческое отделение.

— Матье моложе всех в группе. Теоретик и человек дела. Обожает Пардо. Кстати, именно Бенуа первым и познакомил его с марксистскими книгами. А видишь человека, который меняет катушку на магнитофоне? Высокий, в синей рубашке?

— Кто же это?

— Эдуар Лану.

— Я эту фамилию где-то слышала.

— Наверно, читала его статьи о воду́. Это его специальность. Он этнограф. Он и Матье возглавляют группу в политическом плане.

— А я думала, что Пардо.

— Бенуа у нас мастер на все руки. Но истинное его призвание — литература. Это он был инициатором диалога между политическими деятелями, принадлежащими к ПНЕ, и писателями, творческими работниками. А тот, кто входит сейчас в комнату, это Габриэль Люкнер, один из лучших наших художников. Он живет рядом, руководит галереей Брошетт — знаешь, напротив Инкубатора.

— Мне очень нравятся его работы. Но скажи, пожалуйста, кто это сидит возле Матье? Не Жак ли Маршан?

— Да, это он. Самый гаитянский поэт из группы пяти. Всегда использует в своих стихах креольские образы и выражения.

— А вон тот, который сейчас начал петь? Мне кажется, я как-то видела его с тобой.

— А, это Эдгар Делоз, поэт-эпикуреец. Ест за десятерых. Пить не умеет. Уже третий раз наполняет свой бокал. Такое впечатление, будто он боится, как бы остальные его не обскакали и не осушили без него бутылку. В этаком ритме он через полчаса будет мертвецки

пьян. Ленив, как кот. Всегда чешется, без малейшего стеснения скребет то макушку, то брюхо и вообще плюет на хорошие манеры. Когда их приглашают куда-нибудь, Бенуа в ужасе и глаз с него не спускает. Мишель прозвал его Башмаком. Эдгар сам прекрасно знает про свою невоздержанность, но это сильнее его, он не может ничего с собой поделать. Да на него и сердиться нельзя.

— Физиономия жирного ангела.

— Жирного и очень невоспитанного.

— А чем он занимается кроме поэзии?

— Работает продавцом в магазине.

— Значит, единственный, кого ты мне еще не представил, это Симон Надаль.

— Да. Его день рождения мы сегодня и отмечаем.

— Неужели в вашей группе нет ни одной женщины?

— Почему же? Есть. Мари, жена Жака, и Жанна, жена Эдгара, они явятся в половине десятого вместе с Надин и Жаклин. Стряпают грио [1], пекут праздничный торт для Симона.

— А кто такие Надин и Жаклин?

— Надин — подруга Мишеля. Его великая любовь и всепоглощающая страсть.

— Мишель — тот самый, кто называет себя...

— Шлюхой в мужском роде. Да, это он.

— И при этом — великая любовь?

— Нужно будет его спросить.

— Спрошу обязательно. Я даже помню его ответ: «Предаваться любви и любить — две разные вещи. Чтобы любить, нужно еще и сердце».

— Значит, возвращаемся в сегодняшний день?

— Только не сразу. Ты еще не сказал мне, кто такая Жаклин.

— А ведь ты должна ее знать, если в самом деле слушаешь литературные передачи Бенуа.

— О, неужто Жаклин Тенье?

— Да, женский голос номер один радиостанции 4 VPM. Лучшая исполнительница стихов Бенуа, а также, я подозреваю, его великая тайная любовь.

— Ты думаешь, что...

— Я сказал — подозреваю.

— В таком случае, они не похожи на нас с тобой.

— Конечно, не похожи...

— Мы же — единственные в мире.

— А вот это уже нечестно — красть мои реплики!

— Потому что мы уже вернулись в сегодняшний день, а сегодня — восьмое декабря одна тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года, и Жаклин Тенье нынче здесь не будет, вот уже четыре месяца, как она покинула Гаити, уехала с мужем и тремя детьми в Нью-Йорк. Скажи, ты и в самом деле считаешь, что Бенуа и Жаклин...

— Об этом мне ничего неизвестно. Я ведь тебе говорил, что у меня нет доказательств. Не буду же я спрашивать у Бенуа, был ли он любовником Жаклин.

— Ах, мне так их жалко, если они друг друга любили и приходилось им встречаться тайком. А Пола и Марко ни от кого не прячутся. Им не надо скрывать свою любовь. Хотят целоваться — и целуются, где бы в этот миг они ни оказались. Вот здесь, например...

— Что это вы тут делаете, скажите на милость!

Пола и Марко так и подскочили. Они не заметили, как Мишель

---

[1] Блюдо из жареной свинины.

подошел к окну. Склонившись над подоконником, он с улыбкой глядел на них.

— Сам видишь, целуемся.

— Вижу, вижу, я ведь не слепой. И не глухой и слышал поэтому, как подъехал ваш «фольксваген». Но скажи, пожалуйста, Марко, ты всегда подставляешь под ноги Полы цементные блоки, когда собираешься ее поцеловать? Да ты сексуальный маньяк, честное слово! Бенуа,— крикнул он в глубину дома,— иди сюда скорей, тут во дворе шпионы!

Пола смеясь спрыгнула со своего пьедестала, пробежала вдоль стены, обогнула дом и, переводя дух, остановилась на веранде. Марко догнал ее, и оба весело ворвались в Инкубатор.

Пола выключила транзистор и положила голову на плечо Марко. Рокот прибоя звучал в ушах, как легкое эхо только что выслушанных стихов, и оба долго лежали, не шевелясь и не говоря ни слова, на песке этой крохотной бухты, окруженной магнолиями и кокосовыми пальмами. Они были совсем одни, вдали от людей: они жили сейчас в мире своей мечты — единственные жители чудесной планеты, медленно плывущей в безбрежном пространстве.

Но мало-помалу волшебство поэзии стало рассеиваться, образы, навеянные стихами, один за другим растворялись, как мимолетные очертания облаков, которые сохраняются в небе лишь какую-то долю секунды, и не успеешь на них взглянуть, не успеешь кому-нибудь их показать, а они уже изменили свой облик... Шелест пальмовых листьев, шум набегающих на берег волн, ворчанье грузовика на далекой дороге постепенно возвращали Марко и Полу к реальности, снова включали их в каждодневную жизнь.

— Как печальна красота,— прошептал он.— Она напоминает нам о том, чего мы лишены.

Кивнув головой, она оторвалась от него и села на пляжное полотенце.

— Чудно́! — проговорила она.— В течение всей передачи у меня было ощущение, что я слушаю текст впервые. Даже собственный голос показался мне чужим. Наверно, Бенуа потому и не дал нам вчера прослушать пленку, чтобы она явилась для нас сюрпризом.

— Передача прекрасна, Пола. Пожалуй, это самое лучшее, что сделала группа за четыре года.

— Главная заслуга принадлежит Бенуа. Он уже давно задумал такой монтаж, но мы смертельно боялись поэтического текста. Очень ведь трудно, чтобы диалоги, составленные из стихотворных кусков, звучали естественно, а полууспех казался нам хуже провала. Отъезд Жаклин ускорил события, Бенуа и сам стал работать как одержимый, и нас все время подстегивал. Каждую сцену переписывали по десять раз. Из-за одного слова, из-за одной неточной интонации он заставлял повторять всю реплику. Я и не предполагала, что он может быть таким придирой. Мы по пятнадцать часов не вылезали из студии! Заключительный монтаж занял неделю. А вчера он нам торжественно объявил: «Вечером празднуем! Работа закончена, дети мои». И не разрешил прослушать запись, только сказал: «Поверьте уж на слово, поработали вы замечательно. Замечательно!» И он оказался прав. Как хорошо, что я участвовала в этой передаче.

Пола гордилась своими успехами. За минувшие полгода ее голос окреп, обрел необычайную гибкость. Она умела теперь легко и уверенно менять интонации, и всем этим она обязана Бенуа, его советам, его терпеливой работе. Он показал ей, как некрасиво звучит фраза, если повышать тон на последних слогах. «Ты педалируешь,—

говорил он.— Пусть голос течет свободно». И еще: «Не жалей красок, Пола! Слова в языке не бесцветны. Есть зеленые слова, есть красные, есть черные. А твои получаются серыми. Вдохни в них жизнь!» Но самые большие мучения были у нее со звуком «р». «Это не только твоя беда, Пола. Все мы, антильцы, замешаны на добрых креольских дрожжах, мы все норовим улизнуть от этого звука. Ну-ка, скажи, рыжий, ражий, с красной рожей!» Сколько часов провела она за этим упражнением, держа перед губами карандаш — и без всякого карандаша! Но все же в конце концов она его укротила, это предательское «р»...

Пола вспомнила субботний день, когда она пришла на радиостанцию 4 VPM для первой пробы... Быстро взбежала по лестнице, немного постояла на площадке, переводя дыхание. Сердце у нее колотилось — и, наверно, не только из-за этих тридцати двух ступенек...

— Значит, ты хочешь участвовать в наших литературных передачах?

— Да, хотелось бы попробовать. Только я никогда не работала в театре. Если не считать крохотных ролей в ученических спектаклях, когда училась в коллеже, у сестер...

— Театр тут ни при чем. На радио все по-другому. Мне как раз нужен еще один женский голос, а у тебя он, по-моему, даже более низкий, чем у Жаклин. Сделаем сейчас пробу; если она будет удачной, мы тебя с радостью примем. Мы требуем одного — относиться к делу серьезно. И — полная самоотдача...

Голос Монтана, услышанный ею внизу, сюда долетал более явственно. Песня была знакомой, но Пола никак не могла вспомнить ее название. «А вспомнить обязательно нужно, иначе меня не возьмут... Да-да, это, конечно, Превер, но как называется стихотворение?..»

— Понимаешь, 4 VPM не имеет возможности платить исполнителям. В течение двух лет я пытаюсь найти доброхота, который согласился бы финансировать наш воскресный радиотеатр, но пока все напрасно. И поэтому нам нужны парни и девушки, по-настоящему влюбленные в театр, готовые безвозмездно отдавать ему свои субботние вечера. Ведь когда я назначаю репетицию с четырьмя или пятью актерами, я должен быть абсолютно уверен, что явятся все, а если хотя бы один не придет, вся моя программа летит к черту. Но с другой стороны, что я могу сказать тому, кто меня подвел? Сама посуди! Ребята работают на чистом энтузиазме. Конечно, иногда я их и ругаю, но не слишком уж сильно. И потом, у каждого всегда найдется уважительная причина. Чаще всего свидание с дамой... Вот и пришлось мне свести свою группу к минимуму. Два мужских голоса, не считая моего, и один женский — Жаклин.

— В таком случае, мне рассчитывать не на что...

— Кто тебе сказал? Если голос у тебя радиофоничный, можешь быть уверена, мы непременно тебя используем. Текстов у нас хватает. Но ты должна ясно себе представить, что придется пожертвовать всеми субботними вечерами.

Ах, ну конечно... «Сангина»! Название вспомнилось за секунду до конца песни. «Сангина» Жака Превера в исполнении Монтана. Короткая пауза, потом голос диктора: «Вы слушали очередную передачу из цикла «Французская песня». Мы передавали песни в исполнении Жоржа Брассенса и Ива Монтана. Проверьте ваши часы. Сейчас два часа двадцать девять минут. Для вас, женщины. Если вы хотите, чтобы ваша улыбка была ослепительна...» Пола улыбнулась при мысли, что на свидание с Бенуа она не опоздала. «Приходи в половине третьего, остальные явятся не раньше трех, нам никто не помешает, пробную запись проведем без чужих ушей». «...покупайте гардоль. Делает зубы белоснежными и предохраняет их от болезней. Вы слу-

шаете передачи радиостанции 4 VPM из Порт-о-Пренса». На радиостанцию ее привез Марко, привез и пошел прогуляться, потому что Пола ни за что не хотела, чтобы он присутствовал на пробе. При нем бы она совсем оробела и ничего бы не смогла прочесть... Когда она вышла с Бенуа в холл и направилась к студии, все ее страхи как рукой сняло. Что ее тогда успокоило — ритм ли меринги, струившийся из репродуктора, или чувство радости от того, что она вспомнила название преверовской песни?..

— Да,— повторила она,— я горжусь, что участвовала в этой передаче.

Марко приподнялся и сел рядом.

— Я тоже горжусь тобой, Пола. И не только тем, что́ ты делаешь на радиостанции. Товарищи очень ценят твою работу для партии. Возможно даже, тебе будут поручать и более ответственные задачи.

— Ах, Марко, я так хочу делать еще больше!

— Знаю. А пока что тебя ожидает задание довольно легкое.

Он протянул руку к пачке «Сплендида».

— Хочешь сигарету?

— Нет, спасибо. Так какое же поручение?

— У тебя, кажется, есть родственники в Леогане?

— Да, двоюродный брат матери, он же — мой крестный. А что?

— Именно это и облегчит твою задачу.

Он закурил и стал задумчиво вертеть зажигалку.

— Не томи душу, Марко!

— Так вот, мы установили связь с тамошними товарищами, и они просят прислать им в помощь кого-нибудь из наших, чтобы создать в районе крепкую организацию. Но все, кто более или менее знаком с такого рода работой, находятся под надзором. Положение особенно осложнилось после недавних событий. Про дело о коровах слыхала?

Да, она читала об этом в «Вуа дю пёпль»[1]. Несколько крестьян из Леогана вышли из терпения, накинулись с ножами на коров Пожизненного[2], топтавших посевы, и перерезали горло доброму десятку несчастных жвачных...

— Семерых зачинщиков схватили,— продолжил Марко,— зверски пытали, потом убили. Двое из них были связаны с нами. Эта карательная операция макутов так запугала жителей, что больше они не решаются гнать президентскую скотину со своих участков. Так что коровы Отца Народа, того и гляди, превратятся в священных животных. Скажи, а чем занимается в Леогане твой крестный?

— У него там плантация сахарного тростника и лавчонка у въезда в город.

— Ты могла бы устроить так, чтобы он пригласил тебя недели на две?

— Пожалуй, могла бы. Я несколько раз проводила у него каникулы. Но зачем мне туда ехать?

Марко зарыл окурок в песок.

— Мы хотим отправить в Леоган эмиссара и подумали о тебе. Ты была бы нашим полномочным послом. Задание требует большого такта и сноровки. Конечно, дать тамошним ребятам готовых решений ты не сумеешь — с местными условиями ты не знакома. Но ты будешь представлять Центральный Комитет. Будешь смотреть и слушать.

— Прямо и не знаю, Марко, что тебе на это сказать... И потом, как я найду людей?

---

[1] Подпольная газета Партии народного единения.

[2] Ф. Дювалье объявил себя в 1964 году «пожизненным президентом» Гаити.

— Тебя встретят товарищи из местной организации. Задача у тебя будет скорее психологического порядка. И только ты одна способна с ней справиться. Тебя не знают, твой приезд не вызовет у макутов никаких подозрений. А тебе это даст возможность познакомиться с жизнью крестьян, такой опыт будет для тебя очень полезен. Надеюсь, ты согласишься.

— И ехать туда надо, наверно, как можно скорее,— сказала Пола и погрустнела.

Марко обнял ее за плечи.

— Я знаю, о чем ты думаешь, Пола. Не видеться две недели — это очень долго. Но ведь каникулы еще не кончаются. У нас с тобой впереди весь сентябрь. Будем приезжать сюда каждый день.

Она взяла горсть песка и смотрела, как он струится между пальцами.

— В сентябре начнутся дожди,— прошептала она. Но тут же встрепенулась: — Ой, прости меня, Марко! Я не отказываюсь от задания, хочу быть полезной для партии, но ты ведь сам понимаешь, мы в первый раз расстаемся с тобой. Ты мне сейчас говорил, а я только об одном думала: Пола и Марко должны расстаться, они целых две недели не будут видеть друг друга. Две недели! Ведь это целая вечность! — Она прильнула к его груди.— Прости, милый, я веду себя как дурочка. Хочу стать настоящей подпольщицей, а сама только о своем личном и думаю!

Он приподнял за подбородок ее голову, взял в ладони обращенное к нему лицо, сказал:

— Подпольщики тоже не из дерева сделаны. И чувства у них такие же, как у всех. Когда Матье сказал мне про это задание, первая моя реакция была та же, что и твоя. Но пройдут эти две недели, мы с тобой встретимся, и это будет для нас еще большая радость. Наша любовь в разлуке окрепнет, и ты будешь гордиться, что помогла партии. А теперь давай больше об этом не думать, ладно? Пока еще ничего не решено, и мы с тобой вместе,— он вскочил на ноги,— и светит солнце, и вода в море должна быть удивительно теплой.

С этими словами он быстро нагнулся и подхватил ее на руки. Она вскрикнула, со счастливым смехом обняла его за шею, и он со своей ношей кинулся в море.

Когда она вошла в холл Французского института Гаити, ее ослепили солнечные лучи, пронизавшие кованую арматуру фасада. Она зажмурилась и нашарила в сумочке темные очки.

— Как поживаешь, Пола?

Пола обернулась и подняла голову, на площадке винтовой лестницы стоял человек.

— А, это ты, Рене? Здравствуй. У меня все в порядке. А у тебя?

Рене Дюбуа, библиотекарь Французского института, основанного здесь сразу после войны, быстро сбежал по металлическим ступенькам вниз. «Он еще больше располнел,— подумала Пола.— Жизнь в этом тихом уголке пошла ему на пользу».

— С новым годом поздравить тебя не поздно? — спросил Рене.

— Ничуть! — засмеялась Пола.— Сегодня еще только десятое, и я здесь впервые в этом году...

Она подставила ему щеку для поцелуя.

— Как провел праздники?

— Как всегда: прием в посольстве и новогодняя ночь здесь, с женой и несколькими друзьями.

— А это, верно, тяжело — не иметь права пойти куда хочется.

— Тяжело только поначалу. Потом привыкаешь. Ведь уже шесть лет прошло. К тому же я всегда чем-то занят. Учусь. Фильмы смотрю. Вижусь с людьми. Так что здесь у меня не тюрьма, а нечто вроде почетной ссылки. Вспомни о тех, кто укрывается в латиноамериканских посольствах... Так что мне еще повезло.

Рене Дюбуа жил во Французском институте на особом положении. С тех пор как тонтон-макуты дважды нападали на него, когда он возвращался с работы домой, он больше не покидал здания культурной миссии, и французское посольство выделило ему здесь квартиру. Официально это не было политическим убежищем, но институт находился под опекой посольства, и на Рене в какой-то мере распространялось право дипломатической неприкосновенности. Раза два в месяц он выезжал из института в Бурдон, чтобы показать персоналу посольства новые фильмы, и пользовался для этих коротких вылазок посольской машиной.

— Значит, теперь у вас в педагогическом новый преподаватель гаитянской литературы?

— Жан Сен-Сир? К счастью, я не имею к нему никакого отношения,— сказала Пола.— А вот первокурсников жалко. Надо же, такая бездарность — и вдруг профессор!

— Ты его книгу читала?

— «Классы и литература»? Нет. Духа не хватило. Я ее только перелистала — и уже сыта по горло.

— Зря, такое стоит прочесть! Поразительно подлая книжонка! Бред в духе Дювалье. И к тому же чудовищно плохо написана.

— Привет, Дюбуа!

— Алло, Ривьер!

Рене и Пола оглянулись. В холл из библиотеки вышла группа студентов.

— Привет, ребята!

— До завтра!

Студенты выбегали из института, рассыпáлись по бульвару Гарри Трумена.

— Уже четверть первого. Извини, я тебя задержал, Пола.

— Да что ты, Рене, я очень рада. У меня еще есть время, мы встретимся с Марко в половине первого, в баре «Сансет».

— Давно я не видал Марко,— сказал Рене.— Как он поживает? По-прежнему в фирме «Сеймур и Морен»?

— Да. Сейчас они собираются строить виллы в Мартиссане.

— Это хорошо. Пока есть работа, в этой стране еще как-то можно продержаться. Скажи, ты что-нибудь слышала про Лану?

— Про Эдуара? Нет. Ничего нового. Мы знаем только, что он в военном госпитале. Но что с ним, неизвестно.

— Так вот, он в полном здравии, и через несколько дней его выпишут.

— Ты в этом уверен, Рене?

— Сведения самые верные. Вчера я видел Молле, он работает в военном госпитале хирургом. Молле говорит, что Лану получил пулю в колено и рана почти зажила.

— Это чудесная новость, Рене! — воскликнула Пола.— Тут столько болтали всякого...

После инцидента в кафе «Дю Пор», в декабре минувшего года, по городу прошел слух, что в драке с макутами Эдуара убили. Кое-кто уверял, что он весь изрешечен пулями. Потом выяснилось, что Эдуар лежит в военном госпитале, но говорили, что он очень плох, чуть ли не при смерти.

— Рене, это прекрасно! Надо поскорей Марко рассказать.

— Значит, толстяк Рене еще может кое в чем пригодиться? Если у него и связаны руки, то хоть сведения надежны! До встречи, Пола!

Они, смеясь, обменялись рукопожатием.

— Приятного тебе аппетита и привет Марко.

— Спасибо. Кланяйся жене.

Она поправила темные очки и быстро вышла из дверей института навстречу раскаленному солнцу.

Площадь Марсова поля пустынна. Справа, возле входа в кинотеатр «Рекс», несколько автомашин — их хозяева сидят, верно, на девятичасовом сеансе. Вестерн. Пола вспомнила, что видела где-то сегодня рекламу этого фильма. Напротив темнеет массив Трибун. Она пройдет сзади них, мимо бывшего детского парка, до перекрестка. Там у нее первая остановка — этнографический факультет. Кинет пять-шесть листовок во двор, а то и наклеит несколько штук на ограду. Только надо проделать все быстро, очень быстро. И чтобы никто ничего не заметил из окон, которые выходят на улицу. Потом она спустится вниз — улица там идет под уклон,— свернет влево, перейдет на другую сторону. Клиника Ассад. Юридический и стоматологический факультеты. Легче всего будет, пожалуй, на медицинском. Впрочем, чего зря гадать, на месте будет виднее. Рядом темный массив Трибун. Скоро карнавал, скоро на эти железные ступени ринется штурмом нарядно одетая толпа, и зазывно загудят барабаны, и зазвучат в репродукторах знойные ритмы меринги. Площадь Марсова поля до отказа заполнится пестрыми масками. Покажут свое радостное искусство плетельщицы. Они возьмутся за концы разноцветных лент, привязанных к самой верхушке высокой мачты, и закружатся в пляске, и с каждой новой танцевальной фигурой деревянный стебель будет на глазах восхищенных зрителей обрастать все новыми диковинными цветами. Но танец закончился. На солнце сверкают яркие юбки. Плетельщицы присели в реверансе, но тут же выпрямились и начали расплетаться и с нарочитой медлительностью распутывать хитроумное свое плетение, и обнажается вознесенная к небесам мачта, и, восторгаясь чудесным искусством, радостно хлопает в ладоши девочка, которая сидит на плечах у отца, опираясь локтями о его голову. Ламайоты, владельцы чудесных ящичков, доверху полных сюрпризами, за десять сантимов дадут тебе заглянуть в заманчивые тайники, висящие у них на ремне, а торговцы сластями будут неумолчно звонить колокольцами, чтобы счастливые зрители, которые весело рукоплещут Королю и Королеве карнавала, не дай бог не забывали про лакомства. «Папа, хочу пирули [1], папа, хочу пирули!» — вызванивают колокольцы... Ох, как это было давно, как далеко ушло это время, когда девочка гордо восседала на плечах отца и когда она, поборов испуг, осмелилась поддразнить злую противную маску, вооруженную длинным ножом; у маски был за спиною огромный мешок, а в мешке — непослушные дети из папье-маше, маска олицетворяла собою Тонтон-Макута, грозу ребятишек, Людоеда из гаитянских народных легенд. Возвышаясь над головою отца, уверенная в отцовской защите, девочка отчаянным голосом, вся трепеща от гордости и страха, пронзительно крикнула отвратительной маске: «M'ра pè ou, Тонтон-Макут! Я не боюсь тебя, Тонтон-Макут, я девочка послушная, я не достанусь тебе на ужин!..» Но девочка выросла, а карнавал, успевший пустить в стране прочные корни, обернулся зловещим гротеском. Теперь уже другая музыка гремела над площадью, и не было

[1] Леденцы.

больше ни смеющейся Королевы, ни доброго карнавального Короля, и на смену смешным чертенятам и всему многолюдному семейству забавных толсторожих кукол, восседавших на праздничных колесницах, на площадь выплеснулись крикливые орды вооруженных до зубов и хвастливо марширующих тонтон-макутов, а над карнавалом безумцев, над всею несчастной страной навис угрюмой тенью сам Пожизненный — он же духовный отец и возродитель нации. «Пожизненный людоед»,— бормотала Пола, шагая вдоль здания этнографического факультета и оставляя за собой на ограде бело-зеленые пятна листовок.

Она сбежала вниз по склону, сандалии словно сами несли ее вперед, юбка плотно облепила бедра. Черная машина проехала в первый раз. Уже и ворота клиники, и вход на стоматологический факультет пестреют бело-зелеными пятнами. Движения Полы точны и стремительны. Застыв на месте, она напряженно глядит в сумрак улицы. Ее нежный профиль четко вырисовывается на фоне широких колонн юридического факультета. Сердце бешено бьется — черная машина показалась опять. Едет медленно, будто сидящие в ней люди учуяли близкую добычу; машина почти останавливается, но тут же, поколебавшись секунду, опять набирает скорость и направляется к улице Монсеньера Гийу. Больше они не вернутся. Их дежурство закончилось. Пола переводит дыхание, пальцы вновь обретают ловкость. Ведь работа совсем простая. Больше ничто не должно помешать. На улице ни души. Ни единой. Пять последних листовок она наклеит не позади здания, как было решено, а на фасад. Везет ей сегодня. Крепнет дерзкая смелость. Спокойно спускается она с галереи юридического факультета и шагает уверенно по тротуару. В конце улицы мерцают огни; это свечки на прилавках торговок. Сейчас она закончит работу и сделает минутную передышку, чтобы выпить горячего шоколада.

На галерею медицинского ведут пять ступеней. Поднимаясь, она заранее раскрывает сумку. Клеить листовки — дело недолгое, на каждый прямоугольник белой бумаги уходит не больше пяти секунд. Все проверено еще дома. Дважды, трижды, пять раз по пять секунд. Ну вот и все. Она направляется обратно к лестнице. Нет! Не может этого быть! Она бы услышала! Услышала бы и прилегла, затаилась бы за балюстрадой и черная машина прошла бы мимо. И тогда не стояли бы здесь эти четверо и не скалили б зубы, злобно уставившись на нее. Она сама полезла в ловушку. Окружена. Теперь не уйти. Тонтон-Макут, m'pa pè ou! Я тебя не боюсь! Но нет сейчас рядом отцовской головы, нет его широких и сильных плеч. Шумные толпы накатываются на нее, накрывая с головой. Она — Королева карнавала. Ее приветствуют криками. А она затаилась на дне чудесного ящичка с сюрпризами. Десять сантимов — и можно заглянуть в сокровища ламайотов. Она идет сквозь толпу на ходулях. Толсторожие куклы ссорятся из-за нее. Перед глазами в гибких движениях танца мелькают плетельщицы, и разноцветные длинные ленты, переплетаясь, туго стягивают все ее тело, и ей мучительно душно в этом красочном пестром чехле. Воздуха! Дайте вдохнуть! Девочка свалилась с отцовских плеч, и тысячи ног безжалостно топчут ее. Она уцепилась за чьи-то брюки. Удар сапога заставляет разжать пальцы. Под щекою земля. Как очутилась она на земле? Это не земля, это газон, она упала на траву возле Трибун. Слепо тычется она в стороны, кусает чью-то руку, царапает чьи-то пальцы, бьет кого-то по ноге, и толпа расступается, отбрасывает ее в объятья отца. Но почему они снова накинулись на нее? Они ее бьют, бьют сильно, слишком уж сильно. Теперь она ясно их видит. Она слышит их. Но больше не

чувствует боли. Не чувствует больше, как их сапоги пинают ее в живот, бьют по ногам, по спине. Больше не чувствует, как их шершавые руки вцепляются в волосы, как их пальцы терзают ей щеки. Она слышит приказы. Слышит гнусную брань. Видит, как стена медицинского факультета стремительно приближается к ее лицу. Листовка растет, съеживается, маячит где-то сбоку, за пределами поля зрения, потом медленно наплывает, повисает у самых глаз. Листовка скомкана. Она поднимает голову, и все вдруг становится ясным и отчетливым, словно Бенуа навел на фокус свою кинокамеру. *«Мы будем наносить все новые удары»*. Ее язык с трудом произносит букву за буквой, каждую зеленую букву в отдельности, словно она разучилась читать. *«Наши удары с каждым разом будут сильней»*. Слова протискиваются в рот, у них вкус чернил и клея, терпкий вкус пыльной стены. *«Будут метить все выше»*. Она облизывает слова, она их вдыхает. *«Да здравствует Революция!»* Она гладит их своей щекой, ее разбитые губы по буковке подбирают их с земли. *«Да здравствует борьба гаитянского народа!»* Листовка соленая и горькая, слова плотно прилипают к языку. О, мой язык! Марко, мой язык заполняет весь рот, он как чужое враждебное тело. Язык мой тверд, точно камень, он тяжел, будто свинец, я не могу говорить с тобой языком, я говорю с тобой сердцем. Скажи, чтоб товарищи не сомневались. Что я держалась до конца. Язык мой нем. Ради тебя, ради меня, ради партии. Есть вещи, которых мне не надо было бы знать. «Элементарная осторожность»,— сказал бы Бенуа. «Азбука подполья»,— подчеркнул бы Матье. «Серьезное нарушение законов безопасности для всей организации»,— добавил бы Эдуар. Но ты и я — мы с тобой были как лицо и изнанка, мы были единым телом. Между нами не было тайн. Наша любовь и наша борьба дополняли друг друга, друг друга питали. Но почему я говорю в прошедшем времени, словно все кануло в небытие? Жизнь за стенами тюрьмы трепещет, как язычок огня на ветру, но пламя не гаснет. О, погасить бы мои ожоги! Воды на опухшее лицо, на разбитые губы. Чья это рука? Такая прохладная. Неужели твоя? Значит, ты пришел ко мне, Марко? Как же тебе удалось? Через столько стен и дверей? Дай мне скорее воды! Вылей мне воду на лоб, на затылок, на руки. И побольше на губы. Полей меня, как миндальное деревце, опаленное августовским солнцем. Смой следы кошмарного сна, и пускай я проснусь обновленной и свежей!.. Сквозь слипшиеся ресницы я едва различаю твой силуэт, склонившийся надо мной. Я пытаюсь раскрыть глаза, пытаюсь расклеить веки. Они не подчиняются мне. Что ж, так, пожалуй, даже и лучше. Я не увижу, с каким состраданием ты глядишь на меня... Скажи мне что-нибудь, Марко. Скажи мне про море, про запахи города. Расскажи, как называются звезды. Помнишь, я никак не могла научиться находить на небе созвездия. Говори о плантациях тростника, о людях и зверях, об огромной горе, обнявшейся с небом. Спой мне песню волны на прибрежном песке, песню сочного манго во рту. Расскажи мне, Марко, про солнце, расскажи мне про жизнь, про живую и ясную жизнь. Про вольную жизнь, ради которой мы еще только начали нашу борьбу. Еще только начали, Марко...

■

Марко Дени вышел из архитектурной фирмы «Сеймур и Морен». Перепрыгивая сразу через четыре ступени, он сбежал по бетонированной лестнице вниз, на улицу Павэ. Переход из тишины рабочего кабинета в уличный гомон и суету, особенно бурную в эту пору, когда закрываются магазины, всякий раз заставал его врасплох.

Он дошел до угла и на улице Государственных Складов купил у торговки пакетик жареных фисташек. Высыпал их на руку, покатал в ладонях, сдул коричневую шелуху и быстрым движением отправил всю порцию в рот. От соленого вкуса орешков свело скулы. Неторопливо жуя, он глядел, как из угловых магазинов и складов выплескиваются на тротуары вереницы служащих. «И куда все только торопятся?» — подумал Марко, невольно тоже ускоряя шаг. Такой торопливости прежде на улицах не бывало. Жизнь протекала в более спокойном, замедленном темпе. Ты успевал оглядеться, обменяться приветствием со знакомыми, пожать приятелю руку, перекинуться словом. Прежде чем вернуться с работы домой, можно было побродить без всякого дела по улицам, заглянуть в кафе, опрокинуть с друзьями по рюмочке. Но в год одна тысяча девятьсот шестьдесят пятый от рождества Христова Пожизненный сообщил привычкам всех гаитян совершенно другой ритм. Марко вглядывался в прохожих. Лица были сумрачны и плотно закрыты, будто двери магазинов, губы людей, словно глухие ставни, таили от мира глубоко спрятанные запасы улыбок, и смеха, и невысказанных слов, чьи раскаты в один прекрасный день разорвут оболочку страха, что давит на них своей отвратительной тяжестью, превращая открытую речь в угрюмое и злое ворчание. А пока этот день не настал, люди движутся, точно лунатики, потому что их нынешняя жизнь — тягучий кошмар, от которого все хотят как можно скорей пробудиться, а он нескончаемо тянется вот уже почти восемь лет. Марко подумал о том, какие речи можно было бы услышать, обладай он волшебной властью проникать в мысли всех этих людей, что снуют по тротуарам, задевая его на ходу, обгоняя его и наталкиваясь друг на друга, торопясь поскорей добежать до бульвара Ж.-Ж. Дессалина, чтобы вскочить в маршрутное такси, или в тап-тап [1] до Карфура, или в петионвильский автобус. И ведь все как один мечтают о смерти Пожизненного. Чтобы он сдох! Провалился сквозь землю! Чтобы с ним было покончено навсегда! Неважно как. Они бы сто, тысячу раз похоронили его. Но нет, ни один не посмеет высказать это вслух. Все съежились, сжались, свернулись в клубок, прочно сомкнулись над своею мечтой. Никогда они не решатся выкрикнуть обвинения и угрозы, которые рвутся у них из груди. Тщетно силятся они освободиться от этого тяжкого бремени, тщетно изрыгают слова эти в море — с головой окунаются в соленую воду и в ярости выплевывают наболевшие мысли, от которых мутит, от которых во что бы то ни стало надо избавиться, но звуки глохнут в воде, слова искажаются, и выходит какое-то жалкое бульканье, и одни лишь нелепые пузыри лопаются в пене прибоя. Безобидные всплески. Бессильные судороги. И мыслей людских не узнать, если не влезешь в их души, в мозги. Вот, пожалуйста, идет впереди человек с чисто выбритой головой... Наверно, от парикмахера. Кости черепа все на виду. Височные кости. Теменные. Чего, казалось бы, проще — слегка их раздвинуть. Затылочная. Удар молоточком — и готово. Вставить катушку и пленку — и я обладатель бесценнейшей записи мыслей моего соотечественника. Катушка крутится — и сокровенные мысли бритоголового гаитянина у меня в кармане! Ну-ка, послушаем пленку! О, да этот господин, оказывается, большой мечтатель! Я бы даже сказал — сумасброд! А на вид такой безобидный, и мысли должны бы быть неторопливые, мирные — жвачные мысли, как у быка. Тучные пастбища, сочная травка, блаженные сновидения. Ан нет! Вопли и кровь! Бегут люди. Рвутся гранаты. Трещит автомат. Где же это все происходит? Крутись, катуш-

[1] Микроавтобус на линии Порт-о-Пренс — Карфур.

ка, крутись. Ах, да! Зона Форта Диманш. Медленно проходим вдоль камер. Заключенные. Замерли, в глазах тревога. Слышатся выстрелы. Стучат сапоги. Черное. Черное. Кабинет командира форта, в кабинете — женщина. Мадам Адоф. Она стоит посреди комнаты, ее окружили вооруженные тонтон-макуты. Она говорит: «Мы должны держаться до конца. Не дадим бездомным бродягам проникнуть в наш форт. Ладно, они овладели страной, но никто никогда не сможет сказать, что Порт-о-Пренс тоже в руках камокенов [1]. Покуда у нас столица — у нас вся страна. Вот почему наш Мудрый Доктор распорядился свести Гаити к Порт-о-Пренсу, а Порт-о-Пренс к трем стратегическим пунктам — Национальный дворец, Форт Насьональ и Форт Диманш. Будем сражаться за идеи Пожизненного. Возродитель народа с нами. Его власть — от господа. Он всесилен. Тот, кто с ним, огражден от зла». В это мгновенье под окном разрывается граната. Макуты бросаются на пол. С потолка летит штукатурка. Дребезжит селектор. «Капитан Адоф, защитники первой линии перебиты. Какие будут приказы?» Мадам Адоф встает, кидается к селектору и кричит: «Держаться, приказываю держаться! Духовный Отец народа с нами!» И продолжает, обращаясь к макутам: «Даже если они овладеют фортом, ни одного заключенного не должно остаться в живых. Всех расстрелять. Всех расстрелять. Выполняйте! Выполняйте! Это приказ! Расстрелять заключенных! Выполняйте! Выполняйте!»

Один из макутов вдруг подскакивает к ней и приставляет к ее виску револьвер. «Если нас захватят, камокены нас всех перебьют без малейшей пощады. Единственный шанс уцелеть — спасти заключенных. Мы должны их передать Армии освобождения. Иначе нам отсюда живыми не выйти. Лейтенант Жерар, отдайте приказ освободить заключенных. Открыть все камеры. И вступить в переговоры с осаждающими. Выполняйте!»

Лейтенант Жерар выбегает из кабинета. Макут разряжает револьвер в голову мадам Адоф, и она мешком валится на пол.

Крутись, катушка, крутись. Это становится интересным. О, узнаю Национальный дворец. Насколько я понимаю, это последний штурм. Партизаны уже на газоне перед подъездом, они взбегают по парадной лестнице, врываются в окна. А вот и их командир. Ба! Да ведь это наш бритоголовый! Крутись, катушка. Черное, черное, красное, белое, черное, черное, красное, красное, красное. Кабинет Возродителя. Великий Мудрый Доктор, Пожизненный, глава Республики рухнул на свой письменный стол. Он плачет. Что-то бормочет, икает от страха. «Я не жестокий, я ни в чем не виновен. Это все они, это они заставляли меня принимать такие злые решения. Я им всегда говорил, что дело кончится плохо, если не уважать законы. Я хороший семьянин. Я люблю мой народ. Я хотел вывести его из нищеты. А эти плохие негры не давали мне осуществить величественные проекты, которыми я хотел спасти страну. Страну Туссена, Дессалина [2]...»

В кабинет стремительно входит бритоголовый. Он высок ростом, широк в плечах. Отрывистым голосом бросает слова команды своим партизанам, и они хватают Возродителя, тычут его прикладами в бок, вытаскивают из-за стола и уводят. Размотаем нашу катушку дальше. Быстрее, быстрее, так. Но послушайте! Это уж слишком! Черт побери! Такое не лезет ни в какие ворота. Здесь какое-то недоразумение.

---

[1] Так называют патриотов, борющихся против диктатуры Дювалье.

[2] Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр (1743—1803) — руководитель восстания гаитянских негров-рабов в 1791 г., вел борьбу против чужеземных захватчиков, умер в тюрьме во Франции. Жан-Жак Дессалин (1760—1806) — бывший раб, вождь национально-освободительной борьбы на Гаити, провозгласил независимость страны в 1804 г., был предательски убит.

Я здесь ни при чем. Это история не моя. И мысли не мои. Это запись мыслей бритоголового. Вот так штука, скажу я вам...

Марко ставит новую катушку, поправляет висящий через плечо магнитофон и с микрофоном в руке выскакивает на улицу Павэ, вливаясь в радостную толпу. А ну-ка, начну с этой девушки, которая собралась переходить улицу...

— Мадемуазель! Мадемуазель! Вы, конечно, знаете, что Возродитель взят в плен силами Национального освобождения. Не скажете ли вы, какой приговор лично вы хотели бы ему вынести?

— Чтобы его выпотрошили на площади при всем народе и бросили кишки на съедение псам.

— Благодарю. А вы, мосье? Да, да, вы. Не бойтесь, скажите все, что вы думаете.

— Я и не боюсь, молодой человек. Со страхом теперь покончено. Но мы за эти годы привыкли всего бояться. Шутка ли, столько лет прожить в постоянном страхе. Вот я и вздрогнул от неожиданности.

— Так что же вы предлагаете сделать с Пожизненным?

— Разрубить его на куски и бросить свиньям. Другого конца он не заслужил. Собаке собачья смерть!

— А вы что скажете, мадам?

— Посадить его в клетку и ежедневно пороть в течение недели, а потом пусть себе подыхает от голода.

Вокруг уже собирается толпа, микрофон в руке у Марко притягивает людей, как магнит. Каждому хочется сказать свое слово, раскрыть душу, доверить свои мысли волшебной машине, чтобы она разнесла их по всей стране. Все говорят разом, торопятся, перебивают друг друга:

— Вырезать у него кожу на спине длинными такими лентами, по одной штуке в день.

— Отрезать ему язык, отрубить руки и ноги и вышвырнуть мерзавца на улицу.

Марко подносит микрофон то к одному, то к другому. Портативный магнитофон колотит его в бок, ремень трет плечо, но Марко не замечает усталости. По бульвару проезжают грузовики с вооруженными людьми, им вслед из толпы несутся крики:

— Да здравствует Армия национального освобождения!

— Смерть диктатору!

— Да здравствует Партия народного единения!

— Смерть тонтон-макутам!

На всех углах гремит музыка, толпа по-карнавальному возбуждена. На мостовой начинаются танцы, кружатся пары, задорные ритмы мерингн втягивают в свой круг даже самых робких людей. Это праздник, великий народный праздник, венчающий годы вооруженной борьбы. Тиран свергнут, его цепные псы тонтон-макуты раздавлены. Национальный дворец занят поборниками только что завоеванной независимости. Марко неутомимо охотится за новыми и новыми интервью. Пусть в его вечерней передаче прозвучит голос самого народа. И пусть Пожизненный послушает этот репортаж, пусть своими ушами услышит, что думает о нем народ. Ибо народ, который так долго страдал под его пятой, теперь восстал, победил — и сурово отомстит палачам.

— Kalfou! Kalfou! M'pral Kalfou![1]

Какой-то оборванец зазывал пассажиров, едущих в Карфур. Прохожий толкнул Марко, на бегу извинился и кинулся к микроавтобу-

[1] Карфур! Карфур! Я еду в Карфур! *(креольск.)*

су, остановившемуся у края тротуара. Марко, которому только что удалось наконец, после долгих попыток, вытолкнуть кончиком языка кусочек застрявшей между зубами фисташки, ощутил вдруг желание заскочить на минутку к Пьеру, опрокинуть стаканчик ром-соды, освежить после соленых орешков рот. Но он отогнал искушение, вспрыгнул на заднюю подножку автобуса, протиснулся внутрь и сел возле какой-то толстой матроны, которая, освобождая для него место, убрала с сиденья свою корзину. Тап-тап тут же тронулся в путь. Двенадцать пассажиров сидели друг против друга на двух параллельных скамейках. Напротив Марко оказался тот самый оборванец, что зазывал попутчиков в Карфур; он посмотрел на Марко и улыбнулся.

— Ou pral Kalfou?[1] — спросил он.

Это был, видимо, человек простой и общительный, которому хотелось поговорить. Марко в ответ кивнул, что-то утвердительно проворчал и, достав из кармана пачку «Сплендида», протянул ему сигарету. Добровольный помощник шофера поблагодарил, но от огня отказался и сунул сигарету за ухо.

Марко чиркнул зажигалкой и наклонился к язычку пламени. Взгляд упал на ботинки оборванца. Обувка-то, видать, из вторых рук. «Со вторых ног»,— тут же мысленно поправился он, пряча зажигалку в карман. Ботинки, выброшенные прежним владельцем или, быть может, пожалованные оборванцу в дар, переживали сейчас далеко не лучшую пору своей многотрудной жизни. При прежнем своем владельце им явно не доводилось ступать по дощатому полу тап-тапа или мерить щербатые мостовые бульвара Дессалина. И уж конечно не случалось им раньше топтаться возле тяжеленной корзины, ожидая, когда их хозяин подсобит перекупщице перетащить ее кладь в общественный транспорт. Нет, прежде они вели куда более легкую и утонченную жизнь, прежде лелеяли их и начищали до блеска, и никогда они не позволяли себе выставлять напоказ свое содержимое, благопристойно обтянутое шелком или нейлоном. Крупные пальцы соседа, прорвавшие в двух местах тонкую черную кожу на левом ботинке, словно гипнотизировали Марко. Мизинец смотрел на него с завораживающим упорством, большой палец походил на высунутую из-под панциря голову любознательной черепахи. Что касается правого ботинка, дело здесь обстояло несколько по-иному. То ли он сносился быстрее, чем левый, то ли нога, которую он облекал, оказалась более норовистой и свободолюбивой, но носок ботинка был начисто срезан, и все пять пальцев, получивших полную волю, весело выглядывали наружу, все время шевелясь и растопыриваясь. В конце концов Марко все же оторвал взгляд от этого зрелища, боясь, как бы хозяин не возмутился излишним вниманием, проявленным к его нижним конечностям. Молодой человек перевел свой взор на портрет Пожизненного, приколотый к перегородке, которая отделяла пассажиров от кабины шофера. Нечто до крайности фальшивое сквозило в лице человека, запечатленного на фотографии. Жирная физиономия Обновителя, его близорукие глаза навыкате за толстыми стеклами очков — все было омерзительно. Марко с отвращением отвел взгляд и стал смотреть в окно на бегущую мимо дорогу. «Гаитяне, братья мои!» Черные прямоугольники — участки свежего асфальта — мелькали порою перед глазами. «Мое революционное правительство...» По обе стороны проносились ряды миндальных деревьев. «...окопавшись в глубоком тылу...» Заткнись! Закрой свою гнусную пасть! Гнусавый голос упрямо и тупо нанизывал слова. Могильщики, богатеи, а следом за ними офицеры, унтер-офицеры и солдаты глумливо приплясы-

[1] Тебе в Карфур? *(креольск.)*

вали на асфальте и, взмывая над дорогой в воздух, кидались за автобусом вдогонку, нацеливаясь схватить Марко. Голос Пожизненного вцеплялся мертвой хваткой, леденил сердце своей глупой бессвязностью. Свистящая одышка и велеречивые тирады Мудрого Доктора густыми клубами заполнили автобус:

«Гаитяне, братья мои, мне, и только мне, принадлежит священное право спасти страну и открыть новую эру великих свершений во имя полного и решительного возрождения гаитянского народа, его гордости и достоинства в свете наследия наших предков, чей дух мое революционное правительство, торжественно пришедшее к власти двадцать второго сентября одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года под знаком самого чистого и возвышенного гуманизма, сохранит в целости и неприкосновенности, несмотря на происки жалких интриганов без рода и племени, которые мечтают о том, чтобы опять получить возможность безнаказанно грабить и наживаться, окопавшись в глубоком тылу...»

Сдабриваемая ядовитыми замечаниями Марко, речь продолжалась, голос Пожизненного почти срывался на крик:

«Мои боевые соратники, идущие вместе со мной с первых часов борьбы, я гарантирую вам, что ни одна пуля могильщиков родины меня не заденет, ибо я — наше новое черно-красное знамя. Я духовен и бестелесен...»

— Да он окончательно спятил!

Марко хотел призвать пассажиров в свидетели этого явного помешательства, но вокруг были каменные лица. Он взглянул на человека, сидевшего рядом с оборванцем. Тот нахмурил брови, будто говоря: «Если ты хочешь делать антиправительственные заявления, пожалуйста, это твое личное дело, но меня ты не впутывай. Мне вовсе не улыбается оказаться вместе с тобой за решеткой из-за преступления, в котором я никакого участия не принимал. Никакого».

Марко повернулся к своей толстой соседке. Та быстрым движением схватила стоявшую у нее на коленях корзину и приподняла ее, словно защищая живот; челюсти у нее крепко сжались, грудь воинственно выпятилась. Всем своим видом женщина показывала, как она тяжко оскорблена. «Попрошу без фамильярностей, сударь. Я женщина честная, добропорядочная мать семейства. Я никогда не вмешивалась в политику. Зачем ты тянешь меня в свидетели? И потом, где гарантия, что ты не провокатор, который хочет поймать нас на слове? Отведут нас в полицию, изобьют до полусмерти, запрут в камеру — кто тогда позаботится о моих ребятишках? Соседи ведь крошки хлеба им не дадут, если только узнают, что меня забрали за политику».

Старуха, дремавшая в глубине машины, под самым портретом Пожизненного, открыла левый глаз и заявила дрожащим слабеньким голосом:

— Вы прекрасно знаете, молодой человек, что мы совершенно с вами согласны. Этого типа мало убить — его сотни раз убивать надо. Но кто вам дал право нас провоцировать? Зачем вы в нашем присутствии позволяете себе недоброжелательные высказывания? Ведь палачи никого не помилуют. Вы просто болтун, от вас, как и от тысяч наших соотечественников, ничего, кроме слов, не дождешься. Слова, одни пустые слова.

Старуха замолкла, закрыла глаз и опять погрузилась в дремоту. Чтобы не глядеть больше на осуждающие физиономии попутчиков, Марко опустил голову, и его взор снова уперся в башмаки оборванца. Он увидел, что пальцы правой ноги устроили совещание, и по-

нял, что речь идет о нем. Второй палец вскарабкался на своего грузного братца, погладил его по сиреневому ногтю и провозгласил:

— Этот юноша ведет себя крайне неосмотрительно и неосторожно, не так ли, мой брат?

— Весьма неосторожно,— подтвердил старшой.

— В таком случае,— вмешался средний,— надо что-то предпринять.

— Так или иначе,— заявил тоненьким голоском мизинец,— но мы не можем допустить, чтобы он оскорблял Возродителя родины, Великого Мудрого Доктора.— И мизинец очень решительно отодвинулся от остальных четырех пальцев, словно подчеркивая, что его мнение окончательно и решение бесповоротно.

Большой палец оттолкнул своего соседа, поднял давно немытую голову и поглядел на мизинец.

— Разумеется, надо что-то предпринять,— сказал он.— Чего тут особенно рассусоливать? Мы честные слуги Пожизненного и не можем больше терпеть возмутительные речи этого юного наглеца.

— Этот молодой человек не должен долее оставаться в автобусе, ибо он подвергает всех пассажиров опасности. Его нужно немедленно высадить из машины,— впервые взял слово четвертый палец.

— Нет, нет! — возразил мизинец.— Не высаживать нужно, а донести. Скажем шоферу, чтобы он сдал его в руки властей на следующей остановке, и пусть отвечает по всей строгости закона за свои опасные речи.

— Ты прав, мой младший брат,— сказал большой палец.— Мы как раз подъезжаем к посту береговой охраны и можем доложить капитану все как есть. Необходимо, чтобы молодой человек был примерно наказан, ибо он посмел в нашем присутствии оскорбить всеми нами горячо любимого и обожаемого и ниспосланного нам небесами Пожизненного вождя.

Мизинец так и затрепетал от восторга.

— Ничего иного я от вас и не ожидал, мои братья. Вы истинные добровольцы службы национальной безопасности, я доложу об этом нашему Оборванцу, который передаст мое донесение по инстанции, и вы будете щедро вознаграждены.

Средний палец напомнил, что уже дважды в подобных случаях Оборванец лишал их обещанного вознаграждения и что на сей раз он, средний палец, не намерен терять те блага, каковые законно причитаются ему за патриотический поступок, а посему им лучше представить свое донесение впятером.

— Верно,— поддержал его большой палец.— Мы заставим молодого человека выйти из автобуса. Наш Оборванец схватит его за штаны и отведет в канцелярию береговой охраны. Кстати, я лично знаком с капитаном. Его зовут Франсуа. Да вот он как раз стоит в дверях, вышел свежим воздухом подышать. Приветствую вас, мой капитан.

— Что случилось, большой палец? Кого это вы ко мне привели?

— Это противник режима, мой капитан.

— Противник режима?

Капитан подходит к Марко и отвешивает ему две оплеухи.

— И что же он сделал?

— Оскорбил Великого Вождя.

— За это полагается смертная казнь. Отведите его ко мне в кабинет.

Марко вталкивают в кабинет капитана Франсуа, заставляют вытянуться по стойке «смирно». Оборванец торчит у него за спиной, цепко ухватив за брюки.

— Капитан Франсуа,— говорит большой палец,— мы хотим, я и мои братья, сделать заявление без свидетелей. Прикажите Оборванцу выйти.

— Пусть выйдет.

Человек в рваных башмаках выходит из кабинета.

— Ну, слушаю вас.

— Значит, дело было так,— начинает большой палец.— Взяли мы этого пассажира на бульваре Ж.-Ж. Дессалина. Как вы знаете, мы работаем на линии Порт-о-Пренс — Карфур. Ездим по этому маршруту взад и вперед раз по двадцать, а то и по тридцать на дню.

— Говорите по существу.

— Сейчас, сейчас. Сперва этот молодой человек как-то странно оглядел пассажиров, потом его взгляд остановился на портрете нашего Возлюбленного-Пожизненного-Вождя, который вывешен в автобусе на самом почетном месте. После чего позволил себе недоброжелательные замечания в адрес Великого-Мудрого-Доктора.

— Например.

— Простите, мой капитан, но этого мы повторить не можем. Его слова оскорбительны и непристойны.

— Палач! — кричит капитан Франсуа.

В кабинет, будто он ждал этого крика, врывается могучего телосложения детина.

— Займитесь арестованным.

Два сильных удара по лицу. Марко стонет. Голова раскалывается от боли. Он поднимает руки к вискам, пытается унять шум в ушах. Палач колотит его по рукам, заставляя вернуться в положение «смирно».

— Значит, вы оскорбили нашего Великого-Вождя? — тихо и вкрадчиво говорит капитан Франсуа.

Внезапно он вскакивает, хватается за окованный металлом барьер, наклоняется к Марко, кричит:

— Кто вы такой, черт побери, чтобы критиковать гениальную и гуманную деятельность Пожизненного-Президента-Республики! Как вы смеете произносить грубые слова в адрес Ниспосланного-Богом, в адрес того, кто должен спасти нас от голода и нищеты и превратить нас в гордый и благородный народ, исполненный достоинства и чести? Сопляк ты паршивый! Говори, кто твои сообщники! Кто тебя прислал? К какой шайке принадлежишь? Небось из этого вашего Единения? Назови сообщников, негодяй!

Вопрос о сообщниках государственного преступника капитан задает также и пяти пальцам, которые все это время пребывают в почтительной неподвижности.

— Мой капитан, про его сообщников нам ничего не известно,— говорит большой палец.— Он вошел в автобус один, и, насколько можно судить, никто из пассажиров с ним не знаком.

— Так я вам и поверил! А что говорили пассажиры, когда он оскорблял нашего Всеобщего-Отца?

— Они ничего не говорили, мой капитан.

— Ах, ничего не говорили! — вопит капитан Франсуа.— Слушали, как оскорбляют Главу-Государства, и не выражали своего возмущения!

Пальцы беспокойно прижимаются друг к другу, друг на друга глядят и не знают, что сказать. Дело внезапно принимает дурной оборот. Им и в голову не приходило, что капитан станет обвинять весь автобус. Но представитель власти на время откладывает решение вопроса о судьбе остальных пассажиров и кричит палачу:

— Я хочу, чтобы он сказал мне, на кого он работает. Пусть скажет, кто является руководителем группы ПНЕ в Маотьере, пусть назовет имена коммунистов, которые терроризируют район, которые зверски убили капитана Мартеля, которые взорвали бензобаки у Дариуса, командира добровольцев в Карфуре. Ну-ка, возьмите его в оборот!

Палач обрушивает еще два удара на голову Марко.

— Не так! — кричит капитан.— Железным прутом. Двадцать ударов по ногам. Отличный способ, чтобы у этих мерзавцев развязался язык.

Палач исчезает из кабинета и тотчас возвращается. В руке у него металлический прут. Он заходит к Марко со спины, приподнимает ему брюки до колен, примеривается, как бы побольнее ударить. В это мгновение раздается стук в дверь.

— Кто там еще? — орет капитан Франсуа.

— Это я, мой капитан, я, Оборванец.

— Входите. Чего вам нужно?

Человек в драных башмаках отворяет дверь, вытягивается, отдает честь и говорит:

— Мой капитан, я пришел узнать, как поступить с остальными пассажирами. Они сидят в автобусе. Шофер просит вашего разрешения продолжать путь.

Пальцы растопыриваются, с хрустом потягиваются, и старший из братьев говорит, глядя в сторону мизинца:

— Мы можем подтвердить, что все прочие пассажиры никоим образом не разделяют мнений, выраженных этим молодым человеком. Не нужно причинять им никакого вреда. Это наши честные клиенты, и притом постоянные. А молодого человека мы видим впервые.

— Правильно,— соглашается мизинец.— Остальные не имеют к этому делу никакого касательства. Мы люди объективные и наказываем лишь тех, кто этого заслужил. Зря свирепствовать ни к чему. Но злонамеренные языки, люди без рода и племени — пусть не надеются они на пощаду, мы их искореним, мы их уничтожим, мы их в могилу загоним.

У Марко затекла спина, и он выпрямился на лавке. Встретившись глазами с Оборванцем, он прочел в его взгляде злорадство. Женщина с корзиной нажимает на звонок. Кто-то из пассажиров спросил, какая сейчас остановка, не пост ли береговой охраны, и человек в рваных башмаках утвердительно кивнул. Автобус остановился, и тут, повинуясь внезапному импульсу, Марко уплатил Оборванцу деньги за проезд и почти в панике выскочил на дорогу.

Женщина с корзиной тоже вышла, убедилась, что путь свободен, и перешла на другую сторону. Автобус поехал дальше, на запад. Марко остановился под миндальным деревом, взял из пачки последнюю сигарету, пустую пачку скомкал и выбросил в кювет, закурил. «Из-за этого типа мне и рехнуться недолго. На каждом шагу мерещится его рожа, в ушах все время гудит его голос. Наделяю людей мыслями, которых у них нет и в помине...» Он стал ходить вдоль придорожных деревьев. Мимо прошли двое солдат береговой охраны — синие мундиры и белые полотняные фуражки. «Черт меня дернул вылезти из автобуса! Что за нелепость! Ведь не решил же я всерьез, что Оборванец побежит на меня доносить. Да и откуда ему знать про мои мысли. Господи боже ты мой, до чего же я часто стал попадать в сети собственного воображения!» Он яростно сбил с дерева орех. «И вообще чего это я вдруг решил ехать сегодня в Инкубатор? Взбрело вдруг в голову — и все тут. Приспичило оказаться

там сегодня же вечером. Глупо! И ведь ничего такого срочного не произошло, чтобы нельзя было подождать до завтра. Завтра получил бы из ремонта свой «фольксваген» и не торчал бы тут под деревьями в ожидании следующего тап-тапа, черт побери!.. Ладно, пока суд да дело, надо купить сигарет».

Чего-чего, а магазинчиков и киосков хватало. Здесь была особая зона, именуемая Границей, которая простиралась от Леогана до карфурской церкви. Люди здесь жили чем и как придется, промышляли всякими мелкими сделками, спекуляцией и торговлей. Квартал разного рода лавчонок, чьи владельцы тешили себя надеждой добиться в один прекрасный день полной экономической независимости, а пока трудились не разгибая спины с шести утра до двенадцати ночи, набивая карманы своим поставщикам, торговым воротилам Побережья. Квартал публичных домов. Бар «Сенсация», «У Педро», «Райская птичка», «Антильский цветок», «Белая голубка», «Новый Орлеан», «Белый и черный»... Эти названия огненными буквами горят в небе Границы. В лавках и тавернах полно проституток. Здесь царят все оттенки красного цвета. Неистовый вопль пурпурных неоновых вывесок. Мягкий малиновый свет в танцевальных залах и кафе. Кирпичный отлив скверного рома. Улыбочки проституток, вымазанные помадой «Элена Рубинстайн». Кровавый глазок музыкального автомата. Коричнево-красные губы негритянок, алый оскал южноамериканских шлюх...

Марко зашел в одну из бесчисленных лавок, выстроившихся вдоль дороги. К прилавку была прибита гвоздем монета в двадцать сантимов; судя по желтоватому металлу, на ней был изображен не кто иной, как Мордастый. Однако же дерзок хозяин, если он выбрал в качестве талисмана именно эту монетку, а не профиль, к примеру, дядюшки Нора [1]. Марко подумал о том, какое впечатление на покупателей должна производить дырка, пробитая в голове Пожизненного. Да и все прочие монеты, где эту жирную физиономию алчно трут в потных пальцах, считают, и пересчитывают, и складывают в заветные столбики, и протирают до дыр ловкие пальцы торговцев, клиентов, скупцов... О, если бы эти манипуляции с головой президента привели бы скорей к его смерти! Если бы эта монетка, где ненавистный профиль искорежен жестоким гвоздем, была бы наделена такой же магической силой, как те восковые фигурки, которые прокалывают булавкой деревенские колдуны! Тогда бы кости Пожизненного не сгодились сейчас и на жалкие пуговицы для штанов!..

— Чего мосье желает?

Совсем молоденькая девчушка глядела на него из-за прилавка огромными черными глазами. Красивое лицо, полные нежные губы, платье индеанки с яркими тропическими цветами, под тонкой тканью — крепкие груди. Ох и частенько, должно быть, их лапают хозяин да местные парни.

— Пачку «Сплендида».

Она поворачивается к полке, берет сигареты, протягивает Марко. Он дает ей бумажку в два гурда, подмигивает. Девушка улыбается, склоняя голову набок.

— Как тебя зовут?

— Мариза.

— Красивое имя.

Она весело улыбается и, возвращая сдачу, кладет руку ему на ладонь. Он сжимает ей пальцы. Она не делает попыток освободиться.

---

[1] Имеется в виду Нор Алексис, один из президентов Гаити в начале XX века.

— А ты очень славная негритяночка.

— Уж будто. Откуда ты знаешь?

— А глаза у меня зачем? — Он отпускает ее руку, кладет мелочь в карман.— На днях увидимся.

— На днях так на днях.

Она наклоняется над прилавком, упругие груди натягивают платье.

Марко выходит из лавки, распечатывает пачку и прикуривает от окурка, который он все это время не выпускал изо рта. «Теперь, если я хочу добраться до Карфура, надо ловить тап-тап. Сперва заскочу к папаше Эмилю, а там можно и в Инкубатор».

■

Папаша Эмиль показывал самому себе кино. У него вошло последнее время в привычку забираться на веранду позади дома, туда, где вдали от лавки и от нескромных взоров случайных — честно говоря, теперь весьма и весьма случайных — покупателей устраивали они когда-то свои собрания. Густые заросли вьющихся растений создавали вокруг веранды защитный экран; проходившая в десятке метров от дома высокая, сложенная из цементных блоков стена, окружающая участок, еще больше усиливала чувство безопасности. С улицы их нельзя было услышать, а на случай тревоги оставалось достаточно времени, чтобы собрание партийной группы превратилось в безобидную встречу друзей, играющих в карты или в шашки; на краю стола всегда лежали наготове доска и колода карт. Ну чем не сборище благонадежных обывателей, предающихся на досуге любимому делу!..

Удобно устроившись с трубкой в зубах в уютной качалке, папаша Эмиль показывал самому себе кино, воскрешая в памяти самые разные сцены из жизни и работы группы. Один за другим проходили перед мысленным взором его ребята. Вокруг длинного стола красного дерева расставлены были стулья. У каждого было здесь свое постоянное место, определившееся случайно на первых же встречах, да так и закрепившееся за каждым. Вот здесь сидел Теажен. Он всегда приходил в джинсах с безукоризненной складкой и осторожно, чтобы не помять их, усаживался, упирался локтем в колено, клал на руку подбородок и застывал в этой позе до самого конца собрания. Лишь под занавес брал он слово, резюмировал сказанное товарищами, спрашивал, правильно ли он их понял, излагал свое личное мнение; это стало у них ритуалом. Напротив Теажена сидел малыш Матье и, не спуская глаз с Бенуа, буквально впитывал каждое его слово. Чуть подальше, отвалившись назад, так что спинки их стульев лежали на балюстраде, располагались Робен и Базиль. Оба работали на алюминиевом заводе и были всегда неразлучны. С правого края стола примостились полнолицый и круглоголовый Эктор и Жан-Франсуа, оба с шоколадной фабрики. Ну, и тут же, рядом, все остальные — Титюс, Полен, Дестен, Родриг, Марко, Бертран, Симон,— все те, кто вращался вокруг центрального ядра, посланцы от ячеек ПНЕ других городских районов, сочувствующие, люди, которым вполне можно было доверять, но с которыми еще предстояло много работать. Папаша Эмиль снова видел их всех перед собой, вспоминал их манеры, привычные жесты. Видел лица с «особыми приметами», как сказано в документах. Папаша Эмиль снова их узнавал, снова слышал, как они возбуждаются, громко спорят, и старику доставляло удовольствие вслух комментировать проходящие перед ним картины. Когда Анна, его жена, впервые застала старика

говорящим с собою вслух, она просто остолбенела. Неужели муж сходит с ума? Она положила руку ему на плечо и ласково окликнула, точно ребенка, который мечется в жарком сне.

— Папаша Эмиль, а папаша Эмиль, что с тобой?

— Чего? — Он подскочил от неожиданности. Что случилось?

— Что на тебя нашло, папаша Эмиль?

— А что на меня может найти?

— Ты... ты теперь, значит, разговариваешь с самим собой?

— Как это с самим собой?

— Но...

— Да что ж тут такого! — возопил добрый старик, поняв, наконец, что застигнут женою врасплох.— А если мне нравится с самим собой разговаривать! Я уж и права на это не имею, так, что ли?

Анна опешила от такой агрессивности. Папаша Эмиль вел себя как мальчишка, которого поймали на озорстве и он пытается себя выгородить.

— Ладно, ладно, только, пожалуйста, не сердись.

— Тогда чего же ты от меня хочешь?

Анна почла за благо отступить:

— Да ничего я от тебя не хочу.

— Теперь, видите ли, она ничего не хочет! Будет ли когда-нибудь мне в этом доме покой? Нельзя ни на минутку уединиться, чтобы тут же тебя не потревожили!

Анна вернулась в лавку, а папаша Эмиль, потеряв нить воспоминаний, брюзжал до конца дня и за ужином пребывал в прескверном настроении.

На следующей неделе Анна еще два раза заставала мужа за тем же занятием, но теперь она уже остерегалась отрывать его от воспоминаний. Она поняла, что наступают минуты, когда папаше Эмилю необходимо вновь пережить свое прошлое, оживить в памяти облик ушедших друзей. Если при этом он иногда и замечтается, позабудет об окружающем, начнет беседовать вслух, что ж, не беда, потому что после сеанса он в здравом уме и памяти возвращается в нынешний день и становится прежним папашей Эмилем, рассудительным и спокойным. Нет, ее муж не свихнулся, не впал в детство. Просто его преследуют воспоминания. Все уляжется, надо лишь подождать, еще слишком свежо все то, что случилось, но пройдет время, и все понемножку забудется, сгладится. И теперь она уже не тревожилась, когда с веранды до нее долетали невнятные обрывки фраз. Пускай старик побеседует с друзьями из прошлого, увы, из совсем еще недавнего прошлого. Друзья приходили один за другим, папаша Эмиль рассаживал их вокруг длинного стола красного дерева. И наступало молчание, населенное далекими, приглушенными, окутанными дымкой голосами, и голоса эти говорили об избиениях и о крови, о пытках и голоде, о чудовищной мерзости камер, о грязи и вшах, о тоске одиночества, о страданиях и о смерти. Но старая Анна догадывалась не обо всем, что таилось в этом молчании. В ушах папаши Эмиля оно отдавалось леденящими душу словами: Форт Насьональ, полицейское управление, Национальный дворец, Форт Диманш — именами зловещих храмов смерти, где противник режима становился дичью, попавшей в капкан, и где всякое упоминание о правах человека вызывало неудержимый хохот у палачей, прислужников титулованного мракобеса. Зловещие храмы смерти... Но все же кому-то из старых друзей удалось уцелеть. Вот, например, Бенуа. Просто чудом избежал он побоев и пыток. Базиля, Клода, Эктора пытали, но и они остались в живых. В живых, но не больше. Они дышат, у них бьется сердце, они могут пить и есть. Вот и все... А другие? А те, кто

не вернулся? Узнаем ли мы когда-нибудь, где, за какими стенами их пытали, где их убили? Ни цементной плиты над их прахом, ни могилы, куда можно бы было принести им цветы. Цветы... Всякий раз, как папаша Эмиль показывал самому себе кино, сеанс непременно завершался цветами. Он надевал свой лучший костюм, предназначенный для самых ответственных церемоний — для свадеб, для похорон, для встречи Нового года, и он приносил, и он привозил цветы — охапки, груды, грузовики, поля и долины цветов. Бегонии, мальвы, розы, лавры, ночной жасмин, ветки самшита, ну и конечно подсолнечник. Большие цветы с остроконечными желтыми лепестками и с черною сердцевиной. Папаша Эмиль приносил тонны и тонны цветов на могилы без мраморных плит, без крестов, на могилы, разбросанные повсюду, по всем дорогам страны, по всем улицам и домам, по большим и малым дорогам, потому что нет на Гаити ни пяди земли, которая не была бы полита кровью. И цветы папаши Эмиля падали благодатным дождем, и этот дождь успокаивал мертвых, суля убийцам возмездие. Лепестки многоцветным ковром покрывали дома, бараки, трущобы, и строения ГАСКО [1], и цеха цементной компании, и Национальный дворец, и бессчетные тюрьмы. Но все же цветов не хватало. И папаша Эмиль срезал и косил цветы на полях и взбирался за ними на горы, потому что цветов всегда не хватало, потому что все новые голоса поднимались со всех концов страны, голоса, которых старик не знал, но они не были для него чужими, ибо они говорили языком его друзей и пели все ту же песню страдания, песню боли и крови, пыток и смерти. И папаша Эмиль показывал самому себе кино, и в финале каждого фильма были цветы.

— Цветы, все время цветы! — бормотал он, раскачиваясь на качалке.— И когда это только кончится!

Он вычистил трубку, постучав ею по подлокотнику, набил табаком, закурил.

— Папаша Эмиль, к нам гость.

Старик обернулся на голос жены.

— Ты мне что-то сказала, Анна?

— К нам гость, говорю.

В предзакатном свете, заливавшем веранду, возникла фигура Анны. Полуобернувшись назад, она приглашала идущего следом гостя, и в колыханье лучей шагнул Марко.

— Привет, папаша Эмиль. Как поживаешь?

— Марко! — воскликнул старик, поднимаясь ему навстречу.— Вот сюрприз так сюрприз!

Они обнялись.

— Иди сюда, присаживайся. Уж больше месяца тебя не видно. Рассказывай, что нового.

Марко сел напротив папаши Эмиля. Навещая своего старшего друга, он всякий раз испытывал странное чувство, будто погружается на дно аквариума. Свет заходящего солнца, просачиваясь сквозь густые заросли плюща, приобретал синевато-зеленый оттенок, в облике папаши Эмиля проступало что-то текучее, зыбкое, его движения казались замедленными, точно у рыбы. Подобно бразильским рыбкам скалярам, которые лениво тычутся носом в стекло, а постучишь по аквариуму — разворачивают плавники, отпрядывают в сторону и вновь застывают в оцепенении, папаша Эмиль замирал, свесив безвольно руки и слушая собеседника, а потом, отвечая, внезапно растопыривал пальцы, пошевеливал ими, как плавниками, и опять замирал, опустив руки на подлокотник.

---

[1] Гаитяно-американская сахарная компания.

— Я к вам с новостью,— сказал Марко.

— Ну да? Выкладывай поскорей!

— Я решил поселиться в Инкубаторе.

— Ты шутишь!

— Честное слово, папаша Эмиль!

— Ты слышала, Анна? Марко будет жить в Инкубаторе. Это надо отметить. Принеси-ка нам «Гляжу я на вас».

Анна вышла и вскоре вернулась, держа в руках поднос с двумя рюмками и большим графином. Поставила поднос перед мужем на стол и снова исчезла. Папаша Эмиль наполнил рюмки волшебным напитком, который он сам изобрел и окрестил забавным названием.

— Марко, прошу.

Марко придвинул свой стул, взял рюмку. Они поглядели друг другу в глаза, чокнулись.

— Будем здоровы,— сказал папаша Эмиль.

— Будем здоровы.

Молча, смакуя каждый глоток, выпили, поставили на поднос пустые рюмки. Крепкий, чуть сладковатый напиток опалил горло. Задумав навестить папашу Эмиля, Марко заранее был уверен, что старик непременно заставит его отведать «Гляжу я на вас». Приготовленный из отменного виноградного вина с тростниковым сиропом, настоянный на вишнях, персиках, пряностях и кусочках говяжьего мяса, напиток воскресил в памяти Марко родные лица и голоса.

— Значит, решил поселиться в бунгало у Бенуа?

— Да. Подумал, подумал — и решил. Уже сегодня там переночую. В субботу сделаю генеральную уборку. Пыли там, наверно, набилось...

— Ты правильно решил, Марко. Я говорил Анне на днях: этот дом слишком долго пустует, как бы его не прибрал к рукам какой-нибудь из местных макутов. Мне рассказывали, что на той неделе кто-то из них остановил свою машину у ворот и долго разглядывал участок.

— Что ему было нужно?

— Не знаю. Из машины он не вышел. Так мне рассказывали. Но меня это встревожило. Хорошо, что ты решил переехать. Было бы просто невыносимо, если бы эти типы присвоили Инкубатор. Бенуа заболел бы при одной мысли об этом. Он тебе пишет?

— Да. Живет хорошо, работает в одной из монреальских газет.

— Он мне тоже прислал открытку. Я приколол ее к стене над кроватью. Мы здесь очень его любили, и его отъезд всех огорчил. Тяжело это, когда твои лучшие друзья должны покидать страну. Но у него ведь не было выбора, правда?

— Конечно. Ему нельзя было оставаться. Он поступил правильно.

— Вот и я так думаю.

Папаша Эмиль откинулся головой на спинку качалки и задумался; его взгляд блуждал где-то вдали, за зеленым экраном плюща.

Бенуа поселился здесь восемь лет назад, как раз в то самое время, когда папаша Эмиль, перестав по состоянию здоровья заниматься адвокатурой, ликвидировал контору и открыл на ее месте лавку.

Активный деятель социалистической партии, Эмиль Ривьер испытал в 1946 году всю тяжесть полицейских репрессий. Армейская часть заняла редакцию газеты «Насьон», органа НСП [1], крамольные номера были конфискованы, партия запрещена, типография разгромлена. Как и других руководителей партии, его отправили на поселение, отстранили от всякой общественной жизни. Но мало-помалу все

[1] Народно-социалистическая партия (распалась в 1948 г.).

успокоилось, и после военного переворота пятидесятого года он вернулся к адвокатской практике, а через пять лет удалился от дел, чтобы заняться лечением всех своих хворей. Здесь, в своем уединенном прибежище в Брошетте, папаша Эмиль пережил трагические события политической жизни Гаити — и декабрьский кризис пятьдесят шестого года, и прокатившуюся по стране во время выборной кампании волну насилия и ненависти, которая в сентябре 1957 года привела к власти нынешнюю банду убийц.

Человек левых убеждений, старый партийный борец, папаша Эмиль нашел с Бенуа общий язык, они подружились. Оба быстро раскусили подлинную суть нового режима и решили создать местное отделение Партии народного единения. Шли месяцы, группа в Брошетт-Маотьере набирала силы. Но власти усиливали репрессии, организация ощущала на себе растущий террор. В работе группы еще не было нужной четкости, недостаточной оказалась конспирация, и ряд выступлений бумерангом ударил по товарищам. Папаша Эмиль вздохнул и наклонился к столу.

— Еще по рюмочке?

Он опять налил. Чокнулись, выпили. Марко протянул старику пачку «Сплендида». Легкий ветерок прошумел в листве. Солнце зашло, но в небе еще не отгорело пламя заката, и веранда была залита розовым светом.

— Да,— протянул папаша Эмиль,— а ведь каких-нибудь лет пять назад в моей лавке не переводился народ. В этот час покупатель шел валом, и иногда невозможно было выкроить минутку, чтобы без помех потолковать о делах. У меня покупали, дорогой мой товарищ, у меня покупали! Помнишь, у меня было трое продавцов, да еще жена сидела за кассой. Одни субботние вечера в галерее Брошетт давали мне огромную выручку. На складе всегда было пять-шесть дюжин бутылок «Барбанкура», ящики кока-колы и содовой. Ребята брали за вечер по тридцать — сорок фунтов ветчины и сыра для сандвичей. Я был их постоянным поставщиком. А теперь зайди ко мне на склад, Марко,— увидишь пустые полки. Пыль да паутина.

Да, подумал Марко, несколько лет назад еще шла какая-то жизнь. А потом был введен комендантский час, чтобы макутам легче было бесчинствовать без свидетелей, и армия занимала рабочие кварталы, и соглядатаи стали торчать во всех кабачках. Ночная жизнь замерла. Уважающие себя люди больше не выходили по вечерам из дому, и дела в галерее Брошетт пошли прахом. Лишь горсточка друзей еще наведывалась по старой памяти в дом художников.

— По стране еще ходили деньги, и я тоже имел свою долю.

«И партия тоже,— добавил мысленно Марко.— Потому что твоя лавка, папаша Эмиль, была нашей главной опорой. Благодаря своей лавке ты мог подкормить товарищей, ты снабжал всем необходимым боевые группы, покупал бумагу и книги и добывал паспорта и прочее снаряжение для Симона, Родрига и Жана-Франсуа, когда они отправлялись за оружием на Кубу. Это верно, ты имел свою долю, но действовал ты не ради собственного обогащения, папаша Эмиль. Благодаря своей лавке ты смог поддержать Бенуа, когда он решил купить радиостанцию. Ты даже и не представляешь, чем мы обязаны этой лавке, папаша Эмиль, этой лавке и твоей работе, ты даже не знаешь, как много удалось нам сделать благодаря тебе».

— А теперь сам погляди,— продолжал старик,— вот сидим мы с тобой и болтаем — ну хоть бы кошка сюда забежала. В нормальное время в этот час отбоя бы не было от покупателей. Хоть бы кошка! — повторил он.— Можно подумать, что лавка стоит посреди пустыни, что город весь вымер! И ведь так каждый день. Утром вста-

ешь, открываешь лавку. По привычке. А появится покупатель — сердце заколотится, как в самый первый день, когда я только открыл эту лавку. Точно пришел мой первый покупатель. Что-нибудь купит или нет? Каким товаром он соблазнится?.. Надо привлечь его чем-то особенным, чтобы ему здесь понравилось, чтобы он пришел ко мне снова... Честное слово, так оно все и происходит. С той только разницей, что в первый-то раз все это было, если подумать, и не так уж важно, черт побери, и не обязательно надо было мне лезть из кожи, чтобы ему угодить. Быть любезным, только и всего. А теперь хоть на колени вались перед покупателем, едва он переступит порог твоей лавки! Такая это редкая птица. А вдруг он купит у тебя весь товар! Ан нет, он зашел за постным маслом на пять сантимов, за пачкой печенья или за одной сигаретой! О, попомни мои слова, мерзавец погубит Гаити, мы все по его милости полетим в тартарары. Живоглот, а не человек!

Он сделал презрительное движение, будто отгоняя от себя даже мысль о Возродителе.

— Эмиль, не говори лишнего! — наставительным тоном сказала жена, входя на веранду со скатертью в руках. Уже стемнело.

— Мне в моем возрасте терять нечего. Мабуйя [1], которая живет у нас во дворе, и та счастливее нас!

— Не скажи,— возразила Анна.— Бедная мабуйя тоже день и ночь дрожит, как бы ее не схватил пес или кошка. Ей каждую секунду надо быть настороже. Она так же запугана, как и мы.

— Да! — сказал папаша Эмиль.— Мы теперь все — загнанные звери. Иногда меня подмывает выйти на улицу и заорать во всю глотку: «Долой Пожизненного! Смерть Пожизненному!»

Он вдруг замолчал и рассмеялся.

— «Смертью по жизни!» Почти каламбур. И довольно точно передает обстановку...

Анна неодобрительно покачала головой и потянула к себе поднос с графином «Гляжу я на вас».

— А пока что мне можно накрыть на стол? Марко, ты остаешься ужинать. У меня есть свежая рыба — кухарка сегодня сарду принесла,— рис и горошек. Годится?

■

«Ну куда он так спешит? Нет, нет, не надо, нас ничто не торопит. Нужно попридержать этого Марко, который на всех парах летит к дому Бенуа. У нас еще много времени. Не торопись. А то явимся в Инкубатор запыхавшись. Дай мне прийти в себя, сделать спокойное лицо, дай мне привыкнуть к мысли, что с этого дня я буду здесь жить. Ты принял решение сам, а со мной не посоветовался. Так уж дай мне время привыкнуть. Я встречу там столько знакомых вещей! Этот дом битком набит воспоминаниями, там столько милых сердцу предметов, там полно голосов, которые примутся говорить, говорить, говорить — где-то во мне, у меня внутри, словно мы приблизились к некой нейтральной черте, к нулевой точке отсчета, к изначальному старту слов, где все взаимопроникает и пронизывает друг друга. Придержи шаг, не спеши, иди как человек. Я еще нахожусь под впечатлением раздумий папаши Эмиля. И это меня угнетает. Чувствую себя так, будто я последний отпрыск какого-то племени, угасшего в незапамятные времена, и во мне сохранились черты только внешнего облика предков. В нравственном плане я уже исчерпал до кон-

[1] Маленькая ящерица.

ца то немногое, что ко мне от них перешло. Исчерпал. Последний рывок был у меня четыре месяца назад (смотри-ка, а ведь сегодня вечером — как раз четыре месяца!), когда я подложил динамитный заряд в машину главаря маотьерских макутов. Мне здорово помог тогда малыш Матье. Малыш Матье просто незаменим, когда нужно выследить врага, рассчитать по минутам каждый его шаг. Это был мой последний рывок. Наутро, ровно в семь ноль-ноль, как и было предусмотрено, Мартель уселся за руль своего «форда», захлопнул дверцу, включил зажигание и — прямехонько к праотцам. Крышка! Капут! Разорвало в клочки! Больше не поднять ему руку на политзаключенного. Не избивать ему больше студентов, борцов за свободу. Крышка! Капут! Конец бесчинствам Мартеля, конец его зверствам. Динамитный заряд — и все жертвы, все, кого он так мучил и истязал, отомщены. В семь ноль-ноль разорванный в клочья Мартель отправился к праотцам. Напрасно старались дружки собрать его косточки, чтобы слепить благопристойный труп. И мерку для гроба снимать было не с кого. Да, Марко, это был твой последний рывок, твоя последняя боевая операция. С тех пор — ничего. Нуль. Полная, абсолютная неподвижность. Да, да, я знаю, была Пола, Пола, которая...»

«Заткнись!»

«Сейчас заткнусь. Но все-таки, слушай, ты же мужчина... Ладно, ладно, не буду. Не хочешь — не буду. Но я хотел еще о другом сказать. Ты стал здесь чужим. Ни с кем не видишься, ни у кого не бываешь!»

«Все исчезли, ты знаешь об этом не хуже меня».

«Не все. Нет, не все. Остался папаша Эмиль. Правда, он тоже не в лучшей форме. Угнетен, подавлен смертями, арестами, отъездом товарищей. Его понять можно, он старик. Но возьми Матье, он по-прежнему бодр и по-прежнему готов действовать».

«Ты считаешь, что мы двое могли бы восстановить группу, он да я? Нет, ты сам посуди! Ячейка разгромлена полностью, люди подверглись жесточайшим репрессиям. Те немногие, кто уцелел, те, кто вышел живым из тюрьмы, те совершенно без сил. Или их держат под строгим надзором. А тех, кто мог бы бороться, поразила другая болезнь. Бегство. Да, я зову это бегством. Значит, кто же? Я да Матье? Работать вдвоем? Да это нелепо! Просто смешно!»

«Ты же прекрасно понимаешь, я толкую совсем не о том, чтобы возобновлять борьбу вдвоем с Матье. Он говорил тебе о новых контактах, о том, что надо перегруппировать силы, вовлечь новых людей, возродить сопротивление, но ты всякий раз посылал его к черту».

«Я не посылал его к черту».

«Дело не в словах, Марко. Ты ему дал понять, что тебя больше это не интересует, что в настоящий момент ты не видишь реальных возможностей продолжать борьбу».

«Я и в самом деле их не вижу».

«Но этих возможностей и не будет, если действовать в одиночку, Марко. Есть другие борцы. Их взгляды и планы могут оказаться не менее ценными, чем твои. Партия народного единения хочет сделать главную ставку на вооруженную борьбу, этот шаг необходим, он поможет координировать усилия, собрать их в единый кулак, чтобы покончить с раздробленностью, с распылением сил, и тогда наша борьба...»

«Ты говоришь в точности как Матье».

«Конечно. Я повторяю тебе его аргументы. Лично меня они убедили».

«А меня нет. И вообще довольно с меня! Да, довольно... Без конца что-то делаешь, видишься с теми, с другими и с третьими, целыми днями споришь, готовишь операцию. Она полностью удается. Через неделю тебе поручают другую. Опять успех. Но что же в конечном счете нам все это дает? Чего мы добились здесь, в Маотьере, в нашей организации, после долгих месяцев тяжелой работы, борьбы, террористических актов? Что в нашем активе? Несколько винтовок, три пистолета, два автомата, три гранаты, ящик динамита, четыре обоймы с патронами. Все это надо припрятать в надежном месте. Время от времени надо менять тайник, всякий раз рискуя при этом, что тебя схватят. И нельзя, чтобы все члены группы знали про тайник. И все время живешь как на пороховой бочке. Сидишь у себя на работе, в конторе, вдруг вспомнишь про свой арсенал — и тебя прошибает холодный пот. Начинаешь терзать себя всякими мыслями, в самом ли деле так уж надежен тайник, не лучше ли перепрятать оружие в новое место. Ох, как мне все это осточертело! Надоело терзаться по пустякам. Ты слышишь, по пустякам, потому что каковы они, наши итоги? Надо все начинать сначала. Мне сейчас не до того».

Наступило молчание.

Гулкий стук шагов по асфальту. Марко закурил.

«Марко!»

«Ну?»

«Я вот подумал сейчас, как далеко мы с тобой можем зайти в своем бегстве. Чем мы лучше тех, кого мы сами с тобой клеймили за отказ от борьбы? Бегство бывает не только в чисто физическом смысле. Оно принимает разные формы. Примириться с несправедливостью — тоже ведь значит бежать. А? Как ты думаешь, Марко? Разве ты не примирился? Ты ходишь на службу, чертишь весь день проекты, вечером благонравно идешь домой, как примерный отец буржуазного семейства. И в душе ты вполне всем этим доволен. Чем не райская жизнь? Никаких тебе треволнений. К концу месяца регулярно у тебя в кармане славненький чек. Книги, которые ты покупаешь в лавке «Плеяды», помогают тебе быть в курсе того, что творится на белом свете. Можно порой поболтать со знакомыми на философские или литературные темы. В воскресенье съездить на пикничок в Мер-Фрапэ или на Мон-Руис. Выпивка, музыка, женщина. Вот какую жизнь ведешь ты уже четыре месяца, Марко. Тебя ничто не трогает, ты преспокойно проходишь мимо всего, что творится вокруг. Даже появление макута вблизи тебя уже не волнует. Все началось с того, что ты решил их не замечать. Просто на них не смотреть, чтобы не вспыхнула в сердце прежняя ненависть, чтобы тебя не грызла совесть от сознания своей пассивности. А ведь раньше ты еще издали замечал любого макута. Раньше ты по пятам шел за ним, приглядывался к каждому жесту, подмечал их привычки, заводил мысленную картотеку, чтобы потом в подходящий момент нанести удар. Послушай, а помнишь того лейтенантика из личной охраны президента? — Марко рассмеялся.— Лейтенант Базиль. Здорово мы его тогда накрыли! Малыш Матье целый месяц его выслеживал, отмечал все передвижения стервеца. Нам нужен был его автомат. Прескверная была у него привычка таскать автомат повсюду с собой. Куда бы ни отправлялся. Когда он ездил по городу, «томпсон» всегда лежал рядом, на переднем сиденье. Это была его любимая игрушка, талисман, амулет. Мы решили во что бы то ни стало завладеть автоматом. В ходе слежки Матье обнаружил, что у лейтенанта Базиля любовная связь с красоткой Матильдой, любовницей Блоюса, одного из столпов режима. Каждую субботу, около семи вечера, наш лей-

тенант подъезжал к бакалейному магазину «У Линкольна», сажал свою даму в машину и отвозил в Дельмас, где у него была гарсоньерка. Операцию провести было решено в гараже: мы понадеялись, что Базиль оставит свой автомат в машине, ибо в играх с Матильдой ему вряд ли особенно требуется огнестрельное оружие. И вот в субботу Матье, Клод и я отправились на квартиру нашего лейтенанта. Гарсоньерка отстояла довольно далеко от соседних домов, и мы притаились на пустыре, окружавшем участок. В четверть восьмого машина Базиля въехала в гараж. Мы для верности подождали еще минут двадцать, потом Матье отправился на разведку. Вскоре он вернулся, доложил, что любовники перешли в спальню. Мы могли приступать. Несколько прыжков — и мы в гараже. Черт побери! Оказывается, наш лейтенантик утащил автомат с собой. Что делать? Клод толкнул дверь, ведущую из гаража в дом. Она была не заперта. И тут у малыша Матье возникла гениальная идея, которую мы приняли и решили тут же осуществить. Прокололи шины на всех четырех колесах, прикрыли лица платками и бесшумно проскользнули в дом. Оружие было только у меня, я шел впереди. Спальня также была не заперта, нам было хорошо слышно, как Матильда стонет от наслаждения и подбадривает лейтенантика нежными возгласами. Клод и Матье с трудом удерживались от смеха. С криком «Не двигаться или буду стрелять!» я ворвался в спальню. Любовники, развившиеся на широкой кровати, застыли от ужаса. Клод схватил автомат Базиля. В это мгновение в столовой раздался голос Пожизненного: «Мой милый лейтенант Базиль, вы неосторожны! Вы слишком любите женщин!» Имитация была безупречной. «Ваше превосходительство!» — забормотал лейтенант и дернулся в объятьях Матильды. «Не шевелись, буду стрелять!» — крикнул я. Голос Пожизненного продолжал: «Лейтенант Базиль, что я теперь скажу моему другу Блоюсу? Вы похитили у него самую дорогую его сердцу любовницу. Это весьма серьезно, сын мой».— «Ваше превосходительство! Это не я. Она сама захотела. Она меня совратила».— «Подлец! — взвизгнула Матильда и ударила его кулаком по спине.— Ты просто свинья! Врешь, никого я не совращала!» — «Его превосходительству на вас на...! — сказал Матье, входя в комнату.— Ну-ка, поднимайтесь с постели!» Глядя на ошарашенного лейтенантика, мы все покатились со смеху. «А где пре-президент?» — пролепетал он. «Ему на вас на..., говорю я тебе! — отозвался Матье и отвесил Базилю оплеуху.— Встать, кому сказано! И ты, Матильда, вставай. Да поживее». Стыдливо прикрывая срам, любовники встали. Клод и Матье связали их простынями, спинами друг к другу, толкнули на кровать, набросили на лица подушки. «Только лишь для того, чтобы ваши вопли не испортили нам отъезд,— приговаривал Матье.— А там уж вы как-нибудь сами избавитесь от своих подушечек и можете тогда орать сколько душе угодно, авось кто услышит и примчится на помощь. Только уж сами решайте, стоит ли вообще кого-нибудь звать, потому как ваши позы и все такое прочее очень уж неприличны. Ну, любовнички, прощайте!» Мы покинули гарсоньерку Базиля, унося с собой автомат, пистолет и полную обойму патронов. Операцию провели превосходно, да и повеселились от души. Неделю спустя мы узнали, что в кафе «Дю Пор» была драка и в перестрелке убиты лейтенант Базиль и два любимых телохранителя Блоюса. Что касается красотки, ее шикарный дом в Петионвиле перешел к другой любовнице Блоюса, а сама Матильда получила возможность поразмышлять на досуге, где-нибудь в камере Форта Диманш, о слабости человеческой плоти. Да, поработали мы отлично. И оружие раздобыли, и вызвали разброд во вражеском стане!»

«Да, Марко, поработал ты тогда хорошо. Но за эти четыре месяца все переменилось. Ты стал безработным. Безработным Революции. Не по своей, конечно, вине. Нужно все начинать сначала, с нуля. Это трудно. Опасно и трудно. Ситуация теперь другая. Попытка восстановить организацию равносильна самоубийству. Вот Марко и ушел в себя. Замкнулся. Отыскал своему бездействию превосходные оправдания. Марко больше ничего не видит. Ничего не слышит. Его больше не касается, что происходит вокруг. Если это не бегство, тогда растолкуй мне, пожалуйста, что же это такое. Не отвечаешь? Сопишь и затягиваешься сигаретой? Может, мои вопросы тебе неприятны? А ведь когда речь идет о других, ты не стесняешься в выражениях, ты сурово клеймишь их проступки. Ты обвинил товарищей в бегстве!»

— Нет!

Марко остановился как вкопанный. Звук собственного голоса посреди безлюдной улицы заставил его вздрогнуть.

— Тьфу! Опять чертовщина какая-то!

Ты медленно идешь по улице. Ты только что ушел от папаши Эмиля и от его лавки. Его слова преследуют тебя, воздвигают перед тобой какую-то мутную завесу, сквозь которую трудно продраться. Ты ощущаешь потребность остановиться, глубоко вздохнуть, освободить свои легкие от вязкой тяжести, стряхнуть с себя внезапное недомогание. Мне хочется лечь на спину в воду. Отдать себя на волю волн, пусть несут меня к другим берегам, неважно к каким, лишь бы они были другими. Да. Другими. И пусть ничто больше не напоминает мне о прошлом. Прошлое умерло. Зачем каждый миг выкапывать его из могилы? Это мазохизм. Это извращение — все время показывать себе фильм о прошлом, цепляться за обрывки воспоминаний, перекраивать вчерашнее, менять лоскутья местами и заново пришивать их друг к другу, ткать нелепый ковер. Я плету силки на себя самого, плету из чужих слов, из чужих страданий, из чужого отсутствия. Больше всего из отсутствия. А ведь я-то живой. Вот я себя трогаю, щупаю, ощущаю. Я жив. Поднимаю ногу, переставляю ее, чувствую сопротивление асфальта под пяткой. Это я, Марко, это я шагаю по улице, я, а не кто-то другой. Мне, и только мне, принадлежат эти руки. И голос — он тоже мой. Как ни старайся, все равно не заменишь собою других. И рядом со мной им уже никогда не возникнуть. Ибо их нет, их больше не существует, они ушли. Они не здесь. Живут своей жизнью, и она им, видимо, нравится, роют для себя на чужбине нору, где им тепло, где они укрываются от собственного страха, от общественных бурь. Почему бы и мне так не жить? Кто мне мешает? Я крепок, здоров. Так что ж?

Да, Марко, ты безусловно живой. Крепко сбит, что называется, в теле, нагулял себе пузо и зад, и сейчас у папаши Эмиля, поднимая бокал с прозрачным «Гляжу я на вас», ты испытывал тайное чувство самодовольства. Напиток разлил по твоим жилам приятную теплоту.

— Каннибалы,— говорила Пола.— Вы каннибалы, если можете глотать это пойло. Оно отвратительно. И кому нужны эти фокусы?

— Почему отвратительно? Ведь мясо ты ешь. Бифштекс с кровью заказываешь. Какая же разница? В моем питье мяса даже не видно. Чистая влага, почти что прозрачная, в которой колышется несколько молочно-белых хлопьев. Шлейфы дымки туманной в бокале «Гляжу я на вас». Если бы я не рассказал тебе рецепта этой настойки, ты бы попробовала ее, она бы тебе понравилась. И согрела бы тебя, как

всех нас. Ты стала бы нам подражать и повторять вслед за нами — только, конечно, с бóльшим изяществом — все движения, какими сопровождается наш ритуал. И ты вместе с нами бы говорила:

Перед нами наперсток, наполненный соком страны,
соком ее земли, соком нежности и огня,
соком плоти и крови ее быка
и ароматом ее плодов,—
так пусть этот сок разольется по жилам моим,
пусть ворвется в меня и в братьев моих,
чтобы мы сообща пролагали пути к новой жизни...

Разумеется, Пола, это все шутка, игра. Игра искалеченных жизнью людей. Мы стараемся придать нашим собраниям какую-то особую таинственность, выработать свой церемониал. Все это, однако, чисто внешнее, потому что в душе никто в эти штуки не верит, мы знаем, что играем в игру. Но главное, Пола, главное — мы знаем, почему мы играем в эту игру.

— Может, ты и мне объяснишь?

— Все очень просто. Мы играем из потребности убежать. Мы обманываем себя. Чтобы не оставаться с глазу на глаз с реальностью, которая день ото дня все страшнее. Литературные встречи — наше спасение. Что касается политических собраний, мы по возможности сводим их к минимуму, ограничиваем их только теми контактами, которые необходимы для подготовки и проведения конкретной акции, несущей врагу смерть. Мы не желаем заниматься общими вопросами, избегаем теоретических споров и всяких высоких материй, ибо эти споры в конечном счете ничего не дают, ни в литературном, ни в политическом плане. Действовать, Пола, действовать. А когда обстановка неблагоприятна — уезжать из страны.

Ты ушел от папаши Эмиля и его размышлений, ты медленно идешь по безлюдной улице. Шаги твои гулко стучат по асфальту. Вокруг ни души. А час ведь еще не поздний, семи еще нет. Фонари бросают слабый свет в полумрак, который еще не сделался ночью. Лишь приглушенный звон посуды да неторопливые тени за окнами напоминают, что в домах живут люди. Ни единого голоса из окон, никакой музыки. Радио выключено повсюду, ибо в этот час идет передача «Голоса Республики» и никому неохота слушать, как диктор нахальным своим голосом, противно раскатывая «р», точно горло полощет, восхваляет режим и славит Пожизненного: «...и посему пррравительство Ррреспублики постановляет... Статья перррвая: всякое собррра́ние грррруппами более трррех человек категорррически запрррещается. Статья вторррая: по всей терррриторррии стррраны, с семи часов вечеррра до пяти часов утррра, вводится комендантский час. Статья трррретья: любое лицо, застигнутое на улице во врррремя действия комендантского часа, будет немедленно рррасстррреляно. Соверррршено в Национальном дворррце двадцать пятого июля в год от рррождества Хрррристова одна тысяча девятьсот шестьдесят пятый, в сто шестьдесят перррвый год независимости». Нет, голос правительственного диктора не нарушает тишину улиц, и только топот твоих шагов будит эхо воспоминаний, и по мере того, как ты приближаешься к дому, прошлое будто встает из земли и тебе мнится, что ты движешься в очень замедленном темпе, точно бразильские рыбки скаляры за стеклянной стенкой аквариума. Теперь нужно свернуть влево, в тупичок, где находится дом Бенуа, по прозванию Инкубатор, и где расположена галерея Брошетт, и где живет и Симон, и Мерлены, и доктор Марсель, и Дидасы. Вот как раз и ограда во-

круг дома Дидасов. Марко останавливается, во дворе как будто шевелится чья-то тень. Но кому придет в голову гулять в этих местах? Кто тот смельчак, что решится ступить на запретную землю? Марко делает шаг вперед и слышит глухое ворчанье; на дорожке лежит пес. Это, наверно, собака Дидасов сторожит дом хозяев, и ждет, и надеется, и верит неколебимо, что они вернутся, погладят ее по загривку, кинут кость. Да и кто другой, кроме пса, посмел бы войти в этот двор, сторожить обугленные развалины на участке Дидасов, там, где пепел хозяев смешался с пеплом жилища? Марко прислонился к ограде и вглядывается в темноту, пытаясь рассмотреть, что́ осталось от дома. Два почерневших куска стены, торчащие балки. Ветка огромного мангового дерева топорщит пальцы, сведенные судорогой бессильного гнева. Хотелось бы знать, сколько времени еще пройдет, прежде чем дети начнут без опаски играть во дворе у Дидасов. Сколько месяцев, сколько лет малыши из соседних домов будут стороной обходить этот двор, где уже все заросло сорной травой и так хорошо играть в прятки среди развалин... А может быть, самый отважный из мальчишек, не в силах устоять перед великим соблазном, перед таинственным зовом мрачных руин, уже не сегодня — завтра переступит запретную черту и отправится на поиски кладов, потому что в развалинах ему мерещится кувшин, доверху полный золотых дублонов, перстней, драгоценных камней. Любопытный малыш, будь осторожен! Опомнись! Мать запретила тебе входить в этот двор. В этом проклятом месте играть нельзя. Эти развалины заколдованы. В них гнездится нечистая сила. Тебя схватит страшный Тонтон-Макут, посадит в большой мешок и утащит на высокую гору, перережет там тебе горло и съест. Берегись, ты зашел уже слишком далеко, ты продрался через густой кустарник, ты в середине двора. Здесь больше не пахнет пожарищем. Ведь прошло столько дней и ночей, столько было дождей, столько солнца. Пахнет только травой и сыростью. Запах подвала, подземелья, глубокой пещеры. Ни к чему здесь не прикасайся, мой мальчик, не тревожь привидений, не нарушай их покой, ибо тишина эта может внезапно взорваться, изрыгая страшную злобу. Ты отчаянный храбрец, малыш! Под твоими шагами затрещали обугленные доски, и ты переступил через то место, которое было когда-то порогом гостиной. Берегись злого духа, стерегущего клад, ведь привидение, что охраняет кувшин с золотыми дублонами, наверняка свирепого нрава. Берегись! Может быть, кости Дидасов сгорели не до конца, и ты рискуешь наткнуться на почерневший от дыма и пепла скелет, или на череп, скалящий зубы в ужасной ухмылке, или на берцовые кости, которые повисают вдруг над землей, превращаются в увесистые дубины и кидаются на тебя... Мальчишка пугается до смерти, и от ужаса у него вырастают крылья. Он бежит сломя голову по развалинам, перескакивает через балки, натыкается на обломки, запутывается в перекрученных кроватных пружинах, чудом вырывается из ржавых объятий, стрелой устремляется во двор и с воплем «Мама! Мама!» несется к родному дому.

Собака опять заворчала, на этот раз в ее голосе не было враждебности; то была скорее жалоба. Признал ли пес в прильнувшей к ограде тени старого друга, навещавшего когда-то его хозяев? И помнит ли пес о разыгравшейся драме? Может, запах пороха или дыма, принесенный порывом ветра, вдруг воскресит в его памяти ту страшную ночь и он вскочит и в ужасе убежит. Ведь он, наверно, и тогда убежал. Если бы он остался в доме вместе с хозяевами, не лежал бы он сейчас здесь на дорожке. Нет, он метнулся в ту ночь к пустырю, что в конце тупика, и оттуда со страхом смотрел на пожар. Забившись под развороченный остов старой автомашины, какими за-

вален пустырь, он, должно быть, целые сутки не показывал носа из своего убежища. Но на другую ночь он выскочил на улицу и, крадясь вдоль заборов, с опаской приблизился к родному двору. И еще много ночей бродил он сиротливо вокруг развалин и в тоске обнюхивал землю, пытаясь поймать, уловить хоть частичку знакомого запаха, мучительно силясь понять, где хозяева, где же, где же он, запах Андре Дидаса, и запах его жены, и запах Жизели, их дочери. И, значит, могло случиться, что, повинуясь сосущему голоду и дразнящей дрожи ноздрей, он стал разгребать золу и обломки в поисках кости. Нет! Марко отверг эту мысль, отогнал от себя примерещившуюся картину. Что за чушь! Собака — не хищный зверь, она не станет жрать человечину. Собака просто прибежала на пепелище и, опустив уши, долго бродила с поджатым хвостом вокруг смрадных обломков и всю неделю, каждую ночь, выла под обугленным манговым деревом. И каждую ночь все окрестные жители с содроганием слушали заунывную песню собаки Дидасов. И искали мучительно способ заставить пса замолчать. Иные отцы семейства, в других обстоятельствах отнюдь не такие наивные, теперь, с первых нот собачьего воя, торопливо срывали с левой ноги потрепанный шлепанец и, бормоча заклинания, переворачивали его подошвою вверх. Эта методa изгнания дьявола всякий раз оказывалась неэффективной, но тем не менее ежевечерне они повторяли маневр, потому что неколебимо верили в его безупречность. И если до сих пор не удалось еще сделать так, чтобы пес замолчал, в этом повинно плохое качество обуви, ибо шлепанец должен быть сшит из кожи, сработан без единого гвоздя. Ну и конечно, рука, которая берется за туфлю, должна быть тщательно вымыта. Другие, люди практического склада, склонялись к противоположной методе: они верили в спасительную силу камней и, как только в ночи раздавался вой, начинали швырять в собаку булыжники самых разных калибров. Но от страха у камнеметателей дрожали, видимо, руки, и снаряды ложились вдали от цели. Тем временем женщины обильно поливали пороги своих жилищ святой водой, дабы подальше отогнать потревоженные собачьим лаем души Дидасов. «Изыди, сатана. Я называю твое имя, но не призываю тебя. Иди своей дорогой во мраке и не смущай покоя этого очага, ибо он посвящен Пречистой деве Марии. Защити нас, святой Михаил-архангел. Помоги. Отврати от нас бесприютные души. Я окропляю святой водою все четыре угла сего дома, на востоке, на западе, на севере и на юге. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь». Но все было тщетно, и каждую ночь к небесам устремлялись надрывные вопли, леденящие кровь. Просыпались в испуге дети и с плачем кидались искать спасения в постелях родителей, но и материнское тепло не успокаивало ребенка, до тех пор пока пес не переставал взывать к своим умершим хозяевам. И наверно, дошел наконец до Дидасов голос собачьего горя, и пришли они, и погладили пса. Потому что однажды вечером, в самый разгар очередной заунывной рулады, пес оборвал свои вопли и стал тихонько скулить. Минут через десять он и вовсе умолк. И соседи опять обрели покой. Первые несколько дней по привычке они еще с некоторым опасением ложились в постель. Не раздастся ли снова зловещий вой? Но мало-помалу из комнат исчезли запасы камней...

А может, собака Дидасов уже ни о чем не помнит, подумал Марко, может, изгладились из ее памяти события той кошмарной ночи...

(Окончание следует)

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

Если Бийл-стрит могла бы заговорить

РОМАН

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ

Мария, Мария,
А как ты назовешь
Этого славного малыша?

Часть первая

Тревожусь за душу свою

1

Я смотрю на себя в зеркало. Я знаю, что при крещении мне дали имя Клементина, и прямой смысл называть меня Клем или, если уж на то пошло, так Клементина — дали же мне такое имя. Так вот нет! Я для всех Тиш! И в этом, наверно, тоже есть какой-то смысл. Я устала и начинаю думать, что какой-то смысл есть и во всем, что с нами случается. Потому что если бы не было в этом смысла, то как такое могло случиться? Но эта мысль страшная. Ее рождает только беда — беда, в которой смысла нет.

Сегодня я пошла на свидание с Фонни. Его тоже переиначили: при крещении ему дали имя Алонсо. А от Алонсо прямой смысл называть человека Лонни. Так вот нет, он у нас с детства Фонни. А по-настоящему Алонсо Хант. Я знаю его всю свою жизнь и надеюсь, всегда буду знать. А называю его Алонсо, только когда надо сказать ему про что-нибудь очень уж хреновое.

Сегодня я говорю:

— Алонсо!..

И он взглянул на меня — быстро, как всегда взглядывает, когда я называю его полным именем.

Он сейчас в тюрьме. Потому-то все так и было: я сидела на скамейке по одну сторону деревянного стола, а он сидел на скамейке по другую сторону деревянного стола. И мы смотрели друг на друга сквозь разделявшую нас стеклянную перегородку. Сквозь это стекло ничего не слышно, и у нас у обоих по маленькому телефону. По нему

© James Baldwin, 1974.

и надо говорить. Не знаю, почему так, но когда люди говорят по телефону, они смотрят вниз, почему-то всегда вниз. И приходится напоминать себе: смотри на человека, с которым разговариваешь.

Теперь я это всегда помню, потому что он сидит в тюрьме, и я люблю его глаза, и каждый раз при свидании мне становится страшно: а вдруг я вижу Фонни последний раз. Так что я сразу же беру телефонную трубку и просто держу ее в руке, а сама смотрю на него.

Так вот, когда я сказала: — Алонсо?..— он опустил глаза, потом поднял их на меня и улыбнулся и с телефонной трубкой в руке стал ждать, что я скажу дальше.

Как мне хочется, чтобы никому никогда не приходилось смотреть сквозь стекло на того, кого любишь.

И сказала я совсем не так, как хотела сказать. Я хотела сказать это небрежно, так, между прочим, чтобы он не слишком разволновался, чтобы он понял, что в сердце у меня нет никакой обиды на него, что я ни в чем его не виню.

Понимаете? Я ведь знаю Фонни. Он очень гордый, и душа у него беспокойная, и когда я думаю об этом, то понимаю: ему-то этого не понять,— вот почему его и посадили в тюрьму. Он и так уже беспокоится, и я не хочу, чтобы ко всему прибавилось еще и беспокойство за меня. Правду сказать, мне не хотелось говорить о том, о чем говорить приходилось. Но я знала, что сказать надо. Он должен знать.

И еще я думала, что когда на душе у него станет потише, когда он будет лежать ночью совсем один, когда он будет сам с собой, до глубочайшей глубины самого себя, то, может, подумает об этом и ему станет радостно. И вдруг это поможет ему.

Я сказала:

— Алонсо, у нас будет ребенок.

Я смотрела на него. Знаю — с улыбкой. Лицо у Фонни стало такое, точно оно погружалось в воду. Дотронуться до него я не могла. А мне так хотелось его тронуть. Я опять улыбнулась, и мои руки с телефонной трубкой взмокли, и на секунду я совсем перестала его видеть, и замотала головой, и лицо у меня стало мокрое, и я сказала:

— Я рада. Я рада. Ты не думай. Я рада.

Но сейчас он был наедине с собой, далеко от меня. Я ждала, когда он вернется. Я видела, как по лицу у него пронеслось: *мой* ребенок? Я знала, что Фонни так подумает. Он не во мне сомневался, нет! Но у мужчин всегда такая мысль. И на эти несколько секунд, когда он оставался совсем один, далеко-далеко от меня, ребенок был единственным, что оставалось в мире подлинного, более подлинного, чем тюрьма, более подлинного, чем я сама.

Мне бы сразу надо сказать: мы не женаты. Он относится к женитьбе серьезнее меня, хотя я его понимаю. Мы собирались пожениться, но он как раз попал тогда в тюрьму.

Фонни двадцать два года. Мне девятнадцать.

Он задал мне обычный нелепый вопрос:

— Ты не ошиблась?

— Может, и ошиблась. Просто хочу сбить тебя с толку.

И тут он улыбнулся. Он улыбнулся потому, что сразу поверил мне.

— Как же нам быть? — спросил он, совсем как маленький мальчишка.

— Ну что тебе сказать? Топить его мы не станем. Придется, наверно, растить.

Фонни откинул голову назад и рассмеялся, он смеялся до тех пор, пока у него слезы не потекли. И тогда я поняла, что первые минуты, то, чего я так боялась, сойдут благополучно.

— Ты сказала Фрэнку? — спросил он меня.

Фрэнк — это его отец.

Я ответила:

— Нет еще.

— А своим сказала?

— Тоже нет. Но ты о них не думай. Я хотела тебе первому.

— Ну что ж,— сказал он.— Это, наверно, правильно. Ребенок.

Он посмотрел на меня, потом опустил глаза.

— Нет, правда, как же ты дальше будешь?

— Как была, так и буду. Работать хочу почти до самого последнего месяца. А потом, ты не думай, обо мне позаботятся мама и сестра. И вообще до тех пор мы тебя отсюда вытащим.

— Ты в это веришь? — со своей легкой улыбочкой.

— Еще бы не верить. Я все время в это верю.

Я знала, что у Фонни в мыслях, но я не позволяю себе думать об этом — во всяком случае не сейчас, когда смотрю на него. Мне *надо* верить.

Позади Фонни показался конвоир: пора было уходить. Фонни улыбнулся и, как всегда, поднял кулак, я тоже подняла, и он встал. Меня каждый раз удивляет, когда я вижу его здесь, какой он высокий. Правда, он похудел, и, может, от этого кажется еще длиннее.

Он повернулся и вышел в дверь, и дверь за ним захлопнулась.

У меня закружилась голова. Я за весь день почти ничего не ела, а сейчас время было уже позднее.

Я вышла из помещения в эти длинные, широкие, ненавистные мне коридоры, которые больше пустыни Сахары. Сахара никогда не пустует; эти коридоры никогда не пустуют. Если идешь по Сахаре и вдруг, обессиленная, падаешь, то вскоре над тобой начинают кружить стервятники, чуют твою смерть, вдыхают запах. Они кружат все ниже и ниже — они ждут. Они все знают. Знают точно, когда плоть твоя изнемогла, когда дух твой уже не в силах обороняться. Бедный люд всю жизнь бредет по Сахаре. Адвокаты же, поручители и вся эта кодла кружит над бедняками, точь-в-точь как стервятники. Правда, они сами нисколько не богаче бедняков, поэтому и получаются из них стервятники, потребители отбросов, те гады, что обшаривают мусорные ящики, и конечно же в их числе и наша черная шпана, которая во многих отношениях еще того хуже. Мне на их месте было бы стыдно. Но теперь, когда о многом пришлось подумать, пожалуй, и не было бы. Не знаю, чего бы я не сделала, чтобы вытащить Фонни из тюрьмы. У нас люди ничего такого не стыдятся. Стыдятся только те работящие черные женщины, которые из жалости называют меня дочкой, да горделивые пуэрториканки, так как некому им объяснить, почему их возлюбленные попали в тюрьму: ведь по-испански здесь никто не говорит. Но им-то стыдиться нечего. Пусть стыдятся те, кто все эти тюрьмы содержит.

И мне не стыдно за Фонни. Если уж на то пошло, так я горжусь им. Он настоящий мужчина. Посмотрите хотя бы, как он принял всю эту дерьмовую историю. Меня, если по-честному, иногда страх берет, потому что некому очистить черных от дерьма, которое вечно на нас лепят. Только и остается, что не позволять себе думать дальше завтрашнего дня. А если станешь заглядывать слишком далеко вперед, если даже *попытаешься* заглянуть, у тебя руки опустятся.

Домой я езжу когда в метро, когда автобусом. Сегодня села в автобус, потому что так ехать немного дольше, а мне о стольком надо подумать.

Когда у человека случается беда, это как-то странно на него действует. Не знаю, смогу ли я все объяснить. Проходит день, другой...

как будто слышишь, что тебе говорят, и как будто сама с людьми разговариваешь, и как будто выполняешь свою работу или, по крайней мере, она сама собой почему-то выполняется, но ты никого не замечаешь, ничего не слышишь, и если тебя спросят, что ты делала весь день, тебе придется минутку подумать, прежде чем ответить. И в то же время и даже в тот же самый день — вот это очень трудно объяснить — ты видишь людей будто в первый раз. Они отсвечивают, точно бритва. Может, до того, как с тобой стряслась беда, ты просто смотрела на них по-другому? Может, теперь ты больше о них думаешь, но тоже совсем по-другому — вот они и кажутся тебе такими странными. Или боишься и цепенеешь перед ними, потому что не знаешь, можно ли положиться на них когда-нибудь, в чем-нибудь.

И если даже им захочется помочь мне, то чем, как? Нет человека в этом автобусе, кому я могу сказать: «Послушайте! С Фонни стряслась беда, он в тюрьме. (Представляете себе, что они подумают, услышав от меня самой, что я люблю человека, который сидит в тюрьме?) Ведь я знаю, что никакого преступления Фонни не совершал, и он у меня замечательный, так, пожалуйста, прошу вас, помогите мне выручить его». Представляете себе, что скажут эти люди, которые сидят в автобусе? А что бы *вы* сказали? Не могу же я признаться, что жду ребенка, и что мне страшно, и что я не хочу, чтобы с отцом моего ребенка случилось что-то нехорошее, неужели вы допустите, чтобы он умер в тюрьме? Умоляю вас, умоляю! Но такое сказать нельзя. А значит, по-настоящему ничего нельзя сказать. Если у тебя беда, ты одна-одинешенька. Садишься на место, и смотришь в окно, и думаешь: неужели придется всю жизнь ездить взад и вперед в этом автобусе? А если так, то что ждет твоего ребенка? Что ждет Фонни?

И если ты когда-нибудь любила этот город, то теперь ты его больше не любишь. Если я выберусь из своей беды, если мы оба выберемся, то клянусь, ноги моей больше не будет в центре Нью-Йорка.

Может, раньше, давным-давно, я и любила ходить здесь, когда папа привозил в центр меня и сестру, и мы глазели на прохожих и на небоскребы, и папа показывал нам разные достопримечательности, и мы заходили в Бэттери-парк и угощались мороженым и сосисками. Замечательное это было время, и нам было так хорошо тогда, но тут все дело в нашем отце, а сам город тут совершенно ни при чем. Дело было в отце, потому что мы знали: отец нас любит. А вот город—теперь я это знаю наверняка,— город нас не любил. Мы для него были вроде как зебры. Зебры же, как известно, кому нравятся, а кому нет. А что нравится зебрам, об этом никто их не спрашивает.

Я, правда, мало где еще была, только в Филадельфии и в Олбани, но хотите верьте, хотите нет, Нью-Йорк самый уродливый и самый грязный город во всем мире. И дома в нем, наверно, самые уродливые и люди самые противные. А уж полисмены здесь нужны такие — хуже не бывает. И если есть какой-нибудь город еще гаже, значит, он совсем близко от преисподней и туда доносится смрад со сковородок, на которых поджаривают людей. А если уж по правде, так вот так воняет в Нью-Йорке летом.

Я познакомилась с Фонни на улицах этого города. Я была еще маленькая, он не такой маленький. Мне было лет шесть — где-то около шести,— ему около девяти. Они жили через улицу от нас — он со своими родичами: мать, две старшие сестры, отец, а у отца была портновская мастерская. Теперь, вспоминая все это, я удивляюсь, для кого он, собственно, держал свою портновскую мастерскую. Мы таких богачей не видели, кто бы заказывал у него одежду,— может,

только в кои веки раз кто-нибудь и отыскался. Среди же нашей публики его дело никто не мог поддержать. Правда, говорят, цветные живут теперь не в такой нищете, как тогда, когда мама с папой старались сколотить свою жизнь. Не так уж теперь бедствуют, как в свое время на Юге. Но все равно мы были бедные и до сих пор не разбогатели.

Я этого Фонни вовсе и не замечала до тех пор, пока мы с ним не подрались как-то после уроков. Драка началась совсем не по нашей вине. У меня была подруга, ее звали Женева — бесстыжая девчонка, голенастая, крикливая, с туго заплетенными косичками по всей голове, с мосластыми, пепельно-серыми коленками, с большими ногами. Она вечно во все совалась. Ну, и ясно, была лучшей моей подругой, потому что я сама соваться никуда не смела. Я была худущая, пугливая и ходила за ней по пятам и участвовала во всех ее художествах. Больше со мной никто не водился и, честно говоря, с ней тоже. Так вот она мне говорила, что терпеть не может Фонни. Будто как взглянет на него, так ее с души воротит. И будто он урод: кожа цвета склизких картофельных очисток, глаза, как у китаезы, волосы ну просто войлок, и губастый какой! Да еще вдобавок кривоногий, потому что на щиколотках у него торчат мослы, а задницей восьмерки пишет. Наверно, мать у него горилла. Я с ней соглашалась, куда мне было деваться? Но, по-моему, он был вовсе не такое уж страшилище. Мне даже нравилось, какие у него глаза, и, честно говоря, я думала, что если такие глаза у всех китайцев, то, пожалуй, в Китай и стоит съездить. Горилл я никогда не видала, и задница у него была, по-моему, самая обычная, а если уж по правде, так не такая здоровенная, как у Женевы. И только гораздо позже я убедилась, что да, действительно, он немножко кривоногий. Но Женева вечно лезла к Фонни. А Фонни, по-моему, ее даже не замечал. Он только и знал, что крутиться со своими дружками, хуже которых у нас во всем нашем квартале не было. Вечно они бегали по улице рваные, все в крови, все в шишках, а незадолго до нашей драки у Фонни выбили зуб.

Фонни дружил с Дэниелом — рослым черным парнем, а Дэниел пристраивался к Женеве, вроде как Женева пристраивалась к Фонни. Не помню, с чего это все началось, но кончилось тем, что Дэниел повалил Женеву на землю и они пошли кататься кубарем, а я стала отдирать Дэниела от Женевы, а Фонни отдирал меня. Я обернулась и съездила его тем, что попалось под руку,— что выхватила из мусорного ящика. И всего-то это была палка, но с гвоздем. Гвоздь пришелся ему по лицу, оцарапал щеку и пошла кровь. Я так испугалась, просто глазам своим не поверила. Фонни тронул себя за щеку и посмотрел сначала на меня, потом на свою руку, а я умнее ничего не придумала, как бросить палку и наутек. Фонни кинулся за мной, а Женева, как назло, увидела кровь и начала кричать, что я его убила, я его убила! Фонни мигом меня догнал, стиснул что есть мочи и цыркнул мне в лицо сквозь дырку между зубами. Он попал мне прямо по губам, и больше всего меня, наверно, то *унизило*, что он не замахнулся и не ударил. А может, я почувствовала, чего он еще не сделал, и закричала, а потом заплакала. Смешно! Может, вся моя жизнь перевернулась в ту минуту, когда Фонни плюнул мне прямо в губы. Женева и Дэниел, которые и завели всю эту петрушку, но обошлись без единой царапины, оба начали на меня кричать. Женева кричала, что я его, конечно, убила, да, я его убила! Люди столбняком заражаются от ржавого гвоздя и умирают! А Дэниел сказал: да, да! Он тоже это знает, у него там в их местах был дядя, и он тоже от этого умер. Фонни

слушал их, слушал, кровь у него все капала, а я все реву и реву. Наконец он, наверно, понял, что речь идет о нем и что кончено его дело, конченый он мальчишка, и тоже начал плакать, и тогда Дэниел и Женева подхватили его с двух сторон и увели, оставив меня одну.

Дня три Фонни не попадался мне на глаза. Я была уверена, что у него столбняк и он умирает, а Женева сказала, что как только он умрет, чего жди в любую минуту, так за мной придет полисмен и меня посадят на электрический стул. Все эти дни я следила за портновской мастерской, но там все шло как всегда. Мистер Хант, смешливый, золотисто-смуглый, утюжил брюки и рассказывал анекдоты тем, кто был у него в мастерской — а там вечно кто-нибудь торчал,— и время от времени на улице показывалась миссис Хант. Она была из Освященных и улыбалась редко, но, судя по ним обоим, сын у них и не думал умирать.

Так вот, Фонни уже несколько дней не попадался мне на глаза, и однажды я дождалась, когда портновская мастерская опустеет, когда мистер Хант останется там один, и вошла туда. Мистер Хант немножко знал меня, как мы все знаем друг друга у себя в квартале.

— А, Тиш! — сказал он.— Ну, как ты там? Как там у вас дома?

Я сказала:

— Хорошо, мистер Хант.

Мне хотелось спросить: «А как у *вас* дома?» Так, как я всегда говорила и сейчас хотела спросить, но не посмела.

— А как у тебя дела в школе? — спрашивает мистер Хант, помолчав минуту, и мне показалось, будто он как-то чудно́ ко мне присматривается.

— Нормально,— сказала я, и сердце у меня так забилось, точно вот-вот выпрыгнет из груди.

Мистер Хант опустил верх гладильного пресса, каким пользуются в портновских мастерских — две гладильные доски одна над другой,— опустил верхнюю и минутку смотрел на меня, а потом рассмеялся и сказал:

— Я так рассчитываю, что этот мой лобастый сынок скоро вернется.

Я это услышала и поняла... что-то я поняла, но что именно, сама не знаю. Я пошла к выходу, будто бы сейчас уйду, но у двери остановилась и спросила:

— Про кого это вы, мистер Хант?

Мистер Хант все еще улыбался. Он поднял верхнюю доску, переложил другой стороной брюки или что там у него было, и сказал:

— Про Фонни. Мамаша отправила его ненадолго к своим родичам за город. Вечно, говорит, он впутывается тут во всякие истории.

И опять опустил верхнюю доску.

— А в какую историю он *там* может впутаться, об этом она не думает.— Потом снова взглянул на меня и улыбнулся. Когда я уже хорошо знала Фонни и с мистером Хантом познакомилась поближе, то поняла, что улыбка у Фонни отцовская.

— Да я передам ему, что ты приходила,— сказал он.

Я сказала:

— Привет от меня всем вашим, мистер Хант,— и побежала через улицу.

На крыльце у нас сидела Женева, и она сказала, что вид у меня совершенно ошалелый и что я чуть не попала под машину.

Я стала перед ней и говорю:

— Ты врушка, Женева Брейтуэйт. Никакого столбняка у Фонни нет, и он не помрет. А меня не заберут в тюрьму. Можешь пойти и спросить его отца.— И тогда Женева так чудно́ на меня поглядела, что я взбежала вверх по ступенькам, потом до нашего этажа и вылезла на пожарную лестницу, то есть села глубже в окно, которое туда выходит, чтобы Женеве меня не было видно.

Фонни вернулся домой дней через пять, через шесть и пришел к нашему дому. Царапин у него ни единой не осталось. Он принес два пончика. Он сел на наши ступеньки. Он сказал:

— Извини, что я в тебя плюнул.— И дал мне один пончик.

Я сказала:

— Ты тоже извини, что я тебя ударила.— И больше мы ничего не сказали. Он съел свой пончик, я — свой.

Люди не верят, что так бывает у мальчиков и девочек нашего возраста, люди мало чему верят, и я начинаю понимать, в чем у нас было дело. В общем, мы подружились. Но, может быть — хотя это то же самое, люди и в это не желают верить,— может быть, я стала его младшей сестренкой, а он — моим старшим братом. Он своих сестер не любил, а у меня братьев не было. Вот мы и сделались друг для друга тем, чего каждому из нас не хватало.

Женева взъелась на меня и перестала со мной водиться, хотя если разобраться как следует, то, может, я, сама того не зная, перестала водиться с ней, потому что у меня — правда, я про это тогда не думала,— у меня был Фонни. Дэниел взъелся на Фонни, обозвал его «слякотью» за то, что он «лижется» с девчонками, и перестал с ним водиться — надолго перестал. Один раз они даже подрались, и Фонни лишился второго зуба. Если бы кто понаблюдал тогда за Фонни, то, наверно, решил бы, что он вырастет совсем беззубым. Помню, я как-то ему сказала, что сейчас сбегаю за материнскими ножницами и зарежу этого Дэниела, но Фонни сказал, что это не девчачье дело и нечего мне в него соваться.

По воскресеньям Фонни должен был ходить в церковь — то есть хочешь не хочешь, а ходи. Правда, он ухитрялся надувать свою мамашу чаще, чем она это замечала или старалась заметить. Миссис Хант — потом я и с его матерью познакомилась поближе, но о ней мы еще поговорим — была, как я сказала, Освященная, и если она не могла спасти душу мужа, то уж детище свое спасала так, что только держись. Потому что он был не их сын, как она считала, а вроде только ее собственный.

Мне кажется, поэтому Фонни и рос таким отпетым. И поэтому, как мне опять же кажется, стоило приглядеться к нему поближе, и он оборачивался таким славным, таким по-настоящему славным, по-настоящему милым человеком, и в нем было что-то очень грустное, когда приглядишься поближе. Мистер Хант, то есть Фрэнк, не претендовал на сына, но любил его — и сейчас любит. Старшие сестры Фонни не то чтобы были Освященные, но могли сойти за них, и обе удались в маменьку. Вот Фрэнк с Фонни и держались друг за друга. Выходило так, что Фонни всю неделю был при Фрэнке, а Фрэнк всю неделю был при Фонни. Оба они знали: так уж им положено, и поэтому на воскресенье Фрэнк уступал Фонни матери. То, что Фонни вытворял на улице, Фрэнк в точности вытворял у себя в мастерской и в доме. Фрэнк тоже был отпетый. Вот почему он цеплялся за свою портновскую мастерскую, покуда мог. Вот почему, когда Фонни приходил домой весь в крови, Фрэнк обихаживал его. Вот почему оба они, и отец и сын, любили меня. Ничего загадочного в этом нет, хотя в человеке всегда все загадочно. Потом, гораздо позднее, мне как-то пришло в

голову, а любятся ли когда-нибудь отец и мать Фонни? Я спросила Фонни. И Фонни сказал:

— Да. Но не как мы с тобой. Я сколько раз их слышал. Она придет из церкви вся взмокшая, хоть выжми, пóтом от нее разит. Притворяется, будто так уж устала, шагу ступить не может, и, не раздевшись, валится поперек кровати. Разве только туфли кое-как снимет. И шляпу. А сумочку всегда куда-нибудь положит. Я и сейчас слышу этот звук, как что-то тяжелое позвякивает серебром и тяжело падает на место. Потом говорит: Сегодня вечером господь благословил мою душу. Когда же ты, золотце, вручишь господу жизнь свою? И тогда они точь-в-точь как кот с кошкой, что развлекаются в проулках. Мать их за ногу! Кошка давай орать и мяукать, пока дело не пойдет на лад, пока не заполучит она этого кота, пока по всему проулку этого кота не прогонит, будет гонять и гонять, пока он не ухватит ее за шкирку. Отца-то уж ко сну клонит, но она не отстает и не отстает, и прекратить эту петрушку можно только одним способом — ухватить ее за шкирку. И тут-то он ей и попался. И вот лежит он рядом с ней в чем мать родила и говорит: Самый раз, чтобы господь *мне* твою жизнь вручил. А она ему: Фрэнк! Фрэнк! Послушай меня, обратись к спасителю нашему! А он скажет: Хватит брехать, я сам к тебе обращусь. Я и есть спаситель. Тогда она давай плакать, давай стонать: Господи, помоги мне помочь этому человеку. Ты дал его мне. Я сама ничего не могу с ним поделать. Помоги мне, господи! А он: Господь тебе, лапочка, тогда поможет, когда ты в младенца превратишься, в голыша эдакого. Ну давай иди к господу. И тут она начнет вопить и взывать к Иисусу, а он все с нее стаскивает, и я слышу, как ее одежка шелестит, шуршит и трещит по швам и падает на пол. Утром иду в школу, прохожу через их комнату и то и дело спотыкаюсь об это тряпье. Так мой папаша догола ее разденет, взгромоздится на нее, а она все свое, в голос: Помоги мне, Иисусе! Господи, помоги мне! Отец говорит: Вот он, твой господь, вот тут. Где ты хочешь, чтобы он тебя благословил? Где ты хочешь, чтобы длани господни дотронулись до тебя? Вот тут, тут? Или тут? Подлая ты сука черная! Сука ты. Сука. Сука. И раз! — шлепок, громко так, с размаху. А она все свое: Господи, помоги мне снести ношу мою. А он: Ничего, детка, еще как снесешь. Ты обрела друга в господе, и я скажу тебе, когда он придет. Про первое пришествие скажу. А когда будет второе, это никому не известно. Пока что. И тут кровать начнет ходить ходуном, а она все стонет, стонет, стонет. А утром глядишь — будто ничего и не было. Она как всегда, а он выйдет на улицу — и к себе в мастерскую.

И Фонни говорил:

— Не будь меня, кот, наверно, давно бы ее бросил. Я своего папашу за это и люблю, что он не хотел со мной расставаться.

И я всегда буду помнить, какое у Фонни было лицо, когда он говорил о своем отце.

Потом Фонни поворачивался ко мне, обнимал меня, смеялся и говорил:

— Знаешь, а ты очень похожа на мою мамашу. Ну, давай затянем вместе «Грешник, грешник, любишь ли ты своего господа?» И если ты у меня не застонешь, значит, нет тебе спасения.

Не очень-то, наверно, часто бывает, чтобы двое могли смеяться и в то же время обнимать друг друга. Обнимать, потому что они смеются, смеяться, потому что они обнимают друг друга. Любовь и смех родятся в одном и том же месте, но туда редко кто заглядывает.

Как-то раз, в субботу, Фонни спросил меня, не пойду ли я с ним завтра утром в церковь, и я сказала: «Да», хотя мы баптисты и в Освященную церковь нам ходить не полагается. Но тогда все уже знали, что мы с Фонни дружим, это было ясно каждому. В школе и по всему нашему кварталу нас называли Ромео и Джульетта, хотя никто эту пьесу, конечно, не читал. и вот Фонни явился за мной жалкий-прежалкий, волосы прилизанные, блестят и на пробор, так свирепо расчесанный, точно его томагавком или бритвой проложили, и в своем синем костюме, а меня нарядила сестра, и вот мы пошли. Как подумаешь, это было вроде наше первое свидание. Его мать ждала нас внизу.

Был как раз канун пасхи, так что погода стояла не холодная, но и не жаркая.

Мы были еще совсем дети, и мне и в голову не могло прийти отнимать Фонни у его матери, да и вообще я ни о чем таком не думала, и хотя миссис Хант по-настоящему не любила Фонни, а только считала, что ей полагается любить сына, поскольку кому, как не ей, пришлось выродить его на свет божий, она уже и тогда относилась ко мне неважно. Доказательств этого у меня было сколько угодно, хоть бы то, что я к Фонни почти никогда не заходила, а он вечно торчал у нас. И не заходила я к ним вовсе не потому, что Фонни и Фрэнк не хотели видеть меня в своем доме. Не хотели меня видеть его мать и обе его сестрицы. С одной стороны, как я поняла позднее, они считали, что я не достойна Фонни, а на самом деле я, видите ли, была *их самих* не достойна. С другой же стороны, они считали, что ничего лучшего Фонни и не заслуживает. Ну что ж, я темнокожая, и волосы у меня как волосы, и нет во мне ничего особенного, и сам Фонни даже не считает нужным притворяться, будто я красивая, и говорит, что красивые ужасные зануды.

Я знаю: когда Фонни так говорит, значит, думает о своей матери. Вот почему, если он хочет подразнить меня, то уверяет, что я напоминаю ему мать. И ни капельки я на нее не похожа, и он знает это, знает и то, что я знаю, как он ее любил, как он хотел ее любить, хотел, чтобы ему было позволено ее любить, и что я пойму его правильно.

Миссис Хант и ее дочери светлые. До сих пор еще видно, что у себя на родине, в Атланте, она слыла красавицей. Она всегда держалась, да и до сих пор держится, недотрогой, а женщины красивые в молодости обычно уносят эти замашки с собой в могилу. Сестры Фонни были не такие красивые, да им и не пришлось провести юность в Атланте, но кожа у них была светлая, а волосы длинные. Фонни светлее меня, но гораздо темнее их, волосы у него курчавые, и весь вазелин, которым мать смазывала ему волосы, не мог распрямить этих курчавинок.

Фонни на самом деле весь в отца. Так вот миссис Хант улыбнулась мне терпеливой, нежной улыбкой, когда Фонни вывел меня в то утро из нашего дома.

— Я очень рада, Тиш, что сегодня утром ты идешь в обитель божию,— сказала она.— А ты сегодня хорошенькая!

Это было сказано таким тоном, что мне стало ясно, как я выгляжу в другие дни и как я вообще выгляжу.

Я сказала:

— Здравствуйте, миссис Хант.— И мы пошли по улице.

Улица была воскресная, утренняя. На наших улицах всегда знаешь, какой сейчас день и даже какой час. Там, где я родилась и где родится мой ребенок, идешь по тротуару, смотришь и будто видишь, что делается вот в этом и вон в том доме. Например, скажем, в субботу, в три часа дня время совсем плохое. У ребят занятий в школе

нет. У мужчин короткий день. Казалось бы, очень хорошо — вся семья в сборе. Так нет! Ребята мозолят глаза мужчинам. Мужчины мозолят глаза ребятам. И женщин, которым надо успеть со стряпней и уборкой и волосы распрямить и которые видят то, чего мужчины не желают замечать, все это просто бесит. Достаточно посмотреть на улицу или послушать, как они вопят, скликая своих ребятишек. Достаточно посмотреть, как они вылетают из дому — стремглав, вихрем, как раздают шлепки ребятне и волокут их наверх, достаточно посмотреть, как ревет ребенок и как мужчины, не обращая ни малейшего внимания на все это, кучками собираются на углах, сидят в парикмахерских, передают друг другу бутылку, заходят в ближайший бар, заигрывают с девицей за стойкой, затевают драку, а попозже только тем и заняты, что приводят в порядок свои выходные костюмы. Субботний день — точно туча, нависшая над головой, точно ожидание, что вот-вот разразится гроза.

Но к воскресному утру грозовые тучи пронеслись, разрушив все, что можно. И каковы бы ни были эти разрушения, теперь все расчищено. Женщины каким-то образом все собрали, кое-как навели порядок в доме. И вот все теперь отмытые, чистые, причесанные, напомаженные. Потом пойдут обедать — есть ветчину, или требуху, или курицу, жаренную на сковороде или в духовке, с картошкой, с рисом и зеленью, или кукурузные лепешки, или оладьи. После обеда придут домой, возликуют духом и такие станут благостные! Некоторые мужья по воскресеньям моют машины — чисто моют, чище, чем свою крайнюю плоть. Вот таким воскресным утром, когда мы шли по улице, с одной стороны рядом со мной, с видом жертвы, плелся Фонни, а с другой, точно королева, вступавшая в свое королевство, вышагивала миссис Хант, это было похоже на то, будто мы проходим по ярмарке. Но теперь мне думается, что на мысль о ярмарке меня навел Фонни, который за всю дорогу не проронил ни слова.

Как бьют бубны в церкви, было слышно уже за квартал.

— Вот бы твоего отца привести как-нибудь в воскресенье утром в дом божий,— сказала миссис Хант. Потом посмотрела на меня.— Тиш, а в какую церковь *вы* ходите?

Я ведь уже говорила, мы баптисты. Но в церковь мы особенно не ходим — может, только на рождество или на пасху, в такие вот дни. Мама недолюбливает этих сестриц во Христе, они недолюбливают ее, сестра моя все больше как мама, а папа говорит, что нечего бегать за господом богом, и вообще, по-моему, не очень-то он его почитает.

Я сказала:

— Мы ходим в баптистскую Абиссинию,— и уставилась на трещины в тротуаре.

— Абиссиния красивая церковь,— сказала миссис Хант, как будто это самое лучшее, что можно сказать о нашей церкви.

Было одиннадцать часов утра. Служба только что началась. Правда, занятия в воскресной школе начинались в девять и Фонни полагалось уже давно быть в церкви, но в то воскресенье он получил благодаря мне разрешение не присутствовать на уроке. Вообще-то миссис Хант была с ленцой, и не очень ей хотелось вставать рано утром, чтобы проводить Фонни в воскресную школу. Ведь в воскресной школе некому было ею восхищаться, некому обмирать, любуясь ее ухоженным, нарядно одетым телом, ее белой как снег душой. Фрэнк — тот и вовсе не собирался подниматься спозаранку и отводить Фонни в школу, а сестры не желали пачкать руки о своего курчавого братца. Что ж делать? Приходилось вставать миссис Хант и с глубокими вздохами, с восхвалениями господа снаряжать Фонни в воскресную школу.

Но если она не вела его за руку, он, конечно, редко туда добирался. И сколько раз эта женщина возносилась духом в церкви, не подозревая, где сейчас находится ее единственный сын. «С чем Элис неохота самой возиться,— много позднее говорил мне Фрэнк,— она передает в руки господа бога».

Церковь была в помещении почтовой конторы. Не знаю, зачем это помещение надо было продавать, и, уж если на то пошло, почему кому-то понадобилось покупать его — длинное, темное, с низкими потолками, оно все еще выглядело как почта. Некоторые перегородки снесли, поставили скамьи, повесили библейские тексты и расписание служб, но потолок там был из этой ужасной рифленой жести, кое-где его покрыли коричневой краской, а в других местах так и оставили некрашеным. Когда входишь в эту церковь, кафедра кажется где-то далеко-далеко. Честно говоря, здешние прихожане, по-моему, гордились главным образом размерами своей церкви и тем, что они сумели такую заполучить. Я-то, конечно, привыкла (более или менее) к нашей Абиссинии. Она светлее, там есть галерейка. Я обычно сидела на этой галерейке у мамы на коленях. Как только мне вспоминается псалом «Безоблачный день», я будто снова сижу там на коленях у мамы. Как только у меня в ушах зазвучит «Благословенный покой», так я сразу вспоминаю церковь Фонни и мать Фонни. Я не о том, будто от этого псалма веяло покоем и будто в церкви был покой. Просто в нашей его не пели. У меня он накрепко связан с церковью Фонни, потому что, когда его запели в то воскресное утро, мать Фонни воспарила духом.

Когда люди воспаряют и подчиняются власти господней, тут есть на что посмотреть, даже если смотришь на это в который раз. Но у нас в церкви редко кто воспарял духом; мы были не столько Освященные, сколько благопристойные, цивилизованные. В их церкви мне по сию пору видится что-то страшное. Но это, видно, потому, что ее так ненавидел Фонни.

Их церковь была очень широкая, и между рядами в ней шли три прохода. Вы, может, думаете, что так легче найти средний проход, чем если б там шел только один, по самой середке? Как раз наоборот, гораздо труднее. Тут надо чутьем брать. Мы вошли в эту церковь, и миссис Хант повела нас прямо по левому проходу, так что все, кто сидел правее, поворачивались и смотрели на нас. И откровенно говоря, было на что поглядеть. Я — черная, длинноногая, в синем платье, волосы приглажены, повязаны синей ленточкой. Фонни, который держал меня за руку,— несчастный, в белой рубашке, в синем костюме, синем галстуке; волосы так жутко, так отчаянно блестят — и не столько от вазелина, сколько от пота, проступившего на голове. А за нами миссис Хант... не знаю, как это ей удалось, но только мы ступили за церковный порог, она мигом преисполнилась суровой любовью к двум своим малолетним язычникам и провела нас впереди себя к престолу. Она была в чем-то розовом или бежевом, я сейчас уже не помню, но ее наряд выделялся на общем мрачном фоне. И на голове у нее сидела ужасная шляпа, какие тогда носили женщины, с вуалькой до бровей или до носу, а выглядят в этих вуальках всегда так, будто на лице у тебя сыпь. Кроме того, она была на высоких каблуках и выстреливала ими по полу, как из пистолета, а голову держала очень высоко, очень благородно. И только вошла в церковь, так сразу обрела спасение души и освятилась, и я до сего дня помню, как меня вдруг всю затрясло при взгляде на нее — где-то глубоко, в самом нутре. Точно и надеяться нельзя было хоть слово, хоть единственное слово, хоть словечко сказать ей, не предав себя в руки бога живого, а он, бог, посоветуется с ней, прежде чем отвечать мне. Престол... Она вывела нас к

передним скамьям и посадила перед ним. Нас посадила, а сама склонилась, стала перед престолом на колени, и нагнула голову, и прикрыла глаза рукой, сначала заправив вуаль вверх, чтобы не чикаться с ней. Я покосилась на Фонни, но Фонни не поглядел на меня. Миссис Хант поднялась с колен, повернулась лицом к молящимся, а потом скромно опустилась на свое место.

Какой-то молодой человек, рыжеватый, свидетельствовал перед господом, рассказывал о господе, о том, как господь вытравил все пятна у него из души и усмирил его похотливую плоть. Потом, когда я стала постарше, он часто попадался мне на улицах. Его звали Джордж. Сидит, бывало, на ступеньках какого-нибудь крыльца или на краешке тротуара, клюет носом, а умер он от того, что вкатил в себя слишком большую дозу. Прихожане начали восхвалять его изо всех сил; одна рослая сестра на кафедре в длинном белом балахоне вскочила с места и легонько вскрикнула. Тогда все стали кричать: «Помоги ему, Иисусе! Помоги ему!» А как только он сел, другая сестра, ее звали Роза — она вскоре совсем сгинула из церкви, родила ребенка, и я помню свою последнюю встречу с ней, мне тогда было лет четырнадцать, идет она по улице, на тротуарах снег, лицо у нее все в кровоподтеках, руки распухшие, на голове какая-то тряпица, чулки спущенные, идет и что-то напевает,— так вот эта Роза встала и начала петь: «Легко ли на душе твоей, когда идешь ты из пустыни, о длань господню опираясь». Тут Фонни взглянул на меня и сразу же отвел глаза. Миссис Хант пела и хлопала в ладоши. И огонь среди прихожан начал разгораться.

Потом я стала наблюдать за другой сестрой слева от Фонни, потемнее и не такой красивой, как миссис Хант, но тоже нарядной. Она воздевала руки и кричала:

— Свят! Свят! Свят! Благословенно имя твое, Иисусе! Благословенно имя твое, Иисусе!

И миссис Хант тоже начала вскрикивать, как бы отвечая той. Они вроде старались перекричать друг дружку. Та была вся в синем, в темно-темно-синем, и синяя, в тон шляпка, сидевшая на макушке как ермолка, а на шляпе белая роза, и при каждом движении этой женщины роза вздрагивала, каждый раз, как женщина склоняла голову, и белая роза клонилась. Белая роза казалась каким-то жутким светильником, наверно, потому, что женщина была совсем темная и в темном платье. Мы с Фонни тихо сидели между ними обеими, а голоса прихожан, не щадя нас, звучали вокруг все громче, громче и громче. Мы с Фонни не касались друг друга и не смотрели друг на друга, но как бы держались друг за друга, точно дети в лодке на сильной волне. Паренек позади нас по имени Тедди — потом я его тоже встречала — высокий, шоколадно-коричневый и плотный, только не там, где следует,— бедра, руки, ноги, зад — все плотное, он был точно гриб, перевернутый шляпкой вниз,— громко запел:

— *Покой, покой, святой покой.*

— *В бурном море жду спасенья,*— запела миссис Хант.

— *Слышу голос твой!* — запела темная сестра слева от Фонни.

— *Ты несешь мне избавленье,*— пела миссис Хант.

— *От напасти злой,*— пела темная сестра.

Тедди тряхнул бубном, подав знак пианисту — этого я больше никогда не видела,— высокому, темному, злодейского вида брату, руки у которого были как будто для того созданы, чтобы душить людей. И этими руками он стал терзать клавиатуру, точно старался выбить мозги у кого-то, хорошо ему запомнившегося. У прихожан, конечно, были свои воспоминания, и они ударились кто во что горазд. Церковь начало качать. И меня с Фонни тоже закачало, хотя никто об этом не догадывался, да и качало нас совсем по-другому. Теперь мы знали, что

ни меня, ни Фонни никто не любит — или нет! — мы узнали, кто нас с ним любит. Но этих любящих здесь не было.

Смешно! За что только ни цепляешься, чтобы выстоять ужас, когда ужас окружает тебя со всех сторон. До самой своей смерти я буду помнить белую розу у той черной женщины в этой страшной церкви. Роза вдруг выпрямилась, и тогда я, сама того не сознавая, со страху схватила Фонни за руку, а справа и слева от нас вдруг начали приплясывать с выкриками обе женщины. Это была господня пляска. Женщина с розой плясала, вытянув вперед шею, и роза молнией металась вокруг ее головы, вокруг наших голов, а женщина в вуальке плясала, запрокинув голову. Вуаль была у нее теперь высоко надо лбом, обрамляя ей лоб, и точно брызгами черной воды нас крестила, а ее спрыскивала. Люди вокруг пятились, уступая им место, и, приплясывая, они перешли в средний проход. Обе не расставались со своими сумочками. Обе были на высоких каблуках.

Мы с Фонни больше никогда не ходили в церковь. И никогда не говорили о своем первом свидании. Но когда я в первый раз пошла к нему в тюрьму и поднялась по этой лестнице в эти переходы, у меня было такое чувство, будто я вхожу в церковь.

Теперь, когда я сказала Фонни, что у нас будет ребенок, мне надо сказать маме и сестре — ее зовут Эрнестина, она на четыре года старше меня,— папе и Фрэнку. Я сошла с автобуса и не знала, куда же идти дальше: несколько кварталов на запад, к дому Фрэнка, или к нашему — один квартал на восток. Но мне было так не по себе, что я решила: лучше пойду домой. По правде говоря, мне хотелось сказать сначала Фрэнку, а потом уж маме. Но это было слишком далеко, пожалуй, туда я не дойду.

Моя мама странная женщина — так все говорят. Ей было двадцать четыре года, когда я родилась, значит, теперь за сорок. Должна вам сказать, я очень ее люблю. По-моему, она очень красивая. Может, с виду-то она не такая уж красавица, хотя хрен его знает, как понимать слово «красота» в этом царстве слепых. Теперь мама начала немножко полнеть. В волосах у нее пробивается седина, но только у самой шеи, в том месте, которое у ее поколения называлось «чуланчиком», и на самой макушке, так что седину заметно, только когда она наклоняет голову или поворачивается к тебе спиной, а это, видит бог, не часто с ней случается. Если она стоит лицом к тебе, то волосы черные на черном. Зовут ее Шерон. Было время, когда она хотела стать певицей. Родилась она в Бирмингеме. К девятнадцати годам вырвалась из этого адского уголка, уехала с бродячим джаз-оркестром, вернее с ударником. Но ничего хорошего из этого не вышло, потому что, как она сама рассказывала:

— Не знаю, любила я его или не любила. Была я тогда молодая и сейчас вижу, что даже моложе, чем мне полагалось быть по годам. Понимаешь, как бы это сказать? Во всяком случае, разве я была тогда женщиной, разве могла помочь мужчине, дать мужчине то, что ему нужно?

Разъехались — он в одну сторону, она в другую. И куда бы, вы думали, ее занесло? В Олбани, а там поступила в бар официанткой. Ей исполнилось двадцать лет, и она поняла, что, хотя голос у нее есть, певицы из нее не получится. Поняла, что для того, чтобы ступить на путь певицы, одного голоса мало. И как ей быть дальше, неизвестно. Словом, погибает. А таких погибающих кругом полно. Ведь Олбани не райские кущи для черных.

Правда, по-моему, Америка для кого хочешь не рай, а если так, то

дни господа бога сочтены. Люди говорят, будто они этому богу служат, а как и чем служат, сами не знают. Чувство юмора у него, прямо скажу, препоганое. Будь он мужчиной, наподдать бы ему под зад коленкой, чтобы сбить с него спесь. При условии, что ты сама была бы мужчиной.

В Олбани моя мать встретилась с Джозефом, с моим отцом, встретилась с ним на автобусной станции. Она только что уволилась с работы, и он тоже только что уволился с работы. Джозеф на пять лет старше ее, служил он носильщиком на автобусной станции. Приехал в Олбани из Бостона, а специальность у него была тогда — матрос с торгового судна. Но в Олбани он застрял главным образом из-за одной немолодой женщины, которая тогда с ним жила и которая не позволяла ему ходить в плаванье. И вот, когда моя мать, Шерон, вошла на автобусную станцию с маленьким картонным чемоданчиком, испуганно глядя по сторонам большущими глазами, у него с той женщиной дело шло на разрыв. Работа на автобусных станциях Джозефу не нравилась. А в те годы шла война в Корее, и он знал, что если не уйдет в плаванье в ближайшее же время, быть ему в армии, а для него это было хуже нет. И как иногда случается в жизни, у них у обоих все дошло до точки, в одно и то же время дошло. Вот тут и появилась Шерон.

Джозеф говорит, и я ему верю, что как увидел он эту женщину, когда она отошла от кассы, села на скамейку — сидит одна и озирается по сторонам,— так сразу решил, что больше он ее из виду не выпустит. Она прикидывалась этакой лихой, занозистой дамочкой, а на самом-то деле сидела и всего боялась. Он говорит, меня смех разобрал, на нее глядя, но такие у нее были испуганные глаза, что не до смеху, только бы не расплакаться.

Времени он не стал терять и подошел к ней.

— Я извиняюсь, мисс, вы, случайно, не в город едете?

— В какой город? В Нью-Йорк?

— Да, мисс. В Нью-Йорк.

— Да,— сказала она, глядя на него во все глаза.

— Я тоже туда,— сказал он, тут же решив ехать, и зная, что денег на билет у него хватит.— Только я плоховато Нью-Йорк знаю. А вы?

— Тоже не очень,— сказала она, совсем уж всполошившись, потому что ей было непонятно, что это за чудик такой и что ему от нее нужно. В Нью-Йорке она бывала несколько раз со своим ударником.

— У меня в Нью-Йорке дядя живет,— сказал он.— Дал мне свой адрес, может, вы знаете, где это? — Нью-Йорка он почти не знал, выходил в плаванье большей частью из Сан-Франциско и дал маме адрес — первое, что пришло в голову, и она совсем уж потерялась. Адрес был где-то недалеко от Уолл-стрит.

— Да, знаю,— сказала мама.— Но, по-моему, цветные там не живут.— Она не посмела сказать этому психу, что в тех местах вообще никто не живет, что жилья там нет и не было, одни кафетерии, склады и разные конторы.— Там только белые,— сказала она и стала озираться, куда бы ей убежать.

— Точно,— сказал он.— Мой дядя белый.— И сел рядом с ней.

Ему надо было в кассу за билетом, но он еще боялся от нее отойти, боялся, что она удерет от него. А тут подали автобус, и она встала. Он тоже встал, поднял ее чемоданчик, сказал: — Разрешите,— взял ее под локоть и прошел с ней к билетной кассе, и, пока он покупал себе билет, Шерон стояла рядом с ним. Что ей оставалось делать? Разве только крикнуть: «Помогите!» — а помешать ему сесть в автобус она все равно не могла. Она надеялась, что как-нибудь отделается от него до того, как они приедут в Нью-Йорк.

Словом, в последний раз видел мой папа эту автобусную станцию, в самый последний раз тащил чьи-то чемоданы.

Отделаться от него до Нью-Йорка ей, конечно, не удалось, и он что-то не очень спешил разыскать там своего белого дядюшку. Когда приехали, он помог ей снять комнату в меблирашке, сам же устроился в доме для приезжих Ассоциации молодых христиан. А на другой день пришел за ней с утра и повел ее завтракать. Через неделю он на ней женился и ушел в плаванье, а моя мать, малость ошарашенная всем этим, осталась налаживать свою жизнь.

Она, я думаю, отнесется к моему признанию о ребенке как надо, сестра Эрнестина тоже. Папа, пожалуй, начнет бушевать, но это потому, что он не знает о своей дочери того, что знают мама и Эрнестина. Вот так. Он и беспокоиться-то будет по-своему, и это беспокойство проявится в нем сильнее, чем у них.

Когда я наконец взобралась на нашу верхотуру, дома никого не было. Мы живем здесь уже пятый год, и жилье у нас не плохое, хотя это и новостройка. Мы с Фонни думали приспособить себе какую-нибудь мансарду в Гринич-Вилледже и много таких осмотрели. Что-нибудь лучшее для нас и придумать было бы трудно, потому что новостройка нам не по карману, и Фонни их ненавидит, и там Фонни не нашлось бы места, где заниматься скульптурой. Другие дома в Гарлеме еще хуже новостроек. В таком жилье не начнешь новую жизнь, слишком много с ним связано, в таком не захочешь растить своего ребенка. Но как подумаешь обо всем этом, так сразу вспомнишь, сколько детей родилось там, где крысы величиной с кошку, где тараканы не меньше мышей, щели шириной с палец взрослого человека,— сколько детей родилось там и ничего, выжили. О тех, кто не выжил, и вспоминать не хочется, а сказать правду, так всегда становится грустно, когда думаешь об одолевавших такую жизнь или о тех, кто еще одолевает ее.

Я не пробыла дома и пяти минут, как вернулась мама. Она вошла с хозяйственной сумкой в руке, в хозяйственной, как я ее называю, шляпе — обвисшем бежевом берете.

— Ну, как дела, малыш? — Она улыбнулась, но бросила на меня испытующий взгляд.— Как там Фонни?

— Да все так же. Молодцом. Шлет всем привет.

— Хорошо. Адвоката видела?

— Сегодня нет. Мне к нему в понедельник, после работы.

— А был он у Фонни?

— Нет.

Она вздохнула, сняла берет и положила его на телевизор. Я взяла сумку, и мы пошли на кухню. Мама стала разбирать покупки.

Я наполовину прислонилась, наполовину присела на раковину и посмотрела на маму. Потом мне вдруг стало страшно, и в животе у меня будто что-то дрогнуло. Потом я подумала, что беременна уже третий месяц, что сказать *надо*. Пока еще ничего не заметно, но придет день, и мама опять бросит на меня испытующий взгляд.

И потом вдруг, когда я вот так, не то стояла, прислонившись, не то сидела на раковине, а мама была у холодильника и критически осматривала курицу и потом убрала ее, напевая что-то себе под нос — как напеваешь, когда в мыслях у тебя что-то тревожное, что-то тягостное, что вот-вот нагрянет, вот-вот ударит по тебе,— у меня вдруг появилось такое чувство, будто она уже все знает, давно узнала и только ждет, когда я скажу ей.

Я сказала:

— Мама...

— Да, малыш? — Все еще напевая себе под нос.

Но я молчу. И тогда она захлопнула дверцу холодильника, повернулась и поглядела на меня.

Я заплакала. Такой у нее был взгляд.

Минуту она так и простояла у холодильника. Потом подошла ко мне и положила руку мне на лоб, другой тронула меня за плечо. Она сказала:

— Пойдем ко мне. А то скоро отец и Эрнестина придут.

Мы пошли к ней в комнату и сели на кровать, и мама затворила дверь. Она не дотронулась до меня. Она, не двигаясь, сидела на кровати. Ей, верно, надо было взять себя в руки, потому что я-то очень уж расклеилась.

Она сказала:

— Тиш. Ну что это ты! Нашла о чем плакать! — Она придвинулась ближе ко мне.— Фонни сказала?

— Только сегодня. Я решила, что ему надо первому.

— Правильно. А он, наверно, ухмыльнулся от уха до уха? Да?

Я посмотрела на нее искоса и засмеялась.

— Да. Конечно.

— Ты... постой, дай сообразить... наверно, месяца три?

— Почти.

— Чего же ты плачешь?

Тут она дотронулась до меня, обняла и стала покачивать, а я все плачу.

Она дала мне носовой платок, и я высморкалась. Она подошла к окну и тоже высморкалась.

— Теперь слушай,— сказала она.— Хватит с тебя забот, нечего еще дурака валять и убиваться: вот, мол, какая я непутевая. Не такой я тебя вырастила. Будь ты непутевая девка, не сидела бы ты сейчас у меня на кровати, а работала бы под началом у тюремного надзирателя.

Мама вернулась ко мне и села рядом. Она, видно, ломала себе голову, подыскивала нужные слова, чтобы выразить свои мысли.

— Тиш,— сказала она.— Когда нас привезли сюда, белый человек не посылал священников читать над нами разные слова, если приходило нам время рожать младенцев. И вы с Фонни все равно были бы сейчас вместе — венчанные или невенчанные, кабы не тот же белый человек. Так вот слушай, как тебе дальше быть. Береги ребенка, что бы там ни случилось. Вот она *твоя* забота, и только твоя. За тебя этого никто не сделает. А мы — все мы будем с тобой. И не беспокойся, мы вызволим Фонни из тюрьмы. Это будет нелегко, знаю, все знаю, но ты не беспокойся. А ребятенок... да для Фонни лучше ничего и быть не может. Ему этот ребятенок нужен. Он с ним все одолеет...

Она поддела одним пальцем меня за подбородок — есть у нее такая манера — и с улыбкой посмотрела мне в глаза.

— Втолковала я тебе, Тиш, как надо поступать?

— Да, мама. Да.

— Ну так вот — скоро придут папа и Эрнестина, мы сядем все за стол, и я сама оглашу нашу семейную новость. Так будет проще? Как ты считаешь?

— Да. Да.

Она встала с кровати.

— Ты это сними с себя, ложись и полежи. А потом я за тобой приду.

Она отворила дверь.

— Хорошо, мама... Мама!

— Да, Тиш?

— Спасибо тебе, мама.

Она рассмеялась.

— Не знаю, дочка, за что ты меня благодаришь, но пожалуйста, пожалуйста, хоть и не стоит того.

Она притворила за собой дверь, и я услышала, как она ходит по кухне. Я сняла туфли и пальто и вытянулась на кровати. Был тот час, когда начинает темнеть, когда с улицы начинают доноситься вечерние звуки.

Зазвонил звонок. Я услышала, как мама крикнула: «Сейчас открою!» — и снова вошла ко мне. Она несла стаканчик с водой, куда была добавлена самая малость виски.

— Ну-ка. Сядь. Выпей. Это тебе поможет.

Потом притворила за собой дверь спальни, и я услышала постукивание ее каблуков в коридоре, ведущем к входной двери. Это пришел папа, он был в хорошем настроении, и до меня донесся его смех.

— Тиш дома?

— Она немножко соснула. Пришла усталая.

— Видала Фонни?

— Да. Фонни видала. И нагляделась, какая она там внутри, эта тюряга. Вот я ее и уложила.

— А как там с адвокатом?

— Она в понедельник с ним повидается.

Папа хмыкнул, я услышала, как открылась и захлопнулась дверца холодильника и он налил себе пива.

— А Эрнестина?

— Скоро придет. Она задерживается на работе.

— Как ты думаешь, во сколько нам станет этот паршивый адвокатишка, пока суд да дело?

— Ты, Джо, прекрасно знаешь, какой толк меня об этом спрашивать.

— Уж наверно, огребет немало.

— Ну и бог с ним!

Мама уже налила себе джина с апельсиновым соком и сидела за столом напротив него. Она покачивала ногой, думая, как ей быть.

— Ну что там у тебя сегодня?

— Ничего, порядок.

Папа работает в порту. В плаванье он больше не ходит. «Порядок» означает у него, что за весь день ему, видно, не пришлось лаяться на работе больше, чем с одним, с двумя, и не пришлось угрожать кому-нибудь смертоубийством.

Фонни подарил маме одну из своих первых работ. Это было года два назад. Статуэтка всегда чем-то напоминала мне папу. Мама поставила ее на маленький столик в гостиной. Она не очень высокая, вырезана из черного дерева. Обнаженный мужчина одной рукой касается лба, другой слегка прикрывает пах. Ноги длинные, очень длинные, очень широко расставлены, одна точно впечаталась в землю и ей не двинуться, и вся фигура выражает муку. Очень странно, что такую вещь сделал, в сущности, юнец. Странно, пока не задумаешься. Фонни ходил в ремесленную школу, где ребят учат делать разное дерьмо, разные никому не нужные вещи, например, ломберные столики, и скамеечки для ног, и шифоньерки, которые никто никогда не купит, потому что кому нужна мебель ручной работы? Не богачам же. Богатые говорят, что наши ребята тупые, ни к чему не способные, и поэтому учат их ремеслу. А наши ребята далеко не тупицы. Но те, кто ведает такими школами, делают все, чтобы из учеников ни один не выделился, и на самом-то деле готовят из них рабов. Фонни не желал с этим мириться и бросил школу, прихватив с собой почти весь материал из мастерской. На это у него ушла чуть ли не вся неделя: один день таскал инструмент, другой — дерево. Но с деревом было потруд-

нее, потому что ни в карман, ни под пиджак его не сунешь. Наконец они с приятелем забрались затемно в помещение школы, чуть ли не все, что нашли в мастерской, сперли и вывезли на машине брата этого приятеля. Часть покражи спрятали в подвале у одного знакомого швейцара, инструмент Фонни притащил ко мне, а деревяшки его до сих пор лежат у меня под кроватью.

Фонни нашел себя, нашел то, что ему хотелось делать, и это уберегло его от смерти, которая только и ждет, чтобы унести с собой детей нашего поколения. Хотя у смерти было много разных обличий, хотя люди умирали молодыми от разных причин, сама смерть была проще простого, и то, что вело к ней, тоже было проще простого — вроде чумы. Ребятам говорили, что они ни хрена не стоят, и все вокруг подтверждало это. Они боролись, они боролись, но падали замертво, как мухи, и клубились на мусорных кучах своих жизней, тоже как мухи. И может, я потому так и цеплялась за Фонни, может, потому Фонни спас *меня*, что он чуть ли не единственный из всех мальчишек, кого я знала, не баловался со шприцем, не накачивался дешевым вином и не нападал на прохожих на улицах, не грабил магазинов — и никогда не ходил распрямлять волосы, так они у него курчавые и росли. Он начал работать поваром в закусочной, чтобы и кормиться там, подыскал подвальное помещение, где занимался резьбой по дереву, и бывал у нас чаще, чем у себя дома.

У них в семье то и дело разыгрывались скандалы. Миссис Хант не выносила Фонни или не мирилась с его замашками, а обе сестры Фонни во всем подражали матери — особенно последнее время, потому что им приходилось ужасно трудно. Их всячески готовили к замужеству, но достойных себе мужей они не находили. Это были самые обыкновенные гарлемские девушки, хотя им и удалось поступить в Городской колледж. Но в Городском колледже жизнь ничем их не порадовала — решительно ничем: те из черных братьев, кто был со степенями, в таких не нуждались; те, кто хотел жениться на черных, женились на черных; те, кто на белых, женились на белых. Так они и остались ни с чем и всю вину за это взваливали на Фонни. Фонни спасу не было от материнских молитв, больше похожих на проклятья, и сестринских истерик, больше похожих на оргазм. А Фрэнк — куда ему было тягаться с этими тремя ведьмами. Он выходил из себя, и тогда можете себе представить, какой крик стоял у них в доме! И Фрэнк начал попивать. Я его не осуждаю. Иногда он забредал к нам, будто Фонни ищет. Ему приходилось похуже Фонни, портновскую мастерскую он потерял и работал теперь на швейной фабрике. И уже зависел от Фонни, как Фонни когда-то зависел от него. Так что вы сами видите, некуда им было приткнуться. Фрэнк ходил по барам, но Фонни баров не любил.

Та страстность, которая когда-то спасла Фонни, теперь навлекла на него беду и усадила за решетку. Потому что он нашел свое дело — дело всей своей жизни, нашел себя,— и это проглядывало в нем. Он никому не желал подчиняться. А это преступление в нашей хреновой свободной стране. Будь добр, подчинись. А не хочешь, значит, ты плохой негр. Вот это полисмены и учуяли в нем, когда он перебрался в Гринич-Виллидж.

Пришла Эрнестина — высокая, худущая. Мне слышно, как она поддразнивает папу.

Эрнестина работает в благотворительном центре с детьми из неимущих семей — дети лет четырнадцати-пятнадцати, белые и черные, мальчики и девочки. Работа очень тяжелая, но она находит в ней

смысл, а если бы не находила, наверно, и не вытянула бы. Странно, как у людей получается. В детстве Эрнестина была самая что ни на есть пустельга. То и дело бегала завиваться, платья всегда чистенькие, и вечно вертелась перед зеркалом, будто глазам своим не верила, до чего же она хороша. Я терпеть ее не могла. Эрнестина была старше меня на четыре года и считала ниже своего достоинства знаться со мной. Мы дрались, как кошка с собакой или, вернее, как две сучки.

Мама старалась не принимать этого слишком близко к сердцу, она думала, что Сестрица — я звала ее Сестрицей, чтобы не называть по имени, а может, чтобы подтвердить на нее свои права,— что Сестрица создана для эстрады и эстрадой и кончит. Такая мысль не наполняла ее сердца радостью, но ей, моей матери, Шерон, не следовало забывать, что было время, когда она сама собиралась стать певицей.

И вдруг сразу, будто встали однажды утром и все по-другому, все изменилось. Во-первых, Эрнестина выросла — вытянулась и похудела. Она стала носить брюки, завязывать сзади волосы и читать книгу за книгой, будто книги, того и гляди, выйдут из моды. Когда бы я ни пришла из школы, она всегда лежит с книгой, свернувшись где-нибудь калачиком или просто на полу. Газеты она перестала читать. В кино больше не ходила. «Хватит с меня жевать эту брехню, которой нас белые пичкают,— говорила она.— И так уж завалили мне все мозги дерьмом». Но в то же время в сухаря не превратилась, как была приятной, так и осталась. И не было у нее привычки рассуждать вслух, во всяком случае подолгу, о прочитанном. И ко мне стала относиться гораздо лучше. И лицо у нее начало меняться. Оно стало более резко очерченное, более замкнутое и очень похорошело. Узкие, продолговатые глаза потемнели от того, что им теперь открылось.

Она раздумала поступать в колледж и какое-то время проработала в больнице. Там ей встретилась одна девочка, и эта девчушка умирала, потому что в свои двенадцать лет она была глухая наркоманка. И не черная. А из Пуэрто-Рико. И тогда Эрнестина пошла работать с детьми.

— А Иезавель где?

Она дала мне такое прозвище после того, как меня взяли в косметический отдел универмага, где я теперь работаю. В универмаге сочли, что поставить на такую работу цветную очень смело, очень прогрессивно с их стороны. Я с утра до вечера торчу за прилавком, будь он проклят, за день до того наулыбаюсь, что у меня коренные зубы начинает ломить, и даю усталым пожилым дамам нюхать тыльную сторону моей руки. Эрнестина уверяет, что когда я прихожу домой, от меня несет, как от луизианской шлюхи.

— Дома. Прилегла у меня.

— Она здорова?

— Просто устала. Ходила к Фонни.

— Как там Фонни — держится?

— Держится.

— О господи! Чего-нибудь выпить, что ли! Сегодня мне готовить?

— Нет. Я сама сейчас кастрюльками займусь.

— Виделась она с мистером Хэйуордом?

Арнольд Хэйуорд — адвокат. Эрнестина нашла его через свое учреждение, которому все-таки приходится иметь дело с юристами.

— Нет. В понедельник после работы к нему поедет.

— Ты поедешь с ней?

— Надо, наверно.

— Да. По-моему, тоже. Папа, перестань ты сосать пиво. Тебя и

так уже разносит... До вашего прихода я еще с ним поговорю, буду звонить ему с работы. Тебе, может, джина подлить? А, старик?

— Поставь его вот сюда, доченька, и пусть стоит, а я как встану...

— Ну, ну, вставай!

— ...и как врежу тебе! Ты бы лучше Арету послушала, как она поет «Уважение»! А знаешь, что Тиш говорит? Будто этот адвокат еще денег потребует.

— Папа, мы ему вперед внесли, и поэтому и платьишка себе теперь не можем купить. И впереди еще судебные издержки. Но пока он не добьется суда над Фонни, ему больше ничего не причитается.

— Говорит, дело сложное.

— Ишь ты! А не сложное, зачем тогда адвокаты?

— Затем, чтобы деньги получать,— сказала мама.

— Ну, ладно. С Хантами какой-нибудь разговор был?

— Ты что, не знаешь? Они ничего и слышать не хотят. Миссис Хант и обе ее красотки считают себя опозоренными. А у Фрэнка, бедняги, ни гроша за душой.

— Ладно. Только не надо распространяться об этом при Тиш. Как-нибудь сами справимся.

— А ну их ко псам! Как-нибудь справимся. Фонни, он вроде член нашей семьи.

— Он и есть член семьи,— сказала мама.

Я зажгла свет в маминой комнате: пусть знают, что я встала, и посмотрела на себя в зеркало. Потом слегка пригладила волосы и вышла на кухню.

— Н-да,— сказала Эрнестина,— не очень-то тебя дневной сон украсил, но все-таки молодец — держишься.

Мама сказала, что если мы хотим поужинать, то чтобы убрали свои задницы из кухни, и мы вышли в гостиную.

Я села на скамеечку, прислонилась к папиному колену. Было семь часов, и улица шумела вовсю. Во мне все утихло после такого длинного дня, и я почувствовала, что мой ребенок по-настоящему становится реальностью. Не то чтобы мне раньше в него не верилось, но теперь мы стали будто наедине с ним. Сестрица не зажгла верхнего света. Она поставила пластинку Рэя Чарльза и села на диван.

Я слушала музыку и уличный шум, а папина рука легко касалась моих волос. И все это сливалось одно с другим — уличный шум, голос Рэя, и звуки рояля, и отцовская рука, и силуэт сестры, и свет и звуки из кухни. Мы — точно картинка, попавшая в ловушку времени: уже сотни лет люди сидят в комнате, дожидаются ужина, слушают блюзы. И все эти составные части — наше терпение, прикосновение папиной руки, возня матери на кухне, то, как на нас падал свет, как за всем этим звучала музыка, движение Эрнестининой головы, когда она закуривала сигарету, движение ее руки, бросившей спичку в пепельницу, приглушенные голоса с улицы, эта ярость и неотступная, но торжествующая печаль — все это медленно, медленно формировало моего ребенка. Я подумала: может, у него будут глаза как у Фонни? И в сущности, не очень уж давно кто-то думал о глазах Джозефа — моего отца, чья ладонь касалась моих волос. И меня вдруг поразило то, что я знала, но над чем до сих пор как-то не задумывалась: это ребенок и Фонни и мой, мы сотворили его вместе — мы оба. Я не очень-то хорошо знала себя и Фонни. Какие мы — если оба? А потом мои мысли как-то перешли к Фонни, и я улыбнулась. Отец потер мне лоб рукой. Я вспомнила прикосновение Фонни, вспомнила Фонни в моих объятиях, его дыхание, его ласку, его запах, его тяжесть и то страшное, но чудесное проникновение, и как его дыхание прерывается в горле все глубже и глубже, словно перехваченное золо-

той ниткой, и он проникает не столько в меня, сколько в какое-то царство, которое лежит за его глазами. Вот так он работал по дереву. Вот так он работал с камнем. Если б я никогда не видела его за работой, то, может, так и не узнала бы, что он любит меня.

Какое это чудо — знать, что тебя кто-то любит.

— Тиш?

Эрнестина с сигаретой в руке.

— Что?

— Во сколько у тебя встреча с адвокатом в понедельник?

— После шести. После Фонни. Буду у него около семи часов. Он сказал, что все равно задержится в конторе.

— Если опять заговорит о деньгах, скажешь ему, чтобы позвонил мне. Слышишь?

— Какой смысл? Раз ему мало, значит, мало.

— Ты делай, как тебе сестра велит,— сказал папа.

— С тобой,— сказала Эрнестина,— он не так будет разговаривать, как со мной. Усекла?

— Да,— сказала я наконец.— Усекла.— Но что-то в ее голосе — не могу объяснить почему — смертельно меня испугало. И я снова, как весь этот день, была один на один со своей бедой. Никто не сможет мне помочь, даже Сестрица. То, что она твердо решила помочь, это я знала. Но я вдруг почувствовала, что ей тоже страшно, хотя тон у нее был спокойный, уверенный. Я поняла, что, работая с подростками, она знает про такие дела. Мне хотелось спросить ее, как они своего добиваются. Мне хотелось спросить, *добиваются* ли вообще.

Когда мы у себя одни, то едим на кухне — пожалуй, самой главной комнате у нас в доме, комнате, где случается все, что случается, где все берет свое начало, все формируется и подходит к концу. И вот когда мы поужинали в тот вечер, мама подошла к буфету и вернулась к нам со старой бутылкой, с бутылкой очень старого французского коньяка, которая хранилась у нее уже много лет. Эти бутылки она держала еще с тех пор, как была певицей и жила со своим ударником. Бутылка была последняя. Она поставила ее на стол перед Джозефом, и она сказала:

— Откупори.— Потом принесла четыре рюмки и выждала, когда Джозеф откупорит бутылку. Джозеф и Эрнестина смотрели на маму, похоже, не догадываясь, что она такое задумала. Но я знала — что, и сердце у меня екнуло.

Папа откупорил бутылку. Мама сказала:

— Джо, ты хозяин в доме. Разлей по рюмкам.

Странно бывает у людей. Когда вот-вот что-то должно случиться, ты уже чуешь, как все это будет. Да нет! Уже знаешь наверняка. Ты просто не успела сказать себе про это, а сейчас и вовсе не успеешь. Папа так изменился в лице, что я описать не могу. Черты лица у него стали четкие, будто высеченные из камня, каждая линия, каждая складка вдруг сделались чеканными, а глаза черным-черны. Он ждал — неподготовленный, беспомощный,— ждал того, что сейчас выразят словами, что станет действительностью, родится на свет божий.

Сестрица сидела, глядя на маму глазами очень спокойными, глазами очень удлиненными, суженными, и чуть улыбалась.

На меня никто не смотрел. Меня будто не было. Я присутствовала, но будто не обо мне речь. Будто не я, а Фонни был здесь, и мой ребенок, только пробуждаясь от долгого, долгого сна, начинал ворочаться, слышать и быть — быть где-то у меня под сердцем.

Папа разлил коньяк, и мама дала всем по рюмке. Она взглянула сначала на Джозефа, потом на Эрнестину, потом на меня — мне она улыбнулась.

— Это наша присяга,— сказала она.— Нет, я не сошла с ума. Мы пьем за нового пришельца. У Тиш и Фонни родится ребенок.— Она тронула Джозефа.— Пей,— сказала она.

Папа пригубил рюмку, глядя на меня. Никто как будто не смел заговорить первым, до него. Я глядела на папу. Я не знала, что он скажет. Джозеф поставил рюмку на стол. Потом снова взял ее. Он пытался сказать что-то, хотел сказать, но не мог. И посмотрел на меня, точно силясь узнать что-то, силясь прочесть это на моем лице. Странная улыбка бродила у его лица — где-то близко, но не на самом лице, и он точно путешествовал во времени — назад, вперед. Он сказал:

— Ничего себе новость.— Потом опять отхлебнул из рюмки и сказал: — А ты не хочешь выпить за своего малыша, Тиш?

Я сделала маленький глоток и поперхнулась, и Эрнестина похлопала меня по спине. Потом она обняла меня. На щеках у нее были слезы. Она улыбнулась мне, но ничего не сказала.

— И давно это? — спросил папа.

— Около трех месяцев,— сказала мама.

— Да. И по моим расчетам так,— сказала Эрнестина, удивив меня.

— Три месяца! — сказал папа, точно пять месяцев или два месяца изменили бы дело и все стало бы понятнее.

— С марта,— сказала я. Фонни арестовали в марте.

— Пока вы бегали вдвоем и искали себе жилье, чтобы можно было пожениться,— сказал папа. Его глаза были полны вопросов, такие вопросы он мог бы задать своему сыну — по крайней мере черный, мне кажется, мог бы, но расспрашивать дочь было нельзя. Меня вдруг взяла злость, что я не сын, но это тут же прошло. Отцы и сыновья — это одно. Отцы и дочери — совсем другое.

Не надо слишком глубоко вникать в тайну. Она далеко не проста и далеко не безопасна. Мы не так уж много знаем о себе. По-моему, лучше знать, что ты не знаешь, и тогда будешь расти вместе с этой тайной по мере того, как эта тайна растет в тебе. Но в наше время все всё знают, вот почему столько людей, особенно большинство белых, чувствуют себя такими потерянными.

И я подумала: а как Фрэнк отнесется к тому, что его сын Фонни скоро станет отцом? Потом поняла, что первая мысль, которая появится у всех: *но ведь Фонни в тюрьме!* Так подумает Фрэнк; это будет его первая мысль. Фрэнк подумает: «Если что-нибудь случится, мой сын никогда не увидит своего ребенка». И Джозеф сейчас подумал: «Если что-нибудь случится, у ребенка моей дочки не будет отца». Да. Вот такая мысль, никем не высказанная, захолаживала воздух у нас на кухне. И я чувствовала, что мне надо что-то сказать. Но я слишком устала. Я прислонилась головой к плечу Эрнестины. Сказать мне было нечего.

— А ты правда хочешь этого ребенка? — спросил меня отец.

— Да, да! — ответила я.— И Фонни тоже хочет. Это же наш ребенок,— сказала я.— Понимаете? Наш. И Фонни не виноват, что его посадили в тюрьму. Он ведь не убежал и вообще ничего плохого не сделал. Мы...— Это было единственное, что я могла ответить на не заданные им вопросы. — Мы всегда дружили, с самого детства, и вы это знаете. И мы уже были бы женаты, да вот... вот...

— Отец все знает,— сказала мама.— Он за тебя беспокоится.

— Ты только не думай, будто я думаю, что ты непорядочная или еще там какие-нибудь глупости,— сказал папа.— А спросил я потому, что ты такая еще молодая, вот и все и...

— Трудновато, но ничего, справимся,— сказала Эрнестина.

Эрнестина знает папу лучше, чем я. Наверно, ей с малых лет казалось, что наш папа любит меня больше, чем ее. Это неправда, и теперь она давно все уразумела — ведь разных людей и любят по-разному,— но когда мы были маленькие, ей, наверно, так казалось. У меня такой вид, будто я ни с чем не справлюсь, у нее такой, что ей все нипочем. Если у тебя вид беспомощный, люди к тебе относятся по-одному, если напористый — по-другому, но ведь тебе не видать, какой тебя люди видят, и это очень больно. Может, поэтому моя Сестрица вечно торчала перед зеркалом, когда мы еще были девчонками. Она говорила: — Ну и наплевать! Зато у меня голова.— Конечно, это делало ее еще более напористой, что ей было совсем ни к чему. Только уж такие мы уродились и потому иногда делаем из себя черт-те что. Но для Эрнестины это все дело прошлое. Ей известно, что она собой представляет, или, по крайней мере, чего она собой ни в коей мере не представляет, поскольку мою Сестрицу больше не страшат бунты среди тех сил, с которыми ей приходится иметь дело, и она уже научилась, как их использовать и укрощать. Сестрице теперь действительно все нипочем, и она может перебить папу на полуслове, чего я никак не могу. Она чуть отодвинулась от меня и сунула мне в руку рюмку.

— Выше голову, сестра,— сказала она и чокнулась со мной.— За спасение детей,— сказала она негромко и выпила все до дна.

Мама сказала:

— За новорожденного.

И папа сказал:

— Надеюсь, будет мальчик. Фрэнк, дурной, совсем ошалеет от радости.— Потом взглянул на меня.— Ты не против, если я сам ему скажу? — спросил он.— А, Тиш?

Я сказала:

— Нет, пожалуйста.

— Ну что ж,— сказал он, улыбнувшись во весь рот.— Тогда я и махну к нему сейчас?

— Может, лучше сначала позвонить? — сказала мама.— Ты же знаешь, он дома не любит сидеть.

— А я бы с удовольствием этим девицам доложила,— сказала Эрнестина.

Мама рассмеялась и сказала:

— Джо, да позвони ты им, пусть все сюда приезжают. Да что в самом деле! Сегодня суббота, время не позднее, и у нас еще много коньяку в бутылке. По-моему, так будет лучше.

— Ты как, Тиш? — спросил папа.

— Что ж, придется,— сказала я.

Тогда папа встал, с минуту смотрел на меня, а потом вышел в гостиную к телефону. Он мог бы позвонить по настенному аппарату на кухне, но у него была та зловещая улыбка на губах, с какой он проворачивает свои дела, а нас предупреждает: вы не суйтесь.

Мы слышали, как он набрал номер. Это был единственный звук в доме. Потом послышались гудки в трубке. Папа откашлялся.

Мы услышали:

— Миссис Хант?.. Добрый вечер, миссис Хант. Это Джо Риверс. Будьте любезны, можно мне Фрэнка, если он дома?.. Спасибо, миссис Хант.

Мама хмыкнула и подмигнула Эрнестине.

— А-а!.. Ну, как ты там? Да, это я, Джо. Ничего, в порядке... да я все больше дома сижу... Подожди, слушай... А, да!.. Тиш видела его сегодня. Да он хорошо! Слушай, ты... есть тут *один разговор*, потому я и звоню. Да нет, нельзя же обо всем по телефону. Слушай! Это всех

нас касается... Да. Слушай... Да перестань ты лопотать. Садитесь все в машину и приезжайте к нам. *Сейчас.* Да. Вот-вот. Сейчас... Что? Слушай, ну что ты за человек! Я же говорю, это всех касается... У нас тоже не расфуфыренные. Может хоть в *халате* приехать. Плевал я на это. Молчи ты, мать твою так... Я и то стараюсь повежливее. Ладно, ладно! Не кипятись. Погрузи ее на заднее сиденье и давай сюда. Слушай, ты... Дело *серьезное.* Стой! Захвати ящик с пивом на шесть банок. Приедешь, я деньги верну... Да... Слушай! Вешай трубку и вези свою задницу... всю вашу *семейную* задницу сюда, к нам. Чтоб через минуту быть здесь. Пока.

Он вернулся на кухню ухмыляясь.

— Миссис Хант наряжается,— сказал он и сел за стол. Потом посмотрел на меня. Улыбнулся чудесной улыбкой.— Поди ко мне, Тиш,— сказал он,— и сядь к отцу на колени.

Я почувствовала себя настоящей принцессой. Кроме шуток, честное слово! Он обнял меня, посадил к себе на колени, поцеловал в лоб и провел ладонью по волосам, сначала взъерошив их, а потом мягко пригладив.

— Ты хорошая девочка, Клементина,— сказал он.— Я тобой горжусь. Не забывай этого.

— Пусть только посмеет забыть! — сказала Эрнестина.— Я ее тогда выпорю.

— Это беременную-то! — воскликнула мама и отпила из рюмки, и тут нас всех прорвало. Отцовская грудь содрогалась от хохота, я чувствовала, как она ходит ходуном у меня между лопатками, и в этом хохоте была яростная радость, невыразимое чувство облегчения вопреки всему, что висело у нас над головой. Да, я его дочь. Я нашла человека, которого люблю и который любит меня, и он вздохнул свободнее, он самоутвердился.

Ведь ребенок, у меня в животе, по сути дела и *его* ребенок, потому что, не будь Джозефа, не было бы и Тиш. Наш смех на кухне стал нашим бессильным ответом на чудо. Этот ребенок был наш ребенок. Он на пути к нам, большая рука моего отца, лежавшая у меня на животе, поддерживала и грела его. Вопреки всему, что висело у нас над головой, ему было обещано благополучие. Его послала любовь, льющаяся из нас,— послала к нам. Куда это может завести, никто не знал, но сейчас мой отец Джо был готов ко всему. В смысле более драматическом, более глубинном этот ребенок больше, чем обе дочери, был плодом его чресел. Никаким ножом не отсечь его от жизни до появления на свет этого ребенка. И я точно почувствовала, что это же чувствует и он, ребенок, который еще лежит неподвижно. Я точно почувствовала, что он встрепенулся, ответив на прикосновение руки моего отца, и ударил меня вверх, под ребра. Что-то запело, замурлыкало во мне, и вдруг к горлу подступила тошнота, какая бывает по утрам, и я уронила голову отцу на плечо. Он сидел, обняв меня. В комнате было очень тихо. Тошнота прошла.

Шерон смотрела на нас, улыбаясь, покачивая ногой, думая, как быть дальше. Она снова подмигнула Эрнестине.

— Ну-с,— сказала Эрнестина, вставая,— что же, нам тоже принарядиться в честь миссис Хант? — И тут нас опять прорвало.

— Эй вы! Надо с ними полюбезнее,— сказал Джозеф.

— Будем полюбезнее,— сказала Эрнестина.— Еще как будем. Ты воспитал нас правильно. Только вот *платьев* нам не покупал.— И, обращаясь к маме: — Миссис Хант и обе эти девицы, они при *гардеробе.* Куда нам с такими тягаться,— сказала она голосом, полным отчаяния, и села за стол.

— Я портновской мастерской не держал,— сказал Джозеф и заглянул мне в глаза и улыбнулся.

Странно, как все получилось, когда мы с Фонни сошлись в первый раз. Странно потому, что мы оба знали: так будет. Нет, я не совсем правильно говорю. Мы не *знали*, что так будет. И вдруг — вот оно. И тогда мы поняли, что это всегда было при нас и только поджидало своей минуты. Этой минуты мы не заметили. Но она, минута, еще издавна все про меня и про Фонни замечала — сидела себе с независимым видом, поджидая нас, играла в карты, грохотала громами, ломала хребты в драках и все поджидала, поджидала, а мы тащились после школы домой навстречу друг другу.

Послушайте! Я поливала водой голову Фонни и терла ему спину, когда он мылся в ванне, но это было давным-давно. И клянусь, не помню, видела я когда-нибудь его секс или нет, но, наверно, видела. Мы с ним никогда не играли в доктора, но с другими мальчишками я в эту довольно-таки мерзкую игру играла, а Фонни, конечно, играл с другими девчонками и мальчишками. Не помню, чтобы мы когда-нибудь любопытничали насчет телес друг друга — это тоже уловка той сторожкой минуты, к которой мы знали, что приближаемся. Фонни слишком любил меня, мы были слишком нужны друг другу. Мы были каждый частицей друг друга, плотью от плоти друг друга, и принимали друг друга так целиком, так безраздельно, что мысли о плоти никогда не приходили нам в голову. У него были ноги, и у меня были ноги, это не все, что мы знали о себе, но только ими мы и пользовались. Ноги возносили нас вверх по лестнице, спускали вниз по лестнице и всегда вели навстречу друг другу.

Вот почему между нами ни разу не возникало чувства стыда. Я долгое время была плоскогрудая. У меня только сейчас стала появляться грудь — это из-за ребенка, а бедер и до сих пор нет. Я так нравилась Фонни, что он не понимал, что любит меня. Он мне так нравился, что другие мальчики для меня не существовали. Я их не замечала. Я не догадывалась, что все это значит. Но сторожкая минута, которая выслеживала нас в пути и все ждала, ждала, она знала все.

Как-то вечером — ему было тогда двадцать один, а мне восемнадцать — Фонни проводил меня домой, обнял и поцеловал на прощание и вдруг отшатнулся. Я сказала «спокойной ночи» и побежала вверх по лестнице, а он побежал вниз по лестнице. Но в ту ночь заснуть мне так и не удалось: что-то случилось. Он перестал приходить к нам, и я не видела его недели две-три. Это было, когда он вырезал и подарил маме ту деревянную фигурку.

День, когда он подарил ее, был субботний. После того как он подарил ее маме, мы вышли из дому и пошли гулять. Я была счастлива, что вижу его после такого большого перерыва, и чуть не плакала. Все теперь стало другое. Я шла по улицам, которых раньше никогда не видела. Лица людей, окружавших меня, я тоже раньше не видела. Мы шли в молчании, и оно звучало нам музыкой. Может, первый раз в жизни я была счастлива, я знала, что я счастлива, и Фонни держал меня за руку. Как в то давнее воскресное утро, когда его мать вела нас в церковь.

Волосы у Фонни были теперь не на пробор, а шапкой курчавились на голове. И синего костюма на нем не было, и вообще он был не в костюме, а в старенькой, черной с красным, куртке и стареньких серых вельветовых брюках. Башмаки на нем были грубые, заскорузлые, и от него пахло усталостью.

Он был прекраснее всех, кого я знала за всю свою жизнь.

Походка у него была неторопливая, длинноногая, кривоногая. Мы

спускались вниз по лестнице к поезду метро, и он не выпускал моей руки. Подошедший поезд был набит битком, и он обнял меня за плечи, оберегая от толкотни. Я вдруг подняла голову и взглянула ему в лицо. Этого никому не описать, а я даже пробовать не стану. Лицо у него было огромнее всего мира, глаза глубже солнца, необъятнее пустыни, в этом лице было все, что случалось на земле с начала времен. Он улыбнулся — легкой улыбкой. Я увидела его зубы и снова, как в тот раз, когда он плюнул мне в рот, увидела дырку, где не хватало того, выбитого. Вагон покачивало, он обнял меня покрепче, и вздох, какого я раньше у Фонни не слышала, будто зашелся у него в груди.

Поразительно это первое открытие, когда ты вдруг ощущаешь, что у другого человека есть тело,— это открытие чужого тела и делает его чужим. Значит, и у тебя тоже есть тело. С ним тебе жить до конца дней твоих, и оно укажет, каким путем пойдет твоя жизнь.

Меня вдруг ошеломило сознание, что я девственница. Да, девственница! Я удивилась — как же так? Удивилась — почему? Наверно, потому, что я всегда не задумываясь знала, что всю свою жизнь проживу с Фонни. Мне даже в голову не приходило, что моя жизнь может сложиться по-другому. Значит, я была не только девственница, я была еще совсем ребенок.

Мы вышли из метро на Шеридан-сквере в Гринич-Вилледже. Мы пошли по 4-й Западной улице. В субботу везде полно народу, улица точно ходила враскачку от этих толп. Встречные были все больше молодежь, конечно, молодежь, ее сразу видно. Но мне они не казались молодыми. Они пугали меня, и тогда я не могла бы объяснить, в чем тут дело. Я думала: это потому, что они образованные, не то что я. И так оно и было на самом деле. Но теперь я начинаю понимать, что не такие уж они умные. Они все были на один покрой: походка, голоса, смех, неряшливая одежда, выставляющая напоказ бедность — ту, что настолько же непонятна им, как их бедность бесконечно далека от меня. Многие черные и белые шли вместе; кто из них кому подражал, не знаю. Они были такие свободные, они ни во что не верили и не понимали, что эта иллюзия — единственная их правда, а их поведение задано им со стороны.

Фонни посмотрел на меня. Был седьмой час.

— Ты как, ничего?

— Ничего. А ты?

— Хочешь поесть где-нибудь здесь, или хочешь подождать, пока мы к себе вернемся, или хочешь пойти в кино, или хочешь выпить немножко винца или чего-нибудь покрепче, или пива, или чашку кофе? Или хочешь еще немного погулять, пока не надумаешь? — Он улыбался милой, теплой улыбкой и чуть тянул меня за руку, раскачивая ею на ходу.

Мне было хорошо, но в то же время я чувствовала себя неловко. Раньше у меня никогда не было чувства неловкости при нем.

— Давай сначала сходим в парк.— Мне почему-то хотелось подольше побыть на воле.

— Ладно.— Он все еще улыбался странной улыбкой, точно с ним вот сию минуту случилось что-то замечательное и пока никто во всем мире этого не знает, кроме него. Но скоро он кому-то все расскажет и этот кто-то буду я.

Мы пересекли людную Шестую авеню. Сколько народу и все разные, все в погоне за субботним вечером. На нас никто не смотрел, потому что мы шли вдвоем и оба мы были черные. Потом, когда мне случалось проходить по этим улицам одной, все было по-другому, и люди вели себя по-другому, и я уже была далеко не ребенком.

— Пойдем вот так,— сказал он, и мы пошли по Шестой авеню к Бликер-стрит. Потом вышли на Бликер, и Фонни заглянул в большую витрину «Сан-Ремо». Из знакомых ему в «Сан-Ремо» никого не было, и все там казались усталыми, приунывшими, будто им не хотелось ни бриться, ни переодеваться к этому ужасному для них вечеру. Люди под усталым светом люстр были ветераны неописуемых сражений. Мы все шли и шли. Народу на улицах стало еще больше: подростки, черные и белые, и полисмены. Фонни шел, чуть выше подняв голову, его рука чуть крепче сжимала мою руку. У переполненного кафе толпились на тротуаре мальчишки и девчонки. Автомат крутил «Вот она, жизнь» Ареты. Странно! Люди высыпали на улицы, все гуляли, разговаривали как всегда и везде, но не чувствовалось тут дружелюбия. Тут было что-то жесткое, пугающее. Бывает, смотришь и видишь: как будто настоящее, а оказывается — призрак, и вдруг заходишься от страха истошным криком. Все будто как в Гарлеме — пожилые люди сидят у себя на крылечках, ребята гоняют взад и вперед по улице, машины медленно двигаются сквозь этот водоворот, полицейская стоит на углу, в ней два полисмена, другие не спеша прохаживаются по тротуару. Все как в Гарлеме, но чего-то не хватает, а может — не знаю, добавлено что-то лишнее. Здесь было страшно. Нам приходилось пробираться сквозь толпу с осторожностью, потому что эти люди были слепые. Нас толкали, и Фонни обнял меня за плечи. Мы миновали таверну «Минетта», пересекли Минетта-лейн, миновали газетный киоск на следующем углу и по диагонали прошли в парк, точно притулившийся в тени новых давящих корпусов Нью-Йоркского университета и новых жилых махин к востоку и к северу. Мы прошли мимо мужчин, из поколения в поколение играющих в шахматы под светом фонарей, и мимо хозяев, прогуливающих своих собак, и мимо светловолосых молодцов в туго обтянутых брюках, которые быстро взглядывали на Фонни и отрешенно смотрели на меня. Мы сели лицом к арке на каменный парапет недействующего фонтана. Вокруг нас были людские толпы, но я по-прежнему чувствовала эту ужасающую нехватку дружелюбия.

— Мне иногда приходилось ночевать здесь в парке. Не скажу, чтобы это было приятно.— Фонни закурил сигарету.— А тебе дать?

— Сейчас нет.— Раньше мне хотелось побыть на воле. Но теперь меня тянуло куда-нибудь под крышу, подальше от этих людей, прочь из этого парка.— А почему ты здесь ночевал?

— Задерживался допоздна. Не хотел будить своих. А голодный был, ни куска хлеба!

— Мог бы *к нам* прийти.

— Вас тоже не хотел будить.— Он сунул пачку сигарет обратно в карман.— А теперь у меня тут неподалеку своя берлога. Я тебе ее покажу. Посмотришь какая.— Он взглянул на меня.— Ты озябла, устала. Хочешь чего-нибудь поесть?

— Хочу. А деньги у тебя есть?

— Да. Подработал кое-какую мелочишку. Пошли, детка.

В тот вечер мы как следует нагулялись, потому что Фонни теперь повел меня на запад по Гринич-Вилледжу мимо женской предварительной тюрьмы к маленькому испанскому ресторанчику, где он знал всех официантов, а они все знали его. И эти люди были совсем другие, чем те, что на улицах, их улыбки были совсем другие, и я почувствовала себя гораздо лучше. Была суббота, но час еще ранний, и нас отвели к маленькому столику в глубине зала — не потому, что старались спрятать от любопытных взглядов, а потому, что нам были рады здесь и хотели, чтобы мы посидели у них подольше.

Я не часто бывала в ресторанах, но Фонни бывал; кроме того, он немного знал испанский, и я почувствовала, что официанты поддразнивают его из-за меня. А потом, когда мне представили того, который должен был обслуживать наш столик — некоего Педросито, судя по уменьшительному имени, самого молоденького здесь,— я вспомнила, что на нашей улице нас с Фонни прозвали Ромео и Джульетта и вечно подтрунивали над нами. Но не так, как здесь.

Я иногда отпрашиваюсь с работы, если можно повидаться с Фонни днем, а потом еще раз в шесть часов, и тогда прихожу из Центра на Гринич-Вилледж, сажусь в глубине зала и меня кормят здесь, не тратя лишних слов, заботливо следя, чтобы я поела — хоть немножко. Сколько раз Луисито, который недавно приехал из Испании и с трудом объяснялся по-английски, убирал тарелку с нетронутым, остывшим омлетом его собственного приготовления и приносил другой, горячий, говоря: — Сеньорита? *Por favor* [1]. Ему и вашему *muchacho* [2] надо, чтобы вы были сильная. Он не простит, если мы позволим вам голодать. Мы его друзья. Он нам доверяет. Вы тоже должны доверять.— Он наливал мне немножко красного вина.— Вино это хорошо. *Мед-лен-но!* — Я отпивала глоток. Он улыбался, но не отходил от меня, пока я не принималась за еду. Потом: — Будет мальчик,— говорил он улыбаясь и уходил. Они помогли мне одолеть не один страшный день. Это самые хорошие люди из всех, кого я знала в Нью-Йорке. Они берегли меня. Когда ездить мне стало труднее, когда я отяжелела, Джозеф, и Фрэнк, и Шерон — все работали, а Эрнестина, как всегда, воевала, эти люди делали вид, будто у них какие-то дела поблизости от тюрьмы, и самым естественным образом — а для них это и было естественно — подвозили меня к своему ресторанчику, а к шести часам доставляли опять к тюрьме. Я не забуду этого: они все понимали.

Но в тот субботний вечер мы еще не знали наперед, что случится. Фонни ничего не знал, и нам было хорошо, всем нам было хорошо. Я выпила одну рюмочку «Маргериты», хотя мы понимали, что это воспрещается нашим поганым, сучьим *законом,* а Фонни выпил виски, так как в двадцать один год пить уже законно. У него большие руки. Он взял мои и спрятал в них свои — большие.— Я хочу кое-что показать тебе немного погодя,— сказал он. Я не знаю, чьи руки дрожали, кто прятал их, кто сжимал — он или я? — Ладно,— ответила я. Фонни заказал паэллу [3] и, когда ее подали, мы разомкнули руки и он по всем правилам хорошего тона положил мне мою порцию.— Следующий раз твоя очередь,— сказал он, и мы рассмеялись и стали есть. И пили вино. И на столике у нас горели свечи. И, входя в ресторан, люди как-то странно посматривали на нас, но: — Ничего, здешние хозяева народ знакомый,— сказал Фонни, и мы снова рассмеялись и почувствовали, что нам ничто не грозит.

Я никогда еще не видела Фонни вне того мира, в котором мы с ним жили. Я видела его, когда он бывал со своим отцом, с матерью, с сестрами, и видела его у нас дома. Но сейчас, вспоминая об этом, я не уверена, видела ли я его когда-нибудь по-настоящему рядом *с собой.* До той самой минуты, когда мы уходили из ресторана и все официанты смеялись и говорили с ним по-испански и по-английски, и лицо у Фонни стало такое открытое, каким я его никогда не видела, хохотали и он и они тоже, все вместе, всем нутром, вот тогда я поняла, что никогда, собственно, не видела его в том мире, в котором *он* жил. Может, только теперь я и увидела его рядом с собой, потому что он

[1] Пожалуйста *(исп.).*
[2] Крошке *(исп.).*
[3] Испанское блюдо из риса с курицей, рачками, овощами.

стоял, отвернувшись от меня, и хохотал, не выпуская моей руки. Он был посторонний мне, но спаян со мной. Я никогда не видела его в обществе других мужчин. Я никогда не видела, сколько любви и уважения могут чувствовать друг к другу мужчины.

С тех пор у меня было время подумать об этом. По-моему, когда женщина в первый раз видит то, о чем я говорю — правда, я сама еще не стала женщиной,— она видит это прежде всего потому, что любит этого человека, иначе ей ничего не понять. Такое откровение может быть потрясающим. И в наше психованное время, в нашей психованной стране многие женщины, даже большинство женщин, видят, чем грозит им это тепло и эта сила чувств. Им кажется, будто их исключили из игры напрочь. Но дело-то в том, что они слышат, если можно так выразиться, некий язык, который им не расшифровать и, следовательно, не освоить, и сколько бы женщины ни протестовали против этого, на самом-то деле им страшно не от того, что мужчины исключили их из игры, а наоборот — включили в нее навечно. Только мужчина способен увидеть в женщине ту девушку, которой она когда-то была. Эту тайну можно открыть лишь единственному и лишь по его настоянию. Но у мужчин если и есть тайны, то лишь от женщин, и они взрослеют не так, как взрослеет женщина. Мужчине гораздо труднее стать взрослым, и времени на это уходит больше, и без помощи женщин ему этого не сделать. Вот тайна, которая может ужаснуть и поставить в тупик женщину, вот ключ к ее глубочайшему горю. Следить за мужчиной и руководить им должна она, но роль ведущего принадлежит ему, и, на первый взгляд, он всегда уделяет гораздо больше внимания товарищам, чем ей. Но эта шумная, показная открытость по отношению друг к другу помогает им справляться с молчанием и затаенностью женщин, с тем молчанием и с той затаенностью, в которых заложена правда о мужчине и высвобождение ее. Мне кажется, что обида — обида, скрывающая безмерный ужас, коренится в том, что женщина по рукам и по ногам связана обликом, приданным ей в своем воображении мужчиной,— обликом, в котором она перед ним ежечасно, ежедневно: именно так женщина становится женщиной. Но мужчина существует в своем собственном представлении и не хочет полагаться на милость женского представления о нем. Во всяком случае, в наше психованное время, в нашей психованной стране все это выглядит нелепо, когда вспомнишь, что женское воображение принято считать более богатым, чем мужское. Это вообразили мужчины, а в действительности все обстоит как раз наоборот. Именно потому, что женщина всегда замкнута в кругу мужской жизни, у нее нет ни времени, ни нужды давать волю воображению. И тут уж действительно мозга за мозгу заходит, если принимаешь всерьез ту мысль, что мужчина, которому не страшно довериться своему воображению (а он только ему и доверяет), лишается мужественности. Это факт красноречивый, многое говорящий о нашей стране, так как если ты стремишься только к тому, чтобы делать деньги, воображение тебе нужно меньше всего. И женщины, кстати, тут не нужны, да и мужчины.

— Доброй ночи, сеньорита! — крикнул мне здешний патриарх, и мы с Фонни снова пошли по улицам.

— Пойдем, посмотришь мою берлогу,— сказал Фонни.— Это недалеко.

Был одиннадцатый час.

— Ладно,— сказала я.

Тогда я не знала Гринич-Вилледжа — теперь знаю. Тогда все мне казалось любопытным. Улицы, по которым мы шли, были и темнее и спокойнее, чем Шестая авеню. Где-то близко протекала река, и на

улице, кроме нас, никого не было. Я бы побоялась ходить здесь одна.

Мне пришло в голову, что надо позвонить домой, и я хотела сказать об этом Фонни, но не сказала.

Его берлога была в подвальном помещении на Бэнк-стрит. Мы остановились у низкой черной ограды с остриями поверху. Фонни тихонько отворил калитку. Мы спустились на четыре ступеньки, повернули налево; там была дверь. Правее два окна. Фонни вставил ключ в замок, и дверь отворилась внутрь. Над головой у нас горел слабый желтоватый свет. Фонни подтолкнул меня вперед, затворил дверь за нами, и мы прошли несколько шагов по темному узкому коридору. Он отворил вторую дверь и включил свет.

Комната была маленькая, с низким потолком, те самые окна смотрели на калитку. Там был камин. Рядом с комнатой крохотная кухонька и ванна. Самой ванны не было, только душ. В комнате стояли две-три скамеечки, деревянная табуретка, большой деревянный стол и маленький столик. На маленьком — несколько пустых банок из-под пива, на большом — инструменты. В комнате пахло деревом, всюду валялись чурки. В дальнем углу на полу лежал матрас, покрытый мексиканской шалью. На стене были пришпилены карандашные наброски Фонни и фотографии Фрэнка.

Нам предстояло долго прожить в этой комнате — целую жизнь.

Когда раздался звонок, открыть дверь пошла Эрнестина, и первой в комнате появилась миссис Хант. На ней было что-то весьма элегантное, пока не присмотришься поближе. Платье коричневое, поблескивающее, похоже, атласное; у колен, кажется, какая-то белая кружевная оборка, и на локтях тоже, и, кажется, еще вокруг талии, а на голове шляпа, точь-в-точь ведерко для угля, перевернутое вверх дном; эта шляпа огрубляла ее и без того грубый лоб.

Туфли у нее были на высоких каблуках; она начинала полнеть. С полнотой боролась, но безуспешно. И чего-то она боялась, и сила святого духа не спасала ее от этих страхов. Вошла она улыбаясь, не совсем уверенная, чему или кому предназначить свою улыбку, и чувствуя себя, так сказать, где-то посередке между бдительным оком святого духа и несколько неясными воспоминаниями об уроках своего зеркала. И в том, как она вошла и как протянула руку, и что-то в ее улыбке, которая молила о снисхождении, хотя сама была не способна даровать его, поразило меня. Такой я ее раньше не видела. Фонни когда-то был у нее во чреве. Она носила его.

Следом за миссис Хант вошли сестры — эти были совсем из другого теста. Эрнестина, встретившая их у двери,— такая радушная, такая «своя в доску» («Вас только и увидишь, когда созывается совещание в верхах. Куда это годится? Ну, входите же, входите!»), пропустила миссис Хант мимо себя прямо в орбиту Шерон, а Шерон, сама любезность, переправила ее, хоть и не сразу, к Джозефу, который сидел, обняв меня за талию. Поза отца и что-то в его улыбке испугали миссис Хант. Но мне уже стало ясно, что она всегда такая — испуганная.

Хотя сестры были сестрами Фонни, я никогда не думала о них как о его сестрах. Впрочем, нет, это не верно. Не будь они сестрами Фонни, я бы на них и внимания не обратила. Но потому, что они были сестрами Фонни и, как мне известно, не любили его, я их ненавидела. Они же ко мне ненависти не чувствовали. И вообще ни к кому не относились с ненавистью, в чем и была их беда. Входя в нашу гостиную, они улыбались только им видимым толпам страждущих обожателей, и старшая, Адриенна, которой было двадцать семь лет, и Шей-

ла, которой было двадцать четыре года, приложили все усилия к тому, чтобы поздороваться со мной, замухрышкой, чрезвычайно мило, как их учили миссионеры. А видели они, собственно, только большую черную руку моего отца, обнимавшую их за талию,— папа-то, конечно, обнимал *меня*, а им почему-то казалось, будто их. Обе сестры еще не решили, чем возмущаться — ее ли цветом, или положением, или формой, но уж хватка-то его руки безусловно казалась им возмутительной. Адриенна была одета не по возрасту моложаво, Шейла — не по возрасту старообразно. За ними вошел Фрэнк, и мой отец чуть ослабил свое объятие. Перестукивая каблуками, переговариваясь, мы вошли в гостиную.

Вид у мистера Ханта был усталый, на лице все та же милая улыбка. Он сел на диван рядом с Адриенной и сказал:

— Значит, ты видела сегодня моего лобастого сынка?

— Да. Он чувствует себя хорошо. Шлет всем привет.

— Не очень его там прижимают? Я потому об этом спрашиваю, что тебе он может сказать такое, чего мне не скажет.

— У влюбленных вечные тайны,— сказала Адриенна, положила ногу на ногу и улыбнулась.

Я не собиралась схватываться с Адриенной, во всяком случае с места в карьер. Мистер Хант тоже не обратил внимания на ее слова, он смотрел на меня.

Я сказала:

— Ему там тошно, это сразу заметно. А как же иначе? Но он сильный. Он много читает, он занимается.— Я посмотрела на Адриенну.— Ничего, о нем не беспокойтесь. Но его надо вызволить оттуда.— Фрэнк хотел сказать что-то, но Шейла опередила отца:

— Читал бы и занимался бы вовремя, тогда не попал бы туда.

Я только открыла рот, но Джозеф быстро заговорил:

— Ты пиво привез? А то у меня есть джин, а еще в доме виски, коньяк.— Он усмехнулся во весь рот: — Больше ни на что не рассчитывай.— Потом повернулся к миссис Хант: — Надеюсь, дамы не станут возражать?

Миссис Хант улыбнулась.

— Возражать? Фрэнка *наши* возражения мало трогают. Он как хочет, так и поступает. А о других подумать — ему это и в голову не придет.

— Миссис Хант,— сказала Шерон.— Чем вас угостить, милочка? Могу предложить вам чай или кофе. У нас есть и мороженое... и кока-кола.

—...и лимонад,— сказала Эрнестина.— Хотите, угощу вас мороженым с содовой? Пойдем, Шейла, поможешь мне. Сиди, мама. Без тебя справимся.

Она утащила Шейлу на кухню.

Мама подсела к миссис Хант.

— Господи, господи! — сказала она.— Как время-то летит! Ведь с тех пор как нагрянула эта беда, мы и не виделись.

— Ах, не говорите! Я скоро *слягу*. Бегаю по Бронксу из конца в конец, все ищу, на *чей* надежный юридический совет положиться. Обращалась к людям, с которыми работала... один из них член городского *совета*, он буквально *всех* знает и может *нажать* кое-где... к нему, знаете ли, все *обязаны* прислушиваться. Но это съедает *все* мое время, а доктор говорит, что я *должна* беречь себя, что нельзя давать сердцу такую непосильную нагрузку. Он говорит: миссис Хант, помните, что как ни нужна вашему сыну свобода, без матери ему тоже не обойтись. Но, знаете, мне это все ни к чему. О *себе* я не беспокоюсь. Господь помогает мне не пасть духом. Я молюсь, молюсь

и молюсь, чтобы господь отверз глаза его. Денно и нощно только об этом. Но вдруг осеняет меня мысль: а может, господь *именно таким путем* заставит моего сына задуматься о своих грехах и вручить душу свою Иисусу.

— Может, вы и правы,— сказала Шерон.— Неисповедимы пути господни.

— Да, да! — сказала миссис Хант.— Он, возможно, и вас подвергнет испытанию. Господь не оставляет детей своих.

— А как вам показался адвокат,— спросила Шерон,— мистер Хэйуорд, которого подыскала Эрнестина?

— Я с ним еще не виделась. Времени нет к нему съездить. Но Фрэнк его видел.

— А вы как считаете, Фрэнк? — спросила Шерон.

Фрэнк пожал плечами.

— Он белый, выучился на юриста, есть у него все эти степени. Не мне вам говорить, что этим хреновым степеням грош цена.

— Фрэнк, ты разговариваешь с женщиной,— сказала миссис Хант.

— Вижу. Надо же вносить приятное разнообразие в жизнь... Так я говорю, что все это ни хрена не стоит, и мы еще, может, расстанемся с ним. С другой стороны, для белого он еще ничего. Сейчас не очень задается, потому что брюхо пустое, а набьет его, тогда посмотрим, как он себя поведет. Слушай, друг,— сказал он Джозефу.— Как ты думаешь, нужно мне, чтобы жизнь моего сына оказалась в руках этих холощеных кобелей? Ей-богу, лучше живьем сгореть. Это мой единственный сын. Слышишь? *Мой единственный сын.* Но мы все в руках белых, хотя я знаю и черных молодчиков, с которыми держи ухо востро.

— Но я тебе сто раз говорила, я тебе *сто раз* говорила! — воскликнула миссис Хант.— Такая нетерпимость опасна! Ты исходишь *ненавистью!* Если людей ненавидеть, они ненавистью тебе и воздадут. Как услышу от тебя такие слова, так у меня сердце разрывается, и я дрожу за сына, который сидит в темнице, откуда только любовь к господу и может его вывести... Фрэнк, если ты любишь Фонни, забудь про ненависть, забудь! Она падет на голову твоего сына и убьет его!

— Фрэнк ведь не за то, чтобы ненавидеть, миссис Хант,— сказала Шерон.— Он только говорит правду о жизни в нашей стране, и понятно, почему это его так огорчает.

— Я полагаюсь на господа,— сказала миссис Хант.— Я знаю, что он печется обо мне.

— А я не знаю, чего господь бог ждет от человека, когда у его сына случилась беда. *Твой* бог распял *своего сына* и, наверно, был рад, что отделался от него, но я не такой. Думаешь, я пойду на улицу и брошусь целоваться с первым попавшимся мне белым полисменом? Так вот нет! Но в тот день, когда мой сын выйдет на свободу из этой поганой преисподней, я, мать вашу за ногу, изойду любовью. Я опять возьму моего сына обеими руками за голову и, мать вашу за ногу, *с любовью* посмотрю ему в глаза. Да, в *тот день* сердце мое *переполнит* любовь.— Он встал с дивана и подошел к своей жене.— А если так не выйдет, тогда запомни: проломлю я кому-нибудь голову. И если услышу от тебя еще хоть слово про этого Иисуса, с которым ты уже сколько лет путаешься, тогда тебе первой голову проломлю. Путаешься с этим еврейским ублюдком, вместо того чтобы о сыне думать.

Миссис Хант схватилась руками за голову, а Фрэнк медленно прошел через всю комнату и сел на прежнее место. Адриенна не

сводила с него глаз и начала было говорить, но осеклась. Я сидела на скамеечке рядом с отцом. Адриенна наконец сказала:

— Мистер Риверс, вы, собственно, с какой целью созвали это совещание? Не за тем же, чтобы мы слушали, как наш отец оскорбляет нашу мать?

— А что тут такого? — сказала я.— Вечер субботний. Со скуки чего только не придумаешь! Может, мы за тем вас и пригласили, чтобы поразвлечься!

— Что ты злюка, это я знаю,— сказала Адриенна.— Но вот такой дурой я тебя не считала.

— Я и двух разочков тебя не видела с тех пор, как твой брат попал в тюрьму,— сказала я.— А в тюрьме и вовсе тебя не видела. Фонни мне говорил, что ты раз приходила и торопилась поскорее убежать. А на работе, уж наверно, ни слова об этом не сказала. Ведь не сказала? Ни слова этим бывшим воякам за программу борьбы с бедностью, этим подлецам, чистоплюям, подхалимам, с которыми ты водишься. Ведь не сказала? А тут, видите ли, она сидит на диване и воображает себя красивее Элизабет Тейлор и сокрушается, что заждался ее где-то какой-то чурбан, а ей торчи здесь и слушай, что говорят о ее брате.— Миссис Хант уставилась на меня ужасными глазами. Холодная, горькая улыбка играла на губах Фрэнка; он сидел, глядя себе под ноги. Адриенна смотрела на меня откуда-то издалека, проставляя очередную, еще более чудовищную темную отметину против имени своего брата, и наконец сделала то, что, ясно, ей давно хотелось сделать,— закурила. Потом стала бережно, изящно выпускать дым изо рта, явно решив, что больше никогда, ни по какому поводу не позволит заманить себя в общество людей неизмеримо ниже ее по своему уровню.

Из кухни вошли Эрнестина и Шейла: Шейла — испуганная, Эрнестина — мрачно торжествующая. Эрнестина подала миссис Хант мороженое, поставила Адриенне кока-колу, Джозефу — пиво, Фрэнку — джин с фруктовой водой, Шейле — кока-колу, Шерон — джин с фруктовой водой, мне — коньяку, а себе — виски со льдом.

— Ну, поехали,— весело сказала она и села, и остальные тоже сели.

Наступила тишина — тишина очень странная, и все уставились на меня. Я чувствовала на себе взгляд миссис Хант, еще более злобный, более испуганный, чем раньше. Она наклонилась всем телом вперед, крепко сжав в руке ложечку, опущенную в мороженое. Шейла сидела потрясенная. Адриенна скривила губы в презрительной усмешке и, тоже подавшись вперед, хотела сказать что-то, но рука Фрэнка — враждебная, угрожающая, поднялась вверх и остановила ее. Она откинулась назад. Фрэнк подался вперед.

Моя весть в конце концов предназначалась ему. И, глядя на него, я сказала:

— Это совещание в верхах созвала я. По моей просьбе папа пригласил вас всех к нам, чтобы я могла сказать вам то, что сказала сегодня Фонни. Фонни скоро будет отцом. Мы ждем ребенка.

Глаза Фрэнка оставили меня и впились в лицо моего отца. И они оба ушли от нас, а мы сидели в полном молчании, кто на стульях, кто на диване,— ушли оба, и странным казался их проход по комнате. Лицо у Фрэнка было по-библейски грозное. Он словно не оставлял вокруг себя камня на камне, его взгляд силился проникнуть за горизонты, которые до сих пор и не мерещились ему. Когда же он вернулся все так же в сопровождении моего отца, выражение лица у него было умиротворенное.

— Мы с тобой сейчас пойдем и напьемся,— сказал он Джозефу.

Потом улыбнулся широкой улыбкой — ну просто копия Фонни — и сказал: — Я рад, Тиш. Я очень, очень рад.

— А кто,— спросила миссис Хант,— кто будет растить этого ребенка?

— Его отец и его мать,— сказала я.

Миссис Хант уставилась на меня.

— Да уж во всяком случае,— сказал Фрэнк,— не дух святой.

Миссис Хант обратила взгляд свой к Фрэнку, потом поднялась и пошла на меня; она шла очень медленно и, казалось, сдерживала дыхание. Я встала и вышла на середину гостиной, тоже сдерживая дыхание.

— Ты, верно, именуешь свою похотливость любовью? — сказала миссис Хант.— Но, по-моему, это называется по-другому. Я так и знала, что ты принесешь гибель моему сыну. Знала! В тебе сидит нечистая сила! Господь поведал мне это несколько лет назад. По воле святого духа твой ребенок зачахнет у тебя во чреве. Но сыну моему простится. Его спасут *мои* молитвы.

Она была нелепа и величественна; она вещала. Но Фрэнк захохотал, подошел к ней и ударом от себя, наотмашь, сбил ее с ног. И вот она лежала на полу, шляпа у нее съехала на затылок, платье задралось выше колен, а над ней стоял Фрэнк. Она не издала ни звука, он — тоже.

— У нее же *сердце!* — пролепетала Шерон, и Фрэнк снова хохотнул. Он сказал:

— А вы пощупайте, оно, наверно, все еще колотится. Только разве это сердце! — Он повернулся к моему отцу.— Джо, пусть ею женщины займутся, а мы с тобой пойдем.— Но когда мой отец заколебался: — Пойдем, Джо, пойдем. Ну прошу тебя!

— Иди с ним,— сказала Шерон.— Ступай.

Шейла стала на колени возле матери. Адриенна ткнула сигарету в пепельницу и поднялась со стула. Эрнестина вышла из ванной комнаты со спиртом и опустилась рядом с Шейлой. Она смочила спиртом ватку и стала тереть миссис Хант виски и лоб, осторожно сняв с нее шляпу и сунув ее Шейле.

— Ступай, Джо,— сказала Шерон.— Мы без тебя обойдемся.

Мужчины ушли, дверь за ними захлопнулась, и теперь в комнате остались шестеро женщин, которым надо было, хоть и недолго, как-то общаться друг с другом. Миссис Хант медленно поднялась с пола, подошла к креслу и села в него. Но прежде чем она успела слово вымолвить, заговорила я:

— Вы сказали мне страшную вещь. Страшнее этого я никогда в жизни ничего не слыхала.

— Как отец мог! — сказала Адриенна.— У нее на самом деле слабое сердце.

— У нее с головой слабо,— сказала Шерон. И, обернувшись к миссис Хант: — Святой дух размягчил тебе мозги, деточка. Ты что, забыла, кого проклинаешь? Ведь это внук твоего мужа. Но он и *мой* внук. Я знаю, есть такие мужчины и такие женщины, которые вырезали бы у тебя из груди твое слабое сердечко и с радостью поплатились бы за это адскими муками. Что тебе дать — чаю или еще чего? Тебя надо бы коньяком отпаивать, да где тебе, святоше!

— Вы не имеете права издеваться над верой моей матери,— сказала Шейла.

— Брось ханжить! — сказала Эрнестина.— Ведь тебе так стыдно, что у вас мать из трясунов, что ты не знаешь, куда деваться. Но ты над ней не издеваешься. Ты говоришь: «Это все потому, что у нее душа», чтобы люди не побоялись заразиться от нее, а про тебя по-

думали: ах, какая у нее светлая голова, какая она умница, эта девушка! Смотреть мне на тебя тошно!

— Это *мне* на тебя тошно смотреть! — сказала Адриенна.— Может, моя мать не так выразилась, но ведь она очень огорчена. А душа у нее на самом деле есть. А вы, вонючие ниггеры, вы-то чем можете похвастаться? Моя мать только и спросила...— Она подняла руку, чтобы Эрнестина не перебила ее.— Моя мать спросила: «А кто воспитает этого ребенка?» И в самом деле — кто? Тиш — необразованная, бесприданница, а Фонни никчемный, *всегда* был никчемным. Ты сама это знаешь. Ну? Так кто же возьмет на себя заботу об этом ребенке?

— Я возьму,— сказала я.— А ты, желтая сука холощеная, ты у меня поговори еще, дождешься, что я и о тебе позабочусь.

Она, дура, уперла руки в боки, но Эрнестина стала между нами и сказала нежным голоском:

— Адриенна! Деточка! Послушай меня, милашка. А, золотце? А, киска? — Она легонько коснулась ладонью щеки Адриенны. Адриенна вздрогнула, но не двинулась с места. Эрнестина не отняла руки и легонько поиграла пальцами по ее щеке.— Ах ты киска! Я как увидела тебя в первый раз, красавица, так и прельстилась твоим кадыком. Он мне по ночам снится. Знаешь как бывает, когда прельстишься чем-нибудь? Хотя ты, наверно, никем и ничем по-настоящему не прельщалась. Ведь правда? Не видала, как он у тебя ходит, твой кадык? Ведь правда? А я видела! И сейчас вижу. До чего же это восхитительно! Не могу решить, радость моя, что мне хочется больше — вырвать его у тебя из глотки когтями или зубами... о-о-о!.. или выковырять, точно косточку из персика! До чего же он красив! Усекла, киска, с кем имеешь дело? Так вот, только тронь мою сестру, я мигом соображу, как мне действовать. Ну?..— Она отошла от Адриенны.— Тронь. Нука, тронь, милочка! Сними оковы с моего сердца, освободи меня.

— Чувствовала я, что не надо было приходить,— сказала Шейла.— Чувствовала!

Эрнестина перевела взгляд на Шейлу и смотрела на нее в упор, пока та не подняла глаз. Тогда Эрнестина засмеялась и сказала:

— Боже мой, господи! До чего же у меня грязное воображение! Вот не думала, Шейла, что ты способна на такие мысли!

И тут неподдельная ненависть будто выдула весь воздух из комнаты. Произошло нечто непостижимое, не имевшее никакого отношения к тому, что происходило между нами. Мне вдруг стало жаль обеих сестер, но Эрнестина их не пожалела. Она стояла все на том же месте, одной рукой подперевшись, другую свободно опустив вдоль тела, бегали из стороны в сторону только ее глаза. Она была в серых брюках и в старой кофточке, не накрашенная, волосы разлохмаченные. Она улыбалась. У Шейлы был такой вид, точно она ни дух перевести, ни стоять на месте не может, точно ее тянет кинуться к матери, которая так и сидела в кресле. Адриенна, широкобедрая, в белой кофточке, в расклешенной, плиссированной черной юбке, в коротком облегающем жакете и на низких каблуках. Волосы у нее были расчесаны на прямой пробор, у затылка перевязаны белой ленточкой. Она уже не подпирала бока руками. Кожа у нее, оттенком гуще желтого цвета, потемнела, пошла пятнами. Лоб был точно смазан маслом. Глаза потемнели вместе с кожей, и кожа отторгала косметику, потому что была сухая. Теперь стало ясно, что она не очень-то хороша собой, что ее лицо и тело огрубеют и расплывутся с годами.

— Пойдем,— сказала она Шейле.— Пойдем отсюда, от этих сквернословов,— и сказано это было даже с достоинством.

Они обе подошли к матери, которая, как мне вдруг стало ясно, свидетельствовала и охраняла их чистоту.

И миссис Хант встала — странно успокоенная.

— Я уверена,— сказала она,— что вы довольны тем, как воспитали своих дочерей, миссис Риверс.

Шерон тоже казалась спокойной, но было в ее спокойствии нечто вроде удивления и растерянности. Она посмотрела на миссис Хант и ничего не ответила ей. А миссис Хант добавила:

— Ручаюсь вам, мои девочки не подкинут мне ублюдка на прокорм.

— Но этот ребенок, который родится,— сказала Шерон, помолчав,— он же ваш внук. Я вас не понимаю. Он же ваш *внук*. Не все ли равно, каким он придет к нам? Ведь ребенок здесь ни при чем, и мы тоже ни при чем.

— Этот ребенок...— сказала миссис Хант и посмотрела на меня, потом пошла к выходу, провожаемая взглядом Шерон.—Этот ребенок...

Я дала ей дойти до двери. Моя мать как во сне двинулась за ней отпереть замки. Но я опередила ее. Я приперла дверь спиной. Адриенна и Шейла стояли позади своей матери.

Шерон и Эрнестина не двинулись с места.

— Этот ребенок,— сказала я,— у меня в животе. А теперь подымите колено и выбейте его оттуда — коленом или вот этими туфлями на высоких каблуках. Вам этот ребенок не нужен? Ну так убейте его сейчас. Убейте, если посмеете.— Я посмотрела ей в глаза.— Он будет не первый, кого вы пытались убить.— Я тронула ее шляпу, похожую на перевернутое ведерко для угля. Я посмотрела на Адриенну и Шейлу.— Вот с этими двумя, с вашими первыми, у вас получилось.— Тут я отворила дверь, но с места не двинулась.— Ну что ж! Попробуйте еще раз, с Фонни. Если посмеете.

— Может, вы разрешите нам,— сказала Адриенна ледяным, как ей чудилось, тоном,— разрешите нам уйти?

— Тиш,— сказала Шерон, но и она не двинулась с места.

Эрнестина метнулась к выходу, оттолкнула меня от двери к Шерон.

— Прошу,— сказала она, подошла к лифту и нажала кнопку. Ярость немного скатила с нее. Когда лифт подъехал и дверцы раздвинулись, она сказала, пропуская их в кабину, но придерживая дверцу плечом,— сказала им: — Не волнуйтесь. Мы ребенку про вас никогда не скажем. Ведь ему не втолкуешь, какие бывают бесстыжие люди.— И совсем другим тоном, таким, какого я никогда у нее не слышала, сказала миссис Хант: — Да будет благословен следующий плод чрева твоего. Надеюсь, он окажется раком матки. Вот так! — Потом обратилась к сестрам: — Если вы когда-нибудь подойдете близко к нашему дому, *я вас убью!* Этот ребенок не ваш, вы только что сами изволили так выразиться. Если я услышу когда-нибудь, что вы осмелились пересечь детскую площадку и посмотрели на этого ребенка, то вам ни до какого рака не дожить. Да-с! Я не такая, как моя сестра. Помните это. Моя сестра — она хорошая. Мой отец и моя мать тоже хорошие. А я — нет. Хотите знать, почему Адриенну до сих пор никто не употребил? Сказать вам? И про Шейлу тоже расскажу. Расскажу, чем она занимается со своими молодчиками в машинах и в киношках. Ну как, хотите послушать? — Шейла заплакала, а миссис Хант протянула руку затворить дверцу лифта. Эрнестина рассмеялась, приперла дверцу плечом и заговорила уже совсем другим тоном: — Ты прокляла ребенка во чреве моей сестры. Так не попадайся мне на глаза, дохлятина, полубелая невеста Христова.— Она плюнула миссис Хант в лицо и отпустила дверцу. И крикнула вниз, в шахту: — Это ты свою плоть и кровь прокляла, гнилая, грязная сука холощеная! Вот так и передай святому

духу от моего имени, а если его это не устроит, скажи ему, что он педик, что я такого и близко к себе не подпущу.

И она вернулась к нам вся в слезах, подошла к столу и налила себе коньяку в рюмку. И закурила сигарету. Ее била дрожь.

За все это время Шерон не вымолвила ни слова. Эрнестина сдала меня ей. Но Шерон даже не подошла ко мне. Она сделала нечто несравненно большее, а именно, влила все свои силы в то, чтобы помочь мне совладать с собой и прийти в себя.

— Ну что ж,— сказала Шерон.— Мужчины когда еще вернутся, а Тиш надо отдохнуть. Так что давайте пойдем спать.

Но я знала, что они отсылают меня, чтобы посидеть вдвоем, наедине, без мужчин, без меня, без кого бы то ни было, и смело взглянуть в лицо тому факту, что семья Фонни плюет на него и палец о палец не ударит, чтобы помочь ему. Теперь *мы* стали его семьей, единственной его семьей, и теперь все зависело от нас.

Я медленно побрела к себе в комнату, присела на кровать. Я так устала, что плакать не могла. Так устала, что ничего и не чувствовала. Моя сестрица Эрнестина все взяла на себя, решительно все, потому что ей хотелось, чтобы ребенок благополучно одолел свой путь к нам и чтобы он был здоровенький, а значит, мне надо спать.

И вот я разделась и свернулась калачиком под одеялом. Легла лицом к Фонни, как всегда ложилась, когда мы с ним были вместе. Я приникла к нему, и он меня обнял. И он был так близок мне сейчас, что я и тут не могла заплакать. Мои слезы причинили бы ему слишком сильную боль. Он держал меня в объятиях, и я шептала его имя, глядя, как свет с улицы играет на потолке. Смутно до меня доносились голоса из кухни — мама и Сестрица прикидывались, будто они затеяли там игру в кункен.

В ту ночь на Бэнк-стрит Фонни снял мексиканскую шаль с тюфяка, который лежал у него на полу, и набросил ее мне на голову и на плечи. И улыбнулся и отступил назад.

— Скажите пожалуйста! — воскликнул он.— Есть все-таки роза в испанском Гарлеме! — Он снова улыбнулся.— На той неделе будет у тебя роза, воткнешь ее в волосы.

Потом перестал улыбаться, и в комнату и в мои уши влилась щемящая тишина. Будто ничего не осталось во всем мире — только мы с ним. Мне не было страшно. Это было глубже страха. Я не могла отвести глаза от Фонни. Я не могла пошевелиться. Это было глубже страха, но радостью еще не стало. Это было изумление.

Он сказал, не двигаясь с места:

— Мы с тобой уже взрослые. Да?

Я кивнула.

Он сказал:

— И ты всегда была... *моей*? Или нет?

Я опять кивнула.

— И ты знаешь,— сказал он, все еще не двигаясь и приковывая меня взглядом,— что я всегда был твой. Правда?

Я сказала:

— Я никогда об этом так не думала.

Он сказал:

— А теперь подумай, Тиш.

— Я люблю тебя и больше ничего не знаю,— сказала я и заплакала. Шаль была очень тяжелая, мне стало жарко под ней, хотелось ее скинуть, но скинуть я не смогла.

Потом он изменился в лице, подошел ко мне, снял с меня шаль и

бросил ее в угол. Он обнял меня и стал целовывать мои слезы, потом стал целовать все мое лицо, и тогда мы оба поняли то, чего до сих пор не понимали.

— Я тоже тебя люблю,— сказал он.— Но вот стараюсь и не плачу по этому поводу.— Он засмеялся и меня рассмешил и потом снова стал целовать, но крепче, и уже не смеялся.— Я хочу, чтобы ты стала моей женой,— сказал он. У меня, наверно, был удивленный вид, потому что он сказал:— Да, это правда. Я твой и ты моя. Вот так, детка. Но сначала послушай, что я тебе скажу.

Он взял меня за руку и подвел к своему рабочему столу.

— Вот тут моя жизнь,— сказал он.— Вся как есть.— Он взял со стола деревянную плашку величиной с два кулака. В ней угадывались очертания носа и впадина глаза — остальное было просто дышащий кусок дерева.— Со временем из этого, может, что-нибудь и получится,— сказал Фонни и бережно положил плашку на место.— Но, по-моему, я ее уже запорол.— Потом взял другой кусок дерева, величиной с мужское бедро. В нем был спрятан женский торс.— Я о ней ничего пока не знаю, какая она,— сказал он и так же бережно опустил деревяшку на место. Хотя его рука лежала у меня на плече и я чувствовала его близость, он был где-то далеко-далеко. Он улыбнулся мне своей легкой улыбкой и сказал: — Так вот слушай,— сказал он.— Я не из тех, кто станет мучить тебя, гоняясь за всякими бабенками и прочим дерьмом. Травку я иногда покуриваю, но шприцем ни разу не баловался, и вообще я правильный. Но...

Он замолчал, и взгляд у него стал очень спокойный, очень суровый, а такую суровость я раньше за ним вроде и не замечала. И в сердцевине этой суровости жила его любовь, она неслась, как стремительный поток, или пылала, как огонь, не подчиняясь разуму, не слушая никаких доводов, не смиряясь ни перед чем, что может преподнести жизнь. Я принадлежала ему, он принадлежал мне — и я вдруг поняла, что, восстав против этого предопределения, я буду существом самым несчастным, а может, и умру.

— Но...— продолжал он и отступил от меня. Его большие руки старались вылепить что-то из воздуха.— Я живу рядом с камнем и деревом. Камень хранится у меня в подвале, а здесь я весь день за работой и подыскиваю себе какую-нибудь мансарду, где можно будет работать по-настоящему. Так вот о чем я толкую, Тиш. Я не много могу предложить. Денег у меня нет, работаю я где придется, ради куска хлеба, потому что не гоняюсь за их дерьмовым благополучием, а это значит, что тебе тоже придется работать, а когда ты будешь приходить домой, я, вернее всего, только хмыкну и буду возиться со своими стамесками и прочей дрянью, и тебе, может, взбредет в голову, будто я и не замечаю, здесь ты или нет. Но ты не смей так думать! Слышишь? Ты все время со мной, все время! Без тебя я, может, ничего бы не сделал, детка, и стоит только мне выпустить стамеску из рук, как я снова буду с тобой. Всегда с тобой. Ты нужна мне. Я тебя люблю.— Он улыбнулся.— Ну как, Тиш, согласна ты на такое?

— Конечно, согласна,— сказала я. Мне хотелось сказать больше, но у меня перехватило горло.

Он взял меня за руку и подвел к тюфяку, который лежал у него на полу. Он сел рядом со мной и притянул меня к себе, так что мое лицо очутилось как раз под его лицом, а голова легла ему на колени. Я почувствовала: ему страшно. Он стал целовать мое лицо и шею и обнажил мою грудь, и его язык и зубы коснулись ее, его руки трогали все мое тело. Я понимала и не понимала, что он делает. Его руки держали меня, он позвал: — Тиш, Тиш! — и его голос был неотличим от грома,

стоявшего у меня в ушах. Руки держали меня. Все во мне менялось. Я могла только льнуть к нему. Не сразу, совсем не сразу, я поняла, что тоже целую его, что все во мне надламывается, все меняется, все кружится и стремится к нему. Если б не его руки, я бы упала куда-то вниз, навзничь — туда, где смерть. Жизнь владела мною. Моя жизнь заявляла на меня свои права. Я словно впервые слышала, чувствовала, как он дышит, но его дыхание рождалось как бы во мне. Он снял с меня все, он покрыл мое тело поцелуями, потом набросил на меня шаль и вышел.

Шаль кусалась, мне стало и холодно и жарко. Я знала, что он ушел в ванную комнату. Слышала, как он дернул цепочку. Вернулся он совсем голый. Забрался под шаль рядом со мной и прильнул ко мне всем своим длинным телом.

Он взял мое лицо в свои ладони, подержал его и поцеловал меня.

— Ты только не бойся,— прошептал он.— Не бойся. Ты только помни, что я твой. Помни, я ни за что в жизни не причиню тебе боли. Ты привыкнешь ко мне. У нас столько еще времени впереди.

Был третий час ночи; он прочел мои мысли.

— Твои папа с мамой знают, что ты со мной,— сказал он.— И знают, что ничего плохого с тобой не случится. Не бойся,— снова сказал он.— Держись за меня.

Мучаясь, я держалась за него обеими руками, больше мне не за что было держаться, я держалась за его курчавые волосы. Я не могла бы сказать, чьи это стоны — его или мои. У меня чуть не вырвался крик, и я заплакала. Настало что-то новое, никогда неизведанное. Его язык, его зубы были у меня на груди. Мне хотелось сбросить с себя эту тяжесть, но я прижимала его к себе все ближе. Я вскрикнула и заплакала, уткнувшись ему в плечо. Но он заглушил мой крик, прижавшись губами к моим губам. Его дыхание было у меня в ноздрях. И вот какой-то голос запел во мне, и его тело стало священным для меня — его ягодицы, тяжесть его груди. Сама не знаю, что мне больше хотелось — смеяться или плакать. Я повторяла его имя. Я прижимала его к себе все ближе и ближе. Он целовал и целовал меня. Мы едва дышали, и если бы дыхание не вернулось к нам, мы оба умерли бы.

А потом мы долго лежали, не двигаясь, прижавшись друг к другу.

— Мне хорошо здесь с тобой.

— Мне тоже.— Потом: — А тебе хорошо, Тиш, когда мы...— спросил будто маленький мальчишка,— когда мы близко... тебе хорошо?

Я улыбнулась.

— Брось, Фонни! Ты просто хочешь, чтобы я сказала это вслух.

— Правильно. Ну?..

— Что ну?

— Почему же ты не скажешь? — И он поцеловал меня.

Я сказала:

— По мне будто грузовик проехался. Но прекраснее этого у меня ничего не было.

— У меня тоже,— сказал он. И сказал с удивлением, будто о ком-то другом: — Меня, пожалуй, никто еще так не любил, как ты.

— А у тебя было много женщин?

— Да нет, не много. И вообще ни одной, о ком бы тебе следовало беспокоиться.

— Я знаю какую-нибудь?

Он засмеялся.

— Ты что хочешь? Чтобы я повел тебя по улице и показывал на каждую пальцем? Сама понимаешь, это было бы нехорошо. И теперь, когда я узнал тебя чуть поближе, пожалуй, и небезопасно.— Он прижался ко мне и тронул ладонью мою грудь.— Ты настоящая тигрица.

Даже если бы у меня было время бегать за разными пташками, то сил бы на это не хватило. Придется мне витамины принимать.

— Замолчи, пожалуйста! Слушать тебя противно.

— Почему противно? Я только о своем *здоровье* пекусь. Тебя разве не интересует мое *здоровье?* А они, кстати, в шоколадной оболочке... Я про витамины.

— Ты с ума сошел!

— Правильно,— весело признался он.— Из-за тебя я и схожу с ума.

Тело Фонни было для меня чем-то загадочным — тело возлюбленного всегда для тебя загадочно, как бы хорошо ты его ни знала. Оно точно изменчивая обертка, за которой прячется самая большая загадка твоей жизни. Я смотрела на его широкую грудь, на плоский живот, на пупок. Я коснулась его стройного тела и поцеловала его в грудь. Взяв одной рукой мою руку, другую положив мне на плечо, он привлек меня к себе. Потом сказал:

— Надо идти. Я провожу тебя. Надо добраться домой до рассвета. Было половина пятого.

— Да, надо,— сказала я, и мы встали и пошли под душ.

Я вымыла его, он — меня, мы смеялись, как дети, и он сказал, что если я не перестану трогать его, тогда нам никогда не попасть в Гарлем, и мой папа рассвирепеет, и вообще ему надо о многом поговорить с моим папой не откладывая, сегодня же.

Фонни привез меня домой в семь часов утра. В почти пустом вагоне метро мы стояли обнявшись. Было воскресное утро. Мы шли по нашим улицам, держась за руки. Те, кто обычно спешит в церковь, не успели еще встать, а тем, кто еще не ложился, тем не было никакого дела до нас — ни до нас, и ни до кого на свете.

Мы подошли к нашему крыльцу. Я думала, что Фонни не поднимется со мной, и повернулась поцеловать его на прощание, но он взял меня за руку и сказал:

— Пойдем.

И мы поднялись вверх по лестнице. Фонни постучал в дверь.

Открыла нам Эрнестина в старом зеленом халате, с завязанными на затылке волосами. Вид ее не обещал ничего доброго. Она перевела взгляд с меня на Фонни, потом опять на меня. И улыбнулась наперекор самой себе.

— Вовремя пришли — как раз к кофейку,— сказала она и шагнула от двери, пропуская нас.

— Мы...— начала я, но Фонни сказал: — Здравствуйте, мисс Риверс.— Что-то в его голосе заставило Эрнестину пристально посмотреть на него, и она окончательно проснулась.— Вы простите, что мы так запоздали. Можно мне поговорить с мистером Риверсом? Это очень важно.

Он все еще держал меня за руку.

— Чтобы увидеться с ним,— сказала Эрнестина,— не мешало бы войти с площадки в дом.

— Мы...— опять начала я, намереваясь, сама не знаю как, объяснить свое отсутствие.

— Хотим пожениться,— сказал Фонни.

— Тогда вам в самый раз выпить кофе,— сказала Эрнестина и затворила за нами дверь.

На кухню вошла Шерон, и она выглядела куда собраннее, чем Эрнестина,— то есть была в брюках, в свитере, волосы заплетены в косу и закручены на макушке.

— Где вы оба пропадали,— начала она,— до самого утра? Это что за новости! Тоже мне! Мы уж хотели в полицию звонить.

Но я видела, что ей полегчало, так как Фонни сидел у нас на кухне рядом со мной. Значит, происходит нечто очень важное, и она понимала это. Все получилось бы совсем по-другому, и ей пришлось бы гораздо труднее, если бы я вошла в дом одна.

— Вы меня извините, миссис Риверс,— сказал Фонни.— Это я виноват. Мы с Тиш не виделись несколько недель, надо было о многом поговорить. *Мне* надо было поговорить и...— он повел рукой,— я ее задержал.

— Разговорами? — спросила Шерон.

Фонни чуть передернуло, но глаз он не опустил.

— Мы хотим пожениться,— сказал он.— Вот почему я и задержал ее допоздна.— Они смотрели друг на друга — Я люблю Тиш,— сказал он.— Вот почему я так долго не приходил. Я...— Он бросил на меня мимолетный взгляд.— Я даже ходил к другим женщинам... чего я только не вытворял, чтобы выкинуть это из головы.— Он снова взглянул на меня. И опустил глаза.— Но потом понял, что самого себя обманываю. Я никого не любил, кроме нее. И вдруг испугался: а что, если она уедет или появится кто-нибудь другой, кто уведет ее, и вот я вернулся.— Улыбка у него получилась вымученная.— Примчался что есть духу. И больше я никуда не хочу уходить.— Потом: — Вы же знаете, она всегда была моей девушкой. И я... я не такой уж плохой. Это вы тоже знаете. И вы... роднее вашей семьи у меня никогда не было.

— Тогда,— проворчала Шерон,— я не понимаю, почему ты вдруг начал величать меня миссис Риверс.— Она обернулась ко мне.— Да-а! Я надеюсь, сударыня, вы не забыли, что вам всего восемнадцать лет.

— Такой довод,— сказала Эрнестина,— с автобусным билетом в придачу только до угла тебя и доведет, и никак не дальше.— Она разлила кофе по чашкам.— Вообще-то первой полагается выходить замуж старшей сестре. Хотя в *нашем* доме хорошего тона никогда не придерживались.

— Ты-то как к этому относишься? — спросила ее Шерон.

— Я? Да я рада-радешенька отделаться от этой вертихвостки. Я всегда на нее фыркала и, честное слово, не могу понять, что вы все в ней находите.— Она села за стол и широко улыбнулась.— Фонни, клади себе сахар. Тебе он вот как понадобится, если ты свяжешься с моей прелестной, с моей *прелестнейшей* сестричкой.

Шерон подошла к двери и крикнула:

— Джо! Поди сюда! Молния шарахнула в дом бедняков! Правду говорю! Иди скорей!

Фонни взял меня за руку.

На кухню вошел Джозеф — в шлепанцах, в старых вельветовых штанах и в тенниске. Я начала понимать, что у нас никто не спал ночью. Первой Джозеф увидел меня. Больше он никого не видел. И поскольку он кипел от ярости и в то же время чувствовал облегчение, тон у него был весьма сдержанный:

— Не дурно бы послушать, сударыня, как вы объясните свое возвращение домой в такой ранний час. Хочешь уйти из дома, так уходи. Слышала? А пока живешь в моем доме, изволь уважать его. Слышала?

Но тут он увидел Фонни, и Фонни отпустил мою руку и встал.

Он сказал:

— Мистер Риверс, не браните ее. Это все моя вина, сэр. Это я задержал Тиш. Мне надо было поговорить с ней. Не браните ее, мистер Риверс. Не браните. Я просил ее выйти за меня замуж. Вот

почему мы так задержались. Мы хотим пожениться. За тем я и пришел сюда. Вы ее отец. Вы ее любите. И я знаю, что вы знаете — *должны* знать, что я люблю ее. Я всю жизнь ее любил. Вы и это знаете. А если б не любил, то не стоял бы сейчас в вашем доме. Ведь правда? Простился бы с ней у крыльца и удрал бы восвояси. Вам, наверно, хочется меня поколотить. Но я люблю ее. Вот и все, что я могу сказать вам.

Джозеф не сводил с него глаз.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать один год, сэр.

— Решил, самая пора жениться?

— Не знаю, сэр. Но знать, что любишь, по-моему, самая пора.

— Ты так думаешь?

Фонни выпрямился.

— Не думаю, а знаю, сэр.

— Как же ты ее прокормишь?

— А вы как кормили?

Нам, женщинам, уже нельзя было принимать участие в разговоре, и мы знали это. Эрнестина налила Джозефу кофе и подвинула ему чашку.

— Ты где-нибудь работаешь?

— Днем я гружу машины мебелью, а по вечерам занимаюсь скульптурой. Я скульптор. Мы знаем, что нам придется нелегко. Но я художник. И буду настоящим, может, даже большим художником.— И они снова замолчали, не сводя глаз друг с друга. Джозеф не глядя взял чашку и, не чувствуя вкуса кофе, отхлебнул из нее.

— Теперь давай поставим точки над «i». Ты просил мою дочку выйти за тебя замуж, и она ответила тебе...

— Да,— сказал Фонни.

— А сюда ты зачем пришел — сообщить мне об этом или попросить моего разрешения?

— За тем и за другим, сэр.

— Но у тебя нет никакого...

— Будущего,— сказал Фонни.

И они оба снова смерили друг друга взглядом.

Джозеф поставил чашку на стол. Фонни до своей не дотронулся.

— А как бы ты поступил на моем месте? — спросил Джозеф.

Я почувствовала, что Фонни задрожал. Он не мог иначе; его рука чуть коснулась моего плеча и тут же оторвалась от него.

— Я бы спросил свою дочь. Если она скажет вам, что не любит меня, я уйду и больше никогда не буду вас беспокоить.

Джозеф впился взглядом в Фонни — взгляд был долгий, и недоверие покорно уступало в нем нежности и воспоминаниям о себе в молодости. У него был такой вид, точно он хотел сбить Фонни с ног, у него был такой вид, точно он хотел заключить его в свои объятия.

Потом Джозеф посмотрел на меня.

— Ты любишь его? Хочешь выйти за него замуж?

— Да.— Я не подозревала, что мой голос может прозвучать так непривычно.— Да. Да.— Потом я сказала: — Ты знаешь, я твоя дочь, вся в тебя, и я мамина дочь, вся в маму. Так что ты должен понимать: если я говорю *нет*, значит, *нет*, а если я говорю *да*, значит, *да*. Фонни пришел сюда, чтобы попросить твоего разрешения, и я люблю его за это. И очень хочу, чтобы ты такое разрешение дал, потому что я люблю и тебя. Но я не собираюсь стать *твоей* женой. Я буду женой Фонни.

Джозеф сел к столу.

— Когда?

— Когда монета будет,— сказал Фонни.

Джозеф сказал:

— Нам с тобой, сынок, лучше уйти в соседнюю комнату.

И они ушли. Мы сидели молча. Нам нечего было сказать друг другу. Одна только мама заговорила спустя минуту:

— Ты правда любишь его, Тиш? Правда?

— Мама,— сказала я.— Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Она втайне надеялась, что ты выйдешь за губернатора Рокфеллера, вот почему,— сказала Эрнестина.

Мама устремила на нее долгий строгий взгляд, потом рассмеялась. Сама того не подозревая, без всякой задней мысли Эрнестина была близка к истине — не в буквальном смысле этого слова, но тем не менее близка, ибо с мечтой о благополучии трудно расстаться. Я сказала:

— Да нет, знаешь, этот старый хрыч слишком стар для меня.

Шерон снова засмеялась.

— А он себя совсем другим видит. Но какой бы ты ему показалась, этого я и знать не хочу. Так. Словом, по этому вопросу все. Ты выходишь за Фонни. Что ж, ладно. Как вспомню...— И она помолчала и будто стала уже не моей матерью, Шерон, а кем-то другим, но эта другая была именно моя мать, Шерон.— Как вспомню об этом, так у меня хорошо на душе.— Она откинулась на спинку стула, сложив руки на груди, глядя куда-то вдаль и думая, как ей быть дальше.— Да. Он настоящий. Он мужчина.

— Он еще не мужчина,— сказала Сестрица.— Но станет мужчиной. Вот ты и сидишь тут и стараешься изо всех сил сдержать слезы. А почему? Потому, что твоя младшая дочь скоро станет женщиной.

— А, перестань! — сказала Шерон.— Хоть бы ты сама поскорее выскочила замуж, тогда я тебя буду грызть почем зря.

— Да ты скучать по мне будешь,— нашлась Эрнестина.— Только вряд ли я когда-нибудь выйду замуж. Есть, мама, люди, которые выходят замуж, а есть, которые не выходят.— Она встала и прошлась по кухне, описав круг, и снова села за стол. Из соседней комнаты до нас доносился голос Фонни и голос Джозефа, но, о чем они там говорили, нам не было слышно, да мы старались и не вслушиваться. Мужчины есть мужчины, и бывает, их надо оставить в покое. Ведь надо же соображать, что если двое мужчин заперлись в комнате, где им, может, не так уж и приятно сидеть, так это потому, что они несут ответственность за женщин, которые вот тут, за дверью.

— Да, я тебя понимаю,— сказала Шерон ровным голосом, не двигаясь с места.

— Все горе в том, — сказала Эрнестина,— что иной раз вдруг так захочется принадлежать кому-то.

— Но ведь это очень страшно, когда кому-то принадлежишь,— воскликнула я неожиданно для самой себя.

И пока у меня не вырвались такие слова, я, может быть, не сознавала, насколько это верно.

— Что так, что этак, один черт,— сказала Эрнестина и улыбнулась.

Джозеф и Фонни вышли из соседней комнаты.

— Вы оба посходили с ума,— сказал Джозеф.— Но что с вами поделаешь! — Он поглядывал на Фонни. Он улыбался — улыбался ласково, не в силах сдержать улыбки. Потом посмотрел на меня.— Хотя Фонни прав: того и гляди, появился бы кто-нибудь другой и увел бы тебя. Только я не думал, что все случится так скоро. Но Фонни верно говорит — вы всегда, с самого детства дружили. А теперь выросли и уже стали большие.— Он взял Фонни за руку и подвел ко мне и взял меня за руку и приподнял со стула. Он вложил мою руку в руку Фон-

ни.— Берегите друг друга,— сказал он.— Вы еще убедитесь, что это не пустые слова.

На глазах у Фонни выступили слезы. Он поцеловал моего отца. Он выпустил мою руку. И шагнул к двери.

— Я пойду домой,— сказал он.— Расскажу все папе.— Лицо у него изменилось, он взглянул на меня и послал мне поцелуй сквозь разделявшее нас пространство.— Папа обрадуется,— сказал он. И отворил дверь. И сказал Джозефу: — Мы будем здесь к шести часам. Ладно?

— Ладно,— сказал Джозеф, и улыбка осветила все его лицо.

Фонни вышел на площадку. Дня через два, через три, во вторник или в среду, мы с ним отправились на поиски подходящей мансарды.

И нам пришлось здорово побегать.

В понедельник мистер Хэйуорд, как и обещал, был у себя в конторе. Я приехала туда в начале восьмого, со мной была мама.

Мистеру Хэйуорду, по-моему, лет тридцать семь. У него карие глаза, взгляд мягкий, редеющие каштановые волосы. Он длинный-предлинный и широкий в плечах. Человек он приятный, во всяком случае на вид, но мне с ним как-то не по себе. Не знаю, может, не он в этом виноват. Последнее время мне с любым не по себе, а уж с адвокатом и подавно.

Когда мы вошли, он встал, усадил маму в большое кресло, а меня в то, что поменьше, и сам снова сел за свой письменный стол.

— Ну, как вы себя чувствуете, леди? Миссис Риверс? А вы, Тиш? Виделись с Фонни?

— Да. В шесть часов.

— Ну, как он?

Такой вопрос всегда казался мне нелепым. Как может себя чувствовать человек, который всеми силами стремится вырваться из тюрьмы? Но пришлось заставить себя взглянуть на вещи по-иному — понять, что такой вопрос тоже важен. Во-первых, с этим вопросом я живу; во-вторых, то, как Фонни себя чувствует, важно знать мистеру Хэйуорду и может облегчить ему ведение дела. Но мне было неприятно рассказывать мистеру Хэйуорду о Фонни. По-моему, он уже многое должен был сам о нем узнать. Но, может, я опять несправедлива к нему.

— Ну, скажем так, мистер Хэйуорд: Фонни тошно там, но он не дает себе пасть духом.

— Когда мы его оттуда вызволим? — спросила мама.

Мистер Хэйуорд перевел взгляд с мамы на меня и улыбнулся, улыбка вышла болезненная, будто его только что в пах ударили. Он сказал:

— Вы же обе знаете, какое это сложное дело.

— Поэтому моя сестра и наняла именно *вас*,— сказала я.

— И вам начинает казаться, что она зря на меня положилась? — Он все еще улыбался. Он закурил сигарету.

— Нет,— ответила я.— Я ничего такого не говорю.

Я бы не осмелилась такое сказать — во всяком случае пока,— так как меня пугала мысль, что придется искать другого адвоката, который, может, будет еще хуже этого.

— Нам было хорошо с Фонни,— сказала мама.— Его очень не хватает в доме.

— Я вас понимаю,— сказал он,— и делаю все от меня зависящее, чтобы вернуть его вам как можно скорее. Но в чем самая большая трудность, вы сами знаете: ведь миссис Роджерс отказалась пересмотреть свои показания. А теперь она исчезла.

— Исчезла? — вскрикнула я.— Как так исчезла?

— Тиш,— сказал он.— Мы живем в огромном городе, в огромной стране и, если уж на то пошло, так в огромном мире. И случается, люди исчезают. Не думаю, чтобы она уехала куда-нибудь далеко, у них средств не хватит на долгое путешествие. Но родные могли отправить ее в Пуэрто-Рико. Во всяком случае, чтобы произвести розыск, придется послать туда специального человека, а на это...

— На это нужны деньги,— сказала мама.

— Увы! — сказал мистер Хэйуорд. Он бросил на меня из-за своей сигары странный, настороженный и почему-то грустный взгляд.

Я было вскочила с места, теперь опять села.

— Грязная тварь! — сказала я.— Вот грязная тварь!

— А деньги большие? — спросила мама.

— Я сделаю все, чтобы уменьшить расходы,— сказал мистер Хэйуорд с застенчивой, мальчишеской улыбкой.— Но специальный человек, он, к сожалению, *специальный* и прекрасно сам это знает. Если нам повезет, мы обнаружим миссис Роджерс через несколько дней, через неделю. Если же нет...— Он пожал плечами.— Давайте лучше предположим, что нам повезет.— И снова улыбнулся.

— Пуэрто-Рико,— с трудом выговорила мама.

— Мы не уверены, что она именно туда и вернулась,— сказал мистер Хэйуорд.— Но это вполне возможно. Во всяком случае, несколько дней назад они с мужем выехали из квартиры на Орчард-стрит, а своего нового адреса не оставили. Связаться с другими родственниками — с тетками, с дядьями — не удалось, да они, как вы знаете, не очень-то шли нам навстречу до сих пор.

— Но разве это не бросает тени на ее показания? — спросила я.— Вдруг ни с того ни с сего исчезнуть! Она же главная свидетельница по делу.

— Да. Но она невежественная пуэрториканка, она сама не своя, у нее шок после изнасилования. Так что эту женщину можно понять. Вы догадываетесь, о чем я? — Он пристально посмотрел на меня, и голос у него изменился.— Миссис Роджерс не *единственный* свидетель. Вы забываете о показаниях полисмена Белла. Именно его опознание насильника считается достоверным. Белл клянется, что *видел* Фонни, когда тот убегал с места преступления. И я всегда считал — помните? мы с вами говорили об этом,— что именно его показания миссис Роджерс и затвердила.

— Если Белл застал Фонни на месте преступления, зачем ему понадобилось тянуть время, а потом прийти к нам и взять Фонни *из дому?*

— Тиш,— сказала мама.— Тиш.— Потом: — Значит... дайте мне разобраться... значит, полисмен Белл и учил ее, что говорить? Так?

— Да,— сказал мистер Хэйуорд.

Я обвела взглядом его контору. Мы были в центре города, около Бродвея, недалеко от церкви св. Троицы. Стены конторы были обшиты темным деревом, полированным. Письменный стол — широкий, с двумя телефонами, то на одном, то на другом все время зажигался огонек. Хэйуорд не обращал на это внимания и смотрел на меня. На стенах висели спортивные трофеи и дипломы и большая фотография Хэйуорда-старшего. На столе в рамках две фотографии, на одной — его улыбающаяся жена, на другой — двое маленьких сыновей. Все в этой конторе было мне чужое.

И все-таки я сидела здесь.

— Вы говорите,— сказала я,— что докопаться до правды в этом деле невозможно?

— Нет. Ничего такого я не говорил.— Он снова раскурил свою

сигару.— На чьей стороне правда, не имеет ни малейшего значения. Важно одно — кто выиграет.

Вся контора наполнилась сигарным дымом.

— Я не хочу сказать,— размеренно, четко проговорил он,— что сомневаюсь в истинном положении вещей. Если б я не верил в то, что Фонни ни в чем таком не повинен, то не взялся бы за ваше дело. Этого полисмена я знаю — он расист и лжец, так я и сказал ему прямо в лицо, и можете цитировать меня когда и где вам угодно. И окружного прокурора, который ведет это дело, я тоже знаю — он еще хуже. Вот так. Вы с Фонни утверждаете, что находились в помещении на Бэнкстрит вместе со старым приятелем Фонни Дэниелом Карти. Ваши показания, как вы сами понимаете, в счет не пойдут, а Дэниел Карти только что задержан окружным прокурором и лишен права на свидания. Мне не разрешили повидаться с ним.— Он встал и подошел к окну.— Это нарушение законности... Но у Дэниела, как вы знаете, уже был привод. Его явно хотят заставить, чтобы он изменил свои показания. И вот почему... утверждать этого я не могу, но готов пари держать: вот почему миссис Роджерс исчезла.— Он вернулся к столу и сел в кресло.— Такие-то, видите ли, дела.— Он взглянул на меня.— Я сделаю все, что от меня зависит, но предупреждаю: будет трудно.

— Когда вам нужны деньги? — спросила мама.

— К розыску я уже приступил,— сказал он.— А деньги будут нужны, как только вы их достанете. Буду осаждать канцелярию окружного прокурора, чтобы мне разрешили свидание с Дэниелом Карти, хотя они, конечно, нагородят уйму всяких рогаток на моем пути.

— Значит,— сказала мама,— нам надо выиграть время.

— Да,— сказал он.

Время — это слово гулко отдалось у меня в ушах, как колокольный звон. Для Фонни *время* тянется в тюрьме. Придет *время,* и через полгода у нас будет ребенок. Было такое время, когда мы с Фонни встретились, было время, когда мы слюбились, и вот теперь, вне времени, мы любим друг друга, но всецело зависим от того, что оно принесет нам.

Время идет, Фонни ходит из угла в угол по камере, волосы у него отросли, стали еще курчавее. Время идет, он трогает подбородок — эх, побриться бы. Время идет, он скребет под мышками — эх, если бы под душ Время идет, он озирается по сторонам, зная, что его обманули, что время действует ему наперекор. Было время, когда он боялся жить. Теперь оно другое — он боится смерти, подстерегающей его где-то во времени. Каждое утро он просыпается, видя Тиш закрытыми глазами, и каждую ночь засыпает, мучаясь ощущением ее близости. Теперь он жил в вонище, в криках, в красоте, в ужасе людского скопища, и его бросили в эту преисподнюю в мгновение ока.

От времени не откупишься. Единственная монета, какую оно принимает, это человеческая жизнь. Сидя на ручке кожаного кресла мистера Хэйуорда, я посмотрела в его огромное окно вниз на Бродвей и заплакала.

— Тиш,— беспомощно проговорил Хэйуорд.

Мама подошла ко мне и обняла меня за плечи.

— Нам так нельзя,— сказала она.— Нам нельзя так.

Но я не могла остановиться. Мне казалось, что мы никогда не разыщем миссис Роджерс, что Белл ни за что не откажется от своих показаний, что Дэниела будут бить до тех пор, пока он от своих не откажется. И Фонни сгниет в тюрьме, Фонни умрет там, а я — я не могу жить без него.

— Тиш,— сказала мама.— Ты теперь женщина. Так будь настоящей женщиной. Положение у нас тяжелое. Но ты подумай как следует — ведь ничего нового тут нет! Вот как раз такой случай, когда *сдаваться нельзя*. Ни в коем случае *нельзя*. Фонни надо вызволить из тюрьмы, *как бы нам ни пришлось выкручиваться*. Ты поняла, дочка? Нас всякая пакость давно мытарит. Так вот, стоит только подумать об этом на другой лад, так сразу заболеешь А тебе нельзя сейчас болеть, ты сама это знаешь. Уж лучше пусть твоего Фонни государство убьет, чем тебе его убивать. Так что держись, дочка, держись. Мы вызволим Фонни.

Она отошла от меня. Я вытерла слезы. Она повернулась к Хэйуорду.

— У вас есть адрес этой пуэрториканской девочки?

— Да.— Он написал его на листке бумаги и дал маме.— Мы пошлем туда кого-нибудь на этой неделе.

Мама сложила листок и сунула его к себе в сумочку.

— Как вы считаете, когда вам удастся повидать Дэниела?

— Хочу быть там завтра,— сказал он.— Но для этого придется горы свернуть.

— Ну что ж,— сказала мама.— Добивайтесь, чего бы это ни стоило.

Она вернулась ко мне.

— Мы соберемся дома, мистер Хэйуорд, и все вместе обдумаем, как нам быть. А Эрнестину я попрошу позвонить вам завтра утром. Ладно?

— Прекрасно! Передайте ей мой привет.— Он положил сигару в пепельницу, подошел ко мне и одной рукой неловко обнял меня за плечи.— Дорогая моя Тиш,— сказал он.— Держитесь, прошу вас! Держитесь! Даю вам слово, мы дело выиграем и Фонни выйдет на свободу. Да, нам будет нелегко. Но не настолько все это непреодолимо, как вам кажется сегодня.

— Вот это вы ей и втолкуйте,— сказала мама.

— Когда я бываю на свидании с Фонни, первое, что он спрашивает, это о вас. И я всегда говорю: «Тиш держится молодцом». Но он смотрит на меня в упор, проверяет, не лгу ли я. А лгать я не мастак. Завтра мы увидимся. Что мне сказать ему?

Я ответила:

— Скажите, что я держусь.

— А может, вы улыбнетесь? В придачу к вашей весточке? Я все ему передам. Он будет рад.

Я улыбнулась, и он улыбнулся, и что-то подлинно человеческое впервые возникло между нами. Он снял руку у меня с плеча и подошел к маме.

— Скажите Эрнестине, чтобы позвонила мне часов в десять. Если может, даже раньше. А то до шести меня не поймает.

— Скажу, скажу. И большое вам спасибо, мистер Хэйуорд.

— Знаете что? Не откинуть ли нам этого «мистера»?

— Ну что ж... Ладно. Хэйуорд. А меня зовите Шерон.

— С удовольствием. И я надеюсь, что дело нас сблизит и мы станем друзьями.

— Конечно, станем,— сказала мама.— Еще раз спасибо. Всего вам.

— До свидания. Не забывайте, о чем я вам говорил, Тиш.

— Нет, не забуду. Скажите Фонни, что я держусь.

— Вот таких я люблю. Вернее...— И в нем еще явственней появилось что-то мальчишеское.— Вернее, Фонни таких любит.— И он улыбнулся. Он отворил нам дверь. Он сказал: — Всего вам хорошего.

Мы сказали:
— Всего вам хорошего.

В субботу днем Фонни шел по Седьмой авеню и столкнулся с Дэниелом. Они не виделись со школьной скамьи.

Время не пошло Дэниелу на пользу. Он был все такой же большой, черный, громогласный. К двадцати трем годам — Фонни немного младше его,— он уже успел растерять своих сверстников. После восторженной встречи следом за минутной растерянностью они облапили друг друга и стали хохотать и лупить один другого по голове и по спине, снова совсем мальчишки, и хотя Фонни не любит ходить по барам, зашли в ближайший и заказали два пива.

— Вот красота! Ну, как она, жизнь? — Не знаю, кто из них задал этот вопрос, кто спросил первый, но я так и вижу их лица.

— Ты почему *меня* спрашиваешь?

— А потому, что ты вот он, тута.

— Где тута?

— Слушай, брось дурака валять! Ты что делаешь?

— Да вот ишачу на одного еврея — производство готового платья, божу тележку, разъезжаю вверх-вниз в лифтах, старик.

— Твои как?

— Э-э, отец два года назад умер. Живу все там же, вместе с мамой. Мучается она, у нее варикозные вены. Так что...— И Дэниел опустил глаза на пивную кружку.

— А ты что собираешься делать? Я спрашиваю: ты не занят?

— Сейчас, сию минуту?

— Я говорю, может, собираешься куда-нибудь, может, договорился, а то пойдем со мной. Прямо отсюда и пойдем.

— Ничем я не занят.

Фонни допил пиво и расплатился с официантом.

— Пошли. Пиво и у нас в берлоге найдется. Да пойдем же! Ты помнишь девчонку Тиш?

— Тиш?

— Да, Тиш. Маленькая такая, костлявенькая Тиш. *Моя* девочка.

— Маленькая, костлявенькая?

— Ну да! Я до сих пор с ней. Думаем пожениться, старик. Пошли. Покажу тебе свою берлогу. А она сообразит нам чего-нибудь поесть. Ну, пошли, пошли. Я же говорю, что пиво у нас и дома найдется.

Конечно, не следовало ему тратить такие деньги, но он заталкивает Дэниела в такси, и они катят на Бэнк-стрит, хотя я их не жду. Но Фонни такой радушный, такой веселый, так радуется! Сказать правду, я узнаю Дэниела только по тому, как блестят глаза у Фонни. Да, время не пошло Дэниелу на пользу, и я вижу, до какой степени жизнь потрепала его. Я вовсе не такая уж наблюдательная, просто я влюблена в Фонни. Не любовь и не страх делают человека слепым; слепым его делает равнодушие. И я не могла оставаться равнодушной к Дэниелу, видя по лицу Фонни, как это хорошо, что в болотистой заводи своего прошлого ему каким-то чудесным образом удалось зачерпнуть близкого друга.

Но это значит, что мне надо сходить в магазин, и я выхожу, оставляя Фонни и Дэниела одних. У нас есть проигрыватель. Уходя, я слышу, что Фонни ставит «Сравни, но с чем?», и вижу, что Дэниел сидит на корточках на полу и пьет пиво.

— Так ты что, правда решил жениться? — спрашивает Дэниел — грустно и в то же время насмешливо.

— Ну да. Мы жилье себе подыскиваем — ищем мансарду, потому что за мансарду, знаешь, не так дерут. И чтобы Тиш не пришлось тесниться, и чтобы мне было где работать. Эта комната и на одного мала, уж не говоря о двоих. У меня здесь весь мой материал — и здесь и в подвале.— С этими словами, сидя на корточках напротив Дэниела, он свертывает закрутку ему и себе.— Сколько мансард стоят пустые по всему Ист-Сайду, а снимать их никого калачом не заманишь, кроме таких вот чудаков вроде меня. Случись пожар, так это ловушка, а в некоторых даже уборных нет. Казалось бы, найти мансарду легче легкого! — Он раскуривает закрутку, затягивается и передает ее Дэниелу.— Но знаешь, старик, здорово не любят в нашей стране негров. Так не любят, что скорее прокаженному сдадут, чем негру. Честное слово! — Дэниел затягивается и передает закрутку Фонни. «Усталые леди целуют собак»,— орет проигрыватель. Фонни тоже затягивается, отпивает пива из банки и возвращает закрутку Дэниелу.— Ходим когда вдвоем с Тиш, когда она одна или я один. Но все то же самое.— Он встает.— Теперь одну Тиш я не пускаю, потому что, понимаешь, какое дело, на прошлой неделе уже совсем было сладилось, подыскала она мансарду, этот типчик обещает сдать. Но он *меня еще* не видал. Наверно, так рассудил: черная цыпочка из Гринич-Вилледжа, ходит одна, высматривает себе помещение. Дай-ка я с ней побалуюсь. Думал, что она авансы ему делает. Вот это самое и было у него на уме. Тиш приходит гордая, довольная и рассказывает мне.— Он снова садится.— Ну, мы идем туда. И тогда этот стервец как увидел меня, так говорит: произошло, мол, недоразумение, сдать нам он ничего не может, откуда-то, из Румынии, что ли, чуть не через полчаса понаедут его родичи, и он поселит их в этой мансарде. Сволочь! Я обозвал его сволочью, а он пригрозил мне, что натравит на меня полицию.— Фонни берет закрутку у Дэниела.— Я уж подумываю, как бы мне подкопить монет и двинуть куда-нибудь из нашей дерьмовой страны.

— Как же это ты двинешь?

— Сам еще не знаю,— говорит Фонни.— Тиш плавать не умеет.— Он возвращает самокрутку Дэниелу, и они начинают гоготать и корчиться от хохота.

— Сначала тебе, может, одному уехать,— уже серьезно говорит Дэниел.

Закрутка и пластинка подошли к концу.

— Нет,— говорит Фонни.— Я на это вряд ли решусь.— Дэниел пристально смотрит на него.— Мне страшно.

— Чего страшно? — спрашивает Дэниел, хотя сам знает, как ответить на этот вопрос.

— Боюсь, и все тут,— говорит Фонни после долгого молчания.

— Боишься, как бы с твоей Тиш чего не случилось? — спрашивает Дэниел.

Снова долгое молчание. Фонни смотрит в окно. Дэниел смотрит Фонни в спину.

— Да,— говорит наконец Фонни. Потом: — Боюсь, как бы с нами обоими чего не случилось друг без друга. Ведь она прямо-таки несмышленыш, старик,— всем доверяет. Идет, понимаешь, по улице, крутит своим аккуратненьким задиком и дивится, когда на нее всякая сволочь кидается. Того, что я вижу, ей не видно.— Снова наступает молчание, Дэниел внимательно смотрит на него, и Фонни говорит: — Может, я покажусь кое-кому шизиком, но, понимаешь, у меня только и есть в жизни что мое дерево, мой камень и Тиш. Если я их лишусь, тогда мне конец. Я это твердо знаю. Понимаешь, старик? — Он повора-

чивается лицом к Дэниелу.— Что во мне есть, не я это туда вложил. И не мне это из себя вытаскивать.

Дэниел подходит к тюфяку, садится, прислоняется спиной к стене.

— По-моему, ты не шизик. По-моему, тебе повезло. У меня ничего такого нет. Можно мне еще пива?

— Конечно,— говорит Фонни, идет и открывает еще две банки. Одну дает Дэниелу, и Дэниел надолго припадает к ней, а потом говорит:

— Я только что из тюряги, друг. Два года отсидел.

Фонни молчит — поворачивается и молча смотрит на него.

Дэниел молчит, отпивает из банки.

— Мне было сказано — да и до сих пор так говорят,— будто я увел машину. А я, понимаешь, даже и *водить* эти машины не умею! Потребовал от своего адвоката — на самом-то деле он был *ихний* адвокат, понимаешь, от городского суда,— потребовал, чтобы он доказал им это, а зачем ему доказывать? И вообще я и в машине-то не сидел, когда меня взяли. Но при мне была травка. Сижу себе у нас на крылечке, а они подъехали и замели меня. Вот так, очень просто. Время было около двенадцати ночи, ткнули в камеру, а на следующее утро выставили вместе с другими на опознание, и какой-то подонок заявил, что машину увел я, а я и видеть ее не видал. И вот, понимаешь, раз я с травкой, значит, все равно подлежу. Потом мне говорят: признаешь свою вину — срок будет меньше. А не признаешь, тогда вкатим как следует. Ну что тебе сказать?.. Я один... — Он снова прикладывается к банке.— Никого возле меня нет... Взял и сказал на суде: виновен. Два года! — Он наклоняется вперед, не сводя глаз с Фонни.— Мне тогда показалось, что это лучше, чем загреметь из-за марихуаны.— Он откидывается назад, смеется, отпивает из банки и смотрит вверх на Фонни.— Так вот нет! На пушку меня взяли, потому что я был дурак дураком и сам не свой от страха. А теперь жалею.— Он замолкает. Потом: — Два года!

— Мать твою! — говорит Фонни.

— Да,— говорит Дэниел. Говорит после самого оглушительного, самого долгого молчания, которое им когда-либо приходилось слышать.

Вскоре я возвращаюсь, и они оба немного в кайфе, но я ничего им не говорю и ухожу на кухню и стараюсь двигаться в ее крошечных пределах так, чтобы не шуметь. На минутку туда приходит Фонни, прижимается ко мне сзади, обнимает меня и целует в затылок. Потом идет назад к Дэниелу.

— Давно ты вышел?

— Третий месяц.— Он встает с тюфяка, подходит к окну.— Знаешь, старик, плохо мне там было. Совсем плохо. И сейчас плохо. Может, легче было бы, если б я натворил что-нибудь и на этом попался. Но ведь я ничего такого не сделал. Они, понимаешь, решили на мне отыграться, им все сходит с рук. Мне еще, понимаешь, повезло, что всего два года. Ведь они все что угодно могут с тобой сделать. *Все что угодно.* Суки они. Я только в тюряге понял, о чем Малкольм и его парни говорили. Белый — это сатана. Белый уж точно не человек. Я, брат, такое видел, что до самой смерти мне это будет сниться.

Фонни кладет руку Дэниелу на шею. Дэниел вздрагивает. Слезы текут у него по лицу.

— Я все понимаю,— мягко говорит Фонни.— Но ты не поддавайся. Из тюрьмы ты уже вышел, этому конец, ты молодой.

— Я знаю, о чем ты думаешь. И ценю это. Но тебе не понять, старик!.. Самое тяжелое, старик, самое тяжелое это то, что тебя доводят... начинаешь всего *бояться.* Всего боишься, старик. *Всего!*

Фонни не говорит ни слова, просто стоит рядом с Дэниелом, обнимая его за шею.

Я кричу им из кухни:

— Как вы там, бродяги, проголодались?

— Да! — кричит мне Фонни.— Подыхаем! Ты смотри там поживее!

Дэниел вытирает слезы, подходит к кухонному порогу и улыбается мне.

— Рад тебя видеть, Тиш. Ты, как я погляжу, не потолстела.

— Помолчал бы! Я тощая, потому что меня заела *бедность*.

— А что же ты не подыскала себе богатого мужа? Теперь уж что говорить — не потолстеешь.

— Эх, Дэниел, тощему двигаться легче, застрял где-нибудь в узком месте, глядишь — и вывернулся. Понимаешь смысл?

— Ишь ты! Все рассчитала! У Фонни эту науку прошла?

— Кое-чему Фонни меня научил. Но я ведь очень сметливая, до всего своим умом дохожу. Ты разве этого не усек?

— Я столько всего усек, что некогда мне было тобой любоваться.

— В этом смысле ты не единственный. И кто тебя обвинит? Уж такая я замечательная, что самой не верится, то и дело себя щиплю.

Дэниел смеется.

— Вот бы поглядеть! А в каких местах щиплешь?

Фонни буркает:

— Она такая замечательная, что иной раз и подзатыльник может схлопотать.

— Значит, он тебя, случается, и поколотит? Ай-ай!

— *Только слезы утирай! Ах! Тоска меня берет!*

И вдруг мы все трое запеваем:

Он ко мне вдруг подойдет,
И обнимет он меня.
Я уйду, его кляня.
Ах, ты зла, любовь, ты зла!
Я обратно приползла.
Не оставлю я тебя
Никогда!

И мы хохочем. Дэниел успокаивается, и взгляд его вдруг уходит куда-то вглубь, далеко-далеко от нас.

— Бедная Билли,— говорит он.— Ее тоже вконец измочалили.

— Слушай, старик,— говорит Фонни.— Надо сегодняшним днем жить. Если будешь забивать себе этим голову, тогда пиши пропало, шагу не ступишь.

— Ну, садитесь,— говорю я.— Давайте есть.

Я приготовила Фоннино любимое: грудинку под соусом с рисом, зеленым горошком и кукурузные лепешки. Фонни включает проигрыватель — негромко: «Что такое происходит?» Мэрвина Гэя.

— Тиш, может, и не потолстеет,— говорит Дэниел,— зато уж тыто наверняка. Вы, братцы, не возражаете, если я буду почаще к вам забегать, скажем, вот в это же самое время?

— Валяй! — весело говорит Фонни и подмигивает мне.— Красотой Тиш не отличается, но кухарит здорово.

— Какое счастье, что я могу приносить хоть какую-то пользу человечеству! — отвечаю я, и он снова мне подмигивает и принимается за ребрышко.

Фонни обкусывает ребрышко и поглядывает на меня, и в полном молчании, не сморгнув, мы с ним смеемся. Причин для смеха и у него

и у меня много. Мы с ним вдвоем — там, где до нас никто не доберется, никто нас не тронет, где мы вместе. Мы счастливы просто потому, что у нас нашлось чем покормить Дэниела, который ест себе и ест, не подозревая, что мы смеемся, но догадываясь, что с нами произошло какое-то чудо, а значит, чудеса случаются и, следовательно, с ним тоже могут случиться. А как здорово, когда ты способен внушить человеку такую веру.

Дэниел сидит у нас до полуночи. Ему страшновато уходить, страшновато опять очутиться на улицах, и Фонни понимает это и идет проводить его до метро. Дэниел, который не может бросить мать, но мечтает о свободе, мечтает зажить своей жизнью и в то же время страшится свободы, страшится того, что эта жизнь уготовила ему,— Дэниел изо всех сил бьется в западне. А Фонни, который моложе, изо всех сил старается повзрослеть, чтобы помочь другу на его пути к освобождению. *Дал господь свободу Дэниелу, почему же он других оставил?*

Песнь старая, но ответа на нее нет.

По дороге в метро в тот вечер и потом еще не раз Дэниел пытался хоть немного рассказать Фонни из того, что с ним было в тюрьме. Иногда он сидел у нас, и я тоже слушала его рассказы; иногда они оставались вдвоем с Фонни; иногда он плакал, рассказывая, и иногда его обнимал Фонни. Иногда я. Дэниел выдавливал из себя эти воспоминания, исторгал, вырывал их, точно куски рваного, искореженного, леденящего металла, рвал их вместе с мясом и кровью, как больной, жаждущий исцеления.

— Сначала не понимаешь, что с тобой делают. Да разве это поймешь! Подъехали, взяли меня с нашего крыльца и обыскали. Когда я потом все это вспоминал, то никак не мог усечь — *почему?* Я всегда сидел у себя на крыльце, и я и другие лбы, а эти часто проезжали мимо, и хотя мне героина не требуется, они-то знали, что кое-кто из черной кодлы его употребляет. И я знал, что им это известно. Они видели, что эти лбы почесываются и клюют носом. И, наверно, сообразили, в чем тут дело. Я потом вспоминал, как все было, и понял: эти подонки разбираются, чем тут пахнет. Они едут в отделение и докладывают: все нормально, сэр. Мы выследили толкача, когда он объезжал свои точки, травка доставлена, а черномазые тут ни при чем. Но той ночью я сидел один и уже собирался домой, а тут вдруг они в машине. Начинают на меня орать, заталкивают в подъезд и обыскивают. Сам знаешь, как это делается.

Я — не знаю А Фонни кивает, и лицо у него застывшее, глаза потемнели.

— А я только что обзавелся травкой, она у меня в заднем кармане. Вынули ее, уж больно они, понимаешь, *любят* ощупывать человеку задницу, один взял, передал другому, третий на меня нацепил наручники и затолкал в машину. Я понятия не имел, что до этого дойдет, может, немного был в кайфе, может, ничего сообразить не успел, но, понимаешь, старик, когда тот подонок нацепил на меня наручники, спустил вниз по ступенькам и затолкал в машину, а потом машина двинулась, я чуть было не закричал: «Мама!» И тут напал на меня страх, потому что она ходит-то еле-еле, начнет еще беспокоиться обо мне, а где меня искать, никто не знает. Ну, привезли в участок, зарегистрировали как наркомана, все у меня отобрали, а я их спрашиваю: можно мне позвонить? И соображаю, что звонить-то некому, разве только маме, а она-то кому позвонит ночью? Может, думаю, уже спит, может, решила, что я поздно приду, а утром проснется и увидит, что меня нет,

но я к тому времени, может, чего и придумаю... Впихнули меня в маленькую камеру, где еще не то четверо, не то пятеро лбов клюют носом и воняют. Я сел и пробую собраться с мыслями. Что мне теперь делать? Как быть? Звонить некому — прямо-таки *некому*, разве только еврею, у которого я работаю, он малый ничего, да только ни черта не поймет! Нет! Надо *найти* кого-нибудь, кто позвонит моей маме, кого-нибудь *поспокойнее*, кто и ее успокоит, сделает что-нибудь. И никто в голову не приходит!

Утром посадили нас в фургон. Был там один белый гад — старик, его в Бауэри, что ли, замели, так вот он облевал себя сверху донизу, потом уставился в пол и поет. Только уж какое там пение, а вонища от него — будь здоров! И слава тебе боже, что я не в кайфе, потому что тут один черный брат начал стонать, обхватил себя руками и стонет, а пот с него льется, как вода со стиральной доски. Я только чуть постарше его, хочу помочь ему, да чем, как? И думаю: ведь эти фараоны, которые впихнули его в фургон, знают, что он болен. Я-то знаю, что знают. Ему здесь не место, ведь он совсем еще мальчонок. Но эти педики, они свое дело знают. У нас, в нашей стране, белые, наверно, только тогда и распаляются, когда слышат, как негры стонут.

Ну, привезли нас туда. А я все еще не могу придумать, кому позвонить. Хочу оправиться, хочу помереть, но знаю: ни того, ни другого нельзя. Знаю, что оправиться мне дадут, когда им это будет угодно, а пока что держись как можешь, и еще я понимаю: это глупость желать смерти, потому что убить меня они могут в любую минуту, и я, может, даже сегодня умру. И оправиться не успею. А потом опять думаю о маме. Теперь-то уж она, наверно, забеспокоилась.

Иногда его обнимал Фонни. Иногда я. Иногда он стоял у окна, спиной к нам.

— Больше я про все это не могу рассказывать, там дальше такая пакость, что никогда никому не расскажу. Попался я на травке, а припаяли мне машину — машину, которую я и видеть не видел. В тот день им, наверно, понадобился кто промышляет по машинам. Хоть бы узнать, чья она, эта машина. Надеюсь, не какого-нибудь черного пижона.

Иногда Дэниел ухмылялся во весь рот, иногда вытирал слезы. Мы ели и пили все вместе. Дэниел старался одолеть что-то, одолеть что-то такое, чему нет названия, боролся с этим всеми силами, какие только даны человеку. Иногда я его обнимала, иногда Фонни. Кроме нас, у него никого не было.

Во вторник, на другой день после того понедельника, когда я была у Хэйуорда, мы с Фонни увиделись на шестичасовом свидании. Я не помню, чтобы когда-нибудь он так нервничал.

— Как же нам теперь быть с этой миссис Роджерс? Куда ее, к черту, унесло, паскуду?

— Я не знаю. Но мы ее разыщем.

— *Как* вы ее разыщете?

— Мы пошлем на розыски в Пуэрто-Рико. Она, наверно, туда уехала.

— А что, если в Аргентину, или Перу, или Китай?

— Фонни! Перестань! Как она может в такую даль!

— Ей заплатят, она куда угодно уедет.

— Кто заплатит?

— В канцелярии окружного прокурора, вот кто!

— Фонни...

— Не веришь? Думаешь, так не бывает?

— По-моему, не бывает.

— Откуда у вас найдутся деньги на розыск?

— Мы работаем, все работаем.

— Да, как же! Мой папа работает на фабрике готового платья, ты в универсальном магазине, твой папа грузчиком в порту...

— Слушай, Фонни!

— Что, слушай? А как нам быть с этим подонком, с этим адвокатишкой? Ему начхать на меня, ему на все начхать! Ты что, хочешь, чтобы я помер в тюрьме? Не знаешь, что здесь творится? Не знаешь, что со мной, *со мной, со мной* делают?

— Фонни. Фонни. Фонни.

— Прости меня, детка, ты тут ни при чем. Прости. Я люблю тебя, Тиш. Прости.

— Я люблю тебя, Фонни. Я люблю тебя.

— Как наш малыш?

— Подрастает. Через месяц будет еще заметнее.

Мы молча посмотрели друг на друга.

— Тиш! Выручи меня отсюда. Выручи. Прошу тебя.

— Обещаю. Обещаю. Обещаю.

— Не плачь. Не сердись. Я не на тебя кричал, Тиш.

— Я знаю.

— Ну, не плачь. Не надо плакать. Это вредно маленькому.

— Хорошо. Я больше не буду.

— Улыбнись, Тиш.

— Так — хорошо?

— Ты можешь еще лучше.

— А так?

— Да, да! Поцелуй меня.

Я поцеловала стекло. Он поцеловал стекло.

— Ты все еще любишь меня?

— Я всегда буду тебя любить, Фонни.

— Я люблю тебя. Я тоскую по тебе. Тоскую по всему, что у нас с тобой было, по всему, что мы делали вместе — гуляли, разговаривали и любили друг друга... Тиш, выручи меня отсюда!

— Выручу. Держись, Фонни.

— Буду держаться. Потом поговорим.

— Потом.

Он ушел следом за дежурным в тот невообразимый ад, а у меня дрожали колени и локти, и я встала и пошла к выходу, готовясь снова пересечь Сахару.

В эту ночь мне снились сны, всю ночь напролет. Сны страшные. Мне приснилось, будто Фонни вел грузовик, огромный, высокий грузовик. Он ехал по шоссе очень быстро, слишком быстро и разыскивал меня. Но он меня не видел. Я была позади грузовика и звала Фонни, но рев мотора заглушал мой голос. На шоссе было два поворота, и оба совершенно одинаковые. Шоссе проходило над морем, по гребню отвесной скалы. Один из поворотов шел к проезду у нашего дома, другой к обрыву — и оттуда прямо в море. Фонни мчался быстро, слишком быстро! Я окликнула его во весь голос и, когда он начал сворачивать, опять закричала и проснулась.

В комнате горел свет, и надо мной стояла Шерон. Не могу описать, какое у нее было лицо. Она пришла с холодным мокрым полотенцем, вытерла мне лоб и шею. Она наклонилась и поцеловала меня.

Потом выпрямилась и заглянула мне в глаза.

— Знаю, знаю, я не очень-то могу помочь тебе сейчас. Одному богу известно, чего бы я ни отдала, чтобы помочь тебе. Но я знаю, что́ такое страдание, может, от этого тебе полегчает? Знаю, что ему приходит конец. Только не хочу тебе врать, будто все кончается к лучшему. Иной раз и к худшему бывает. Иной раз так настрадаешься, что унесет тебя в такое место, где уже не будешь страдать. А это хуже всего.

Она взяла обе мои руки и сжала их.

— Запомни мои слова, Тиш. Единственный способ что-нибудь сделать — это когда скажешь себе: сделаю! Я знаю, многие люди, любимые нами люди, умерли в тюрьмах, но умерли там не все. Запомни это! И еще — помни, что ты теперь не одна. Тиш! У тебя ребенок под сердцем, и мы все надеемся на тебя, и Фонни надеется, что ты родишь его здорового и крепенького. За тебя это сделать никто не сможет. А ты сильная. Положись на свою силу.

Я сказала:

— Да. Да, мама.— Я знала, что сил у меня нет. Но как-нибудь, где-нибудь я найду их.

— Ну что, тебе лучше? Ты сможешь уснуть?

— Да.

— Не сочти меня глупенькой, но ты помни, Тиш, что тебя принесла в мир любовь. И если до сих пор ты доверялась любви, то и теперь не теряйся.

Она поцеловала меня, потушила свет и ушла.

Я лежала в постели без сна, и мне было страшно. *Выручи меня отсюда!*

Мне вспомнились женщины, о которых я хоть и знала, но боялась к ним приглядываться. Я боялась их потому, что они умели использовать свое тело, чтобы получить то, что им было нужно. Теперь мне становилось понятно: я судила о них вряд ли с точки зрения нравственности. (Да и что оно, собственно, значит, это слово?) Как незначительны их требования! Вот что думалось мне.

Я не могла себе представить, что можно торговать собой за такую низкую плату.

Ну, а если за более высокую? Если за Фонни?

И я заснула — ненадолго, а потом опять проснулась. Никогда в жизни не чувствовала я такой усталости. Все у меня болело. Я посмотрела на часы и увидела, что скоро надо будет вставать и идти на работу, если не сказаться больной. Но болеть я не имела права.

Я оделась и вышла на кухню выпить чаю. Джозеф и Эрнестина уже ушли. Мы с мамой сидели за чаем почти в полном молчании. В голове у меня все время вертелась какая-то мысль. Говорить я была не в силах.

Я спустилась на улицу. Было начало девятого. Я шла по улице, утренние улицы никогда не пустуют. Я прошла мимо старого слепого негра на углу. Может быть, я вижу его здесь постоянно, но до сих пор как-то не думалось о нем. На другом углу стояли и переговаривались между собой четверо ребят, все наркоманы. Какие-то женщины торопились на работу. Я попробовала прочесть, что у них написано на лицах. Были и другие — они брели домой немного отдохнуть и сворачивали в переулки к своим меблирашкам. Все здесь было завалено грудами мусора, мусор валялся у каждого крыльца и на главной улице. Я подумала, что если уж торговать собой, то не в здешних местах. Здесь этим заработаешь не больше, чем мытьем полов, а муки будет больше. Но думала-то я о том, что до рождения ребенка этим зани-

маться нельзя, а если к тому времени Фонни не выйдет из тюрьмы, тогда я, может, и попробую. Надо подготовить себя к этому. Но в голове все время вертелась какая-то другая мысль, которую у меня не хватало духу признать.

Надо подготовить себя, но как? Я спустилась по лестнице метро, протиснулась сквозь турникет и вместе с другими пассажирами вышла на платформу. Когда поезд подошел, я вместе с другими протиснулась в вагон и прислонилась к металлическому поручню, чувствуя, как меня обдают людские запахи и людское дыхание. Холодный пот выступил у меня на лбу, потек под мышками, заструился по спине. Раньше мне такие мысли не приходили в голову, потому что я знала: надо работать чуть ли не до самой последней минуты, но теперь вдруг задумалась: ведь я отяжелею и чувствовать себя буду хуже, так как же тогда добираться до работы? Вдруг случится обморок, ведь эти люди, влезающие и вылезающие из вагона, просто затопчут меня и ребенка насмерть. *Мы надеемся на тебя, Фонни надеется, что ты родишь его здорового, крепенького.* Я еще сильнее ухватилась за белый поручень. По мне, по всему моему зябнущему телу пробежала дрожь.

Я огляделась по сторонам. У нашего вагона было что-то общее с невольничьим судном. Я видала такие на картинках. Правда, на невольничьих судах не читали газет — в них тогда еще никто не нуждался, но что касается тесноты (а пожалуй, и конечной цели), то вагон и невольничье судно в принципе были одинаковые. Грузный мужчина, от которого несло острым соусом и зубной пастой, тяжело дышал мне прямо в лицо. Не его была вина, что ему приходилось дышать и что мое лицо было так близко. Он прижимался ко мне всем телом, но не потому, что хотел меня изнасиловать, он вообще и не думал обо мне. У него скорее всего маячила мысль — весьма смутная,— осилит ли он еще один день на работе. Меня же этот толстяк, конечно, и не заметил.

Когда вагон метро набит до отказа — конечно, если едут в нем не те, кто знают друг друга и собрались, ну, скажем, на пикник,— то пассажиры почти всегда молчат. Точно задерживают дыхание, дожидаясь, когда можно будет выйти. Каждый раз, как поезд подходит к станции и тебя оттесняют, пробираясь к выходу,— вот как сейчас делает человек, от которого несет острым соусом и зубной пастой, в вагоне слышится тяжелый вздох, сразу заглушаемый теми, кто входит. Теперь в лицо мне дышала молоденькая блондинка с картонной коробкой в руках, она была, наверно, с перепоя. Вот моя остановка, и я вылезла из вагона, поднялась по лестнице и пересекла улицу. Я вошла в магазин через «Вход для служащих», отметилась, повесила пальто в шкафчик и пошла к своему прилавку. На этаж я попала с небольшим опозданием, но свой приход отметила вовремя.

Старший по этажу — белый паренек, молодой, довольно приятный, скорчил мне страшную гримасу, видя, как я спешу к своему месту.

Понюхать тыльную сторону моей руки подходят не только пожилые белые дамы. Изредка появится какой-нибудь черный, а уж когда — или уж если — он появляется, намерения у него часто бывают более великодушные и всегда более определенные. Может быть, на взгляд черного, я и есть та самая беззащитная черная сестренка, которую надо спасти от участи шлюхи. И, должно быть, поэтому некоторые наши подходят совсем близко, чтобы заглянуть мне в глаза, чтобы услышать мой голос, спросить, как дела. И такие никогда не нюхают тыльную сторону моей руки; черный протягивает мне *свою*, и я брызгаю на нее духами, и он подносит тыльную сторону своей руки к носу. И не притворяется, будто пришел покупать духи. Правда, иногда покупает, но чаще всего нет. Иногда рука его, которую он отнял от носа,

тайком сжимается в кулак, и с этой молитвой, с этим приветствием он уходит. А белые поднесут твою руку к носу и подержат ее там. Весь тот день я смотрела на людей, и какая-то мысль вертелась и вертелась у меня в голове. В конце дня за мной зашла Эрнестина. Она сказала, что миссис Роджерс нашли в Пуэрто-Рико в городе Сантурсе и кому-то из нас придется съездить туда.

— С Хэйуордом?

— Нет. Хэйуорду нужно быть на месте и вести переговоры с Беллом и с окружным прокурором. Есть много причин, по которым, сама понимаешь, Хэйуорду нельзя поехать. Его обвинят в том, что он запугал свидетелей.

— Да *они* же сами этим занимаются!

— Тиш...— Мы шли по Восьмой авеню к площади Колумба.— Чтобы доказать это, у нас уйдет столько времени, что твой ребенок успеет достигнуть совершеннолетия.

— Как мы поедем, в метро или на автобусе?

— Мы сядем и посидим где-нибудь, переждем часы «пик». Нам с тобой все равно надо посоветоваться, прежде чем говорить маме с папой. Они еще ничего не знают. Я им еще не сказала.

И я чувствую, как Эрнестина любит меня, и вспоминаю, что в конце концов она только на четыре года старше.

Миссис Виктория Роджерс, урожденная Виктория Мария Сан-Фелипе-Санчес, заявляет, что пятого марта между одиннадцатью и двенадцатью вечера в вестибюле ее дома на нее напал с преступными намерениями мужчина, известный ей теперь как Алонсо Хант, и этот Хант надругался над ней гнуснейшим образом, подвергнув ее мерзким половым извращениям.

Я никогда не видела ее, знаю только, что рожденный в Америке ирландец Гэри Роджерс, инженер, шесть лет назад уехал в Пуэрто-Рико и познакомился там с Викторией, которой шел тогда восемнадцатый год. Он женился на ней и привез ее на материк. Карьера его не удалась, дела шли все хуже. Он, по-видимому, озлобился. Но так или иначе, сделал ей троих детей и бросил семью. О человеке, с которым Виктория жила на Орчард-стрит и с которым, по-видимому, скрылась в Пуэрто-Рико, мне ничего не известно. Дети ее, по-видимому, живут где-то на материке, у родственников. Ее «дом» — на Орчард-стрит. Она живет там на четвертом этаже. Если нападение произошло в «вестибюле», значит, ее изнасиловали на первом этаже под лестницей. Могло произойти и на четвертом этаже, но вряд ли: там четыре квартиры на площадке. Орчард-стрит, если кто знает Нью-Йорк, очень далеко от Бэнк-стрит. Орчард-стрит в двух шагах от Ист-Ривер, а Бэнк-стрит практически на Гудзоне. Добежать с Орчард до Бэнк невозможно, особенно если за вами гонятся полисмены. И тем не менее Белл *клянется*, что он видел, как Фонни «убегал с места преступления». Это возможно только в том случае, если Белл сменился с дежурства, потому что он несет патрульную службу в Вест-, а не в Ист-Сайде. Но Белл взял Фонни из дому на Бэнк-стрит. И обвиняемый должен доказать неправильность и невероятность такого хода событий.

Мы с Эрнестиной сели в самой крайней кабинке бара — неподалеку от площади Колумба.

Эрнестинин способ обращения со мной и со всеми ее воспитанниками состоит в том, что она вдруг обрушит на тебя какую-нибудь тяжесть, а сама откинется назад и смотрит, как ты к такому удару от-

несешься. Ей надо знать это, чтобы определить свою собственную позицию и знать наверняка.

И может, оттого, что меня и днем и накануне ночью мучали всякие ужасы и нависшая надо мной необходимость торговать своим телом, я начала представлять себе реально насилие над миссис Роджерс.

Я спросила:

— А как ты считаешь, ее правда изнасиловали?

— Тиш. Я не знаю, что делается в твоей лихорадочно скрытной душе, но такие вопросы задавать не стоит. Нам сказано, деточка, что ее изнасиловали. Вот так-то.— Она помолчала и отпила из рюмки. Голос у нее был спокойный, но по насупленному лбу было видно, как напряженно она думает о тяжести нашего положения.— По-моему, миссис Роджерс на самом деле изнасиловали, но кто именно, она понятия не имеет и вряд ли узнает этого человека, если он попадется ей на улице. Можешь назвать это бредом, но мне так все представляется. Узнает она его, если только он *еще раз* ее изнасилует. Но тогда это уже будет не насилие, если ты понимаешь, о чем речь.

— Я все понимаю. Но почему она обвиняет Фонни?

— Потому что Фонни ей подсунули как насильника, а гораздо проще сказать «да», чем переживать заново весь этот кошмар. Так для нее дело кончено. Остается только суд. Но после суда будет уж совсем кончено. Для нее.

— А для нас — тоже?

— Нет.— Она пристально посмотрела на меня. Может, это чудно с моей стороны, но я искренне восхитилась ее мужеством.— Для нас это не кончено.— Она говорила сдержанно, не сводя с меня глаз.— С одной стороны, для нас это, возможно, никогда не кончится. Но сейчас мы не будем об этом говорить. Слушай! Нам надо очень серьезно все обдумать, но совсем с другой стороны. Вот почему мне захотелось зайти сюда и выпить с тобой по рюмке, прежде чем мы будем дома.

— Что ты хочешь этим сказать? — Я вдруг очень испугалась.

— Слушай! По-моему, нам не удастся уговорить ее, чтобы она изменила свои показания. Ты пойми! Она не лжет.

— Что ты хочешь этим сказать? Что ты несешь? Как так не лжет?

— Ты, может, сначала выслушаешь меня? Будь так добра! Она, конечно, *лжет*. Мы знаем, что она лжет. Но... она... не лжет. Ей кажется, что Фонни ее изнасиловал,— и все, и больше она не желает к этому возвращаться. Кончено дело. Для нее — кончено. Если ей отказываться от своих показаний, она сойдет с ума. Или станет другим человеком. А ты сама знаешь, как часто люди сходят с ума и часто ли они меняются.

— Так как же нам быть?

— Надо опровергнуть обвинение. Требовать, чтобы они доказали вину Фонни,— бессмысленно, потому что для них обвинение, хотя судом и не подтвержденное, само по себе уже доказательство, и так его и расценят эти болваны, которые заседают на скамье присяжных. Вот они-то лгут, и мы знаем, что они лгут. Но им самим это неизвестно.

Я почему-то вспомнила, как кто-то когда-то — может быть, Фонни — сказал мне: «Дурак никогда не признается, что он дурак».

— Мы не сможем опровергнуть обвинение. Дэниел в тюрьме.

— Да, но Хэйуорд завтра с ним встретится.

— Это ничего не даст. Вот увидишь — Дэниел откажется от своих показаний.

— Может, и откажется. А может, и нет. Но я о другом думаю.

Вот так мы, две сестры, сидели в этом грязном баре и старались судить здраво.

— Предположим, случится все самое худшее. Миссис Роджерс не изменит своих показаний. Предположим, Дэниел от своих откажется. Кто же тогда остается — полисмен Белл?

— Да. Ну и что?

— А у меня есть на него материальчик. Я могу доказать, что два года назад он убил двенадцатилетнего черного мальчика в Бруклине. Потому его и перевели в Манхэттен. Мать убитого я знаю. И знаю жену Белла, которая его ненавидит.

— Жене нельзя выступать с показаниями против мужа.

— А ей выступать не придется. Пусть только присутствует на процессе и ест его глазами.

— Не верю, что это нам поможет... Нет, не верю.

— Чувствую, что не веришь. И ты, наверно, права. Но если ждать самого худшего, а этого всегда приходится ждать, то нам надо внушить сомнение в точности показаний единственного свидетеля со стороны обвинения.

— Эрнестина,— сказала я.— Ты размечталась.

— Вовсе нет. Я веду азартную игру. Если мне удастся привести в зал суда этих женщин — одну белую и одну черную — и если Хэйуорд поведет дело с умом, тогда мы разобьем вдребезги обвинителей на перекрестном допросе. Не забывай, Тиш, ведь у них все сфабриковано. Если б Фонни был белый, не стали бы и дела заводить.

Ну что ж, я понимаю, куда она гнет. Я знаю, из чего она исходит. Это дальний прицел. Но в нашем положении только дальние прицелы и идут в счет. Ничего другого у нас в запасе нет. Вот такие-то дела. И очень возможно, что, если б мы считали такой ход возможным, ничто не помешало бы нам сидеть здесь и спокойно-преспокойно обсуждать, каким способом снести голову Беллу. И добившись своего, мы пожали бы плечами и выпили бы еще по рюмке. Вот такие-то дела. Только правды никогда не узнаешь.

— Ну, ладно. А как с Пуэрто-Рико?

— Вот это я тоже хотела с тобой обсудить. До того, как мы поговорим с папой и с мамой. Сама рассуди: тебе ехать нельзя. Ты должна быть здесь. Хотя бы потому, что без тебя Фонни ударится в панику. Мне, как ни верти, тоже нельзя. Я должна подкладывать взрывчатку Хэйуорду под зад. Мужчинам там явно делать нечего. Папа поехать не сможет. Фрэнк и подавно. Остается — мама.

— Мама?

— Да.

— Она не захочет туда поехать.

— Правильно. И самолетов мама не переносит. Но она хочет вызволить из тюрьмы отца твоего ребенка. Ехать в Пуэрто-Рико ей, конечно, неохота. Но она поедет.

— А что она там сделать-то сможет?

— То сделает, чего не сделать никакому следователю. Прошибет как-нибудь миссис Роджерс. А может, и не прошибет. Но если она свое дело выполнит, тогда мы в выигрыше. А если нет... Что ж, потеря невелика. Но по крайней мере мы будем знать, что сделали все, что могли.

Я смотрю на ее умный лоб. Ладно.

— А как быть с Дэниелом?

— Я тебе уже говорила. Завтра Хэйуорд с ним увидится. А может, и сегодня. Вечером он нам позвонит.

Я откидываюсь на спинку стула.

— Дерьмо дело.

— Да. Мы в нем сидим по уши.

И обе замолкаем. Я только сейчас слышу, какой шум стоит в баре. И оглядываюсь назад. Да, заведение ужасное, и здешняя публика, наверно, считает Эрнестину и меня утомленными работой шлюхами, или лесбийской парочкой, или и тем и другим одновременно. Ну и пусть. Мы сидим по уши в дерьме, как бы хуже не было. Да, будет и хуже и... Вдруг что-то неуловимое, как шепот среди шума и гама, как легкая, но вполне осязаемая паутина, ударяет меня под ребра, оглушив и ошеломив мое сердце... Да, будет и хуже. Но этот легкий стук, этот удар, этот сигнал оповещает меня: то, что может стать хуже, незаметно переменится к лучшему. Да, будет хуже. Но малыш, впервые шевельнувшийся за этой непостижимой пеленой вод, дает знать о себе и посягает на меня. Он говорит мне в эту секунду, что то, что может стать хуже, незаметно переменится к лучшему, а то, что может стать лучше, незаметно переменится к худшему. Но пока все зависит от меня. Без моей помощи малыш не придет к нам. И если не так давно я как-то знала это, теперь это же знает и ребенок, и мой ребенок говорит мне, что все, вероятно, пойдет хуже, но лишь только он покинет эти непостижимые воды, то, что стало хуже, может перемениться к лучшему. Пока же — теперь ждать уже недолго — он будет покоиться в водах и готовить себя к перевоплощению. И мне тоже надо готовиться к этому.

Я сказала:

— Хорошо. Я ничего не боюсь.

И Эрнестина улыбнулась и сказала:

— Так давай будем действовать.

Как мы узнали потом, Джозеф и Фрэнк тоже сидели в баре и вот что произошло между ними:

Джозеф имеет некоторое преимущество перед Фрэнком, хотя он только сейчас начинает сознавать или, вернее, догадываться, что оно существует. У Джозефа нет сыновей. Ему всегда хотелось иметь сына. Эрнестине это обошлось гораздо дороже, чем мне, потому что к тому времени, как я появилась на свет, он с этим примирился. Будь у него сыновья, они, может, давно бы угодили за решетку или даже на тот свет. И, сидя в кабинке бара на Ленокс-авеню, оба они, и Джозеф и Фрэнк, знают: чудо, что дочери Джозефа не вышли на панель! Оба они знают гораздо больше, чем им хотелось бы знать, и, уж конечно, слишком много о том, какие беды постигли женщин в доме Фрэнка, беды, о которых не поговоришь друг с другом.

И Фрэнк опускает глаза, сжимая обеими руками свой стакан,— у него ведь сын. И Джозеф потягивает пиво и не сводит с него глаз. Этот сын теперь и *его* сын, а значит, Фрэнк ему брат.

Оба они уже немолоды, обоим под пятьдесят, у обоих лютая беда.

Но по их виду этого не скажешь. Джозеф гораздо темнее Фрэнка — у него черные, глубоко посаженные, с чуть нависшими веками глаза, взгляд спокойно-строгий. Высокий лоб, на котором слева бьется жилка, лоб такой высокий, что при взгляде на него вспоминаются кафедральные соборы. Губы у Джозефа всегда чуть кривятся. Только те, кто хорошо знает его, только те, кто его любит, разбираются, что эта извилинка предвещает смех, гнев или нежность. Разгадка таится в пульсирующей жилке на лбу. Извилина губ почти не меняется — меняется взгляд, и, когда Джозеф весел, когда он смеется, происходит чудо. Тогда он, уже седеющий, выглядит — вот честное слово! — лет на тринадцать. Я как-то подумала: «Хорошо, что мы с ним не встретились, когда он был молодой», а потом спохватилась: «Ты же его дочь»,— и вся, точно окаменев, подумала: «Ой-ой!»

Фрэнк худее и не такой темный. Моего отца вряд ли можно назвать красавцем, а Фрэнк вполне заслуживает такого отзыва. Я не собираюсь принижать красоту Фрэнка, сказав, что его лицо расплатилось и до сих пор за все расплачивается страшной ценой. Всегда приходится платить за то, как ты выглядишь в чьих-то глазах. А потом и сам начинаешь глядеть на себя не своими, а чужими глазами, и то, что время пишет на человеческом лице, есть результат такого противоречия. Фрэнк едва пережил это. Лоб у него испещрен морщинами, как ладонь,— прочесть их невозможно. Седеющие волосы все еще густы и крутыми завитками резко уходят вверх с мыска на лбу. Губы не такие толстые, не так пляшут, как у Джозефа, а плотно сжаты, точно ему хочется, чтобы их вовсе не было. Скулы широкие, а большие темные глаза чуть раскосые, как у Фонни. У Фонни глаза отцовские.

Джозеф, конечно, не видит всего этого так, как видит его дочь. Но он молча смотрит на Фрэнка и наконец заставляет Фрэнка поднять глаза.

— Что же мы будем делать? — спрашивает Фрэнк.

— Первое, что от нас требуется,— твердо говорит Джозеф,— это не корить друг друга и не корить самих себя. Если это у нас не получится, тогда, старик, мы парня не выручим, потому что не тем будем заняты. И нечего нам заводиться, старик. Ты, надеюсь, понимаешь, к чему я веду?

— Слушай, старик,— говорит Фрэнк с обычной своей улыбкой.— Как же нам раздобыть деньги?

— А у тебя они когда-нибудь водились? — спрашивает Джозеф.

Фрэнк поднимает на него глаза и ничего не говорит, только спрашивает взглядом.

Джозеф повторяет:

— У тебя когда-нибудь деньги водились?

Фрэнк наконец говорит:

— Нет.

— Чего же ты беспокоишься?

Фрэнк снова поднимает на него глаза.

— Ты как-то ухитрился своих вырастить? Ты их чем-то кормил? Если теперь будем ломать голову, где раздобыть денег, тогда пиши пропало — всех детей растеряем. Эти белые, чтобы им, гнидам, кол в задницу вставили, только того и хотят, чтобы ты трепыхался из-за этих денег. Вот она, их политика! Но если мы до сих пор прожили без денег, то и дальше проживем. Буду я себе голову ломать, как мне деньги раздобыть! У кого они есть, права на них не имеют. Они нас *обокрали*. Они всех обманывают, у всех крадут. Так вот я тоже могу красть. И грабить. Как ты думаешь, на что я вырастил своих дочерей? Пошевели мозгами.

Но Фрэнк — это не Джозеф. Он снова опускает глаза и глядит в свой стакан.

— Как же, по-твоему, дальше будет?

— Как сделаем, так и будет,— говорит Джозеф по-прежнему твердо.

— Это легко сказать,— говорит Фрэнк.

— Решимся, так сделаем,— говорит Джозеф.

Наступает долгое молчание, они не произносят ни слова. Проигрыватель и тот безмолвствует.

— Я,— говорит наконец Фрэнк,— я, пожалуй, никого в мире так не люблю, как Фонни. И знаешь, старик, меня совесть из-за него мучает, потому что он был такой славный, такой храбрый мальчуган — никого не боялся, разве только свою маму. Он свою маму не понимал.— Фрэнк замолкает.— Сам не знаю, как мне надо было с ним об-

ращаться. Я ведь не женщина. А есть такое, чему только женщина может научить ребенка. Я-то думал, она любит его. И про нас с ней одно время думал, что она меня любит.— Фрэнк цедит пиво из стакана и натужно улыбается.— Не знаю, был ли я ему когда-нибудь отцом — *настоящим* отцом, а сейчас он сидит за решеткой, ни в чем не виновный, и я даже понятия не имею, как мне его оттуда вызволить. Куда же такой отец годится!

— А, ладно! — говорит Джозеф.— Фонни считает, что годишься. Он тебя любит и уважает. Ты не забывай, что мне это лучше знать, чем тебе. Ты вот что скажи. Твой сынок стал отцом ребенка моей девочки. А ты что же? Будешь сидеть сиднем и причитать, что теперь уже ничего не поделаешь? У него вот-вот ребенок родится! Что же, старик, прикажешь вправлять тебе мозги? — Он говорит яростно, но спустя минуту улыбается.— Я понимаю.— Потом осторожно: — Мне все понятно. Но я знаю, где можно поживиться, и ты это знаешь, а у нас дети, и им надо помочь.— Джозеф приканчивает стакан.— Так вот, старик, допивай свое и пошли. Дел у нас с тобой невпроворот, а время не терпит.

Фрэнк доканчивает пиво и расправляет плечи.

— Правильно говоришь, дружище, давай действовать.

Суд над Фонни все переносят со дня на день. Как ни странно, это вселяет в меня веру в то, что Хэйуорд искренне заинтересован нашим делом. Вначале он, по-моему, не очень-то был им занят. Такое дело у него впервые. Это Эрнестина, действуя отчасти на основании опыта, но главным образом полагаясь на свое чутье, заставила Хэйуорда взяться за него. И взявшись, он сразу почувствовал, какой тут несет вонью, но теперь ему не оставалось ничего другого, как ворошить это дерьмо. Так, например, сразу стало ясно, что его заинтересованность в судьбе доверителя или самый факт, что он искренне интересуется им, сразу же ополчит против него судейских заправил. Он не ожидал этого и сначала растерялся, потом струхнул, потом рассвирепел. И быстро сообразил, что ему сулят либо кнут, либо пряник. От кнута отвертеться не удалось, но под конец он ясно дал понять, что и не подумает протягивать лапу за пряником. Его подвергли остракизму и даже заклеймили, как отступника. Это, увеличив опасность, грозившую Фонни, в то же время повысило ответственность Хэйуорда за судьбу доверителя. Его положения не облегчало то, что я в нем сомневалась, Эрнестина висела у него над душой, мама говорила с ним сдержанно, а для Джозефа он был всего лишь белый как белый, только с университетским образованием.

Сначала я, конечно, не верила ему, хотя меня нельзя назвать недоверчивой. И вообще, каждый из нас старался скрывать друг от друга свои страхи, и постепенно мы все больше и больше друг от друга зависели — выбора у нас не было. Постепенно я начинала понимать, что это дело послужит Хэйуорду к чести, не суля ему ни благодарности, ни общественного признания. Самое мерзкое, самое обычное преступление — изнасилование черным невежественной пуэрториканки. Чего же он икру мечет? И коллеги относились к нему презрительно и сторонились его. Это могло привести к другим осложнениям, и мы опасались, как бы Хэйуорд не стал жалеть себя или не ударился бы в донкихотство. Но Фонни был живым человеком, а чувство собственного достоинства не позволяло Хэйуорду ступить на такой путь.

Однако список дел, назначенных к слушанию, был заполнен — без малого тысячелетие понадобится, чтобы пропустить через суд всех, кто сидит в американских тюрьмах; впрочем, американцы народ оп-

тимистичный, и они надеются, что времени на это у них будет достаточно. Итак, список дел был заполнен, а благожелательные и хотя бы просто разумные судьи так же редки, как снежные бураны в тропиках. Нельзя было не считаться и с бесстыдной властью и оголтелой враждебностью канцелярии окружного прокурора. Таким образом, Хэйуорду приходилось как бы ходить по канату, всячески маневрируя, чтобы передать дело Фонни судье, которому можно довериться. А для этого адвокату надо обладать обаянием, терпением, деньгами и стальным хребтом.

Он добился свидания с Дэниелом, который совершенно пал духом. Ходатайствовать об его освобождении Хэйуорд не может, потому что Дэниел обвиняется в наркомании. До тех пор, пока Хэйуорд не станет защитником Дэниела, им не разрешат видеться. Он предлагает это Дэниелу, но тот напуган и увиливает от ответа. Хэйуорд подозревает, что Дэниел под уколом, и сомневается, можно ли выставить его на процессе в качестве свидетеля.

Вот такие-то дела. Мама начинает расставлять мои платья, и я хожу на работу в брюках и в куртке. Но теперь ясно, что работать мне уже недолго. Надо пользоваться каждой минутой и ходить к Фонни. Джозеф трудится сверхурочно и по две смены, так же как и Фрэнк. Эрнестина уже не может отдавать всю себя своим воспитанникам, потому что она поступила на неполный рабочий день секретаршей к одной очень богатой и эксцентричной молодой актрисе, друзей которой ей хочется припугнуть и использовать для нашего дела. Джозеф систематически и совершенно спокойно крадет у себя в порту, а Фрэнк — на фабрике готового платья, и оба продают краденое в Гарлеме или в Бруклине. Нам они об этом ничего не говорят, но мы и сами все знаем. Молчат они потому, что, если попадутся, нас нельзя будет притянуть за соучастие. Мы не можем пробиться сквозь их молчание, и даже пробовать нам нельзя. Каждый из них (а число таких людей растет ежечасно) готов на все — и кого-нибудь одного вокруг пальца обведет, и целый город и с радостью сядет за решетку, лишь бы вырвать свое потомство из пасти этого демократического ада.

Теперь Шерон надо готовиться к отъезду в Пуэрто-Рико, и Хэйуорд наставляет ее:

— Она не в самом Сантурсе, а немного подальше. Такие места прежде именовались пригородами, но теперь в них стало хуже, чем в наших трущобах. В Пуэрто-Рико, если не ошибаюсь, это называют фавеллой[1]. Я был в Пуэрто-Рико и не стану вам описывать эту фавеллу. И уверен, что, вернувшись оттуда, вы тоже воздержитесь от каких-либо описаний.

Хэйуорд смотрит на нее и отчужденно и пристально и протягивает ей что-то отпечатанное на машинке.

— Вот адрес. Но как только вы попадете туда, вам сразу же станет ясно, что понятие «адрес» не имеет к этому никакого отношения. Честнее было бы сказать: «Вот где-то здесь».

Шерон в обвисшем бежевом берете принимает у него листок и читает напечатанное.

— Телефона там нет,— говорит Хэйуорд,— да телефон вам меньше всего понадобится. Все равно что осветительные ракеты запускать. Но найти эту фавеллу нетрудно. Идите куда нос приведет.

Они смотрят друг на друга.

[1] Португальское слово, означающее трущобы.

— И вот еще что — это облегчит вам поиски,— говорит Хэйуорд, улыбаясь своей болезненной улыбкой.— Должен сказать, что мы не знаем точно, под какой фамилией она там живет. Ее девичья — Санчес, но это все равно что разыскивать какую-нибудь миссис Джонс или какого-нибудь мистера Смита. По мужу она Роджерс, но я уверен, что это у нее только в паспорте. Фамилия того, кто должен именоваться ее гражданским супругом... — Он делает паузу, сверяется с другой бумажкой и переводит взгляд на Шерон, потом на меня: — Пьетро Томазино Альварес.

И подает Шерон этот листок; Шерон изучает его.

— И вот что еще возьмите с собой,— говорит Хэйуорд.— Надеюсь, это вам поможет. Вот она как выглядит. Снимок сделан на прошлой неделе.

И он протягивает Шерон фотографию чуть больше паспортной.

Я ее никогда не видела. Я встаю и заглядываю Шерон через плечо. Она блондинка — а разве пуэрториканцы блондины? Она улыбается прямо в аппарат деланной улыбкой, но в глазах у нее все-таки есть что-то живое. Глаза и брови темные, темные плечи обнажены.

— Из ночного клуба? — спрашивает Шерон.

И:

— Да,— отвечает Хэйуорд. Она смотрит на него, он — на нее.

И:

— Она там работает? — спрашивает Шерон.

— Нет,— говорит Хэйуорд. — Там работает Пьетро.

Я продолжаю разглядывать через материнское плечо моего смертельного врага.

Мама поворачивает фотографию лицом вниз и кладет ее к себе на колени.

— А сколько лет этому Пьетро?

— Года... двадцать два,— говорит Хэйуорд.

И точь-в-точь как поется в песне: «Восстал господь! В раскатах бури! И потревожил душу нам!» В кабинете наступила тишина. Мама наклоняется, думая, как ей быть дальше.

— Двадцать два,— медленно говорит она.

— Да,— говорит Хэйуорд.— Как бы эта подробность не осложнила нам дела.

— Чего вы от меня ждете? — спрашивает Шерон.

— Помощи,— говорит Хэйуорд.

— Ну что ж,— говорит Шерон, помолчав, и открывает свою сумку. Потом открывает бумажник, аккуратно кладет туда обе записки, складывает и опускает бумажник в глубины сумки и защелкивает ее.— Тогда я завтра и выеду. Перед отъездом позвоню вам или попрошу кого-нибудь позвонить. Чтобы вы знали, где я.

Она встает, и Хэйуорд встает, и мы идем к двери.

— А у вас есть с собой фотография Фонни? — спрашивает Хэйуорд.

— У меня есть,— говорю я.

Открываю сумочку и достаю из нее свой бумажник. У меня, собственно, две фотографии — на одной мы с Фонни стоим, прислонившись к ограде перед домом на Бэнк-стрит. Рубашка на нем расстегнута до пупка, он обнимает меня одной рукой, и мы оба смеемся. На другой Фонни один сидит в комнате около проигрывателя, задумчивый, спокойный, и это любимая моя фотография.

Мама берет обе, передает Хэйуорду, и он разглядывает их. Потом она забирает фотографии назад.

— Это у тебя единственные? — спрашивает она.

— Да,— говорю я.

Она протягивает мне ту, где Фонни один. А ту, где мы с ним вдвоем, кладет в бумажник и снова опускает его на дно сумки.

— Эту надо при себе иметь,— говорит она.— В конце концов, она моя дочь и никто ее не изнасиловал.— Она пожимает руку Хэйуорду.— Берегись сглаза, сынок, авось старуха привезет домой добрые вести.

Она поворачивается к двери. Но Хэйуорд опять останавливает ее.

— То, что вы едете в Пуэрто-Рико, впервые за несколько недель вселяет в меня какую-то надежду. Но должен предупредить вас: канцелярия окружного прокурора все время сносится с семейством Хантов — то есть с матерью и с двумя его сестрами, а их позиция, по-видимому, такова, что Фонни всегда был беспутный и исправить его нельзя.

Хэйуорд замолкает и пристально смотрит на нас обеих.

— Так вот, если три почтенные черные женщины дадут показания или засвидетельствуют в прокуратуре, что их сын и брат всегда был опасен как существо антиобщественное, это будет для нас серьезным ударом.

Он снова делает паузу и поворачивается к окну.

— В сущности говоря, поскольку Галилео Сантини человек не глупый, он добьется большего эффекта, если не потребует от них характеристики Фонни, чтобы не подвергать их перекрестному допросу. Ему просто надо внушить присяжным, что эти почтенные богобоязненные женщины не помнят себя от стыда и убиты горем. А отца можно вообще отстранить как заведомого бездельника и пьяницу, подающего дурной пример сыну,— особенно если вспомнить, что он публично грозился проломить Сантини череп.

Он отворачивается от окна и внимательно смотрит на меня и на Шерон.

— Я, пожалуй, вызову вас и мистера Риверса, чтобы характеристику Фонни дали вы. Но видите, с чем нам приходится сталкиваться.

— Всегда лучше знать, чем не знать,— говорит Шерон.

Хэйуорд легонько похлопывает Шерон по плечу.

— Так что возвращайтесь с добрыми вестями.

А я думаю про себя: этими сестричками и их мамашей я сама займусь. Но вслух ничего не говорю, только прощаюсь с Хэйуордом:

— Спасибо, Хэйуорд. До свидания.

И Шерон говорит:

— Ладно. Поняла. До свидания.

И мы выходим в коридор и идем к лифту.

Я хорошо помню ту ночь, когда был зачат наш ребенок, потому что этой ночью закончился тот день, когда мы наконец-то подыскали себе мансарду. И на сей раз хозяин, по фамилии Леви, на самом деле согласился сдать нам ее, а не валял дурака. Это был веселый малый из Бронкса, кудрявый, кожа оливкового цвета, лет так тридцати трех, с большими, добрыми, будто под током, черными глазами. И он нас понял. Он понимал людей, которые любят друг друга. Мансарда была недалеко от Кэнел-стрит — поместительная и в довольно приличном состоянии. Два широких окна выходили на улицу, два задних — на огороженную крышу. Было место для Фонни, где он сможет работать, и если распахнуть все окна, то летом в жару не умрешь от духоты. Нам очень понравилась крыша, потому что на ней можно будет обедать и выпивать с гостями, а если захочется, так просто сидеть там вечерами обнявшись.

— Используйте ее вовсю! — сказал Леви.— Вытащите туда одеяла и устраивайтесь там спать. И делайте ребятишек. Так и меня тут сделали.— Он улыбнулся Фонни.

Больше всего мне запомнилось в этом Леви то, что ни я, ни Фонни не чувствовали при нем никакого стеснения. Мы рассмеялись.

— У вас должны быть чудесные детишки,— сказал он.— И уж поверьте мне, ребята, миру такие во как нужны!

Он спросил с нас только за месяц вперед, и через неделю я принесла ему деньги. А потом, когда с Фонни стряслась беда, Леви совершил удивительный и, с моей точки зрения, прекрасный поступок. Он позвонил мне и сказал, что я могу в любое время получить деньги обратно. И что никому, кроме нас, он свою мансарду сдавать не будет. Сказал:

— Никому не сдам. Вот сволочи! Пусть она нежилая стоит, пока твой муж не выйдет из тюрьмы. Ты только не думай, милая, будто я рисуюсь своей любовью к неграм.— И, оставив мне номер своего телефона, просил звонить ему, если вдруг понадобится его помощь.— Хочу, чтобы у вас детишки были. Я на этот счет чокнутый.

Леви показал и объяснил нам довольно-таки мудреную систему замков и ключей к ним. Мансарда была над третьим или четвертым этажом. Лестница туда вела крутая. Мансарда запиралась на двойные замки; он дал нам целую связку ключей от них. Кроме того, последний лестничный пролет упирался в дверь, отделявшую нас от остального здания.

— Слушай! — сказал Фонни. — А как нам быть, если пожар?

— Ой! — сказал Леви.— Вот забыл!

И он снова отпер обе двери, и мы вошли в мансарду. Он вывел нас на крышу и подвел к самому ее краю, к перилам. В дальнем конце, справа, перила прерывала узкая площадка. От площадки вниз вели железные ступеньки, и по этим ступенькам можно было спуститься во двор. А что делать во дворе, со всех сторон окруженном стенами, было неизвестно — настоящая ловушка! Но все-таки не придется прыгать вниз из горящего здания. Очутившись там, можно хотя бы надеяться, что тебя не похоронит заживо под объятыми огнем, обваливающимися стенами.

— Ну, ладно,— сказал Фонни, бережно поддерживая меня под локоть и помогая мне подняться назад, на крышу.— Теперь мне все ясно.— Мы снова прошли через сложную процедуру замыкания дверей и спустились на улицу.— Насчет соседей не беспокойтесь,— сказал Леви,— потому что после пяти-шести вечера здесь никого не бывает. Между вами и улицей только небольшие разоряющиеся мастерские и больше ничего.

Мы вышли на улицу, и он показал нам, как запирать и отпирать входную дверь.

— Понятно? — спросил он Фонни.

— Понятно,— сказал Фонни.

— Ну, пошли. Угощу вас молочным коктейлем.

На углу мы выпили каждый по коктейлю, и Леви попрощался с нами за руку и ушел, сказав, что ему надо поскорее домой к жене и ребятам — у него двое мальчишек, одному два, другому три с половиной года. Но на прощание он предостерег нас:

— Знаете что? Насчет соседей можете не беспокоиться. Но полисменов берегитесь. Это звери.

Страшно и непонятно, почему так устроено в жизни, что о предостережении вспоминаешь только задним числом — когда уже поздно!

Леви ушел, и мы с Фонни пошли, взявшись за руки, по широким, светлым, людным улицам к нашей берлоге в Гринич-Виллидже. Мы

болтали и болтали, смеялись и смеялись. Пересекли Хьюстон и вышли на Шестую авеню — авеню Двух Америк! — увешанную дурацкими флагами, которых мы не замечали. Я решила зайти в овощной магазин на Бликер-стрит купить помидоров. Мы пересекли авеню Двух Америк и пошли по Бликер к западу. Фонни шел, обняв меня за талию. Потом остановились у лотка с овощами. Я стала выбирать, что купить.

Фонни терпеть не может ходить по магазинам. Он сказал:

— Подожди меня минутку. Я пойду куплю сигарет.

И ушел за угол.

Я стала отбирать помидоры и, помню, напевала что-то себе под нос. Оглядываюсь, где тут весы и где продавец или продавщица, которые взвесят мою покупку и подсчитают, сколько это стоит.

Фонни правильно говорит, что мне не хватает сообразительности. Когда я почувствовала руку у себя на заду, то решила: это Фонни. Потом поняла, что Фонни никогда в жизни не тронул бы меня так на людях.

Я повернулась всем телом, держа в обеих руках шесть помидоров, и оказалась лицом к лицу с плюгавым, мерзким итальянским шпаненком.

— Помидорчик любит помидорчики, а такие вот я тоже не прочь попробовать,— сказал он, облизал себе губы и улыбнулся.

Две мысли пронеслись у меня в голове в одно и то же время — нет, три! Улица многолюдная. Фонни в любую минуту может вернуться. Швырнуть бы помидорами в лицо этому щенку! Но пока на нас еще не обратили внимания, и я не хотела, чтобы Фонни ввязывался в драку. По улице не спеша вышагивал белый полисмен.

Мне сразу представилось, что вот я, черная, а улица вся белая, и я повернулась и вошла в лавку, все еще держа помидоры в обеих руках. Увидела весы, положила помидоры на них и оглянулась, кто взвесит, кому заплатить, чтобы выйти из лавки до возвращения Фонни. Полисмен был теперь на другой стороне улицы, а итальянец вошел в лавку следом за мной.

— Эй, помидорчик! Помидорчики, они что надо!

Теперь на нас уже глазели. Я не знала, как мне быть, единственное, что я могла сделать,— это выйти из лавки до того, как Фонни появится из-за угла. Я шагнула к выходу, но мальчишка загородил мне дорогу. Я огляделась по сторонам в надежде, что кто-нибудь заступится за меня, но люди смотрели на нас и никто даже с места не двинулся. В отчаянии я решила позвать полисмена. Но стоило только мне сделать шаг, как мальчишка схватил меня за руку. Это был, наверно, уже глухой наркоман, но когда он схватил меня за руку, я дала ему пощечину и плюнула в лицо, и в эту минуту в лавку вошел Фонни.

Фонни вцепился мальчишке в волосы, сбил его с ног, поднял, ударил ногой в пах, выволок на тротуар и снова сбил с ног. Я закричала и ухватилась за Фонни изо всех своих сил, потому что полисмен, который стоял на дальнем углу от нас, уже бежал через улицу, а белый мальчишка весь в крови и в собственной блевотине валялся у тротуара. Я была уверена, что полисмен хочет убить Фонни, но он не убьет Фонни, если я загорожу его своим телом, и всей своей силой, всей своей любовью, своими молитвами, зная, что уж меня-то Фонни не собьет с ног, я прижалась затылком к его груди, сжала его руки своими руками и взглянула полисмену в лицо. Я сказала:

— Вон тот... пристал ко мне. Тут в магазине. Вот только что. Это все видели.

Никто не проговорил ни слова.

Полисмен оглядел тех, кто стоял рядом. Потом посмотрел на меня.

Потом на Фонни. Лица Фонни мне не было видно. Но я видела лицо полисмена, и я знала, что мне и шевельнуться нельзя и что если я смогу, то не дам шевельнуться и Фонни.

— А ты где пропадал,— с расстановкой проговорил полисмен,— пока все это,— его глаза обежали меня, как глаза того мальчишки,— пока все это происходило между вон тем мальцом и... — его глаза снова скользнули по мне,— и твоей девицей?

— Он был тут, за углом,— сказала я.— Покупал сигареты.— Я не хотела, чтобы Фонни заговорил. Я надеялась, что потом он простит мне это.

— Так и было, мальчик?

Я сказала:

— Он не мальчик, начальник.

Теперь полисмен посмотрел на меня, впервые по-настоящему посмотрел, и впервые по-настоящему посмотрел на Фонни.

Тем временем мальчишку подняли с земли.

— Ты где живешь? Здесь близко? — спросил у Фонни полисмен.

Я все еще прижималась затылком к груди Фонни, но руки свои он у меня высвободил.

— Да,— сказал Фонни.— На Бэнк-стрит.— И дал полисмену точный адрес.

Я знала, пройдет секунда, и Фонни оттолкнет меня.

— Мы тебя задержим,— сказал полисмен,— за нападение и за нанесение побоев.

Не знаю, что было бы дальше, если б не заговорила хозяйка лавки, итальянка.

— Нет, нет! — сказала она.— Я их обоих знаю. Они часто у меня покупают. Эта молодая женщина говорит правду. Я видела, они вместе пришли, и видела, как она выбирала помидоры, а ее молодой человек сказал, что он скоро вернется, и ушел. Я была занята, не могла сразу к ней подойти. Вон ее помидоры лежат на весах. А этот сопливый подонок действительно к ней приставал. И получил по заслугам. А вы сами что бы сделали, если б кто пристал к вашей жене? Да есть ли у вас жена-то? — В толпе засмеялись, и полисмен покраснел.— Я все видела и пойду в свидетели. И под присягой расскажу, как было дело.

Они с полисменом ели друг друга глазами.

— Интересно вы ведете свои дела,— сказал он и облизнул нижнюю губу.

— Не вам меня учить, как мне вести дела,— сказала женщина.— Я на этой улице давно живу, еще до того, как вы тут появились. Живу и буду жить, когда вас и след простынет. Заберите этого,— сказала она, показывая на мальчишку, который сидел на обочине тротуара в окружении своих дружков.— Заберите этого сопляка в Бельвю или на Райкерс-Айленд, а то швырните его в реку, ему не место среди людей. А меня не запугивайте, и баста!

Я только сейчас замечаю, что глаза у Белла голубые, а волосы, виднеющиеся из-под фуражки,— рыжие.

Он снова смотрит на меня, потом переводит взгляд на Фонни.

И снова облизывает губы.

Итальянка уходит в лавку, снимает мои помидоры с весов и кладет их в пакет.

— Ну что ж,— говорит Белл, не сводя глаз с Фонни.— Мы с тобой еще встретимся.

— Может, встретимся,— говорит Фонни,— а может, и нет.

— Не встретитесь,— говорит итальянка, выходя на улицу.— Если только я или они вас первые увидят.— Она поворачивает меня лицом к себе и сует мне в руки пакет с помидорами. Стоит она между мной

и Беллом. Глядит мне в глаза.— Твой муж молодец. Веди его домой. Подальше от этих шелудивых свиней.— Я смотрю на нее. Она касается рукой моего лица и говорит: — Я уж давно живу в Америке. Только не дай мне бог умереть здесь.

Она уходит в лавку. Фонни берет у меня помидоры и пристраивает пакет в сгибе локтя. Другую руку он продевает под мою, и мы переплетаем пальцы. И медленно идем к нашей берлоге.

— Тиш,— говорит Фонни, и говорит так спокойно, с пугающим меня спокойствием.

Я догадываюсь, что он хочет сказать.

— Да?

— Не надо защищать меня. Больше никогда этого не делай.

Я знаю, что не так мне надо ему отвечать.

— Но ты же меня защитил.

— Это,— говорит он все с тем же ужасающим спокойствием,— это совсем другое дело, Тиш.

И вдруг хватает пакет с помидорами и со всего размаху швыряет его об стену. Слава богу, стена глухая, слава богу, что уже начинает темнеть. Слава богу, помидоры шмякаются об стену, а не ударяются о нее со звоном.

Я знаю, о чем он. Я знаю, что он прав. Я знаю, что мне надо промолчать. Слава богу, что он не отпускает моей руки. Я иду потупившись и не вижу, что у меня под ногами. Хоть бы ему не было слышно, как я плачу.

Но ему слышно.

Он останавливается, поворачивает меня к себе и целует. Отстраняется, вглядывается мне в лицо и снова целует.

— Ты не думай, Тиш, я знаю, что ты любишь меня. Мы с тобой поладим, а? Ведь поладим?

Тогда я успокаиваюсь. Лицо у Фонни в слезах — его эти слезы или мои? Не знаю. Я целую их, эти наши слезы. Хочу что-то сказать. Он прижимает палец к моим губам. И чуть улыбается.

— Молчи. Не надо ничего говорить. Сейчас я поведу тебя обедать. В тот наш испанский ресторанчик — помнишь? Только сегодня придется в кредит.

Он улыбается, я улыбаюсь, и мы идем дальше.

— У нас ни гроша,— говорит Фонни Педросито, как только мы входим в ресторан.— Но мы здорово проголодались. А через несколько дней деньги у меня будут.

— Через несколько дней! — свирепо восклицает Педросито.— Все они так говорят! И мало того.— В изумлении хлопает себя по лбу.— Вам, наверно, хочется *сидя* пообедать?

— Да, конечно,— ухмыляясь, говорит Фонни.— Если ты посадишь нас куда-нибудь, это будет прекрасно.

— Неужто *за стол?* — И он таращится на Фонни, будто не веря своим глазам.

— Да... гм!.. Я не прочь бы и за стол.

— А-а! Но... Добрый вечер, сеньорита! — тут же говорит Педросито и улыбается мне.— Ладно! Но только ради сеньориты, так и знай,— сообщает он Фонни.— Ты же ее впроголодь держишь.— Он ведет нас в зал и усаживает за столик.— А теперь,— свирепо хмурясь,— подавай вам две порции «Маргериты»?

— Опять угадал! — говорит Фонни. И оба они смеются, и Педросито убегает.

Фонни берет мои руки в свои.

— Привет! — говорит он.

Я говорю:

— Привет!

— Ты не обижайся на меня за мои слова. Ты молодец, ты храбрая девчонка, и, кто знает, не будь тебя, мои мозги, может, были бы уже раздрызганы по подвалу нашего полицейского участка.

Он умолкает и закуривает сигарету. Я не спускаю с него глаз.

— Я тебя ни в чем не обвиняю. Иначе ты, наверно, не могла поступить. Но пойми и меня!

Он снова берет мои руки в свои.

— Мы живем среди свиней и убийц. Мне каждый раз бывает страшно, когда ты уходишь куда-нибудь. И может, я сам во всем виноват, потому что нельзя было оставлять тебя одну около этого ларька. Но нам так повезло с мансардой... я был так счастлив... ничего такого не ждал...

— Фонни, я сотни раз покупала овощи в этой лавке и никогда ничего подобного не было. Мне ведь надо заботиться о тебе... о нас обоих. Нельзя же, чтобы ты всюду за мной ходил. И при чем здесь ты! Какой-то паскудный мальчишка...

— Паскудный белый американец,— говорит Фонни.

— И все равно *ты* тут ни при чем.

Он улыбается мне.

— Нас держат на прицеле, детка. Тяжело об этом говорить, но я хочу, чтобы ты не забывала: меня могут разлучить с тобой. Пришьют какое-нибудь дело или тебя вынудят броситься мне на защиту — и разлучат нас. Ты понимаешь, о чем я?

— Да,— говорю я, помолчав.— Понимаю. Это все правда.

Возвращается Педросито с нашим заказом.

— У нас сегодня в меню новое фирменное блюдо,— объявляет он.— Самое что ни на есть испанское. Мы его на тех пробуем, кто считает Франко великим человеком.— Он в раздумье смотрит на Фонни.— Вы, пожалуй, не совсем подходите под эту категорию, так что вам без мышьяка приготовим. Без мышьяка оно не такое острое, но все равно вкусно, вам понравится. Вы верите, что я вас не отравлю? Да и глупо мне вас травить до того, как вы уплатите по вашему грандиозному счету. Мы же тогда по миру пойдем.— Он поворачивается ко мне.— Вы на меня полагаетесь, сеньорита? Заверяю вас, приготовлено будет с любовью.

— Ты смотри, Пит, не забывайся,— говорит Фонни.

— Ну и поганый же у тебя образ мыслей! Не заслужил ты такой красавицы.— И он снова убегает.

— Полисмен этот,— говорит Фонни.— Этот полисмен!

— Что полисмен? — И вдруг, сама не зная почему, я точно каменею — от страха.

— Он меня заметет,— говорит Фонни.

— Почему? Ты же ничего плохого не сделал. Ведь та итальянка сказала и обещала повторить под присягой, как все было.

— Вот потому он и постарается меня замести,— говорит Фонни.— Белый мужчина не любит, когда белая женщина говорит ему: вот ты, так тебя и так, свистишь тут, а черный правду режет, и убирайся отсюда знаешь куда.— Он усмехается.— Она, собственно, в этом смысле и выразилась. И при всем честном народе. Собачиться с ней ему не положено. Но он этого не забудет.

— Да ведь мы скоро переедем в другой район, в нашу мансарду,— говорю я.

— Верно,— говорит он и снова улыбается. Прибегает Педросито с фирменным блюдом по нашему заказу.

Когда двое любят друг друга, когда они любят по-настоящему, то все, что происходит между ними, становится как бы священным. По-

рой их будто относит друг от друга далеко-далеко. И я не знаю муки более горькой, не знаю пустоты более гулкой, чем *когда тебя с любимым разлучили.* Но сегодня, лишь только нашим обетам стала грозить неведомая опасность, лишь только мы оба, каждый по-своему, столкнулись с этим, близость между нами стала еще глубже. «Берегите друг друга,— сказал Джозеф. — И это не пустые слова».

После обеда, после кофе Педросито подал нам коньяку и ушел, оставив нас в почти опустевшем ресторане. Мы сидели с Фонни, потягивая коньяк, перебрасываясь словами, держась за руки,— вслушивались друг в друга. Потом допили коньяк. Фонни сказал:

— Пойдем?

— Да,— сказала я. Потому что мне хотелось быть наедине с ним, хотелось быть в его объятиях.

Он подписал счет — последний, подписанный им счет в этом ресторане. Мне так и не дали заплатить по нему — сказали, что он куда-то затерялся.

Мы попрощались с хозяином и, обнявшись, пошли домой.

Напротив нашего дома по другую сторону улицы стояла патрульная машина, и, когда Фонни открыл калитку и отпер нашу дверь, машина отъехала. Фонни улыбнулся и ничего не сказал. Я тоже ничего не сказала.

Ребенок был зачат в ту ночь. Я знаю это. Я знаю это по тому, как Фонни трогал меня, обнимал меня и как я обнимала его изо всех сил и плакала и стонала, чувствуя, как его жизнь, жизнь, жизнь сливается с моей.

Потом мы лежали тихо, неподвижно. Мы не могли шевельнуться, у нас не было сил. Лежали так близко друг к другу, точно у нас было одно, единое тело. Фонни ласкал меня, произносил мое имя, а потом уснул. Я лежала такая гордая! Я перешла на тот берег. Теперь мы стали едины.

Шерон прилетает в Пуэрто-Рико вечерним самолетом. Она точно подсчитала, сколько у нее денег, и, следовательно, точно знает, как быстро ей надо обернуться, потому что времени мало, время беспощадно, оно работает против нее.

Она сходит с самолета вместе с сотней других пассажиров и пересекает взлетное поле под сине-черным небом. Звезды здесь нависают низко, воздух ласково касается ее кожи. И это напоминает ей Бирмингем, в котором она так давно не была.

Она взяла с собой только маленький чемоданчик, так что ей не надо стоять в очереди за своим багажом. Хэйуорд забронировал ей номер в небольшой гостинице в Сан-Хуане, записав адрес на клочке бумаги.

И предупредил, что достать такси, вероятно, будет не так легко.

Но он, конечно, не мог подготовить Шерон к той поразительной неразберихе, которая царит в Сан-Хуанском аэропорту. И вот Шерон стоит, пытаясь понять, что тут происходит.

На ней, на моей матери, зеленое летнее платье и широкополая зеленая матерчатая панама, сумка висит через плечо, в руке чемоданчик; она разглядывает открывшуюся перед ней картину.

Первое ее впечатление — что все тут между собой родственники. И это впечатление создается не внешним обликом людей, не общим языком, а тем, как они разговаривают между собой. Тут много цветных разных оттенков, но в Сан-Хуане, во всяком случае в аэропорту, никому до этого дела нет. Кто ни откроет рот, все не говорят, а кричат криком — иначе тебя не услышат, а им всем обязательно нужно, чтобы их слышали. Невозможно понять, кто тут улетает, кто прише-

тел. Люди целыми семьями неделю за неделей живут в аэропорту со всем своим барахлом, сваленным тут же в кучу, хотя по наблюдениям Шерон горы этого барахла не так уж высоки. А ребятишкам аэропорт кажется еще одним, особенно интересным, местом для игр.

Задачи, стоящие перед Шерон, вполне конкретны и серьезны. Так как нельзя допустить, чтобы ее усилия пропали даром, она должна придать своей персоне значительность, а ключ к этому — соучастники. Люди видят то, что им хочется видеть, или, на худой конец, то, что вы им внушите. Разбираться, кто вы, что вы или зачем вы, им ни к чему.

Одна только Шерон знает, что она моя мать, одна только она знает, что ей нужно в Сан-Хуане, где ее никто не встретил. До того, как начнутся всякие домыслы по этому поводу, ей надо дать понять, что она приехала сюда ненадолго оттуда — из Северной Америки — и, к сожалению, не говорит по-испански.

Шерон подходит к справочному бюро, останавливается там и с несколько настоятельной улыбкой спрашивает одну из девиц за барьером:

— Вы говорите по-английски?

Желая показать, что она и в самом деле знает английский, девица поднимает на нее глаза, готовая помочь всем, чем только сможет.

Шерон протягивает ей адрес гостиницы. Девица читает его, потом смотрит на Шерон. Ее взгляд убеждает Шерон, что Хэйуорд отнесся к ней очень внимательно и позаботился о том, чтобы забронировать ей номер в гостинице — приличной и с почтенной репутацией.

— Простите, что беспокою вас,— говорит Шерон,— но я не говорю по-испански, а вылететь сюда мне пришлось неожиданно, и меня здесь никто не встретил.— Она делает паузу, ничего больше не объясняя.— Машину я водить не умею. Нельзя ли здесь взять какую-нибудь на прокат и чтобы с шофером, а если нет, тогда, может, вы скажете, как мне найти такси? — Шерон беспомощно поводит рукой в ту сторону, где кишит народ.— Сами видите!

Она улыбается, и девица тоже улыбается. Девица снова читает бумажку и, сощурившись, оглядывает зал аэропорта.

— Одну минутку, сеньора,— говорит она.

Снимает телефонную трубку с рычага, распахивает дверцу барьера, затворяет ее за собой и исчезает.

Появляется она очень быстро с юнцом лет восемнадцати.

— Вот шофер такси,— говорит девица.— Он вас отвезет, куда вам нужно.— Она читает адрес вслух и возвращает бумажку Шерон. И улыбается.— Надеюсь, вы останетесь всем довольны, сеньора. Если вам что-нибудь понадобится... вы разрешите? — И протягивает Шерон свою визитную карточку.— Если что-нибудь понадобится, прошу вас, не стесняйтесь обратиться ко мне.

— Спасибо,— говорит Шерон.— Большое вам спасибо. Вы просто замечательная!

— Какие пустяки! Хайме,— начальственным тоном говорит она.— Возьми чемодан этой леди.

Хайме так и делает, и Шерон прощается с ней и уходит следом за Хайме.

Шерон думает: «Один в мою пользу», и ей становится страшно.

Но решение надо принимать быстро. По дороге в город она думает, что надо поладить с Хайме, раз уж он ей попался, и положиться на него во всем или сделать вид, будто полагаешься. Хайме знает город и хорошо ведет машину. Правда, он ужасающе молод. Но это может даже оказаться плюсом. Был бы постарше, поопытнее, пожалуй, начал бы артачиться, спорить. Она решает, что прежде всего ей надо

произвести разведку в ночном клубе, повидать Пьетро, а может, даже и Викторию, не вступая с ними в разговоры. Но одинокой женщине, что черной, что белой, войти в ночной клуб без провожатого не так-то просто. Кроме того, кто его знает, этот ночной клуб, может, там и публичный дом. Единственное, что ей остается, это разыгрывать из себя наивную американскую туристку. Но она черная, а это Пуэрто-Рико.

Только она одна знает, что она моя мать и скоро станет бабушкой; только она одна знает, что ей уже за сорок; только она одна знает, что́ ее сюда привело.

Такси подъезжает к гостинице, и она дает Хайме на чай. Потом, когда он вносит ее чемодан в вестибюль, она спохватывается и смотрит на часы.

— Ах, боже мой! Ты не подождешь меня минутку, пока я не зарегистрируюсь? Вот не думала, что так поздно! Мне надо встретиться с одним человеком. Я ненадолго. Коридорный отнесет мой чемодан в номер. Ну как, подождешь?

Цвет лица у Хайме сероватый, глаза блестящие, а улыбка хмурая. Эта странная североамериканская леди очень заинтересовала его — заинтересовала потому, что хотя он знает по собственному, увы, печальному опыту, что у нее, наверно, какие-нибудь неприятности, а уж тайна-то наверняка есть, все-таки ничего дурного она с ним не сделает. Эта леди почему-то нуждается в нем, вернее, в его такси, но почему — это ее дело. Он не знает, что ему это известно, такая мысль еще не проникла в его мозг, но он знает, что это мать. Мать есть и у него. Мать он всегда узнает. И опять же, сам не зная, что знает: сегодня вечером он ей понадобится. Его учтивость так же подлинна, как и ее беда. И он с достоинством говорит, что, конечно, отвезет сеньору, куда она пожелает, и будет ждать ее там, сколько ей угодно.

Шерон немножко обманывает Хайме. Она регистрируется у портье, поднимается наверх в лифте вместе с коридорным и дает ему на чай. Она не может решить, идти ли ей в шляпе или без шляпы. Вопрос этот весьма прост и в то же время весьма серьезен. Такие ей никогда не приходилось решать. Дело в том, что она выглядит моложе своих лет. Она снимает шляпу. Снова надевает. Как она в шляпе — моложе или старше? Сколько ей лет (сколько бы ни было), на столько она и выглядит, но это дома, потому что там все знают, какого она возраста. И выглядит она так потому, что играет свою всегдашнюю роль. Но сейчас, в чужом городе, впервые за двадцать лет ей надо войти в ночной клуб одной. Она надевает шляпу. Снимает. Чувствует, что нервы у нее, того и гляди, сдадут, и швыряет шляпу на ночной столик, растирает себе лицо холодной водой, как некогда растирала и мне, надевает белую кофточку с высоким воротником, черную юбку и черные на высоких каблуках туфли, свирепо зачесывает волосы назад, закручивает их на затылке узлом и накидывает на голову и на плечи черную шаль. Все это делается для того, чтобы выглядеть пожилой дамой. А получается, она совсем юная. Шерон чертыхается. Но такси-то ждет. Она хватает свою сумочку, бежит к лифту, быстро проходит через вестибюль и садится в такси. Судя по блестящим глазам Хайме, она теперь настоящая туристка — янки или гринго.

Ночной клуб находится на бывших задворках, чтобы не сказать на болоте, где сейчас построен приютивший его огромный отель. Отель поистине безобразен, от этого здания разит такой кричащей безвкусицей, такой непроходимой тупостью и вопиющей наглостью, что при взгляде на него даже вульгарность кажется верхом навсегда утраченного изящества. Теперь Шерон по-настоящему напугана, руки у нее дрожат. Она закуривает сигарету.

— Мне надо найти тут одного человека,— говорит она Хайме.— Я не задержусь.

В эту минуту ей и в голову не приходит, что всей полиции Пуэрто-Рико не согнать сейчас Хайме с места. Шерон стала его собственностью. Он знает: с этой леди стряслась большая беда. И беда не какая-нибудь там заурядная, потому что она настоящая леди.

— Пожалуйста, сеньора,— с улыбкой говорит Хайме, вылезает из кабины и отворяет ей дверцу.

— Спасибо,— говорит Шерон и быстро идет к широко открытым, ослепительно-ярким дверям отеля. Швейцара не видно. Но внутри-то обязательно будет швейцар.

Теперь все надо решать на ходу. И ее, мою мать, которая мечтала когда-то стать певицей, поддерживает сейчас только сокровенное знание того, зачем она сюда приехала.

И вот она входит в вестибюль отеля, идет мимо портье, мимо доски с ключами, мимо ящичков с почтой, мимо кассы и мимо скучающих рассыльных (они почти все белые и уж очень бледные) — и никто не обращает на нее ни малейшего внимания. Она ступает с таким видом, будто знает, куда ей надо. Ночной клуб налево, лестница ведет вниз. Налево она и поворачивает и спускается по ступенькам.

Пока ее никто не остановил.

— Сеньорита!

Она никогда не видела фотографии Пьетро. Человек, который стоит перед ней, смуглый, держится любезно. Здесь полумрак (да и обстановка очень уж непривычная), так что ей трудно определить его возраст. Тон у этого человека вполне дружелюбный. Шерон улыбается.

— Добрый вечер. Надеюсь, я не ошиблась? Это... — И она, запинаясь, выговаривает название ночного клуба.

— Si, señorita[1].

— Так вот... я... я должна встретиться здесь с одним знакомым, но билет на самолет, которым надо было вылететь, достать не удалось, так что пришлось взять на более ранний. И я прилетела сюда немного раньше назначенного времени. Вы не посадите меня за столик где-нибудь в уголке?

— Пожалуйста. С удовольствием.— Он ведет ее по залу, полному посетителей.— Как фамилия вашего друга?

Больше ничего не придумаешь, надо идти ва-банк.

— Это, собственно, деловая встреча. Я жду здесь сеньора Альвареса. Я миссис Риверс. Из Нью-Йорка.

— Благодарю вас.— Он сажает ее за столик, спиной к стене.— Не желаете ли пока чего-нибудь выпить?

— Да. Спасибо. Порцию «Штопора».

Человек — кто он тут, неизвестно,— кланяется ей и уходит.

«Два в мою пользу!» — думает Шерон и совершенно успокаивается.

Это ночной клуб, и музыка здесь модерновая. Шерон вспоминает дни, проведенные с ее ударником. Вспоминает те дни, когда она была певицей. Воспоминания эти, как она потом очень живо описала мне, не вызывают у нее сожалений. Они с ударником разошлись в разные стороны — вот и все. Певицы из нее не получилось — вот и все. Но она помнит, как они оба и весь их ансамбль вечно старались сыграть что-нибудь на свой лад, и она знала, откуда они это черпали. Я, например, помню «Безоблачный день», помню, как услышала его в первый раз, сидя на коленях у матери, а она помнит «Господь ведет

[1] Да, сеньорита *(исп.)*.

меня, и мы идем — господь и я». Для нее эта песнь — весь Бирменгем: и отец ее, и мать, и кухни, и шахты. Эта песнь, может, не так уж ей и нравилась, но она осталась у нее в памяти. Эта песнь часть ее самой. И вот теперь до Шерон постепенно начинает доходить, что это та самая песнь, только на другие слова — если там вообще есть слова,— которую то ли подпевает, то ли подвывает молодежь на эстраде. Они понятия не имеют, что поют, и Шерон сомневается, знают ли они хотя бы самих себя. Шерон впервые за много лет очутилась одна. Но даже сейчас она одна только физически, как, например, во время хождений за покупками для дома. В магазинах ей надо слушать, смотреть, говорить то да, то нет, надо что-то выбирать. У нее семья, семью надо кормить. Не травить же своих, она их любит. А сейчас приходится слушать звуки, до сих пор ей неведомые. Приносить такое домой и ставить на стол нельзя, потому что этим добром никого из домашних не накормишь. «Она ведет меня, и мы идем»,— вопит недокормленный джазист, подхлестывая себя до электронного оргазма. Но Шерон слышит в этом именно отчаяние, а отчаяние — можно ли, нельзя ли принести его домой и поставить на обеденный стол — всегда надо уважать. Отчаяние способно сделать из человека чудовище, но способно и одарить благородством души. А эти ребята, что на эстраде, как они бьют на эффект! Шерон хлопает им, потому что она за них молится. Ей подают «Штопор», и она улыбается тому, кто подал, не видя его лица. Она отпивает из бокала. Настораживается: ребята сейчас начнут следующий номер, а перед ней еще одно лицо, на которое она смотрит, не видя его.

Ребята запевают во весь голос: «Нет с тобой мне наслажденья».

— Вы миссис Риверс? Вы ждете меня?

— Да... вероятно. Присядьте, пожалуйста.

Он садится напротив нее. Теперь она видит, какой он.

И снова — думая обо мне, о Фонни, о ребенке, проклиная себя за беспомощность, зная, что ее окружили, загнали в ловушку, спиной к стене, а он сидит спиной к дверям — она все-таки должна идти ва-банк.

— Мне сказали, что мистер Пьетро Альварес работает здесь. Вы и есть Пьетро Альварес?

Она видит, какой он. И в то же время ей не удается разглядеть его.

— Ну, допустим. А зачем он вам понадобился?

Шерон хочется закурить, но она боится, что у нее будет дрожать рука. Обеими руками она берет бокал со «Штопором» и медленно отпивает из него, благодаря бога, что на ней шаль, которую можно поправить и так и сяк, чтобы закрыть лицо. Если он ей виден, значит, и она ему видна. Минуту она молчит. Потом опускает бокал и берет сигарету.

— Можно мне закурить?

Он подносит ей зажигалку. Она снимает шаль с головы.

— Мне, собственно, надо повидать не мистера Альвареса, а миссис Викторию Роджерс. Я будущая теща человека, которого она обвинила в изнасиловании. Он сидит теперь в тюрьме в Нью-Йорке.

Она пристально смотрит на него. Он пристально смотрит на нее. Теперь ей видно, какой он.

— Разрешите мне сказать вам, сударыня: хорош у вас зятек!

— Разрешите и мне сказать вам: у меня дочка хороша!

Усики, которые он отрастил, чтобы выглядеть старше, чуть дергаются. Он проводит обеими руками по своим густым черным волосам.

— Слушайте! Девочка хватила горя. Полной мерой хватила. Оставьте ее в покое.

— Человек может погибнуть за то, в чем он не виновен. Что ж, и его так оставить?

— Откуда у вас такая уверенность, что это был не он?

— *Посмотрите на меня.*

Ребята на эстраде закончили свою программу и уходят, и сейчас же начинает играть радиола: Рэй Чарльз «Тебя любить не перестану».

— Зачем это мне смотреть на вас?

К ним подходит официант.

— Что прикажете подать, сеньор? — Шерон гасит сигарету и тут же закуривает другую.

— Запишите на меня. Мне — обычное. А даме повторите.

Официант уходит.

— Посмотрите на меня.

— Ну смотрю.

— Как, по-вашему, люблю я свою дочь?

— Откровенно говоря, трудно поверить, что у вас взрослая дочь.

— Я скоро стану бабушкой.

— Это?..

— Да.

Он молод, очень, очень молод и в то же время очень стар. Но по-другому, чем она ожидала. Она думала, что его состарила развращенность. А он постарел от горя. Она смотрит в лицо страданию.

— Неужели вы думаете, что я отдала бы дочь за насильника?

— Вы могли не знать этого.

— Посмотрите на меня еще раз.

И он смотрит. Но толку от этого мало.

— Слушайте! Меня там не было. Но Виктория клянется, что это он. И прошла она через такое, дорогая моя, через такую грязь, что хватит с нее, довольно! Извините меня, сударыня, но мне совершенно безразлично, что станет с вашей дочерью.— Пауза.— Она ждет ребенка?

— Да.

— Чего же вы от меня хотите? Оставьте нас в покое. Нам больше ничего не нужно — только чтобы нас оставили в покое.

Шерон молчит.

— Слушайте! Я не американец. У вас там полно всяких адвокатов и прочих, почему же вы меня донимаете? Зачем мне все это дерьмо?.. Простите... Да что я такое? Я индеец, итальяшка, испанчик, ниггер — любая кличка подойдет. У меня здесь небольшое дело и у меня Виктория. Я, сударыня, не хочу, чтобы она еще раз прошла через все это дерьмо... простите, сударыня... Нет, я ничем не могу вам помочь.

Он порывается встать: ему не хочется плакать при ней. Шерон удерживает его за руку. Он садится, прикрыв лицо ладонью.

Шерон вынимает свой бумажник.

— Пьетро, можно мне вас так называть, ведь я гожусь вам в матери. Мой зять ваш ровесник.

Он подпирает голову рукой и смотрит на Шерон.

Она протягивает ему фотографию — ту, где я и Фонни.

— Вот, посмотрите.

Он не хочет смотреть, но все-таки смотрит.

— Вы могли бы изнасиловать женщину?

Он переводит на нее взгляд.

— Отвечайте мне. Могли бы?

Темные глаза на застывшем лице смотрят в глаза моей матери и словно дают электрическую вспышку, зажигается огонь во тьме далеких гор. Он слышал ее вопрос.

— Могли бы?

— Нет.

— Вы думаете, что я приехала сюда, чтобы причинить вам боль?

— Нет.

— Вы думаете, я лгу?

— Нет.

— Вы думаете, я сумасшедшая? Правда, мы все немного сходим с ума. Но я, по-вашему, совсем уж свихнулась?

— Нет.

— Тогда возьмите эту фотографию домой, покажите ее Виктории и попросите ее, пусть она подумает обо всем этом, пусть разглядит ее как следует. Обнимите свою Викторию. И покрепче. Я сама женщина. Я знаю, что ее изнасиловали, я знаю... знаю, что знают женщины. Но я *знаю*, что Алонсо не насиловал ее. Я говорю это вам, потому что вы знаете то, что знает каждый мужчина. *Обнимите ее покрепче.*— С минуту она пристально смотрит на него; он смотрит на нее.— И, пожалуйста, позвоните мне завтра.— Она говорит ему название гостиницы и дает номер телефона. Он все записывает.— Так вы позвоните?

Он устремляет на нее недружелюбный, холодный взгляд. Смотрит на номер телефона. Смотрит на фотографию.

И отшвыривает от себя и то, и другое.

— Нет,— говорит он, встает и уходит.

Шерон остается сидеть за столиком. Она слушает музыку. Смотрит на танцующих. Она заставляет себя допить вторую, непрошеную порцию «Штопора». Ей не верится, что то, что происходит, происходит на самом деле. Но это так. Она закуривает. Теперь она осознает не только цвет своей кожи, но и то, что причина ее весьма двусмысленного появления здесь, на глазах у стольких свидетелей, теперь совершенно ясна: двадцатидвухлетний юнец, ради которого она проделала такой длинный путь, только что бросил ее. Ей хочется плакать. Плакать и смеяться. Она подзывает официанта.

— Si?

— Сколько я должна?

Вид у официанта озадаченный.

— Ничего, сеньора. Все за счет сеньора Альвареса.

Она не видит в его глазах ни жалости, ни презрения. Такой удар ей трудно перенести, и на глазах у нее выступают слезы. Чтобы скрыть их, она поникает головой и оправляет на себе шаль. Официант уходит. Шерон оставляет на столике пять долларов. Она идет к выходу. Любезный смуглый человек распахивает перед ней дверь.

— Благодарю вас, сеньора. Спокойной ночи. Ваше такси ждет вас. Пожалуйста, заходите к нам.

Она проходит через вестибюль. Хайме стоит, привалившись к машине. При виде ее он светлеет лицом и открывает ей дверцу.

— Когда мне подавать завтра? — спрашивает он.

— К девяти — не слишком рано?

— Да нет! — Он смеется.— Я в шестом часу встаю.

Машина трогает с места.

— Прекрасно! — говорит Шерон, покачивая ногой и думая, как ей быть дальше.

А ребенок начинает толкать меня и будить по ночам. Теперь, когда мама в Пуэрто-Рико, за мной ухаживают Эрнестина и Джозеф. Бросать работу я не решаюсь, потому что нам нужны деньги. А это значит, что мне часто приходится пропускать свидания с Фонни в шесть часов.

У меня такое чувство, что если я уйду с работы, то буду ходить на шестичасовые свидания всю жизнь. Я объясняю это Фонни, и он говорит, что понимает меня, и это так и есть. Но в шесть часов вечера такое понимание не помогает ему. Понимай не понимай, а ждать все равно будешь — ждать, когда выкрикнут твою фамилию, выведут из камеры, поведут вниз по лестнице. Если к тебе ходят посетители или хотя бы кто-нибудь один, но постоянно — значит, на воле ты кому-то не безразличен. А это помогает тебе перетерпеть ночь и прожить следующий день. Понимай или не понимай, уговаривай себя или не уговаривай, все равно, если никто к тебе не придет, для тебя это беда. А беда оборачивается здесь опасностью.

Однажды утром, в воскресенье, Джозеф объясняет мне все это без обиняков. В то утро я чувствовала себя совсем плохо, и возиться со мной пришлось Джозефу, потому что Эрнестина занята была какой-то срочной работой у своей актрисы. Я не понимаю, что это существо вытворяет там у меня внутри, но у него, кажется, выросли ножки. Иногда он затихает на несколько дней, может, спит, а вернее, замышляет что-то — замышляет, как ему выбраться отсюда. Потом поворачивается, взбалтывает воды, взбивает их, испытывая невыразимую скуку от пребывания в этой стихии и стараясь очутиться на свободе. Между нами — между ним и мною — начинается довольно резкий обмен репликами. Он — тук, и я роняю яйцо на пол, тук — и кофейник на столе вдруг оказывается вверх дном, тук — и от духов на тыльной стороне руки у меня появляется соленый привкус во рту, а свободная рука наливается такой тяжестью, опираясь о прилавок из толстого стекла, что только не раскалывает его надвое. Вот дьявольщина! Но спокойно! Я терплю, как могу, а он снова тукает, довольный таким неистовым откликом с моей стороны. Прошу тебя, лежи спокойно. И тогда, вымотавшись окончательно или же, как я подозреваю, просто пойдя на хитрость, он успокаивается, покрыв мой лоб потом, заставив меня отдать назад съеденный завтрак и сбегать — совершенно зря — в уборную четыре или пять раз. Но он хитер! Он наладился жить! Ведь ни разу не шевельнется, когда я еду в метро или перехожу запруженную машинами улицу. Он становится все тяжелее и тяжелее, его притязания на меня — час от часу безоговорочнее. Он, видимо, решил застолбить их и заявляет, что не столько он принадлежит мне, сколько я — ему. Правда, бывают и другие, более нежные толчки, обычно по ночам, которые означают: почему бы ему и не принадлежать мне, почему бы нам со временем не полюбить друг друга? И тут же круто меняет тактику, точно Мухаммед Али[1], и я опять как выжатый лимон.

Тело свое я теперь совершенно не узнаю, оно становится просто бесформенным. Я стараюсь не смотреть на себя — настолько я изменилась. Более того, бывает и так, что вечером снимешь что-нибудь, а наутро еле-еле напяливаешь на себя. Туфли на высоких каблуках я уже не могу носить, у меня нарушается в них чувство равновесия, так же как при слепоте на один глаз искажается зрительное восприятие. Ни груди, ни зада у меня никогда не было, а теперь я обзавожусь и тем и другим. В весе, как мне кажется, я прибавляю фунтов по триста в час. Страшно подумать, какая я буду к тому времени, когда то, что у меня внутри, наконец-то выкарабкается наружу. О господи! И все же это нечто, это существо и я, мы начинаем знакомиться друг с другом, и иной раз нам бывает так ладно вдвоем! Ему есть что сказать мне, и я учусь слушать его — не то не буду знать, как говорить с ним, когда он придет. И Фонни не простит мне этого. Ведь в конце концов

---

[1] Мухаммед Али (Кассиус Клей) — чемпион мира по боксу, участник борьбы за гражданское равноправие.

я хотела иметь ребенка больше, чем он. И где-то в глубине, по ту сторону и за пределами нашей беды, я счастлива. Я теперь почти не курю, это *он* так распорядился. У меня появилась страсть к какао и к пончикам, а коньяк — единственный из крепких напитков, который сохранил для меня хоть какой-то вкус. Поэтому Эрнестина время от времени преспокойно приносит бутылку-другую от своей актрисы. «Она, деточка, и не заметит пропажи. Там пьют — будь здоров!»

Этим воскресным утром Джозеф подает мне третью чашку какао взамен тех двух порций, которыми меня только что вырвало, и со строгим лицом садится за стол напротив меня.

— Ты хочешь родить ребенка или не хочешь?

Его взгляд и его голос пугают меня до полусмерти.

— Да,— говорю я.— Хочу.

— И ты любишь Фонни?

— Да. Люблю.

— Тогда ничего не поделаешь. Придется тебе бросить работу.

Я смотрю на него.

— Я знаю, ты беспокоишься из-за денег. Но позволь уж *мне* об этом беспокоиться. У меня опыта больше. И вообще, подумаешь, какие она миллионы получает! От твоей работы только и пользы, что ты выматываешь себя до конца, а Фонни по твоей милости с ума сходит. Будешь продолжать в том же духе, погибнет ребенок. Погибнет ребенок, и Фонни жить больше не захочет, и ты сама погибнешь, а за тобой и я, и все погибнет.— Он встает из-за стола и, подойдя к окну, стоит спиной ко мне. Потом снова поворачивается.— Я это серьезно, Тиш.

Я говорю:

— Да, я знаю.

Джозеф улыбается.

— Слушай, девочка. В этом мире нам надо заботиться друг о друге. Правильно? Так вот! Есть такое, что я могу сделать, а ты не можешь. Вот и все. Есть такое, что я могу сделать, а *ты нет*, и есть такое, что *ты* можешь, а я не могу, ну, скажем, родить за тебя. А я родил бы, если бы мог. На что только я ради тебя не пойду! Ты ведь знаешь это? — И он смотрит на меня, все еще улыбаясь.

— Да. Знаю.

— И есть такое, что *ты* можешь сделать для Фонни, чего я не могу. Правильно?

— Да.

Джозеф ходит взад и вперед по кухне.

— Молодежь, она — боже упаси! — не желает этого слушать. Вот и я тоже терпеть не мог в молодости. А ты ведь и вправду молодая. Девочка моя, я никого из вас не хочу терять, пусть меня всем бразильским кофе с ног до головы засыплют. Но ты ведь молодая! И Фонни еще вчера был мальчишкой. А с ним такая беда, какой и молодому не под силу вынести. А кроме тебя, Тиш, у Фонни никого нет. Никого у Фонни нет, кроме *тебя*. Я мужчина, и я знаю, о чем говорю. Ты меня понимаешь?

— Да.

Он снова садится за стол.

— Тебе, Тиш, надо видеться с *ним* каждый день. Каждый день. Ты заботься о Фонни. А мы об остальном позаботимся. Ну как, идет?

— Идет.

Он целует мои слезы.

— Рожай ребенка здорового, крепенького. А мы вызволим Фонни из тюрьмы. Я тебе это обещаю. А ты обещаешь?

Я улыбаюсь и говорю:

— Обещаю.

На следующее утро мне так плохо, что я все равно не могу идти на работу, и Эрнестина звонит в универмаг сообщить это. Она говорит, что в ближайшие дни она или я сама зайдем за тем, что мне там причитается.

Вот так все и получилось. А если начистоту, так мне безделье — нож острый. Но в конце концов оно заставило меня понять, что я цеплялась за свою работу только потому, что хотела забыть о нашей беде. Теперь я одна — с Фонни, с моим ребенком и сама с собой.

Но Джозеф был прав: Фонни сияет. В те дни, когда мне не надо быть у Хэйуорда, я вижусь с Фонни по два раза на дню. К шести часам я всегда у него. И Фонни знает, что я приду. Странное дело! Я начинаю постигать одну очень странную вещь. Мое присутствие, которое не имеет никакого практического значения и которое с практической точки зрения можно счесть даже предательством, приносит неизмеримо большую пользу, чем любая практическая помощь с моей стороны. Каждый день, глядя на мое лицо, он снова верит, что я его люблю, и — видит бог! — это так и есть, и я люблю его с каждым часом все больше и больше, все глубже и глубже. И дело не только в моей любви. Это значит, что другие тоже любят его, так любят, что раскрепостили меня и дали мне возможность бывать у него. Он не одинок; мы не одиноки. И если я ужасаюсь, что у меня уже нет того, что называется талией, то он приходит в восторг от этого:

— Ну и бочка! Целых две бочки! А там не двойня? А может, тройня? Ух ты черт! Мы еще с тобой войдем в историю!

Откинул назад голову, прижал к уху телефонную трубку, глядит мне в глаза, весело смеется.

И я понимаю, что рост ребенка связан у него с твердым решением выйти на свободу. Вот так-то. И мне совершенно не важно, стану ли я похожа на две бочки или нет. Ребенок хочет на волю. Фонни хочет на волю. И придет время — мы этого добьемся.

Хайме точен, и к половине десятого Шерон приезжает в фавеллу: Хайме знает здешние места и примерно дом, где живет эта женщина, но ее он как будто не знает — во всяком случае не уверен, что знает. Он все еще раскидывает умом по этому поводу, а Шерон уже вышла из машины.

Стараясь подготовить Шерон, Хэйуорд говорил ей, что описать фавеллу дело для него немыслимое, и он уверен, что и у нее это не получится после того, как она побывает там. И вот оно — это неописуемое зрелище. Голубое небо над головой и яркое солнце, вон там голубое море, здесь — горы отбросов. Не сразу догадаешься, что эти горы и есть фавелла. На помойке ютятся дома — человеческое жилье; есть такие, которые стоят на сваях, точно стараясь возвыситься над навозными кучами. Есть крытые рифленым железом. Есть с застекленными окнами. И всюду — дети.

Хайме шагает рядом с Шерон, гордясь своей ролью защитника, тревожась за исход их поездки сюда. Вонь здесь кошмарная, но дети — вот они лазают вверх и вниз по мусору, катаются с него, как с горки, кричат так, что в ушах звон стоит,— смуглые, полуголые ребятишки с блестящими глазами заливаются смехом и то и дело полощутся в море — им до этой вони дела нет.

— Вот, кажется, здесь,— говорит Хайме, и Шерон проходит под аркой в запущенный двор.

Дом, перед которым она стоит, когда-то, в прошлом наверно, был весьма внушительным особняком. Ничего внушительного в нем теперь

не осталось. Краска слой за слоем осыпается со стен, и солнце, которое высвечивает здесь каждое пятно, каждую трещину, не удостаивает комнаты своим присутствием. Окна закрыты ставнями — там, где ставни еще держатся на петлях. Звуки здесь оглушают сильнее, чем на репетиции несыгранного оркестра. Темой служат вопли ребятни всех возрастов, их громоподобное развитие в сверхъестественных гармониях голосов взрослых. И всюду двери — всюду их низкие, темные, квадратные проемы.

— Кажется, вот сюда,— тревожно говорит Хайме и показывает на одну из дверей.— По-моему, третий этаж. Вы говорите, она блондинка?

Шерон смотрит на него. Вид у Хайме предельно несчастный, он не хочет отпускать ее одну наверх.

Шерон с улыбкой касается его лица. Ей вдруг видится в нем что-то общее с Фонни, и она вспоминает, зачем приехала сюда.

— Подожди меня тут,— говорит Шерон.— И не беспокойся. Я ненадолго.

Она проходит в дверь и уверенно поднимается по лестнице, будто твердо знает, куда ей надо. На площадке третьего этажа четыре двери. Ни на одной нет фамилии жильцов. Одна дверь приоткрыта. Шерон стучится и, стуча, приоткрывает ее чуть больше.

— Миссис Роджерс?

На середину комнаты выходит совсем худенькая женщина с огромными темными глазами на темном лице — босая, в цветастом халате. Волосы у нее кудрявые и грязно-блондинистые, скулы выдаются, рот широкий, с тонкими губами. Выражение лица кроткое, нервное, приветливое. На шее поблескивает золотое распятие.

Она говорит:

— Сеньора?..— и замирает на месте, испуганно глядя на Шерон своими огромными глазами.

— Сеньора?..

Потому что Шерон молчит, стоя в дверях и пристально глядя на нее.

Язык женщины облизывает ее пересохшие губы. Она снова говорит:

— Сеньора?

На вид она гораздо моложе своих лет. Просто девочка. Она делает несколько шагов, попадает под другое освещение, и Шерон узнает ее.

Шерон прислоняется к дверному косяку, вдруг испугавшись, как бы ей не упасть.

— Миссис Роджерс?

Глаза у женщины сразу сузились, уголки губ поджимаются.

— Нет, сеньора, вы ошиблись. Я — Санчес.

Они смотрят друг на друга. Шерон по-прежнему не отрывается от дверного косяка.

Женщина подается к двери — видимо, с тем, чтобы затворить ее. Но отталкивать Шерон ей не хочется. Не хочется касаться ее. Она делает шаг вперед, останавливается, не сводя глаза с Шерон, трогает распятие на шее. Шерон не может уловить, что написано на лице у этой женщины. На нем такая же озабоченность, как и на лице Хайме. На нем и ужас, и скрытое под ужасом сочувствие.

Все еще не зная, можно ли ей хотя бы шевельнуться, Шерон все-таки чувствует: можно ли, нельзя ли, но лучше всего не менять своей позы у приоткрытой двери. Это дает ей какое-то преимущество.

— Прошу прощения, сеньора, но мне некогда. Я не знаю никакой миссис Роджерс. Может, где-нибудь здесь, поблизости?..— Она слабо

улыбается и переводит взгляд на открытое окно.— Но у нас здесь столько народу! Вам долго придется искать.

Она хмуро смотрит на Шерон. Шерон выпрямляется, и вот они смотрят друг другу в глаза — теперь каждая прикована к другой взглядом.

— У меня есть ваша фотография,— говорит Шерон.

Женщина молчит и старается показать, что ей смешно это слышать.

Шерон достает фотографию из сумки и держит ее в поднятой руке. Женщина идет к двери. Когда она совсем уже близко, Шерон отталкивает ее и входит в комнату.

— Сеньора!.. Я же сказала вам, что мне некогда.— Она оглядывает Шерон с головы до ног.— Я не североамериканская леди.

— Я тоже не леди. Я миссис Риверс.

— А я миссис Санчес. Что вам от меня нужно? Я вас не знаю.

— Я знаю, что вы меня *не знаете*. Может, даже никогда обо мне не слышали.

Что-то меняется в лице женщины, она поджимает губы, нащупывает в кармане халата сигареты, дерзко пускает дым Шерон в лицо. И все же: «Хотите закурить, сеньора?» — и протягивает ей пачку.

В глазах женщины мольба, Шерон дрожащей рукой берет сигарету, женщина дает ей прикурить. И кладет пачку обратно в карман.

— Я знаю, что вы меня не знаете. Но вам, должно быть, говорили обо мне.

Женщина бросает быстрый взгляд на фотографию в руке Шерон, смотрит на Шерон и молчит.

— Вчера вечером я виделась с Пьетро.

— Ах! Значит, это он дал вам мою фотографию?

Ей хотелось, чтобы эти слова прозвучали насмешливо, но она просчиталась. И все-таки ее вызывающий взгляд словно говорит: на свете столько всяких Пьетро!

— Нет. Мне дал ее адвокат Алонсо Ханта — того Ханта, которого вы обвиняете в изнасиловании.

— Не понимаю, о чем вы говорите!

— А по-моему, понимаете.

— Слушайте! Я против таких, как вы, ничего не имею. Но будьте добры, уйдите отсюда.

Она дрожит, того и гляди, расплачется. Стискивает свои темные руки, прижимает их к груди, будто удерживаясь, чтобы не дотронуться до Шерон.

— Я хочу выручить человека из тюрьмы и за этим и приехала сюда. Этот человек — будущий муж моей дочери. И он вас не насиловал.

Она вынимает из сумки фотографию, где я с Фонни.

— Вот посмотрите.

Женщина снова отворачивается от нее, садится на незастеленную кровать и смотрит в окно.

Шерон подходит к ней.

— Ну поглядите! Прошу вас! Эта девушка — моя дочь. Рядом с ней Алонсо Хант. Это он вас изнасиловал?

Женщина не желает смотреть ни на фотографию, ни на Шерон.

— Это он изнасиловал вас?

— Одно только могу сказать вам, леди, вас никто никогда не насиловал.

Она бросает мгновенный взгляд сначала на фотографию, потом на Шерон.

— Да, похож. Только тот не смеялся.

Проходит минута, и Шерон говорит:

— Можно я сяду?

Женщина молчит и только вздыхает и складывает руки на коленях. Шерон садится на кровать рядом с ней.

В доме звучат тысячи две радиоприемников, и все они передают одно: Б. Б. Кинга. Шерон не может сказать точно, что именно он поет, но она узнает ритм песни. Громче, настойчивее, жалобнее эта песня еще никогда не звучала. Не звучала так решительно, с такой угрозой. Ее ритм рождает отклик в человеческих голосах, его поддерживает море, то море, что блещет и блещет за пределом мусорных куч фавеллы.

Шерон сидит и слушает, слушает музыку, как никогда еще не слушала. Лицо женщины повернуто к окну. Шерон думает: что она там слышит, что она видит? Может быть, ей ничего и не видно и не слышно? Сидит, и в лице — упрямая, неподвижная беспомощность, худые руки безвольно брошены между колен, точно ей не раз уже случалось попадать в капканы.

Шерон смотрит на худую спину этой женщины, ее курчавые и темные у корней волосы начинают подсыхать. Ритм песни становится все напряженнее, слушать это почти невыносимо, ритм звучит в голове у Шерон, она чувствует, что вот-вот лишится разума.

Шерон, того и гляди, заплачет, сама не зная почему. Она встает с кровати и идет на звуки этой музыки. Смотрит на детей, переводит взгляд на море. Вон там подальше арка, вроде той, что привела ее сюда. Она отворачивается от окна и смотрит на женщину. Та сидит, уставившись себе под ноги.

— Вы здесь и родились? — спрашивает ее Шерон.

— Слушайте, леди! Прежде чем вы еще чего-нибудь наговорите, позвольте мне сказать вам, что вы ничего от меня не добьетесь. Я здесь не одна, я не беспомощная, имейте в виду, у меня есть друзья!

И она бросает на Шерон яростный, неуверенный, испуганный взгляд. Но не двигается с места.

— Я вам не угрожаю. Я только хочу выручить человека из тюрьмы.

Женщина поворачивается к Шерон спиной.

— Человека ни в чем не повинного,— добавляет Шерон.

— Леди, уверяю вас, вы не туда попали. Нам с вами не о чем говорить. И я ничем не могу вам помочь.

Шерон ищет другой подход к ней.

— Долго вы жили в Нью-Йорке?

Женщина швыряет окурок в окно.

— Слишком долго.

— И своих детей оставили там?

— Слушайте! Оставьте в покое моих детей!

В комнате становится жарко, Шерон снимает свой легкий жакет и снова садится на кровать.

— Я...— осторожно выговаривает она.— Я тоже мать.

Женщина смотрит на Шерон, стараясь отгородиться от нее презрительным взглядом. Но хотя чувство зависти ей знакомо, презирать она не умеет.

— Почему же вы вернулись сюда? — спрашивает ее Шерон.

Такого вопроса женщина не ожидала. Да и Шерон не собиралась задавать его.

И пока они смотрят друг на друга, этот вопрос мерцает между ними, как переливы света на волнах.

— Вы мать, вы сами так сказали,— наконец говорит женщина, встает и снова подходит к окну.

На этот раз Шерон идет следом за ней, и они вместе смотрят на море. От хмурого ответа женщины мысли у Шерон некоторым образом проясняются. В таком ответе она слышит мольбу и заговаривает с женщиной уже по-другому:

— Дочка! В этом мире с нами случаются страшные вещи, и мы все способны творить страшное.— Она пристально смотрит в окно и следит за Викторией.— Я была женщиной до того, как ты ею стала. Помни это. Но...— и, повернувшись, она привлекает Викторию к себе, трогает эти тонкие пальцы, костлявые руки и заговаривает с ней, будто со мной: — За ложь приходится расплачиваться.— И пристально смотрит на женщину. Женщина смотрит на нее.— Ты, дочка, посадила в тюрьму человека, которого и в глаза не видела. Ему двадцать два года, он хочет жениться на моей дочери, и...— глаза Виктории снова встречаются с ее глазами,— он черный.— Она отпускает Викторию и поворачивается к окну.— Как мы.

— Но я его *видела*.

— Ты видела его в полиции, когда их выстроили на опознание. Вот когда ты его увидела. В первый и *единственный* раз.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Я его еще мальчишкой знала.

— Хм! — хмыкает Виктория и порывается уйти. Слезы стоят в ее темных, полных горечи глазах.— Знали бы вы, сколько женщин вот так же мне говорили! Они не видели его, как *я* видела... когда он... *набросился на меня*. Таких они *никогда* не видят. Почтенные женщины вроде вас... они этого никогда не видят.— Слезы катятся у нее по лицу.— Вы, может, знали славного маленького мальчика, и он, может, стал милым человеком — когда бывал с *вами*. Но вы не видели, каким был тот, который... сделал... сделал со мной такое!

— Но ты твердо уверена,— спрашивает Шерон,— что видела его?

— Да. Видела. Меня привели туда и велели показать который, и я показала. Вот и все.

— Но это было... это случилось в темноте. А Алонсо Ханта ты увидела при свете.

— В подъезде горел огонь. Сколько надо, столько я и видела.

Шерон снова хватает ее за руки и дотрагивается до распятия.

— Дочка! Дочка! Господом богом тебя молю!

Виктория смотрит на руку, касающуюся ее распятия, и вскрикивает. Такого крика Шерон никогда в жизни не слышала. Она вырывается у Шерон из рук и бежит к двери, приоткрытой все это время. Она плачет и кричит:

— Уходите! Уходите отсюда!

Двери на площадке отворяются. В комнату заглядывают люди. Шерон слышит гудки такси: раз-два, раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Виктория выкрикивает что-то по-испански. Пожилая женщина — из тех, что стоят в дверях,— входит в комнату и обнимает Викторию. Виктория с плачем припадает к ее груди, и женщина, не взглянув на Шерон, уводит Викторию прочь. Но остальные смотрят на Шерон, и единственное, что Шерон слышит, это гудки, которые дает Хайме.

Они смотрят на нее, на то, как она одета. Ей нечего сказать этим людям. Она выходит на площадку. Легкий летний жакет придерживает локтем, в одной руке у нее сумка, в другой фотография, где я с Фонни. Она медленно проходит мимо этих людей и медленно, чувствуя на себе их взгляды, спускается по лестнице. На каждой площадке люди. Она выходит во двор, на улицу, Хайме распахивает перед ней дверцу такси. Она садится в машину, Хайме захлопывает дверцу и, не говоря ни слова, увозит ее.

Вечером она идет в клуб. Но швейцар говорит ей, что сеньора Альвареса сегодня вечером и не будет, что столиков для женщин без спутников у них нет и что вообще клуб переполнен.

Человеческий мозг, подобно некоторым предметам, собирает на себя пыль. Ни этот предмет, ни человеческий мозг не знают, почему что-то на них садится. Но раз уж село, так ничего не попишешь. Вот так и со мной — после того, что произошло у овощной лавки, Белл стал попадаться мне на каждом шагу.

Тогда я еще не знала, как его фамилия. Узнала только в тот вечер, когда сама его спросила. А номер его бляхи запомнился мне еще до того.

Он, конечно, часто встречался мне на улицах, но полисмены все одинаковые. А потом обнаружилось, что у него рыжие волосы и голубые глаза. Ему было за тридцать. В походке он подражал Джону Уэйну [1] — вышагивал с таким видом, будто шел наводить порядок во вселенной, и верил в свое поганое назначение. Злой, глупый гад с недоразвитым умишком. Такой же толстопузый, толстозадый, как и его герои, с пустыми, как у Джорджа Вашингтона, глазами. Но я начала понемногу разбираться в пустоте этих глаз. И то, в чем я разобралась, начинало пугать меня до смерти. Если посмотреть прямо в эту немигающую голубизну, в эту булавочную головку в самом центре глаза, там откроется бездонная злоба и холодная, ледяная порочность. Если тебе посчастливится, ты для этих глаз не существуешь. Если же этим глазам пришлось заметить тебя со своих высот, если ты существуешь в невероятно студеной зиме за этими глазами, ты — меченый, меченый, меченый, как человек в черном пальто, который ползет, бежит по снежному полю. Глаза негодуют на твое присутствие в этом пейзаже, портящее вид. Пройдет несколько минут, и черное пальто будет лежать неподвижно, становясь красным от крови, и снег будет красным, а глаза негодуют и на это, и им только раз моргнуть, как снег будет сыпать и сыпать и своей белизной покроет все. Я попадалась Беллу, иной раз когда шла с Фонни, а иногда и одна. Если я шла с Фонни, эти глаза смотрели прямо вперед, в холодеющее солнце. Если я шла одна, глаза вцеплялись в меня кошачьими коготками, проходились по мне, точно грабли. Такие смотрят прямо только в глаза своей поверженной жертвы. Других глаз они не замечают. То же самое бывало и с Фонни, когда он шел один. Глаза Белла обшаривали черное тело Фонни с откровенной жестокостью похоти и точно зажигали паяльную лампу, нацеливая ее прямо в пах ему. Когда их пути скрещивались и я была с Фонни, он смотрел на Белла в упор, Белл же смотрел прямо перед собой. *Я еще тебя прищучу, мальчик,* говорили глаза Белла. *Нет, не будет этого,* говорили глаза Фонни. *Я соберу все свое барахло и драпану отсюда.*

Мне было страшно, потому что я понимала: на улицах Гринич-Вилледжа мы совершенно одни. Никому до нас нет дела, а тех, кто нас любит, здесь нет.

Однажды Белл заговорил со мной. Я торопилась с работы к Фонни. Было уже поздно. Встреча с Беллом удивила меня, потому что я вышла из метро на углу 14-й улицы и Восьмой авеню, а он обычно дежурил в районе Бликер и Мак-Дугалл. Я отдувалась, пыхтела, таща сверток со всякой мелочью, которую украла у еврея для Фонни, и вдруг увидела, что Белл медленно идет мне навстречу. На минуту я испугалась, потому что в свертке были такие вещи, как клей, скобы,

[1] Знаменитый голливудский режиссер и киноактер.

акварельные краски, бумага, кнопки, гвозди, авторучки — все краденое. Но откуда ему было знать это, а я его уже так ненавидела, что мне было плевать на все. Я шла ему навстречу, он шел навстречу мне. Уже темнело. Время — семь, половина восьмого. Улицы были полны народу: мужчины, спешащие домой с работы, подпирающие фонарные столбы пьянчуги, шарахающиеся от них женщины, пуэрториканская молодежь, наркоманы. И среди них — Белл.

— Может, тебе помочь?

Я чуть не уронила сверток. Да если уж признаться, так чуть не напустила в штаны. Я посмотрела ему в глаза.

— Нет,— сказала я.— Спасибо, не надо.— И шагнула, но он стоял у меня на дороге.

Я снова посмотрела ему в глаза. Может, в самый первый раз посмотрела в глаза белому человеку. Я стояла на месте как вкопанная. Это было не то, что посмотреть в глаза любому. До сих пор я ни разу такого не испытывала, вот почему это ошеломило меня. Это был соблазн, сулящий насилие. Это было насилие, сулящее унижение и месть — месть с обеих сторон. Мне захотелось приникнуть к нему, войти в него, взорвать изнутри это лицо, изуродовать до неузнаваемости, уничтожить его — захотелось упасть вместе с ним в грязь. Тогда мы оба будем свободны, и тут мне показалось, что я уже слышу ликующее пение.

— Тебе ведь недалеко,— вполголоса сказал он.— Дай помогу.

Я все еще вижу, как мы стоим на этой куда-то спешащей, людной, сумеречной улице, и я со своим свертком и с сумочкой гляжу на него, он глядит на меня. Я вдруг почувствовала, что принадлежу ему, и отчаяние, такое безысходное, какого я никогда не знала, обожгло меня. Я смотрела ему в глаза, смотрела на его влажные, мальчишеские, отчаявшиеся губы.

— Я человек не плохой,— проговорил он.— Скажи это своему дружку. И не бойся меня.

— Я не боюсь,— сказала я.— Спасибо. Я ему передам.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— ответила я и побежала дальше.

Фонни я не стала об этом рассказывать. Не смогла. Вычеркнула это из памяти. Не знаю, заговаривал ли Белл когда-нибудь с Фонни. Не думаю, вряд ли.

В тот вечер, когда Фонни арестовали, у нас сидел Дэниел. Он был немного на взводе. Он плакал. И опять рассказывал о том, что было в тюрьме. Он видел, как девять мужчин изнасиловали мальчишку. И его тоже насиловали. Не бывать, не бывать, не бывать ему прежним Дэниелом. Фонни держал его за плечи, держал до тех пор, пока Дэниел не свалился на пол. Я пошла заваривать кофе.

И тут в дверь к нам постучали.

Часть вторая

Сион

Фонни работает по дереву. Мягкий темный обрубок стоит у него на верстаке. Он решил сделать мой портрет в дереве. Стена покрыта его набросками. Меня рядом с ним нет.

Инструменты лежат у него на верстаке. Он в ужасе ходит вокруг этого обрубка. Ему не хочется до него дотрагиваться. А ведь надо. Но ему не хочется его осквернять. Он стоит и, чуть не плача, смо-

трит, смотрит на дерево. Ему надо, чтобы оно заговорило; он ждет, когда оно заговорит. Пока не заговорит, он и руки не сможет поднять. Я заключена где-то в молчании этого обрубка, так же как и он, Фонни.

Он берет стамеску, кладет ее обратно. Закуривает сигарету, садится на табуретку, смотрит на дерево, опять берет стамеску.

Он кладет ее обратно на верстак, идет на кухню налить себе пива, возвращается с пивом, снова садится на табуретку, пристально смотрит на дерево. Дерево пристально смотрит на него.

— Ах ты сучья душа! — говорит Фонни.

Он снова берет стамеску и подходит к насторожившемуся обрубку. Легонько трогает его рукой, ласкает его. Прислушивается. Как бы поддразнивая, касается его стамеской. Стамеска начинает свою работу. Фонни работает.

И просыпается.

Он в одиночке на верхнем этаже тюрьмы. Это предварилка. Скоро его переведут вниз, в общую камеру, где будут еще люди. В углу одиночки унитаз. От него несет.

И от Фонни тоже несет.

Он зевает, закидывает руки за голову и с яростной силой поворачивается на койке. Он слушает. Который час, неизвестно, хотя это не имеет никакого значения. Часы похожи один на другой, дни похожи один на другой. Он смотрит на свои башмаки, они стоят на полу у койки — без шнурков. Он пытается придумать какое-нибудь объяснение, почему его держат здесь, придумать какой-нибудь повод, чтобы подвигаться. Или, наоборот, не двигаться? Он знает: для того чтобы не пойти ко дну здесь, в тюрьме, ему надо что-то делать и каждый день вынуждать себя к этому. Но нет, не получается. Он не может ни уйти в себя, ни уйти от себя. Он во взвешенном состоянии, он неподвижен. Он замер в неподвижности, потому что ему страшно. Он встает, идет в угол и мочится. Унитаз неисправен, скоро все польется через край. Он не знает, что тут можно сделать. Ему страшно здесь одному. Но он боится и той минуты, когда его сведут вниз, в камеру, где другие люди, которых он видит во время еды и которые там же видят его. Он знает, какие они, видел таких раньше, и, если б они встретились на воле, он знал бы, как с ними разговаривать. Тут он ничего не знает, он немой, он начисто запуган. Тут каждый может надругаться над ним, тут и камень и железо против него. На воле он не так уж молод. А тут убедился, что молод, очень молод, слишком молод. И что же — тут ему и стареть?

Он заглядывает в глазок на двери камеры и видит часть коридора. Там покой и тишина. Наверно, еще рано. Он думает: может, сегодня как раз тот день, когда его водят в душевую? Но он не знает, какой сегодня день, не помнит, когда его водили под душ. Спрошу кого-нибудь и запомню. Надо запомнить, нельзя же так! Он пытается припомнить все, что читал когда-нибудь о жизни в тюрьмах. И ничего не вспоминает. В голове у него пустота, как в раковине, и звенит, как в раковине, бессмысленным звоном. Ни вопросов, ни ответов — ничего. И от него несет. Он снова зевает, почесывается, вздрагивает, громадным усилием воли сдерживает крик, вцепляется в решетку высокого окна и смотрит на клочок неба, видный сквозь прутья. Прикосновение к металлу немного успокаивает, прохладный шероховатый камень у щеки немного утешает его. Он думает о своем отце — о Фрэнке. Думает обо мне. Что мы делаем сейчас, в эту самую минуту? Что делает без него весь мир, принадлежащий ему мир, почему его бросили здесь, оставили одного, может, умирать? Небо сейчас цвета стали. Тяжелые слезы текут по лицу Фонни, щекочут, путаясь в ще-

тине небритого подбородка. Он не в состоянии собраться с силами и защитить себя, потому что не понимает, почему его держат здесь.

Он снова ложится на койку. У него осталось пять сигарет. Он знает, что сигареты я ему сегодня вечером принесу. Он закуривает, уставившись на трубы, идущие по потолку. Его бьет дрожь. Он старается успокоить себя. *Еще только один день. Перестань психовать. Утихомирься.*

В шесть часов его выводят на свидание со мной.

Он спохватывается: надо взять телефонную трубку.

— А-а! — И улыбается во весь рот.— Как дела, детка? Расскажи что-нибудь.

— Нечего мне рассказывать, сам знаешь. Ты-то как?

Он целует стекло. Я целую стекло.

Но вид сегодня у него нехороший.

— Завтра утром придет Хэйуорд. Он, кажется, добился — срок для суда назначен.

— Когда?

— Скоро. Совсем скоро.

— Что значит скоро? Завтра? Через месяц? Через год?

— Фонни! Неужели я сказала бы так, если б не знала, что скоро! И Хэйуорд позволил тебе сказать.

— До того, как *он* родится?

— Да, конечно! До того, как *он* родится.

— А когда это будет?

— Скоро.

Он меняется в лице и смеется. И шутливо грозит мне кулаком.

— Как он? Я про ребенка.

— Жив-здоров и брыкается. Это уж поверь мне.

— Лупит тебя почем зря? — Он снова смеется.— Ах ты! Тиш!

И опять меняется в лице. Его озаряет новый свет. Какой он у меня красивый!

— Фрэнка видела?

— Да. Он все на сверхурочной. Завтра придет к тебе.

— Вместе с тобой?

— Нет. Он утром придет, с Хэйуордом.

— Как он?

— Хорошо, родной.

— А мои занудные сестрички?

— Они как всегда.

— Замуж еще не выскочили?

— Нет, Фонни. Пока еще не выскочили.

Я жду следующего вопроса.

— А моя мама?

— Я с ней, конечно, не виделась, но там, кажется, все в порядке.

— Слабенькое сердце еще не доконало ее? А твоя мама вернулась из Пуэрто-Рико?

— Нет еще. Но мы ее ждем с часу на час.

Он снова меняется в лице.

— Если эта дамочка все еще утверждает, что я ее изнасиловал, тогда мне здесь сидеть и сидеть.

Я закуриваю сигарету и сразу тушу ее. Ребенок шевелится, будто желая взглянуть на Фонни.

— Мама думает, что Хэйуорду удастся опротестовать ее показания. Она, кажется, истеричка. И вообще промышляет проституцией время от времени, а это, конечно, не в ее пользу. И потом, в то утро на опознании ты единственный был черный. Стояли там какие-то бе-

лые, один пуэрториканец, двое наших посветлее, но *черный* ты был один.

— Не знаю, посчитаются ли с этим.

— Как же не посчитаться? Дело могут вовсе прекратить. Она заявила, что ее изнасиловал черный, вот они и поставили одного черного среди белых подонков. Что ей оставалось? Показать на тебя, только и всего. Раз она искала черного, значит, другие тут ни при чем.

— А как там Белл?

— Я тебе говорила, что он убил черного мальчишку. Так вот Хэйуорд уж постарается, чтобы присяжные об этом узнали.

— Бред! Если присяжные узнают, они, пожалуй, присудят ему медаль. Он же вершит порядок на улицах.

— Фонни, зачем ты так говоришь, родной! Мы же с тобой с самого начала условились, с самого начала, как только это все началось, что не будем торопиться, не будем паниковать, не будем слишком далеко загадывать вперед. Я понимаю, что у тебя на уме, родной, но зачем же так думать!

— Ты соскучилась по мне?

— Господи! Да, да! Поэтому и нельзя паниковать. Я жду тебя, жду, и наш ребенок тебя ждет!

— Прости меня, Тиш. Я возьму себя в руки. Даю тебе слово. Только иногда мне очень трудно, потому что зачем я сижу здесь? Понимаешь? И со мной что-то происходит, что-то непонятное. Иной раз такое до меня начинает доходить, чего никогда раньше не доходило. Нет у меня слов, чтобы описать это, и мне страшно. Я не такой выносливый, как думал. И я тут моложе, чем мне казалось. Но я справлюсь с собой. Даю слово, Тиш. Я буду лучше, когда выйду отсюда. Лучше, чем был. Даю тебе слово. Знаю, что так это и будет, Тиш. Может, было что-нибудь, чего я не понимал, пока не попал сюда. Может быть. Может, в этом все и дело. Ах, Тиш! Ты любишь меня?

— Люблю, люблю! Ты же знаешь, что у тебя курчавая копна на голове, вот так и в моей любви не должен сомневаться.

— Я страшный?

— Мне бы только руки к тебе приложить! Но все равно ты красивый.

— Мне бы тоже приложить к тебе руки.

Наступает молчание, и мы смотрим друг на друга. Мы смотрим друг на друга, и в эту минуту дверь за спиной у Фонни отворяется и входит конвоир. Это всегда самая страшная минута — Фонни надо встать и уйти, и мне надо встать и уйти. Но Фонни держится спокойно. Он встает и поднимает руку, сжав кулак. Он улыбается и минуту стоит, глядя мне прямо в глаза. Что-то передается от него ко мне — любовь и мужество. Да. Да. Мы справимся с нашей бедой. Как-нибудь справимся. Я стою улыбаясь и поднимаю руку, сжав кулак. Он поворачивается и уходит в ад. Я иду к своей Сахаре.

Просчеты, которые совершаются в нашем мире, и подсчитать нельзя. Прокуратура, Государственное обвинение, Законы штата, *Дело по обвинению Алонсо Ханта* — судебная машина ухитрилась обезвредить, изолировать или запугать тех, кто мог бы дать показания в пользу Алонсо Ханта. Но в руках у них остался один пшик — так доложила нам моя заметно осунувшаяся мама в тот вечер, когда Эрнестина взяла у своей актрисы машину с шофером и привезла Шерон из аэропорта имени Кеннеди домой.

— Я подождала еще два дня. Думаю, не может же все так кончиться. Ну не может! Но Хайме говорит: может, и тем дело и кон-

чится. А толки об этом уже пошли по всему острову. Всем все стало известно. О моих делах Хайме даже больше меня знал. Говорил, что за мной ведут слежку, следят *за нами обоими,* и как-то вечером, когда мы с ним куда-то поехали, доказал мне это на деле. Я потом вам расскажу, как это было.

Лицо мамы. До нее тоже дошло нечто такое, чего она раньше не замечала.

— Я больше никуда не могла показываться. Последние два дня Хайме стал у меня за разведчика. Машину Хайме знали лучше, чем его самого. Понимаете, о чем я? Внешнюю сторону люди всегда схватывают быстрее, чем внутреннюю. Увидят — идет машина Хайме, значит, это он сам. Внутрь-то никто не заглядывал.

Лицо Шерон и лицо Джозефа.

— Тогда он пересел в чью-то другую. Так его не замечали, а когда начали опять замечать, это уже не имело никакого значения, потому что меня с ним не было. Он стал частью пейзажа, как море, как мусорные кучи,— стал тем, что у них всю жизнь перед глазами. Зачем им его разглядывать? Я первый раз с этим столкнулась. Может, они *не смели* на него смотреть, как не смотрят на мусорную свалку. Как сами на себя не смотрят, как мы на себя не смотрим. Никогда я с таким не сталкивалась. Никогда. По-испански я не говорю, тамошние английского не понимают. Но и они и мы торчим на одной и той же мусорной куче. И по той же самой причине.

Она смотрит на меня.

— По той же самой причине я раньше никогда об этом не задумывалась. Того, кто открыл Америку, надо бы заковать в цепи и приволочь домой, пусть там бы и помер.

Она снова смотрит на меня.

— Ты давай роди нам ребенка. Слышишь? — И она улыбается. Улыбается. Сейчас Шерон очень близка мне. И очень от меня далека.— Мы не позволим, чтобы этого ребенка держали в цепях. Вот и все.

Она встает и ходит по кухне. Мы следим за ней: она здорово похудела. В руке у нее стакан джина с апельсиновым соком. Я знаю, что она еще не успела разобрать чемодан. И по тому, как она борется со слезами, вижу, что моя мама еще совсем молодая.

— Вот так-то. Он видел — Хайме видел,— как эту дамочку выносили из дома. Она кричала. У нее был выкидыш. Пьетро снес ее по лестнице на руках. Началось кровотечение.

Она отпивает из стакана. Стоит у окна — такая одинокая.

— Ее увезли куда-то в горы, в селение, которое называется Барранги́тас. Не зная дороги, туда и не доберешься. Хайме говорит, что ее теперь ни за что не найти.

Вот вам и судебный процесс! Обвинение с пшиком лишилось главной свидетельницы. У нас все еще тлеет слабая надежда на Дэниела, но повидаться с ним никому из нас нельзя, даже если бы мы знали, где его найти. Дэниела переправили в тюрьму в другой конец штата. Хэйуорд проверяет, так ли это. Он взялся за его дело.

Прокуратура будет просить отсрочки. Мы попросим, чтобы обвинение сняли, а дело прекратили, но будем готовы к тому, чтобы взять Фонни на поруки, если прокуратура даст согласие и если мы соберем нужную сумму.

— Ну, ладно,— говорит Джозеф, встает, подходит к окну, становится рядом с Шерон, но не касается ее. Оба думают о чем-то своем, сокровенном.

— Ты как, ничего? — спрашивает Джозеф, закуривает сигарету и дает ее Шерон.

— Да ничего.

— Тогда пойдем. Ты устала. И тебя долго не было.

— Спокойной ночи,— решительно говорит Эрнестина, и Шерон с Джозефом, обняв друг друга, идут по коридору к себе в спальню. Теперь в какой-то мере мы в доме старшие. А ребенок снова толкается. Время.

Но для Фрэнка последние события будут катастрофичны, они просто сразят его, и прийти к нему с этими вестями должен Джозеф. Часы работы у них теперь спутались и не сходятся, и поэтому Джозефу надо идти к Фрэнку домой.

Он и слова нам не сказал, но мы с Эрнестиной сами поняли, что нельзя говорить обо всем этом с Хантами.

Время — около двенадцати ночи.

Миссис Хант лежит в постели, Адриенна и Шейла только что пришли домой и, стоя на кухне в одних ночных рубашках, хихикают и потягивают «Овалтайн». Зад у Адриенны заметно раздался вширь, но у Шейлы в этом смысле нет никаких перспектив. Шейле кто-то сказал, что она похожа на заурядную актриску Мерл Оберон, которую ей случилось увидеть в передаче «Для вас в поздний час», и вот она выщипала себе брови, чтобы совсем с той сравняться, но равных результатов не достигла. Оберонше по крайней мере платят за ее волнующее сходство с яичком.

Джозефу надо быть рано утром в порту, у него нет времени задерживаться, и Фрэнку тоже надо с утра попасть в центр.

Фрэнк ставит перед Джозефом банку пива, себе наливает немного вина. Джозеф отпивает из банки. Фрэнк отпивает вина. Минуту — страшноватую для обоих — они пристально глядят друг на друга, прислушиваясь к смешкам девушек на кухне. Фрэнку хочется цыкнуть на них, но он не может отвести глаза от глаз Джозефа.

— Ну? — говорит Фрэнк.

— Крепись, старик. Я тебя сейчас огорошу. Суд отложен, потому что у пуэрториканской дамочки выкидыш, и, кроме того, она, понимаешь, с катушек долой, совсем рехнулась. Словом, ее увезли куда-то в горы в Пуэрто-Рико, трогать ее нельзя, и встретиться с ней никому не позволят, и в Нью-Йорк она приехать не может никоим образом, так что суд решено отложить, пока ее не доставят сюда.— Фрэнк хранит молчание. Джозеф говорит: — Ты меня понял?

Фрэнк отпивает вина из бокала и тихо отвечает:

— Да. Понял.

Из кухни до них доносятся приглушенные голоса девушек; это доводит обоих мужчин чуть ли не до исступления.

Фрэнк говорит:

— Значит, Фонни будут держать в тюрьме до тех пор, пока эта дамочка не очухается.— Он снова отпивает вина и смотрит на Джозефа.— Так, что ли?

Что-то в лице Фрэнка приводит Джозефа в ужас, но он еще не понимает, что именно.

— Д-да... Так решено. Но, может, нам удастся взять его на поруки.

Фрэнк хранит молчание. Девушки на кухне хихикают.

— Какой залог?

— Пока не известно. Еще не установили.— Он отпивает из банки и, сам не зная почему, пугается все больше и больше.

— Когда же скажут, какой залог?

— Завтра. Послезавтра.— Джозефу, как ни трудно, а приходится выговорить это: — Если...

— Что если?

— Если удовлетворят наше ходатайство, старик. Ведь они не обязаны это делать.— И еще одно ему надо выговорить:— Я... я не думаю, что нам откажут, но лучше ждать самого *худшего*. Фонни могут предъявить еще более серьезное обвинение, потому что эта дамочка потеряла ребенка и, кажется, совсем рехнулась.

Молчание; смех девушек на кухне. Джозеф почесывается под мышкой, не сводя глаз с Фрэнка. Ему становится все тревожнее и тревожнее.

— Так,— с ледяным спокойствием наконец говорит Фрэнк.— Значит, околпачили нас.

— Старик, ты что это? Правда, положение трудное, но не все еще потеряно.

— Нет,— говорит Фрэнк.— Все потеряно. Его сцапали. И не выпустят, пока не подготовятся. А сейчас у них еще не все готово. И ничего мы сделать не сможем.

И потому, что ему страшно, Джозеф кричит:

— Но мы *должны* что-то сделать! — Он слышит, как его голос ударяется о стену, о смех девушек на кухне.

— А что мы можем?

— Если разрешат взять на поруки, соберем деньги в складчину...

— Как?

— Старик! Я сам не знаю как. Одно знаю — надо!

— А если не разрешат под залог?

— Тогда мы его выручим! Я готов пойти на что угодно — выручим!

— Я тоже готов. Да только что мы можем?

— И можем, и выручим! Вот в чем наша задача. Мы с тобой знаем, что ему там не место. Те, гниды, тоже это знают.— Он встает. Его пробирает дрожь. На кухне замолчали.— Слушай! Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что нас схватили за горло. Да, правильно. Но ведь это наша плоть и кровь, старик! *Наша плоть и кровь! Как* мы это сделаем, не знаю. Знаю только — надо добиться своего. Ты за себя не боишься, и — вот тебе крест! — я тоже за себя не боюсь. Его надо выручить оттуда. Вот и все. И мы его выручим. Вот и все. И самое главное, старик, нельзя нам падать духом. Хватит этим гадам, мать их так, измываться над нами.— Он стихает, отпивает пива из банки.— Довольно они наших детей поубивали.

Фрэнк смотрит на отворенную дверь в кухню, в проеме которой стоят его дочери.

— Что тут у вас, все в порядке? — спрашивает Адриенна.

Фрэнк швыряет свой стакан с вином на пол; стакан, звякнув, разбивается вдребезги.

— Чтобы духу вашего здесь не было, сучки желтомордые! Ясно? *Чтобы духу вашего здесь не было!* Другие на вашем месте промышляли бы на панели, лишь бы выручить брата из тюрьмы, а они задарма стелются под эту кодлу с книжечкой под мышечкой, которая только на то и способна, что принюхиваться к ним. Пошли спать! Чтобы духу вашего здесь не было!

Джозеф смотрит на Адриенну и Шейлу. Он вдруг видит нечто очень странное, нечто такое, что ему и в голову раньше не приходило: он видит, что Адриенна любит отца трудной любовью. Она знает, что ему больно. И успокоила бы его боль, если б могла, если б знала как. Она все бы отдала, лишь бы знать, лишь бы успокоить его. Она не подозревает, что Фрэнк видит в ней ее мать.

Не проговорив ни слова, Адриенна опускает глаза и уходит, и Шейла идет следом за ней.

Наступает тишина — она огромна, она все ширится, ширится. Фрэнк закрывает лицо руками. И тогда Джозеф понимает, что Фрэнк любит своих дочерей.

Фрэнк сидит молча. Его слезы капают на стол, стекая с ладоней, закрывающих ему лицо. Джозеф не сводит с него глаз. Слезы бегут с ладоней Фрэнка на запястья и капают с легким-легким невыносимым стуком на стол. Джозеф не знает, что сказать Фрэнку, и все же говорит:

— Сейчас не время плакать, старик.— И допивает пиво. Смотрит на Фрэнка.— Ну как, успокоился?

Фрэнк наконец отвечает ему:

— Да. Успокоился.

Джозеф говорит:

— Ложись спать, старик. Нам завтра вставать ни свет ни заря. Вечером я тебе позвоню. Ты меня понял?

— Да,— говорит Фрэнк.— Понял.

Когда Фонни узнает, что судебный процесс отложен и почему он отложен, узнает, какое действие может оказать несчастье, случившееся с Викторией, на то, что случилось с ним самим,— говорю ему об этом я,— в нем происходит нечто очень странное, нечто просто удивительное. Он не то что теряет надежду, он перестает цепляться за нее.

— Ну что ж, ладно.— Вот все, что он говорит.

Я будто впервые вижу его широкие скулы, и это, наверно, так и есть, потому что он сильно похудел. Фонни смотрит на меня, смотрит мне в душу. Глаза у него огромные, глубокие, черные-черные. Мне становится и легко, и страшно. Он сдвинулся с мертвой точки, он отошел — не далеко, но все-таки отошел куда-то. Он там, где меня нет.

И он спрашивает, устремляя на меня тяжелый взгляд своих огромных глаз:

— Как ты?

— Ничего. Нормально.

— А ребенок?

— И ребенку хорошо.

Он широко улыбается. Меня это всегда пугает, потому что я не перестаю замечать у него дырку на месте выбитого зуба.

— Ну что ж, я тоже нормально. Не горюй. Скоро я вернусь. Вернусь домой, к тебе. Я хочу обнять тебя. И чтобы ты меня обнимала. Мне надо обнять нашего ребенка. И верь! Так обязательно будет!

Он снова улыбается, и все дрожит у меня внутри. Любовь моя, любовь!

— Не бойся. Я вернусь домой.

Снова улыбка, и он встает и поднимает кулак, приветствуя меня. Он смотрит мне в глаза, смотрит пристально, и я впервые вижу, что у человека может быть такой взгляд. Он слегка трогает себя, наклоняется и целует стекло, и я целую стекло.

Теперь Фонни знает, почему его держат здесь,— знает, почему он сидит за решеткой. Теперь он посмел оглядеться по сторонам. Его держат здесь не за какое-то преступление. Он всегда это знал и теперь знает, но к его знанию прибавилось что-то новое. За столом, в душевой, спускаясь и подымаясь по лестнице, вечерами, до того как их всех опять посадят под замок, он разглядывает тех, кто рядом с

ним; прислушивается. А они что натворили? Да не так уж много. Кто много всего творит, те властны посадить в тюрьму вот этих людей и держать их за решеткой. А убийцы, насильники творят свои дела на воле. И воры, извращенцы, студенты колледжей с портфельчиками под мышкой — все, все, все заняты своим важным делом. Палачи заняты своим делом. Епископы, священники, проповедники — все заняты своим делом. Государственные мужи — ну, у этих дел сверх головы. А эти пленники — потаенная цена за потаенный и безжалостный террор: праведные должны держать неправедных на примете. Если ты творишь свои дела на воле, значит, у тебя и власть и необходимость повелевать неправедными. Но это, думает Фонни, палка о двух концах. *Ты либо с ними, либо против них. Ладно! Я все понял. Собаки! Не удастся вам меня вздернуть!*

Я приношу ему книги, и он читает. Мы ухитрились переправить ему бумагу, и он рисует. Теперь, зная, где он и что он, Фонни начинает понемногу разговаривать с другими заключенными, начинает, так сказать, чувствовать себя как дома. Он понимает, что тут с ним все может случиться. Но поняв это, он уже не поворачивается спиной к здешней жизни. Ей надо посмотреть прямо в лицо, даже подразнить ее, пошутить с ней, быть посмелее.

Фонни перевели в одиночку за то, что он дал отпор насилию. Он лишился еще одного зуба, и ему чуть не выбили глаз. В нем растет ожесточение, он уже не тот, что был, слезы застывают у него в самом нутре. Но он совершил прыжок с вышки отчаяния. Он борется за жизнь. Он видит перед собой личико своего ребенка, у него назначено свидание с ним, и вот, сидя по горло в дерьме, в зловонии, исходя потом, он клянется, что придет на эту встречу тогда же, когда придет и ребенок.

Хэйуорд добился разрешения о выдаче Фонни на поруки. Но сумма залога велика. И тут приходит лето.

В тот день, которого я никогда не забуду, Педросито отвез меня из испанского ресторана домой, и я с трудом, с трудом, с трудом добралась до своей комнаты и села в кресло.

Ребенок вел себя беспокойно, и мне было страшно. Сроки мои почти наступили. Я чувствовала такую усталость, что впору умереть. Фонни сидел в одиночке, и я давно с ним не виделась. А сегодня свидание состоялось. Он был такой тощий, весь в синяках, что я чуть не закричала, увидев его. Но где кричать, кто услышит? И такой же вопрос был в огромных, раскосых, черных глазах Фонни — глазах, горевших сейчас, как у пророка. Но когда он улыбнулся, я будто впервые увидела его — увидела, какой он, мой любимый.

— Придется нам наращивать мясо на твои косточки,— сказала я.— Господи! Смилуйся над нами!

— Громче говори. Он тебя не слышит.— Но сказал он это с улыбкой.

— Мы собрали почти все деньги на залог.

— Я так и предчувствовал.

Мы сидели и только смотрели друг на друга. Мы любились сквозь все это стекло, сквозь камень, сквозь сталь.

— Слушай! Я скоро выйду отсюда. Я вернусь домой, потому что мне было радостно вернуться. Ты меня поняла?

Я смотрела ему в глаза.

— Да,— сказала я.

— Теперь я ремесленник,— сказал он.— Как тот малый, который сколачивает... столы. Слово «художник» какое-то нехорошее. Оно, кажется, всегда было мне не по душе. Пес его знает, какой в нем

смысл. Я работаю из нутра, руками работаю. И теперь я знаю, что к чему. Кажется, по-настоящему понял. Даже если не осилю. Но нет, этому не быть. Теперь не бывать.

Он очень далек от меня. Он со мной, но где-то очень далеко. И так будет всегда.

— Куда ты меня ни поведешь, я всюду за тобой пойду,— сказала я.

Он рассмеялся.

— Ах ты детка, детка моя! Я люблю тебя. Подожди, я сколочу нам стол, и много-много людей сядут за него и будут есть досыта долгие-долгие годы.

Сидя в кресле, я смотрела в окно на мерзость и убожество улиц. Что здесь случилось? Она проклята, эта страна.

И нет среди них ни одного праведного?

Нет ни одного.

Ребенок толкнул меня, но совсем не так, как раньше, и я поняла, что время мое наступает. Помню, посмотрела на часы. Без двадцати восемь. Я была одна дома, но знала, что скоро кто-нибудь отворит дверь и войдет. Ребенок опять толкнулся, у меня перехватило дыхание, и я чуть не вскрикнула, и тут зазвонил телефон.

Я с трудом, с трудом, с трудом прошла через всю комнату и взяла трубку.

— Слушаю?

— Тиш?.. Это Адриенна.

— Здравствуй, Адриенна.

— Тиш... ты не видела моего отца? Он не у вас?

Ее голос чуть не свалил меня с ног. Я никогда не слышала, чтобы в человеческом голосе слышался такой ужас.

— Нет. А почему ты спрашиваешь?

— Когда ты его видела?

— Да я... я его не видела. Я знаю, он виделся с Джозефом. А *я сама* его не видела.

Адриенна заплакала. По телефону ее плач звучал страшно.

— Адриенна! Что случилось? *Что случилось?*

И я помню, все в эту минуту замерло на месте. Остановилось солнце, остановилась земля, небо насторожилось, глядя вниз, и я прижала руку к сердцу, чтобы оно опять начало биться.

— Адриенна! Адриенна!

— Тиш... третьего дня папу выгнали с работы, говорят, что за кражи, и пригрозили тюрьмой, а он совсем пал духом, из-за Фонни и вообще, пришел домой пьяный, проклинал всех и вся, потом ушел, и с тех пор никто его не видел. Тиш... ты, может, знаешь, где мой отец сейчас?

— Адриенна, милая! Я не знаю. Богом клянусь, не знаю! Я его не видела.

— Тиш... ты меня не любишь, но...

— Адриенна, мы с тобой немножко повздорили, но это ничего. Это нормально. Это не значит, что я плохо к тебе отношусь. Мне и в голову не придет делать что-нибудь во вред тебе. Ты же сестра Фонни. Раз я его люблю, мне и тебя надо любить. Адриенна...

— Тиш... Увидишь его, позвони мне.

— Да. Да. Да, непременно!

— Прошу тебя, позвони! Мне страшно,— совсем другим голосом, тихо проговорила Адриенна и повесила трубку.

И я тоже повесила трубку, в дверях повернулся ключ, вошла мама.

— Тиш, что с тобой?

Я добралась до кресла и села.

— Звонила Адриенна. Она разыскивает Фрэнка. Говорит, что его выгнали с работы и что он совсем пал духом. Адриенна, бедняжка, сама не своя. Мама...— И мы впились друг другу в глаза. Лицо моей матери было неподвижно, как небо.— Папа виделся с ним?

— Я не знаю. Фрэнк к нам не заходил.

Она бросила сумку на телевизор, подошла и положила мне руку на лоб.

— Как ты себя чувствуешь?

— Устала очень. И странно как-то.

— Дать тебе немножко коньяку?

— Дай. Спасибо, мама. Это ты хорошо придумала. От коньяка, может, у меня желудок наладится.

Она ушла на кухню, вернулась с коньяком и дала мне рюмку.

— У тебя там что, непорядки?

— Немножко. Ничего, это пройдет.

Я потягивала коньяк и смотрела на небо. Мама постояла, глядя на меня, потом опять ушла. Я все смотрела на небо. Оно будто хотело сказать мне что-то. Я была одна, в каком-то незнакомом месте. Все притихло. Даже ребенок притих.

Шерон вернулась.

— Ты сегодня видела Фонни?

— Да.

— Как он?

— Он замечательный. Его били, но он не побит. Понимаешь? Он замечательный.

Но я была такая усталая, что, помню, и говорила-то через силу. Что-то вот-вот случится со мной. Я чувствовала это, сидя в кресле, глядя на небо и не двигаясь. Мне оставалось только одно — ждать.

Пока не изменится путь мой.

— Кажется, Эрнестина раздобыла остальные деньги,— сказала Шерон и улыбнулась.— У своей актрисы.

Я еще слова не успела вымолвить, как раздался звонок у входа, и Шерон пошла открыть. Что-то в ее голосе там, у двери, заставило меня вскочить с места, и рюмка с коньяком полетела на пол. Мне до сих пор помнится лицо Шерон, она стояла позади Джозефа, и мне помнится лицо моего отца.

— Фрэнка нашли,— сказал он,— далеко-далеко вверх по реке, в лесу. Он сидел в своей машине с запертыми дверцами, мотор был не выключен.

Я опустилась в кресло.

— А Фонни знает?

— Вряд ли. Пока еще не знает. Узнает только утром.

— Я поеду скажу ему.

— До утра ты туда не попадешь, дочка.

Джозеф сел рядом со мной.

Шерон резко спросила меня:

— Ты что, Тиш?

Я открыла рот сказать сама не знаю что.

Когда я открыла рот, дыхание у меня перехватило.

Все куда-то исчезло, остались только глаза моей матери. Глубокое, бездонное понимание протянулось от нее ко мне. Потом я уже ничего больше не видела — только Фонни. И я закричала, и сроки мои пришли.

Фонни работает по дереву, по камню, насвистывает, улыбается. И где-то далеко, но все ближе и ближе слышится плач, плач, плач, плач, плач, плач, плач, плач, плач ребенка, точно он задумал пробудить мертвых.

МИКЛОШ РАДНОТИ

Под знаком Близнецов

Дневник о детстве

Перевод с венгерского и вступление Е. МАЛЫХИНОЙ

Миклош Радноти, гордость и боль Венгрии. Прекрасный поэт, тонкий лирик, каждым нервом своим откликавшийся на зовы эпохи,— жертва фашизма, пулей варвара сброшенный в яму братской могилы. Уже из этой могилы вышли к людям его последние стихи, шедевры духа, родившиеся под лай сторожевых собак и злые вопли конвоя. В том трагическом сорок четвертом — в славном, уже несущем освобождение сорок четвертом — Миклошу Радноти исполнилось тридцать пять лет...

А в самый канун второй мировой войны, ввергнувшей в горе и разорение всю Европу, за пять лет до безвременного своего конца Радноти создает оставшееся в творческом его наследии единственным произведение высокой художественной прозы — «Под знаком Близнецов».

«Дневник о детстве» — называет поэт, с присущей ему сдержанностью в самооценке, эту поэму, сложную, многоплановую лирическую поэму, насквозь проникнутую мироощущением XX века. Беспредельно дорожа каждым свидетельством гармонии и тем острее ощущая дисгармонию стоящего на грани чудовищной катастрофы мира, поэт спешит зафиксировать, выхватывает взором памяти — словно лучом солнца, что вот-вот скроется за нависшей черной тучей,— каждую, вдруг переставшую быть обыденной деталь бытия, каждую самую малую радость и теплое чувство, красоту простых человеческих отношений, высокой поэзии, наивных и крылатых юношеских грез... «Дневник» (новелла? поэма?) строится на автобиографической канве прихотливо просматриваемых одно сквозь другое событий; время здесь как бы пронизывает самое себя, присутствует сразу в нескольких срезах — равно сущее, равно трепещущее всеми токами сиюминутности, реальности вещной и реальности духовной. А за этим, над этим все явственней проступает облик того мира, каким представлялся он сознанию европейца в конце августа 1939 года,— так дата написания произведения становится неотъемлемой его частью, его последней, бьющей в самое сердце строкой.

И наступил 1940 год. Еще выходят книги с именем Миклоша Радноти на титуле — блистательные его переводы из Аполлинера, дневник-новелла «Под знаком Близнецов»,— но для поэта это уже последние, считанные мирные дни. Впрочем, он-то давно не ощущает их мирными и предчувствует — нет, трезво угадывает — свою судьбу:

И подозренья осторожный взор
меня казнит; он правильно заметил:
поэт, я годен только на костер
за то, что правды я свидетель,
за то, что знаю я, что зелен стебелек,
бел снег и красен мак,
и кровь, красна, струится,
и буду я убит за то, что не жесток,
и потому, что сам я не убийца![1]

[1] Надпись на экземпляре сборника «Крутая дорога». 1 июня 1939 г. Перевод Л. Мартынова.

В сентябре 1940 года Радноти призывают в трудовые отряды. Начинается последний, трагический период его жизни; за четыре оставшиеся ему года он уже ни разу не ощущает себя свободным: то в «трудовых лагерях» под конвоем, то, временно отпущенный, дома, в постоянном ожидании — вот-вот она вновь затянется, смертельная петля, вновь поволочет на муку...

Последний, тщательно самим поэтом составленный прижизненный сборник — «Избранные стихотворения» — вышел в конце 1940 года. Это седьмой поэтический сборник Радноти за десять лет. А сколько опять накопилось стихотворений, каждое из которых — потрясающее свидетельство силы духа, человеческого и гражданского мужества, огромного и все ярче расцветающего таланта! «Мчится весна», «Пятница», «Зимнее солнце», «Четвертая эклога»... одно — снято цензурой, другое — снято цензурой, третье, четвертое, десятое и вовсе не для официальных глаз. Получив от социал-демократической газеты «Непсава» предложение «прислать что-нибудь новенькое», Радноти 8 марта 1943 года записывает в дневнике: «Что-нибудь новенькое? Пишу сейчас «Четвертую эклогу»...

Свободы я хотел, ждал вольной воли весть
И весь свой трудный путь прошел я под конвоем [1].

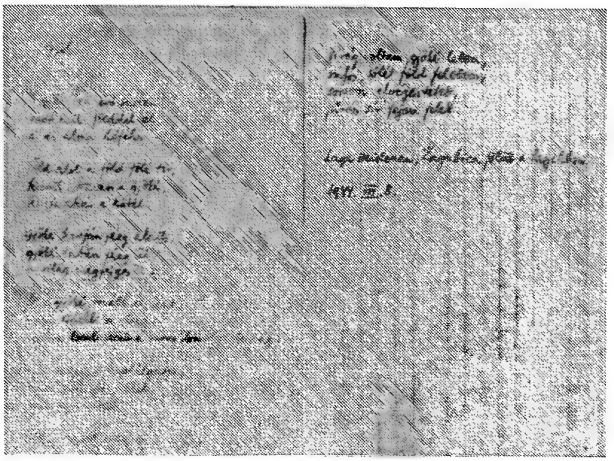
Это послать им?!» Впрочем, поэт не только трезво оценивал настоящее — он был прозорлив и верил в будущее:

...мир выстроится вновь, и это я постиг;
хоть песни все мои теперь запретны станут,
у кладки новых стен мои слова воспрянут! [2]

В сентябре 1944 года немцы стали угонять на запад размещенные в Сербии «трудовые лагеря». Советская Армия уже вступила с боями на землю Венгрии, уже близился желанный, спасительный конец войны,— а Радноти двинулся в роковое «подневольное шествие», так скупо и пронзительно описанное им в одноименном стихотворении, датированном пятнадцатым сентября 1944 года. И в лагерном аду Радноти оставался поэтом — оставался поэтом, работая по двенадцати часов в сутки на медных рудниках, на строительстве железной дороги, оставался поэтом и на последнем своем страшном пути, когда брел, подгоняемый прикладами, через всю Венгрию, больной, измученный, голодный... Он шел и, как вспоминают товарищи по скорбному этому шествию, бормотал стихи — ладил строку за строкой, отделывал до высокого совершенства. А потом бережно вписывал в тоненькую школьную тетрадку, урывая время для этого на кратких привалах, обкрадывая себя в самом насущном — отдыхе.

Он знал поэтическую и нравственную силу своего беспощадно правдивого свидетельства, знал цену ему и, как ни рвался к жизни, явственней представлял себе собственную физическую смерть, чем гибель творений своего духа. С красноречивой простотой говорит нам об этом пять раз — на пяти языках — повторенная фраза, которой открывается его последняя, лагерная тетрадь:

«Эта записная книжка содержит стихи венгерского поэта Миклоша Радноти. Он просит нашедшего переправить ее доктору Дюле Ортутаи, приват-доценту Будапештского университета по адресу: Будапешт VII, ул. Хорански, 1, 1».



[1] 15 марта 1942 г. Перевод Н. Чуковского.
[2] «Ни воспоминание, ни колдовство». 30 апреля 1944 г. Перевод Д. Самойлова.

И далее четким, невероятно для тех обстоятельств четким и ясным почерком записаны были, один за другим, десять шедевров, которые знает теперь в Венгрии каждый...

Поэт погиб бессмысленно и жестоко. Ускорявшие отступление немцы зверски избавлялись от влекомого с собою «балласта» — десятками, сотнями, а то и тысячами убивали ослабевших, больных, измученных непосильным подневольным трудом и голодом пленников. Так в одну из братских могил, уже в западной части венгерской земли, упал, скошенный автоматной очередью, поэт Миклош Радноти с двумя десятками таких же, как он, жертв фашистского «порядка». И заветная книжечка последних его стихотворений была погребена вместе с ним. Прошло около двух лет; при эксгумации она была найдена, полуистлевшая, пробитая пулей, на груди поэта... Она дошла до своего адресата. К тридцатилетней годовщине смерти Радноти она была издана отдельно — факсимильным изданием.

Радноти был прав. **Мир выстроился вновь.** И слова его **воспряли,** вернулись к людям. Имя Миклоша Радноти — одно из самых дорогих в сегодняшней Венгрии. Шандор Петефи, Янош Арань, Эндре Ади, Аттила Йожеф — место Радноти в этом ряду великих венгерских поэтов и гуманистов. Доступны его стихи и нашему читателю: они выходили в «Антологии венгерской поэзии» 1952 года, печатались выразительной подборкой в журнале «Иностранная литература» за 1966 год, в 1968 году были выпущены издательством «Художественная литература» отдельным, любовно составленным Агнессой Кун томиком в прекрасных переводах Н. Чуковского, Л. Мартынова, Д. Самойлова, В. Корнилова, В. Корчагина, с комментариями Фанни Радноти, жены поэта.

А сегодня перед нами — его проза.

Последнее время я особенно часто думаю об Аги, моей младшей сестре. Я не видел ее уже несколько лет. Она долго жила в маленьком городишке, под огромной черной горой, теперь поселилась с мужем в дальней иноземной столице. Мы очень любим друг друга и потому почти не переписываемся. Любовь крепка, в письменных доказательствах нет нужды, я пишу ей один-два раза в год, не чаще, она — раз пять-шесть. Но мы постоянно друг о друге думаем и взаимно прислушиваемся. Я знаю ее, а она — меня, хотя жили мы вместе каких-нибудь восемь лет в самом начале нашего бытия: ей было восемь, мне — двенадцать, когда мы расстались. Нам выпало тревожное детство, рядом прошла война, и революции плясали вокруг нас.

Мы жили возле большой казармы, где постоянно менялись солдаты и нескончаемо вопила труба. Вопила все время разное. Мы жили неподалеку от большого дворца, на его ступенях во всякое время дня, в дождь и в зной, колготилась толпа, кричала «ура», ожидала чего-то, а перед ней угодничали и выносили приговоры власти. Мы праздно болтались в самой гуще истории, играли на площади перед дворцом в частоколе жирных газетных заголовков.

Последнее время я особенно часто думаю об Аги, и стоит мне вспомнить ее, как звучит в ушах интонация фразы, все одной и той же фразы — ее произносит возбужденный девчоночий голос, и меня охватывает ярость. Когда я слышу этот голос, всякий раз вечер и горит лампа. Когда я слышу его, у стола сидит отец, из-под расстегнутого выцветшего армейского кителя белеет рубашка.

Интонация фразы преследует меня, я ищу ее слова. Опускаю голову, вслушиваюсь.

— ...А потом ему отрезали голову и засунули в ящик!

Вот она, эта фраза! Рассказывает Аги. Она врет вдохновенно, большие карие глаза взволнованно горят над повязанной вокруг шеи салфеткой. Она сидит выше всех, двумя подушками поднятая к тарелке. Наши взгляды встречаются.

— Значит, убили, а потом еще и голову отрезали? — после мимолетной паузы с улыбкой спрашивает отец.

— Отрезали,— подтверждает Аги,— вот таким длинным кривым ножом.

Аги сидит, раскинув руки, и как будто взмывает с подушек ввысь, подхваченная ложью, она вся светится и почти летит, в одной руке сжимая ложку, в другой — длинный толстый карандаш. С ложки капает рисовая каша.

— Она врет! Она опять врет! — опомнясь, гневно закричал я.

Басни Аги всегда наполняли меня изумлением, и обычно изумление подавляло гнев, но на этот раз я взорвался. На моих глазах ложь раздулась вдруг до гигантских размеров, я был свидетелем не только ошеломляющего разбухания, но и подлинно художественного ее сотворения, то, что недавно мы пережили вместе с Аги, куда-то исчезло, и меня захлестнула ярость. Теперь мне уже казалось, что все — неправда. Все, все — выдумка Аги, еще не вечер, не ужин, а только обед. То, что произошло после обеда, потрясло меня и потому зарылось поскорей на самое донце сознания, стало прошлым, да, может, и прошлым уже не было, а зажило в дремотном безвременье среди прочих затаившихся воспоминаний в бездонной глуби, откуда лишь исподволь возникнет когда-нибудь вновь, свиваясь из мелких проблесков, вкусов, запахов, движений, звуков — и из звуков опять сложится воедино, окончательно, достоверно и уже навечно. Тогда я, конечно, еще не знал этого, только очень уж близко к сердцу принял выдумку Аги.

После обеда у отца разболелась голова, он прилег. Я уже предвкушал, как взбегу на четвертый этаж и поиграю в пуговки, но мама поручила мне Аги.

— Ступайте на площадь,— выпроводила нас мама и захлопнула дверь.

— Лали! — крикнул я горестно. Надо мной появился Лали, его наголо остриженная голова белесо отсвечивала, он выжидательно свесился через перила.— Вот, придется идти! — сказал я ему. Ответа ждать не стал, сердито, перескакивая через две ступеньки, загромыхал вниз. В кармане позвякивали пуговицы. Аги, придерживаясь за перила и пыхтя, спускалась следом. В парадном взяла меня за руку и радостно заглянула в лицо: она знала, что я *должен* остаться с ней, *должен* держать ее за руку и мы *должны* идти на площадь. Она наслаждалась положением, немного злорадствуя и торжествуя.

Мы направились к площади, я теснил ее на самый краешек тротуара, с тротуара — на мостовую. Аги старалась подняться, удержаться на кромке, сопротивлялась, но через несколько шагов опять оказывалась внизу, на мостовой. Игра казалась ей чуть-чуть глупой и скучной, я же просто мстил ей, зато, пока мы вышли на площадь, совсем успокоился. «Если уж так, то хоть поиграем»,— мудро рассудил я, и Аги была счастлива. Мы собирали плоские камешки, на скамейке выкладывали из них буквы, ловили букашек. Площадь была пуста. Мы пересекли ее и, подойдя ко дворцу, стали царапать острым камешком лестничные ступени.

Внезапно послеобеденное затишье стало жестким, и тут же послышался мерный гул. На площади, печатая шаг, показались солдаты, между ними, в середине, шел обросший бородой усталый солдат; в грязном мундире и без пояса, он шагал с ними в ногу.

На солнце наплыло облако, но стало еще жарче. Мы поднялись с корточек и смотрели. Уцепившись за меня, Аги стояла чуть позади, со всех улиц, выходивших на площадь, спешил народ, и вот уже собралась толпа, люди были всюду, и спереди и вокруг, мы ничего не видели.

Я стоял и потел. Чувствовал: происходит что-то ужасное. От

одежды теснившихся рядом людей несло жаром. Я посмотрел вверх, небо было серое.

Вдруг Аги отпускает мою руку, ящерицей проскальзывает вперед, пробивается между бесчисленных ног, я окликаю ее, но она исчезает. Мне ее доверили, а она исчезает! «Все время держи за руку, ты старший, ты мальчик, береги сестренку»,— звучит во мне родной теплый голос. Я в страхе бросаюсь ей вслед, наступаю кому-то на ногу, кто-то дает мне подзатыльник, меня отталкивают, ворчат. Наконец, измученный, я стою позади Аги и держу ее за локоть.

В самом низу широкой лестницы тесной короткой шеренгой выстроены солдаты, спины у всех одинаковы, винтовки вскинуты к плечу. Повыше стоит бородатый солдат, его глаза завязаны широким черным платком. Кто-то кричит, и тут же — грохот, белый дымок, солдат с завязанными глазами стоит, стоит... потом припадает на одно колено, валится ничком, скатывается на две ступени вниз и застывает. Опять выкрикивают команду, какой-то человек оказывается вдруг перед нами, его полосатый коричневый пиджак и черные кожаные штаны загораживают все. Аги хочет видеть, она вцепляется в него, старается оттолкнуть. «Марш отсюда!» — ворчит кто-то, и нас быстро оттесняют назад.

Я крепко держу ее за запястье, мы плетемся обратно, на другую сторону площади. Садимся на скамейку.

— Это, наверно, цыган был, он детей воровал,— шепчет Аги, в ней уже слагается сказка. Я не отвечаю, опять палит солнце. Маленькая капустница садится на Агину юбку, Аги ловит ее, крылышки прилипают к вспотевшим пальцам.

Наконец небо совсем затянулось, и мы побрели домой. Я бросился прямо к Лали, мы до самого вечера играли в пуговки.

И вот весь этот день шквалом пронесся опять над вечерним столом. Солдат была тысяча, все в красных мундирах, гремели трубы, на дворцовой лестнице стоял цыган, похититель детей, и кровь текла до самых скамеек. Лампа над столом покачивалась.

— Она врет! Она опять врет! — завопил я, теперь уже трясясь всем телом.

— Тихо! Ешьте, и чтоб больше никаких разговоров! Посмотри, Аги, как ты насвинячила на скатерти! — звенит голос мамы.

Аги, втянув голову в плечи, быстро доедает кашу, слезает со стула и садится в углу. Она одевает куклу, но то и дело мечет в меня сердитые взгляды. Вдруг Аги опять подымает на меня глаза и кричит, почти визжит:

— Это ты врешь! Ты, а не я! Врунишка, лгун, лгун!

Отец вздрагивает:

— Аги, замолчи сейчас же!.. А ты не смей отвечать ей!

Я благодарю за ужин и калачиком сворачиваюсь в углу дивана; уже несколько дней я мусолю книгу рассказов о войне. На обложке вокруг засыпанного снегом надгробного креста стоят с непокрытыми головами семь солдат, на плечах у них снег. Они плачут. Впрочем, в книжке попадаются не только страшные, но и веселые истории, я их очень люблю. Например, как солдаты принимают восходящую луну за самолет и начинают палить по ней из винтовок. Забавное недоразумение и в другом рассказе: из-за кустов проглядывает вдруг макушка медведя, лакомящегося медом; ее принимают за казацкую шапку, окружают подозрительное место, когда же ошибка выясняется, все падают на траву от смеха. А медведь тем временем удирает. Сейчас я опять отыскиваю этот рассказ, но читать не могу. Со стесненным сердцем спешу проскочить через самые кровавые новеллы, вспоминаю про свою книжечку со стихами Петефи, но не подымаюсь, чтобы

взять ее. Я сижу неподвижно, и во мне шевелится какая-то невнятная тревога.

Стол уже оголен, на кухне гремят тарелки, мама моет посуду. Слышен плеск воды, шуршит изредка газета — отец переворачивает страницу, сопит Аги над своими куклами. И мне чудится, будто я слышу, как вдоль стены бежит по проводу ток, чудится, будто свет гудит в лампе. Я прислушиваюсь к этому гулу.

Мама возвращается из кухни, взглядывает на отца, снимает передник, начинает вечернюю приборку. Мне полагается помогать ей стелить постели. Складываю пахнущее пылью кружевное покрывало, разбираю с мамой прохладное белье. Облик комнаты меняется. Аги крутится возле меня, но смотрит в сторону. Дает понять, что сердится, и ждет примирения. Молча укладываемся. Даже не устраиваем боя подушками, не брызгаемся, умываясь перед сном.

Я лежу в полутьме, в комнату проникает слабый свет уличного фонаря. Как всегда, перед тем как заснуть, играю бахромой дивана. На окна не смотрю — из-за занавесок. Уже не боюсь, но все-таки не смотрю в ту сторону.

В этот час улица и двор всеми своими звуками забираются к нам в комнату. Из-за винзавода, дзинькая, поворачивает трамвай, дверь корчмы напротив распахивается, оттуда громко выплескиваются песни, музыка и так же внезапно обрываются; наступает тишина, как будто кружившая по граммпластинке игла выбежала вдруг на середину. Слышатся шаги, внизу скрипит дверь. По внутреннему двору шлепают домашние туфли, лязгает ключ, дверь в парадном открывается, потом захлопывается, по лестнице, по галерее — шаги, шаги. Звуки укачивают, звуки заставляют встрепенуться, один раз, другой, потом подхватывают опять, заволакивают сознание. Сон подкрадывается и сейчас унесет меня...

— Спишь? — слышу вдруг голос Аги и тут же ощущаю теплое дыхание и влажное прикосновение где-то за ухом. Аги целует меня.

— Давай поиграем! — шепчет она, и я вскидываюсь, сажусь. Она стоит в голубой своей рубашонке возле дивана, голова ее в сумраке кажется несоразмерно большой, глаз я не вижу, но чувствую, что она просительно улыбается.

— Во что будем играть? — склоняюсь я к ней.

— Во что хочешь,— выдыхает она покорно.

Светлее всего на середине комнаты, у стола. Мы садимся друг против друга на пол и начинаем выкладывать собранные днем камешки. Один ряд выкладывает Аги, второй — я. Достаю и свято оберегаемые пуговицы.

— Каждая пятая пусть будет пуговица,— шепчу я, и Аги блаженно моргает.

— Четыре камушка, одна пуговка,— считает она, совершенно счастливая; ей позволено брать в руки пуговицы, это огромная честь. Ряды вытягиваются, мы отодвигаемся, елозя по полу. Позади Аги стоит стул, на спинке висит пиджак отца. Аги отодвигается еще немного, толкает стул, стул падает. Испуганно взвизгивает кровать в соседней комнате, над кроватью вспыхивает лампа.

— Это он толкнул! — отчаянно вскрикивает Аги и не смотрит на меня, только указывает рукой. Уничтоженные, мы стоим в пробивающемся к нам свете, у меня перед глазами плывут большие — больше и больше — белые круги. И мама тоже становится все больше, ее черные глаза жгут меня. Ее фигура заполняет собой светлый прямоугольник двери, массивная, похожая на рассерженный монумент.

— Ты ступай на дровяной ящик! — командует мама, на секунду

задержав на мне взгляд.— А ты ложись, и чтоб я не слышала больше ни звука. Завтра разберемся!

Аги стоит не шевелясь, на глаза ее медленно набегают крупные жемчужины.

Я беру под мышку одеяло и подушку, иду на кухню. Это самое суровое летнее наказание. Спать на огромном жестком дровяном ящике в пропахшей едою кухне, где то и дело устрашающе всхлипывает водопровод и даже водятся клопы. Случается такое редко, да и то утром я всякий раз просыпаюсь на своем диване, отец или мама переносят меня, как только я засну. Но все-таки это наказание ужасно.

Залезаю на ящик, укутываюсь поплотнее в одеяло и поворачиваюсь к стене. С опаской касаюсь какого-то пятнышка — не побежит ли. Я скорее напуган, чем зол.

— Марш в постель! — приказывает в комнате мама.

— Нет! — звенит задыхающийся от слез протестующий голосок Аги. Дверь отворяется, и я переворачиваюсь на спину. Аги босиком шлепает на кухню, волоча за собой по полу подушку и одеяло, в отворившейся на миг двери — высоко вскинутая голова. Всхлипывая, Аги забирается ко мне на ящик, коротко постанывает, подминает под голову подушку, прижимается мокрым носом к моему боку. Я чувствую тепло ее тела.

В комнате выключают свет.

— Друг за дружку горой, негодники,— слышу в полусне растроганный голос.

— Да, правда,— много позже доносится и тихий отклик, хотя, возможно, мне это уже только снится.

Четверг. Четыре дня назад приехала из Н. мама, она живет там уже пятнадцать лет. Приехала внезапно — откуда-то перепали нежданные деньги. Я встречаю ее на перроне и, когда мама появляется в двери вагона, с нежностью замечаю, как она все еще хороша. Я не видел ее пять лет, она ничуть не постарела. «Сейчас ей, должно быть, сорок семь—сорок восемь»,— мелькает мысль. Мы целуемся. Следом за ней выходит мужчина, ставит на перрон мамин саквояж, щелкает каблуками, целует ей руку.

— А вот и мой сын,— вытянутыми руками подталкивает меня вперед мама и сквозь слезы улыбается мужчине.

— Трудно поверить.— Ее спутник приподымает шляпу. Я мрачно киваю и ревную, как в детстве.

— Веришь ли, каких только небылиц не нагородил он мне от Н. до Пешта! — смеясь, рассказывает мама в трамвае.

— Нельзя вступать в разговоры с кем попало,— выговариваю ей с шутливой строгостью.

— Но, право же, господин учитель...— Чуть заметным движением она делает мне реверанс, одна нога отставлена назад, коленки чуть согнуты.— Не извольте же сердиться!

Мама щурится. Я смеюсь. Мы уже на другом вокзале, мама едет дальше, в В., к своему старшему брату Эдуарду.

— На этой же неделе прикачу непременно! — кричу вслед тронувшемуся поезду.

И вот я еду в В. с двумя книгами и блокнотом в портфеле, с плащом и шляпой. Я путешествую. Какое-никакое, но это уже путешествие, вот и блокнот со мной — детские мечты, путешествие. Достаю из портфеля книгу, кладу свою поклажу на багажную полку и сажусь к окну.

Я уже давно ехал среди пугающих газетных заголовков, нынче опять решается судьба Европы, я живу взволнованно и торжественно, но уже начинаю привыкать. И среди реальностей моей жизни все чаще поминаю чудо.

Открываю французский стихотворный сборник, читаю:

Terre Terre Eaux Océans Ciel
J'ai de mal du pays[1].

Это вопит Сандрар[2] осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года, дикарь европеец, однажды собравший в книгу колдовские песни и сказки негритянских племен.

Je voudreis être la cinquieme roue du char
Orage
Midi a quatorze heures
Rien et partout[3] —

у меня немного гудит от него в ушах, но интонацию я улавливаю. Нас встряхивает, чей-то голос вопит: «Шорокшар!» — и кажется, будто вопль этот тоже из стихотворения. Я улыбаюсь: не все ли равно, ведь мы в преддверии войны — один день остался? два года? — я хочу быть свободным!

Значит, так путешествовал поэт после войны. Значит, бывает и «после войны»? Путешествовал с жадностью, запертой было на четыре года, на смерть осужденной души, с радостью и тревожным сознанием, что в любую минуту границы вокруг него могут быть перекрыты и он снова — пленник.

Я перелистываю несколько страниц. Ларбо[4]:

Je chante l'Europe, ses chemins de fer et ses thèâtres...

Европу славлю я, ее железные дороги и театры,
расположенье городов, в то время
как новый мир ношу в стихах моих...

Хорош «новый мир», бормочу про себя и уже улыбаюсь. Как давно я перевел это стихотворение, но и поныне не знаю, кто же она — Иланеро! «Тебя покорил и рабом твоим стал, о Иланеро!» Иланеро... Красивое имя. «C'est l'exotisme»[5],— думаю эрудированно. Ведь после войны — а что? разве сейчас не то же? — Европа сплошь неведомые джунгли, где под кустами свистят змеи, пристанище людоедов, охотников за скальпами,— и как же романтично рожденное беспокойством путешествие. Больше, чем Лондон, Париж, Берлин, их влекли Будапешт, Белград, Харьков или Бухарест. О, что им за дело до «couleur locale[6]»! Им нужны не пейзажи, а самое сознание путешествия, иными словами — сознание свободы. Они работали на чужбине точно так же, как у себя дома среди книг, а дома — как в непроходимых зарослях джунглей. Я говорю о реальности души *(они* говорят, поправляюсь тут же) — реальности, которая уже независима от всякой иной реальности... Что это было сейчас — описка? Я мог бы сказать о себе то же самое. С тех пор минуло двадцать лет? Что ж из того? Все осталось

---

[1] Земля Земля Воды Океаны Небо
Я тоскую по стране *(франц.)*.

[2] Сандрар, Блез (1887—1961) — французский писатель, поэт, неутомимый путешественник.

[3] Я хотел бы быть пятым колесом в телеге
Ураган
Полдень в два часа
Ничем и всюду *(франц.)*.

[4] Ларбо, Валери (1881—1957) — французский поэт и прозаик.

[5] Это экзотика *(франц.)*.

[6] Местный колорит *(франц.)*.

таким же! Или началось уже снова? О счастливцы предтечи, благородный Джек Лондон и голубиный Пьер Лоти, это путешествие, эта жажда свободы — не приключение, не страсть к познанию, не обновление, не бегство, это гораздо, гораздо больше — психоз.

Вокруг меня возводятся стены, за ними исчезают города и страны. Растет стена и отъединяет меня от людей. Я пленник. И если слышу вдруг изредка чей-то возглас: «Европа!» — это звучит так, как если бы крикнули: «Африка!»

«Как я патетичен»,— думаю, недовольный собой. И закрываю книгу. А ведь мне хотелось бы всего-навсего взглянуть, по-прежнему ли в час двадцать ночи отправляется в Париже последний поезд метро от Бастилии к Ножану.

— Иланеро,— повторяю негромко, а с платформы кричат:

— Такшонь!

— Такшонь,— бормочу вслед и я, выхожу из вагона и стою перед станционным зданием в клубах пыли. Жду автобуса.— Он и по будням ходит в Буди? — спрашиваю девочку.

— Ходит, но редко,— смеется она сквозь пыль.

— Иланеро.— Я приглядываюсь к девочке.— Ты совсем беленькая, ты не можешь быть Иланеро. У Иланеро черные волосы. Черные, как вороново крыло.

Такшонь. Я смотрю на станционное здание, семь букв, семь... Таши, Тёхётём, Хуба, Конд, Алмош, Элёд, чертов Онд[1] — это мадьяры-вожди вихрем летят впереди... я скандирую, сам того почти не замечая, набегающие дактили.

Эдуард встречает меня с несколько разочарованным видом:

— Все-таки пожаловал? Не нашлось дела получше?

Позднее выясняется, отчего он не в духе: его предсказания не оправдались. «Да не приедет он к тебе,— уверял маму Эдуард,— разве что на следующей неделе. Э-э... обещания поэта... даже не пишет тебе никогда...»

На веранде мы пожимаем друг другу руки.

— Илка,— кричит он куда-то в огород,— прибыл сынок твой!

Мама выбегает в красном переднике с разгоревшимся под солнцем лицом, позади, ухмыляясь во всю пасть, мчится Кормош, он поспевает первым, лапами упирается мне в грудь, лижет физиономию, мама с трудом добирается до меня.

— Тебя здесь так принимают, словно ты их любишь,— подмигивает из кресла. Эдуард.

— А он и любит,— обнимает меня мама,— мы же все любим друг друга, Эде!

— Так и должно быть,— озорно улыбается Эдуард, всегда предовольный, если удается кого-то вывести из себя.

В последней моей книжке есть маленькое стихотворение, «Воспоминание детства», это о нем:

«Чтоб дали здесь поесть? Не тот стандарт! —
сказал мне родич мой, добрейший Эдуард.—
Направо — кухня, сам проси, ступай-ка...»
И вновь я там верчусь, как попрошайка,
и вновь, работу побросав свою,
глядят, довольные, кухарки сердобольные,
как хлеб макаю в жир, как жадно я жую[2].

— Послушай, ведь все решат, что ты придумал это имя просто для рифмы,— забеспокоилась Фанни, когда вечером я показал ей эти стихи.

---

[1] Имена семи легендарных венгерских вождей, впервые обосновавшихся со своими племенами на территории нынешней Венгрии.

[2] Перевод К. Валентинова.

— Но его в самом деле так зовут,— засмеялся я, а впрочем, пожалуй, мы сейчас припишем... погоди-ка:

Твердит, всему вопреки,
воротясь из Америки·
— Я Эдуард!
Не Эде я! —
Эдакая комедия[1].

— Ой,— смеялась Фанни,— лучше уж ничего не приписывай, а я и так поверю, да и другие тоже.

Действительно, дядю Эдуарда только мама зовет по-прежнему Эде. Вернувшись из Америки, он всюду пишется Эдуардом, и так зовут его все, ему это нравится.

Мы сидим друг против друга на веранде, на полу, возле кресел стоят наши стаканы и бутылка легкого, с песчаников, вина. На только что политом полу вино дольше остается холодным, к тому же Эдуард любит класть ноги на стол, и легкий садовый столик-хромоножка свободно может опрокинуться.

— Ну-ну, поговорим немного и о литературе, племянник, о семье-то болтать какой интерес,— почесывает короткую бородку Эдуард,— ну, как там рифмы, племянник? Режут, как бритва, а? Режут?

— А как же,— бормочу я кротко, почесывая Кормоша за ухом.

— Блох наберешься от пса, так и знай! — ревнует Эдуард. Собака, будто почуяв, что́ стоит за этой фразой, лениво встает, плетется к Эдуарду и опускает голову ему на колено. Оба, мигая, смотрят на меня. Мама стоит между нами, настороженная, в любую минуту готовая и накинуться и мирить.

— И что ты его вечно обижаешь, Эде, ведь он не только поэт, но и учитель! А уж это настоящая профессия, тут даже ты спорить не станешь. Разве он виноват, бедняжка, что никак не получит места!

— Сколько лет без места! Да за это время мог бы столяром-краснодеревщиком стать. В Штатах давно бы уже... И что это я все задираю тебя, а? — поворачивается он ко мне, смеясь заблестевшими вдруг славными глазами.

— А помнишь? — спрашивает мама в парке.— Помнишь, ты не любил шпинат, терпеть не мог... а потом вдруг стал преспокойно есть его, ни настаивать больше не приходилось, ни ссориться. Что за чудеса?.. Но как-то нам бросилось в глаза, что очень уж пухлая у тебя рожища после обеда. Оказывается, ты не глотал шпинат, держал его за щеками! И нынче ума не приложу, как тебе удавалось остальное-то все есть. Ох, и смеялись мы с бедным отцом твоим... С того дня тебе велено было после обеда подходить к нам и открывать рот, мы оба сурово в него заглядывали, а сами от смеха только что не лопались...

— Не помню,— улыбаюсь я.— Погоди, что это?

От дома неслось безобразное дребезжанье.

— Гонг! — Мама отвешивает мне торжественный поклон.— Последняя игрушка Эде... Он зовет нас обедать.

Эдуард в спортивной рубашке и совсем ветхой широкополой соломенной шляпе стоит на ступеньках веранды и деревянной ложкой колотит по жестяной крышке. Короткая колючая борода его сияет радушием.

— Суп подан,— сообщает он нам с поклоном.

Он постоянно что-нибудь придумывает. Теперь-то уже лишь та-

---

[1] Перевод К. Валентинова.

кое, что обходится даром. А вот эту маленькую усадьбу он приобрел — и, как говорят, втридорога — двадцать лет назад, вернувшись из Америки. Господский дом строил Лехнер[1], Эдуарду понравилось, и он купил имение. Усадьба и вправду очень ему под стать. Одичавший парк он оставил в неприкосновенности, даже притронуться не разрешил никому, только наладил фонтан да разыскал в одном из сараев и вытащил на свет божий старое украшение — каменное изваяние писающего мальчика. По парку изредка разгуливают гости, сам Эдуард двигается мало, у него больные колени. «В Штатах, бывало, по девяносто шесть часов подряд приходилось в поездах трястись, вот эти поезда и вытрясли мне хрящи из колен,— рассказывает он (мнение врачей его не интересует). И тут же добавляет таинственно: — А все ради проклятой этой монархии[2]! Я там с тяжелой промышленностью дело имел, заключал большие сделки, они мне многим обязаны».

В его усадьбе небольшой огород, два ряда кустов смородины, в конце парка пять персиковых деревьев, в хозяйстве две лошади, две дойные коровы, четыре подсвинка на откорме да целое войско домашней птицы, вот и все доходы. Еще он построил резервуар, чтобы вода текла прямо из крана. На круг ему приходится и приплачивать, едва хватает на гостей да на сигары. Зато шофер такшоньского автобуса встретил меня словами: «В *барский* дом ехать изволите? Остановлюсь, а как же». Домой привела Эдуарда тоска по родине, но счастливым его делает вот этот вопрос. Он и пару павлинов держит — вероятно, по той же причине. Птицу свою он знает поголовно, держит всю в памяти, каждую зовет по имени. Однажды случился с ним сердечный приступ, а рассказывает он об этом так: «Вдруг сердце мое будто под пресс положили, даже затрещали ребра. Сижу, глаза вытаращил. В золотистом бульоне плавают красивые пятна жира, а на вилке у меня — ножка Лиди...» Непосвященные гости начинают переглядываться, мы же смеемся. И Лиди эту я знал, суматошная была темно-коричневая курица, одна из любимиц Эдуарда. Он и поныне подозревает некую тайную связь между «преображеньем» курицы и своим сердечным приступом.

Мы едим молча, истово, только Кормош ворчит иногда, покончив с костью и требуя следующую.

Эдуард управляется с большим куском тушенной в хрене говядины, еще и за столом добавляет хрену, кулаком утирает слезы, бросает вилку на стол и восклицает, обращаясь ко мне:

— О главном-то я и забыл! Как Фюлёп?

Вздрогнув от неожиданности, отхлебываю стоящий передо мной ледяной фреч и небрежно бросаю:

— На прошлой неделе его выбрали в Академию.

— Куда? — У Эдуарда округляются глаза.

— Во французскую Академию,— отвечаю с невозмутимым видом.

Мама подносит к губам салфетку, в глазах ее пляшет смех.

— В газетах что-то не попадалось... а ведь если б правда, я не пропустил бы,— зловеще колеблется Эдуард.— Ты-то читал своими глазами?

— Читать не читал,— отвечаю скучливо,— здешние газеты им не интересуются, ведь он футурист, но мне из Академии написали. Он на место Виктора Гюго избран!

Мама не выдерживает, смеется.

— Убью! — бушует Эдуард, стуча по столу, потом тоже хохочет.

Фюлёпа знает вся семья. Как-то в воскресенье, года три назад, я

[1] Имеется в виду, очевидно, Лехнер, Эден (1845—1914) — известный венгерский архитектор.

[2] Речь идет об Австро-Венгрии.

задремал после обеда в парке. На земле, рядом с шезлонгом, лежала книжечка стихов Филиппа Супо[1]. Эдуард проходил мимо, поднял тоненькую книжицу, почитал. И когда, часам к пяти, я проснулся, Эдуард уже устроил на веранде громкую читку; он стоял, расставив ноги, на столике перед ним — Ларусс, в руке — Супо, он с ходу переводил стихи окружившим его Беле, дяде Миклошу, местному священнику из В. и кучеру Ференцу. Слушатели корчились от смеха.

Docteur Breton va a Gien
par un temps de chien.
Il est tombé dans un trou
on ne sait où[2],—

задыхаясь, читал он в тот момент, как я подошел.

— Ну, что такое Виктор Гюго в сравненье с ним! — загремел он торжествующе, едва завидев меня.— Вот кого нужно читать, а не Виктора Гюго!

И Филипп Супо вырос в символ, Эдуард объявил его футуристом и переименовал, на венгерский лад, в Фюлёпа. А я стал изредка получать от него открытки; однажды на открытке был изображен парижский Нотр-Дам, в другой раз — Брюссельская биржа. На почтовом же штемпеле гордо значился Такшонь. «Случайно прочитал в воскресной газете твое стихотворение. Такое впору хоть Фюлёпу! Обнимаю — Эдуард». Или: «Получил бандероль с твоей книгой, благодарю, половина стихов чисто Фюлёповой глубины. Продолжай в том же духе. Э.»

Фюлёпа знали уже все. Даже дядя Мергеш, столяр из Б., который время от времени ремонтировал в доме мебель под личным наблюдением Эдуарда, среди густой англо-венгерской брани.

Впрочем, мы любим друг друга, и стычки всегда кончаются миром. Мы сидим, попиваем вино, я рассказываю о Париже, он, подмигивая,— об Америке. В обоснование своих взглядов на жизнь оба придумываем короткие и хлесткие историйки.

— Ты настоящий сказитель, Эде,— замечает иной раз мама, сидящая тут же с вязаньем, и Эдуард взвивается:

— Может, уж сразу и поэтом обзовешь? Все, что я рассказываю, истинная правда!

Но иногда я с улыбкой узнаю в его американских историях анекдоты Миксата, подштопанные и расцвеченные нью-йоркскими красками, однако Эдуард в этих случаях не замечает моей улыбки: источник уже затонул в его подсознании.

А когда спускается непроглядно темная, гулкая ночь, он берет палку, берет кучерской фонарь и, покачивая им, ковыляет впереди нас на больных своих ногах — ведет к автобусу. Ковчег подходит, Эдуард ласково трется об меня бородой. Рука об руку, стоят они с мамой в дорожной пыли и смотрят мне вслед.

На непроглядно темной станции ожидаю поезда, не думаю ни о чем и вдруг вижу словно наяву жест — мамин жест: мы устроились с ней в парке, собираясь чистить горох, и мама — *надела очки.* Она никогда не носила очков. На маленькой темной станции раздается удар колокола — то звонит само время.

В плохо освещенном дребезжащем вагоне я возвращаюсь из детства домой. Глаза то и дело смыкаются, а если я выглядываю в окно,

---

[1] Супо, Филипп (род. в 1897 г.)— французский поэт и прозаик, один из родоначальников сюрреализма, как и упомянутый в цитируемом ниже стихотворении Андре Бретон (1896—1966).

[2] В Жьен торопится доктор Бретон
погода собачья — он возмущен.
По дороге в яму упал
ни за грош бедняга пропал *(франц.).*

оттуда смотрит на меня обросшая физиономия, пронизанная россыпью подслеповатых огней.

Вдруг разом сон слетает с меня: из дальнего конца общего вагона, из навевающего дрему жужжания слышу женский голос, этот голос на линии Такшонь — Апорка — Дёмшёд недоумевает по-французски: «Tu crois que c'est pour cela?» И другой женский голос отвечает, пожалуй, чуть-чуть поучительно: «Je ne le crois pas, je le sais. Tout de même, l'enfance c'est quelque chose!»[1]

Поезд останавливается, люди торопятся к выходу, а я все прислушиваюсь. Когда же поднимаю глаза, в дверях исчезает канареечно-желтое вязаное пальто.

«Выходят!» — пугаюсь я, мне так хочется услышать продолжение разговора. Хватаю с полки свои вещи, выскакиваю. Вокзал Ференцвароша[2]. Я спешу к выходу, те два голоса исчезли, желтое пальто исчезло.

— Великая штука — детство! — бормочу я, мучаясь и чувствуя, что должен безотлагательно вспомнить что-то, имеющее отношение к этой фразе, но мне ничего не приходит в голову...

Ах, ну конечно, Жан! Тревога сразу отпускает меня. Это сказал Жан, и много лет тому назад. А вчера Жан приехал из Парижа, мы с ним поужинали, потом я вернулся домой и начал писать про Аги.

— Великая штука — детство,— говорю я, теперь уже улыбаясь, и, слегка поклонившись, аплодирую себе.

Суббота. Мы решительно ничего не делали в то время. Под сводами «Одеона» или на набережной рассматривали книги, скучающе и упорно. Слонялись среди развалов, священнодействуя, рылись в ящиках, иногда вслух читали друг другу двадцать строк из Расина или два-три периода Боссюэ. Иногда по нескольку минут вместе разглядывали прескучную гравюру, пока не сводило спину, и тогда одинаковым движением обеими руками хватались за поясницу. Со стоном распрямлялись, потягивались.

В тот день, свесив запыленные руки, мы устало брели к Люксембургскому саду. Жан Ситаден молча шел рядом со мной и небрежно, даже не сложив трубочкой губы, насвистывал какую-то детскую песенку. Потом ему надоело, и он лишь негромко, сквозь зубы втягивал воздух. Меня это раздражало, я покосился на него.

— Ну, а ты по-прежнему любишь Кокто? — спросил он воинственно.

Я подружился с Жаном Ситаденом еще на родине, в маленьком провинциальном городке. Он приехал туда на три дня — навестить приятеля и остался на два месяца — из лени. Загорелый, он сердито шагал в тот день со мной к окраине городка. Мы ходко двигались среди круглоголовых акаций.

— Кокто фокусник,— объявил он, подняв указательный палец. На кончике пальца, словно перебегающий ударный слог, возникали одна за другой кроны акаций. За заборами надрывались собаки, но он даже не замечал их.— Кокто фокусник, а фокусников я не люблю. Они жулят. И Кокто жулит. За его фокусами ничего нет. Поэт не должен показывать фокусы, поэт должен брать меня за душу! Как Вийон, как Ронсар, как Верлен!

— Это точка зрения читателя, но ты-то поэт! Для поэта твоя эстетика чересчур однопланова. Эмоциональная эстетика!

---

[1] «Ты думаешь — поэтому?» — «Я не думаю, я знаю. Все-таки детство — великая вещь!» *(франц.)*

[2] Окраинный район Будапешта.

— Нет, я пока не поэт,— запротестовал он.— Меня еще слишком занимает язык, он ставит передо мной препятствия, он недоброжелателен ко мне и упрям, по стихам еще видно, что они написаны. В них еще много показного, много фокусов. А я же сказал, что фокусов не люблю. Стихотворение должно выражать чувства — как свист, как стон или хоть как икота после попойки. Чтобы не чувствовался материал, из которого оно сложено. Разве, глядя на Страсбургский собор, ты ощущаешь камень?

Обычно мы выходили тогда в полдень, домой же нас провожала луна. Кокто был лишь поводом для спора, и мы спорили, спорили как одержимые.

Теперь он опять жаждал со мною сцепиться. Мы давно уже с ним не спорили, даже разговоров настоящих не затевали. Лениво и бесцельно слонялись по Парижу, убивая время. Оба бездельничали. Иногда спали целые дни напролет, иногда по нескольку суток почти не спали.

Мы бродили по городу, глазели на витрины, под вечер часами простаивали на набережной у книжных развалов, читали, сидели на площадях, играли с детьми и заигрывали с девушками, часто с одной девушкой — вдвоем, часто вдвоем — с дюжиной детей.

— Итак? — спросил он.

— Люблю,— ответил я самому себе,— несколько его стихотворений непременно переведу на венгерский.

— Соблюдая форму! — договорил Жан, насмешливо подчеркивая слово «форма».

— Вот именно! — рассердился я.— Не то, что вы, стихотворение переводите прозой! Вот, например, Малларме, он ведь колоссальный мастер формы, так? — внезапно приоткрыл я западню.

— Разумеется,— тотчас бросился в нее ничего не подозревающий Жан.

— Ну, так вот, этот колоссальный мастер формы и присяжный поклонник английского языка перевел «Ворона» По в прозе — и как же, позволь спросить, передает он то слово, которое без конца твердит ворон — знаменитое «Nevermore»? Jamais plus! Скажешь: именно это оно и означает! Знаю, только мало ведь этого для блаженства! В английском слове заключено нечто мрачное, переворачивающее душу, оно на что-то намекает, чем-то напоминает воронье карканье... Вот почему это оказалось таким крепким орешком для наших поэтов, ведь самые крупные наши современные поэты переводили «Ворона», *соблюдая форму*, но с этим словом мучились особо. И вот один из них перевел так — пусть судит твой слух, ты только прислушайся, как оно звучит: «Шохамар!»

Лицо Жана неожиданно озарилось, как будто ему блеснула какая-то тайна, он спросил шепотом:

— Послушай, а как по-вашему кричит ворон?

— «Карр»,— ответил я, недоумевая,— ворон кричит по-нашему «карр». И глагол отсюда — каркать.

— Так и кричит? — покачал головой Жан.

— Именно так,— настаивал я.

— Ну, видишь, а по-французски ворон кричит иначе. Он хрипит всего-навсего: крр... крр... И ты что же, думаешь, по-английски ворон кричит: мор... мор... Вот и вся цена вашей верности форме!

Я рассвирепел, преградил ему дорогу.

— А ну, послушай!.. Ты знаешь «Detestatio belli»[1] Тибулла? Деся-

[1] «Проклятие войне» *(лат.)*.

тую элегию первой книги? Ту, что начинается словами: «Quis fuit, horrendos primis qui protulit enses»?

— «*Quam ferus et vere fereus ille fuit* »[1] ,— смеясь, продолжил цитату Жан.

— Ах, прости, я и забыл, что ты на греко-латинском отделении,— отпарировал я насмешливо.— Так вот, я перевел это на венгерский, разумеется, дистихом, со-блю-да-я фор-му, ты такое и вообразить себе не можешь, а? Ну, да это и неважно, ты только послушай: «Divitis hoc, vitiumest auri, nec bella fuerunt», восьмая, то ли десятая строка: «*Faginus adstabat cum scyphis ante dapes!*»[2] А теперь прислушайся к этому венгерскому дистиху:

Mindez a sárarany átka, sosem volt háboru addig,
míg kopogó tapohár járta a víg lakomán.

— Неплохо,— с удивлением проговорил Жан.

— Неплохо? — переспросил я яростно.— Великолепно! Этот пентаметр красивее, чем у Тибулла, он безукоризнен, нигде не замедляется и оттого еще лучше передает настроение... Mig kopogó fapo-hár jár-ta a víg lako-mán!

— Красивее, чем у Тибулла? — Жан недоумевал.

— Только эти строки,— скромно заметил я,— ты же сам слышишь.

Строки и в самом деле понравились Жану, он попросил повторить их, повторил и сам вслед за мной присвистнул, но тут же объявил, что это следует рассматривать как самостоятельное произведение, а не как перевод, потому что он не точен, не достоверен.

— Достоверность же самое важное,— вскинул он указательный палец,— вот почему переводить, соблюдая форму, нельзя. Верность форме! Тогда передай и спондей в этой строке, пусть она не будет красивее, пусть уж тогда полная адекватность... Мы же точны действительно, мы не устраиваем из чужих стихотворений забаву, мы с полной достоверностью пересказываем их по-французски.

— С полной достоверностью? Забывая о форме? Да какая же может быть достоверность, если стихотворение утеряло форму?! Форма важна, мой дорогой. Это она трогает сердце! Даже какой-нибудь аллитерации нельзя лишить стихотворение безболезненно. Что? Невозможно, говоришь? Ты прав. Но ведь можно найти аналог оригиналу. В последующей строке возместить то, что утерял в предыдущей, тогда стихотворение в целом не пострадает! Это будет уже нечто другое? Но чего ты не понимаешь? Ах, личное дело? Ну что же, изволь.

Он пробормотал что-то сквозь зубы. Я видел, трудности перевода его больше не занимают. А мне был интересен этот спор, я только что начал знакомиться с тайными, интимными тропами французской литературы, куда еще не ступала нога иноземных зевак, французская литература покоряла меня, потому-то и понадобилась эта небольшая хула, эта самооборона... Я оскорбленно молчал.

Жан втянул меж зубами щеки, прикусил их. Так и вышагивал рядом со мной, опустив голову, с искаженным лицом. Мы вошли в сад. Брели, ногами подбивая камешки. Среди деревьев уже разливался золотистый свет утомленного дня, крикливая детская многоголосица слиняла в однообразное гуденье. Мы сели возле фонтана, носками туфель уперлись в решетку, покачиваясь на стульях.

---

[1] Кто это был, что мечи ужасные выдумал первый?
Что за жестокий он сам, что за железный он был! *(лат. Перевод А. Фета)*

[2] Золота это вина богатящего, войн не бывало,
Как при трапезе стоял буковый только бокал *(лат. Перевод А. Фета).*

Жан приставил к носу указательный палец и молчал. Я наблюдал за рыбками, смотрел, много ли кубшинок открылось со вчерашнего дня. Словно по ним следил за временем. «Старею»,— подумал я и внутренне заторопился. Как будто куда-то опаздывал. Но я знал: так бывает со мною всякий раз, когда день переливается в вечер, и потому не двинулся с места.

— Любопытно.— Жан вдруг перестал раскачиваться на стуле.— Любопытная вещь — ассоциативность представлений.

— То есть? — спросил я оскорбленно, с наигранным безразличием.

— В детстве я любил вот так же подпирать нос пальцем и часто получал за это шлепок по руке.

Я выжидательно раскачивался.

— И сейчас мне вспомнилось... да так, будто только что произошло,— задумчиво продолжал Жан.— Мне было лет восемь-девять. Жили мы тогда в Вожираре. Мама была еще дивная красавица... У мочки уха — голубоватое родимое пятнышко. Как след от укуса. Мужчин, наверно, так и тянуло укусить ее. И вот к нам пришел дядя Жак... папа работал в это время в конторе...

Дядя Жак — «знакомый», но папа его не любит. Дядя Жак часто приходит в те часы, когда папа на службе. Это крупный пятидесятилетний мужчина с белыми волосами и красной физиономией. Я знаю, что он нам помогает. *Как именно* помогает, не имею понятия, и зачем это делает, тоже не задумываюсь особенно. Но что мы дяде Жаку благодарны — это я уяснил. Словом, я и люблю его и ненавижу. Ненавижу потому, что он любит маму, и потому, что не любит папу, а папа — его. Люблю, потому что его приход всегда — событие. Едва он уходит, начинается ссора, и нам с Клер, младшей моей сестренкой, часто попадает, но зато когда появляется, непременно приносит какой-нибудь подарок. А мы редко получаем подарки. Папа бедный...

В то время я неутомимо и самозабвенно рисовал; дядя Жак рисунки хвалил и не поправлял гадкими жирными линиями, как мой родной дядя, художник. За это я его тоже любил. Рисование было для меня тогда страшно важно: мой брат Пьер был старше меня всего на четыре года, но уже не жил дома — учился рисованию, квартировал у нашего дяди, имел делишки с женщинами, чем передо мною и хвастался.

Одним словом, в тот день, о котором идет речь, дядя Жак преподнес мне переплетенный в мешковину альбом для эскизов, а Клер — шоколад. Мама выпроваживает нас в другую комнату. Но Клер — упрямица, она ни за что не желает уйти. Я не сопротивляюсь. Где-то гнездится во мне крохотка ненависть, но радость из-за альбома, смешанная с благодарностью, подавляет ее. Клер всхлипывает, сидит на полу, злые слезы капают одна за другой, она громко, отчаянно уплетает за обе щеки шоколад. Очень хочется попросить, но я знаю, не даст. Достаю карандаш и ластик, ложусь на пол и рисую пейзаж — замок на вершине горы. Своим рисунком я недоволен — может быть, просто альбом слишком красив. Слышу, как в двери осторожно поворачивается ключ. Кошусь глазом на Клер, слышала ли. По ней ничего не заметно. Сидит с сосредоточенным видом на полу и складывает серебряную бумагу. Я долго рисую. С оскорбительной внезапностью открывается наружная дверь. Мы вскакиваем. Запертая дверь распахнута, мы вихрем мчимся через комнату. За следующей дверью мама и дядя Жак отскакивают друг от друга.

Жак вцепился руками в свой стул, он больше не жестикулирует и, отвернувшись от меня, упорно глядит на воду. Чувствует, что я смотрю на него. Чуть пожимает плечами и скучающим тоном продолжает:

— Мама была вся красная, растрепанная, дядя Жак и всегда-то красный, а тут он еще и сопел. Меня погладил по голове и тут же дал щелчка. Я с этими щелчками и сейчас никак не возьму в толк — кого они должны радовать? Того, кто их получает, что ли? Или того, кто щелкает? Мне во всяком случае это не нравилось. А ведь я, кажется, был вполне воспитанный мальчик! Сестру дядя Жак поцеловал, но Клер тут же лягнула его. Мама дала ей подзатыльник, дядя Жак смеялся, а Клер ревела что было мочи, в голос...

— Ну? — повернулся я к Жану Ситадену, который, задумавшись, глядел куда-то перед собой.

— Что ну?

— Что ж дальше?

— А ничего,— ответил он и встал. Мы пошли к выходу. Шагали медленно, сосредоточенно. Быстро наползали жидкие сумерки.

— Но теперь я, пожалуй, понимаю,— пробормотал Жан себе под нос.

— Что? — спросил я резко, вспомнив вдруг, что обиделся на него.

— А то...— Он сделал рукой примирительный жест.— Видишь ли, днем, перед тем как мне зайти за тобой, мы с Луизой здорово поцапались..

Я молчал.

— Я стал звать ее к себе, мол, осточертело мне это кудахтанье, я не Ромео. Она отказалась, мы поссорились. Попрощались за руку, и вдруг она сказала мне такую фразу: «Беда в том, Жан, что моя мама никогда не обманывала отца...» Понимаешь? — спросил он меня, прищурясь.

— Чего ж тут не понять,— пожал я плечами,— и ты думаешь...

— Я не думаю, я знаю. Великая штука — детство.

Жан засвистел и огляделся вокруг с каким-то недоумевающим видом. Потом сунул руку в карман, вяло взял в рот сигарету и с заговорщицкой усмешкой курильщиков попросил огонька у старого господина, который стоял в воротах сада, глазея по сторонам.

Вторник.— Я помню детство языком,— сказал Жан как-то ночью в Париже,— едва вспомню, и вкусы разные чудятся. Часто и вспоминаю-то из-за какого-нибудь вкуса. А иногда,— добавил он стеснительно,— запах женщины вдруг напомнит...

— А я слышу голоса,— отозвался я,— иногда только шумы, иной раз мелодию, а то вдруг сразу целые диалоги. И еще — когда услышу, что кто-то умер... смерть всегда напоминает мне детство...

Я встаю, выпиваю стакан воды, выхожу на балкон; ночью бушевал ветер, он совсем вырвал одну белую петунию; я вставляю цветок на место, приминаю землю, мою руки — словом, всячески убегаю... потом все-таки опять сажусь к столу, прислушиваюсь. И слышу, как жужжат мухи, сонмища мух вьются надо мной. Я смотрю на них изо всех сил, жужжание стихает, крохотные голые лапки шлепают по земле, и я вижу, хотя тогда-то как раз не видел,— язычки пламени подымаются из следов, подымаются, колышутся. Пыль. Лапки бегут-скользят под окном, они уже проторили светлую полоску. Я покачиваю большую ветку орешника, отгоняю мух от папиного лица и чувствую, не оглядываясь, что в просвет между занавесками на меня смотрят. Пишта и Фери ждут, томятся, им хочется играть.

И опять слышу жужжание мух.

В жужжание вплетается чуть слышный звук, почти вздох, мое имя. Меня зовут. Я не двигаюсь, но прислушиваюсь. На потное папино лицо садятся две мухи, ползут, но стоит мне шевельнуть веткой, улетают. Меня опять зовут. Втискиваю каблуки в пол, выпрямляю спину;

уйти мне нельзя, отец болен, и мухи не дают ему спать. «Этим лишь бы поиграть!» — сержусь я.

— Ты ступай... поиграй,— слышу вдруг сиплый усталый голос отца и в испуге взмахиваю веткой. Все-таки я зазевался, и мухи разбудили его. Я качаю ветку и смотрю на отца, его глаза закрыты.

— Ступай, сынок,— говорит он тихо, не открывая глаз.

— Не хочу,— отвечаю быстро и обиженно.

— Тебя же зовут играть, не слышишь?

— Никто и не зовет.— Я чуть-чуть переступаю ступнями.

А под окном снова шепот, уже громче. Папа опять спит. На занавеску падает круглоголовая тень, это стриженный наголо Фери, он вскидывает руки, выбрасывает их вперед, голову пригибает к плечу, сжимает кулаки, щелкает пальцами, тихо выпаливает для верности: «Паф!» Тень черно трепещет под окном. «В полицейского — воров» зовут играть! — щемит внутри. Я покачиваю веткой, не отвечаю, вдруг тень отбегает от окна, следом вдоль занавесок проносится вторая — Пишты.

А я все покачиваю веткой, мухи иногда сцепляются, гудят, я пытаюсь поймать их свободной рукой.

Дверь осторожно отворяется, издав протяжный стон; на пороге стоит дядя Миклош, мамин свояк, у которого мы живем. Дядя Миклош утирает лоб, приваливается к дверной раме, косяк громко скрипит.

— Тссс,— шиплю важно и укоризненно.

Он пугается; качнув подбородком в мою сторону, вопросительно смотрит. Я пожимаю плечами. Понурясь, он на цыпочках уходит, забыв прикрыть за собою дверь. Я почти сползаю со стула, сижу на самом ребре и не знаю, как поступить. Подойти к двери — отца тем временем разбудят мухи, оставить дверь открытой — потревожит шум из кухни.

В двери появляются мама и тетя Маргит. Они входят бесшумно, останавливаются у изголовья кровати и молча смотрят на отца. Это длится очень долго, потом мама подает мне знак и выходит. Я иду за ней, а тетя берет ветку, садится на стул и начинает медленно обмахивать отца. Выйдя на кухню, мама опускается на скамеечку, притягивает меня к себе, ставит между коленями, обеими руками сжимает мне локти.

— Ты у нас уже не ребенок, ты большой мальчик, правда же? Ведь тебе двенадцать лет!

С подобающей случаю серьезностью киваю.

— Папа очень болен, здешний доктор не знает, что с ним, говорит, чтоб везли домой, в Пешт. В больницу. Ты как считаешь?

— Что ж, повезем в Пешт,— говорю я, польщенный и растроганный тем, что мама просит у меня совета.

— И я так думаю, но как это сделать? У дяди Миклоша работы по горло, тетя Маргит стряпает на всех нас, я не могу оставить папу и Аги... Ты один здесь тоже не справишься, да и нельзя нам везти его ни на поезде, ни на телеге. Знаешь, что я надумала? Ты поедешь в Пешт, пойдешь на улицу Хаднадь к дяде Кари, расскажешь, что тут у нас, и пусть дядя Кари сладится с каким-нибудь шофером да пештского доктора с собой привезет. Хорошо?

— Хорошо... Ну, так я пошел! — Делаю движение, но мама крепко сжимает меня коленями.

— Погоди, послушай еще, что скажу. Сейчас тебе идти незачем, на дневной поезд уже не поспеть, а следующий будет поздно вечером. Вот я и хочу с тобой обсудить. Ты знаешь, отсюда по шоссе до станции полтора часа ходу, выйдешь загодя, чтобы не спешить; будет, конеч-

но, темно, вечер ведь, но ты же не станешь бояться, верно? Виннету[1] никогда не боится! Понимаешь, у свиньи Юци вот-вот поросята будут, от нее теперь отойти нельзя, так что проводить тебя сегодня некому... Ты не устал? Не хочешь прилечь немного? Или играть побежишь? Ну, ступай!

Мама шутливо хлопает меня по спине и возвращается в комнату. Я иду за ней следом, хочу сказать, что не буду бояться в дороге, но она уже открывает дверь.

— Слышишь, а ведь он помрет, бедняга! — доносится до меня шепот тети Маргит.

Ничего не видя вокруг, выхожу во двор, сажусь на чурбак для колки дров, ногтями выковыриваю вокруг себя щепки, собирая в ладонь. Сижу так до вечера, пока не зовут ужинать.

Я чувствую себя разбитым, глаза слипаются, на дворе хлещет как из ведра; стою на пороге, мама натягивает мне на лоб капюшон пальто, завязывает шнурки на ботинках, кладет в верхний кармашек деньги на дорогу, застегивает клапан. Тетя Маргит сует в боковой карман яблоко.

— Не нужно,— говорю я,— вон как выпирает.

— Бери, бери, в поезде пригодится,— уговаривает мама. Она поворачивает меня, еще раз оглядывает со всех сторон.— Ну, ступай, поцелуй Аги — и в путь. Она там, с папой.

Я вхожу на цыпочках, лампа коптит, Аги сидит на стуле и отгоняет мух. Увидев меня, складывает рот треугольником, как всегда перед тем, как заплакать, в уголках глаз набегают слезы. Она влажно целует меня в нос, я тоже ее целую и, как взрослый, глажу по голове. Кошусь на кровать, отец спит, скулы заострились, на подбородке сильно отросла щетина, лоб блестит от пота.

— Папа,— зову чуть слышно.

— Ты что, не видишь? Спит он! — шипит Аги.

Я сгоняю с одеяла муху и выхожу. Дядя Миклош обдает меня винным перегаром, тетя Маргит — запахом соуса, дольше всего остается со мной приятный аромат маминого мыла. Держась за руки, выходим с ней под дождь, мама в накинутом на плечи платке провожает меня.

— Возвращайся домой, мама, промокнешь,— говорю я, но она идет со мною до распятия, до самого шоссе. Еще раз крепко прижимает к себе и бегом пускается к дому. Платок трепещет на ветру, чудится, будто бежит по дорожке ангел, потом уже виден только этот белый платок, одиноко парящий в воздухе,— привидение, бесплотное привидение. Я испуганно отворачиваюсь и торопливо шлепаю по грязи. Яблоко давит в бок, я вынимаю его из кармана, откусываю; подымается сильный ветер, дождь забивает в лицо, в рот, кажется, даже нос уже полон разжеванным яблоком и слезами, а сердце — я чувствую — странно ширится. Хочу отшвырнуть яблоко прочь, но почему-то лишь опускаю тихонько в грязь. Мелким шажком семеню по вымершей, черно поблескивающей дороге, бреду, втянув голову в плечи, и отчаянно трушу. Шумит дождь, шумят и поскрипывают деревья. Вдруг слышу шаги, припускаюсь бегом, сзади тоже слышится бег. Останавливаюсь — шаги затихают. То и дело озираясь, бегу дальше. Навстречу приближается велосипед, раскачивается фонарь в темноте, я отступаю к самому кювету и замираю. «А вдруг — убийца»,— дрожит все внутри. Велосипед разбрызгивает в стороны грязь, на нем, привстав и ругаясь сквозь зубы, выжимает педали мужчина. Меня он не замечает. Я снова пускаюсь в путь, мои ботинки разбухли от воды, рубашка липнет к шее. Из тьмы с жутким, хоть и бесшумным притопыванием одно за

[1] Индеец, герой популярных в начале века романов Карла Мая.

другим возникают деревья, они заступают мне путь, и нужно чуть ли не расталкивать их, чтобы пройти. Я беспрерывно оглядываюсь, позади колышутся белые тени — такие видятся иногда ночью дома, в окне,— тощие, трепещущие, они клонят головы направо, налево. Уже возле самой станции с хутора Ференци выскакивает, захлебываясь лаем, собака, бросается с ходу ко мне и тут же тормозит всеми четырьмя лапами, одолеваемая страхом,— она бы и остановилась, но первоначальный порыв подкатывает ее к самым моим ногам. Коротко взвизгнув, я встречаю ее пинком, она с визгом пятится, щелкает зубами, оба испуганные, мы скользим в разные стороны. Я вижу только ее зубы да белки глаз, знаю, что бежать нельзя, отступаю медленно, она немного провожает меня свирепым лаем и вдруг несколькими большими скачками исчезает.

Я кладу перо, сердце прыгает так, словно я бежал, словно чудом избавился от опасности. Опускаю голову на руки. Стол глухо гудит, влажный ветер шумит средь листвы. Может, дерево помнит о живой своей жизни? Я кладу на столешницу ладонь, она вот-вот округлится, эта доска!

...И за завесой дождя вижу станционный фонарь, он то гаснет, то вспыхивает вновь. Ветер, что ли, крутит его? Меня томит новая тревога — предстоит купить билет. Толкаю станционную дверь, на шею потоком льется вода. В темноте задеваю стол, на шум вспыхивает лампа. «Кто там?» — спрашивает чей-то голос. Я иду на свет, останавливаюсь перед окошком.

— Чего тебе? — Мужчина, в одной рубашке, кулаком протирает глаза.

— Мне билет до Пешта.

— Еще тридцать минут,— ворчит кассир, подымается с лавки, надевает тужурку, с официальным видом садится к столу, отрывает билет, ставит штемпель, деньги со звоном бросает на стол.— Посиди покуда, он просигналит, как подойдет.

Я сижу в темноте и только сейчас вспоминаю об отце. Слышу голос тети Маргит — так он умрет? — и не очень все понимаю. Но втягиваю живот и весь съеживаюсь. Должно быть, происходит что-то ужасное, если меня посылают в Пешт среди ночи, когда люди спят,— среди ночи и совсем одного. А если я умру по дороге, если разбойники пустят под откос поезд, тогда что? И дядя Кари так и не узнает, что ему нужно делать?! Все-таки дядя Миклош как-то не так умер бы, как, может быть, я, да и поезд, если бы ехал он, может, вовсе не сошел бы с рельсов. Право, он мог бы поехать несмотря на свою Юци... И вдруг меня обволакивает дремота, и я становлюсь спокойным и гордым.

«Мне доверили»,— мелькает мысль, и голова моя падает.

От звонка пробуждаюсь, но вскоре опять сплю, вдыхая запах сырой одежды. Я сижу между двумя необъятными юбками, две торговки греют меня своим телом, волглые жесткие юбки укрывают, я соскальзываю пониже, на меня опадает тьма.

В комнате сгущаются сумерки, с полок сбегают длинные тени, далекие закатные горы склоняются к моему окну. На аптеке напротив загорается светящаяся надпись, отбрасывает на потолок трепе-

щущее красное зарево. Что я помню еще?.. Зябко смотрю на белеющую передо мной бумагу. Полусонный, я стоял перед Восточным вокзалом, в медленном рассвете плыли трамваи, в воздухе колыхалась темная кисея... Скрип ключа в двери — это возвращается Фанни, она входит неслышно, я чувствую ее поцелуй на лбу; чуть шелестя юбкой, бесшумно движется по комнате, включает лампу над креслом.

— А ведь папа умер тогда, ты знаешь? — говорю я внезапно.

— Знаю,— выдыхает она ласково. И не удивляется.

— Но скажи, как же я добрался тогда от Восточного вокзала до улицы Хаднадь?

— Не знаю, дружок.— Она накрывает стол к ужину.

И вот я позвонил в их квартиру — это был старый дом с высокими дверьми, я едва дотянулся до звонка. Долго ждал, потом позвонил еще раз. Дядя Кари стоял в дверях, длинный-предлинный, и рукой стягивал на шее длинный ночной халат. А рядом с ним стояла тетя Хильда в одной сорочке и была еще длиннее, чем дядя; она была пруссачка.

— Ради бога, что случилось? Откуда ты? — сверху спросил меня дядя.

— Меня послала мама, чтобы вы договорились с шофером и доктором, потому что папа умрет!

— Was sagt er?[1] — спросила тетя.

Там же, у порога, они оба одновременно опустились на корточки рядом со мной.

— Ты знаешь, ведь мы с Аги даже на похоронах не были! — сказал я Фанни уже во время ужина.— Через несколько дней мама забрала меня от дяди Кари к одной знакомой тетушке, там была уже и Аги. Мама приходила каждый вечер, ночевала она с нами. «Папа очень болен, его даже навещать нельзя»,— говорила мама и все плакала, каждый вечер. Носила она белое платье, но слезы непрерывно катились по ее лицу. Поначалу, видя ее такой, мы затихали, но постепенно как-то свыклись с тем, что папа очень болен, а мама плачет и появляется только вечером. Тетушка закармливала нас тортами, мы совсем одичали. Уже не обращая на маму внимания, гонялись друг за дружкой по комнате, переворачивали стулья, визжали. И однажды вечером мама вдруг подозвала нас к себе, посадила на одно колено Аги, на другое — меня, долго смотрела на нас и опять разрыдалась. И сказала, наконец, что папа умер. Как только его привезли в Пешт. Мы с Аги таращились на отчаянно рыдавшую маму и сперва ничего не поняли из ее слов, но мама все плакала и прижимала нас к себе. Тогда мы тоже припали к ней и заплакали.

А на другой день мама ушла рано утром, потом вернулась, на ней были черное платье и черная вуаль. И Аги она одела в черное, потом принесла две черные ленты, одну повязала Аги в волосы, другую нашила мне на правый рукав. Мы молча стояли возле нее, пока она разговаривала с тетушкой; потом мама взяла нас за руки, и мы пошли к папе на кладбище.

Напрасно все, о, все напрасно!
Вот умер мой отец... другие тоже...
но ведь они, все те, с кем жил я рядом,
живут всегда в моем тяжелом сердце,

[1] Что он говорит? *(нем.)*

и мне легчайшего довольно знака —
будь то прикосновенье нежных листьев
иль мотылек, вдруг севший на ладонь,—
чтоб я почувствовал, как плоть умерших
становится моей улыбкой, грустью,
росой, цветочным духом... а внизу,
там, под землей,— лишь кости их, лишь кости! [1]

Прошло уже два месяца, как умер отец.

Я лежу в теткиной кровати, на высокой темно-коричневой старушечьей кровати, плотные мягкие простыни охватывают меня, держат в плену своим теплом. Эта кровать, куда проваливаешься, словно в трюм, похожа на большой старинный корабль; она потрескивает, вокруг плавают белые облака, иногда покачивает. У меня желтуха, я доставлен сюда в наемном автомобиле; когда меня увозили, Аги плакала, а мама ссорилась с дядей Лайошем. Говорила, что прекрасно сумеет меня выходить, тетя здесь ни к чему,— вылечит и сама, только бы ей дали немного денег взаймы, а она и доктора знает, совсем недорогого. Когда же я сел на диване и закричал, что уезжать не желаю, не поеду ни за что, мама тоже заплакала. И меня все-таки увезли, потому что так хотел дядя Михай, мой опекун. Он был далекий и таинственный, этот дядя, он был опекун, а я даже не понимал, что это такое. Должно быть, что-то неплохое, ведь у Аги опекун — мама. Но почему у меня не она? Зачем брату и сестре разные опекуны?

Уже три дня я живу здесь, у тети, у меня желтуха, очень хорошая и таинственная болезнь, такой не было еще ни у кого в классе, и притом ничего не болит. У тети есть полное собрание сочинений Йокаи, она обещает сделать для меня торт, в котором будет только одна начинка, она отдала мне «Альбом поэтов» и посулила, когда вырасту, подарить также Йокаи. Еще я получил три карандаша, а школьные учебники остались дома.

Так болеть очень приятно. В постели я чувствую себя хорошо, верчусь и понимаю, что вокруг меня что-то происходит. Семья как-то расширилась, появляется и исчезает множество новых родственников, незнакомцы, которых я прежде не знал даже по имени, приносят мне небольшие подарки, и все что-то скрывают. Я чую: пахнет поблажками и неожиданностями. Отчего-то я стал важной персоной, меня задабривают, вокруг становится все таинственнее. Я ставлю опыт за опытом, и они подряд удаются. Не получил только пистолет «фроммер», хотя прошу его давно, еще когда не жил здесь и случайно обнаружил в ящике. Тетя сидит у камина, шьет; лежа в постели, поворачиваюсь к ней и заявляю непререкаемым тоном:

— Дайте мне «фроммер», тетя!

Я давно лежал тихо, она считала, что я сплю. Вздрогнув, покачала головой.

— Если так, я уеду домой! — У меня и в мыслях нет возвращаться домой, я себя превосходно здесь чувствую, никуда решительно не собираюсь, просто иду на шантаж. Слабое сопротивление тети приводит меня в бешенство, я требую, с каждым разом скандирую громче, потом и вовсе ору эти две фразы: «Дайте мне «фроммер», тетя! Тогда я уеду домой!» После первой тетя неизменно качает головой, и тогда я опять и опять воплю свою угрозу. Теперь уже тетин протест и не нужен, две фразы сливаются в одну, пауза, придающая им осмысленность, исчезает, смысла вообще более нет,— отдельные части перемалываются в непрерывном повторении, важен уже только крик, только шум, который я произвожу, мои вопли наполняют ком-

[1] Перевод К. Валентинова.

нату, мне жарко, усилие подогревает меня, сознание непонятной власти доводит до точки каления. В самый разгар сцены отворяется дверь, из смежной комнаты к нам входит дядя Лайош, останавливается, задумчиво на меня смотрит. Внезапно чувствую, что страшно устал, и умолкаю.

Дядя Лайош подтягивает к кровати стул, садится. Тетя выходит. Между собой они не обмениваются ни словом, я вижу, что у них все сговорено, чувствую торжественность в их движениях и, после криков и воплей, вдруг реально ощущаю дыхание тишины, в уши веет холодом, вместе с кроватью я начинаю падать куда-то. Меня обволакивают сумрак и сырая прохлада, я слушаю дядю, как будто из глубокого колодца. А там, на поверхности, дядя говорит:

— Значит, ты хочешь вернуться домой?

— Хочу! — отзываюсь упрямо, но без всякой убежденности. И внезапно непостижимый страх обрушивается на меня. Кровать под звучанье моего голоса начинает медленно подыматься, вот она уже возвращается на прежнее место, к дяде.

— Теперь твой дом здесь,— говорит дядя и рассматривает потолок.— Куда ж тебе возвращаться?

— Домой. К маме и Аги.

— К маме, к маме...— Тишина. Дядя на меня не смотрит. Он смотрит куда-то мимо.— Она тебе не родная! — После долгой-долгой паузы он выталкивает из себя это слово и, радуясь, что самое трудное произнесено, встает, начинает ходить по комнате. Я сижу на кровати, горло вдруг странно опухло, меня душат злые слезы. «Неправда!» — вспыхивает во мне, и я хочу уже крикнуть вслух...

— Это правда, правда... не родная,— предупреждая мой протест, приходит ответ; вот теперь меня охватывает ужас, за спокойным голосом дяди я чувствую волнение, он все быстрее ходит по комнате, я провожаю его глазами.

— ...Ты уже большой мальчик, тебе можно узнать... Она хорошая женщина, и ты люби ее, она десять лет тебя воспитывала, растила, была тебе матерью вместо родной матери, но...

— Неправда!

— Нет, сынок, правда. Твоя мама, родная твоя мама умерла, когда ты родился. А бедный отец твой женился на этой твоей маме, когда тебе был уже год...

— Вы врете!!

Он опять садится на стул возле моей кровати и смотрит на меня. Голос у него усталый и теплый.

— Зачем мне врать, сынок? Так оно все и есть. А мама твоя очень бедная, не под силу ей двух детей растить. Она-то не хочет с тобой расстаться, говорит, что будет работать и сумеет содержать обоих, но это слишком трудно. Скажи ей сам, что останешься здесь.

— Я не останусь!

— Сынок, милый ты мой, не годится так отягчать мамину жизнь!

— Нет, это неправда, будто она мне не мать!

— Анна! — кричит дядя в соседнюю комнату и встает.

С испуганным видом появляется тетя, она бледна.

— У него же подымется температура,— бормочет она и отводит от меня глаза.

— Где фотография? — спрашивает дядя и, сделав неуверенное движение к двери, переминается с ноги на ногу.

Я сижу на постели, чувствую в глазах покалыванье, дрожу и знаю, что все правда. Когда-то, уже давно, мы зашли с мамой в магазин за покупками, хозяин лавки поздоровался с ней как со знакомой, стал расспрашивать о родственниках. Аги и я сказали ему, как нас

зовут, и тогда торговец спросил про меня: «И сыночка, значит, в подарок получили, а?»

— Получила? Я родила его, сударь! — И она прижала меня к себе. Я поднял на маму глаза и увидел, что она подносит к губам палец и сердито качает головой. Они разговаривали еще долго, но едва мы вышли, как я сразу же бросился к ней с вопросом:

— Мама, почему этот дядя сказал, что ты меня получила в подарок?

— Дядя спутал тебя с кем-то.

— С кем? Кого же ты получила в подарок?

— А меня? Меня ты тоже получила? — испуганным, тоненьким голоском спросила Аги. Мама рассердилась:

— Да никого я не получала! Не болтайте глупости! Дядя перепутал нас с Фазекашами... они однажды действительно получили откуда-то ребеночка.

— Кто это — Фазекаши? — слышу я собственный голос, и все у меня как-то смешивается: что такое «получили ребеночка» и что такое — «родили»?.. Ведь все дети сперва плавают в огромном море, и уж если мы кого получили, так это Аги — даже я помню, как мама однажды получила ее от боженьки. Боженька подарил ей Аги в клинике на площади Бакач. Папа купил цветы, и я должен был отдать их маме, когда мы пришли навестить ее.

Значит, никаких Фазекашей нет, колотит меня дрожь, значит, мы и есть Фазекаши... я... я... меня — *получили в подарок!*

Входит тетя, приминает немного одеяло и ставит передо мной фотографию.

— Вот это и есть твоя мама, видишь, я не врал тебе! — негромко ворчит дядя.

Я смотрю. На фотографии красивая, серьезная чужая женщина. Она стоит, на шляпе у нее белые розы, на платье рюши, она задумчиво глядит в сторону... Я не прикасаюсь к ней, только смотрю.

Тетя подходит к кровати и рядом с фотографией кладет «фроммер». Я медленно вытягиваю из-под одеяла руку. Беру пистолет, подношу к щеке, прижмуриваю один глаз и целюсь в щеколду окна.

Тетя всхлипывает. Я опускаю пистолет, откидываюсь на спину.

Лежу, ни о чем не думая, и чувствую себя одиноким, меня бьет дрожь. И вдруг во мне оживает слово, которое я услышал несколько дней назад в какой-то конторе, куда мы зашли с мамой; это слово сказал про меня один бородач как будто в связи с тем, что умер папа. Но он не потому так сказал!

— Я круглый сирота! — вскрикиваю вдруг не своим голосом, вскидываюсь на кровати, отворачиваюсь к стене и реву, широко открыв рот. Я весь корчусь, коленям больно, уши разрываются. Подушка становится влажной, я съезжаю ниже под одеяло. Угол подушки оказывается возле рта, я вцепляюсь в него зубами, рву... Мне дурно.

Когда я просыпаюсь, комната пуста. В полумраке блестят окна. Я чувствую себя усталым и каким-то чужим самому себе. «Все равно я умру,— думаю я,— вот уж будет тут страху...» Жажда мести поселяется во мне, хочется наказать всех, за все. Я сцепляю за спиной руки, как учили в школе. Жду смерти.

Под окнами, по галерее, торопливо проходит мама, траурная вуаль плывет за ней. Звонок. Тетя вбегает в комнату, включает свет, подхватывает соскользнувшую на край постели фотографию и «фроммер», бросает все в ящик и спешит открыть дверь.

— Как сынишка? — слышу я голос мамы, она влетает ко мне, целует в лоб, щупает руки. От нее пахнет холодом и чем-то очень родным.

— Целую руки! [1] — здороваюсь я. Она вздрагивает, наклоняется, заглядывает мне в глаза.

— Поцелуй же меня,— говорит она и прижимает свое лицо к моему. Я целую. Внезапно она выпрямляется, глаза ее мечут молнии, она спрашивает тетю:

— Кто сказал ему? Кто посмел ему сказать? Вы?!

— Лайош,— с ужасом выдыхает тетя и пятится к двери.

— Будь он проклят! — вырывается у мамы. Она опускает руки, устало и беспомощно смотрит перед собой. Затем садится на край постели, из глаз медленно выкатываются слезинки. Я глажу ее руку, она падает мне на грудь, ее сотрясают рыдания. Я тоже хочу плакать, но не могу, кладу руку ей на голову, мне так хочется ее утешить. «Надо же как-то помочь»,— думаю я и чувствую себя старым и мудрым. «Я-то ведь все равно умру»,— хочу сказать ей, но не смею. В комнате мы с ней одни, среди еще чужих мне вещей, чужой обстановки.

Мама подымается, пересаживается на стул, вытирает глаза, убирает со лба рассыпавшиеся волосы.

— Но Аги-то все-таки сестра мне? — спрашиваю я.

Она кивает, прижимает ко рту носовой платок и рыдает, рыдает.

Я долго-долго жил тогда среди еще чужих мне вещей и чужой обстановки, а наши домашние вещи, вместе с мамой и Аги, переехали в Н. И если, раз в два-три года, я приезжал к ним на каникулы, мне приходилось знакомиться заново с этими прежде привычными вещами.

— Как умерла моя мать? — однажды в сумерках спросил я тетю — три года спустя.

— Сиди учись и не задавай глупых вопросов! Умерла — и все.

— Как она умерла? От чего умерла? — Мой голос, видимо, испугал ее, она повернулась ко мне, сцепила руки.

— Сердце не выдержало, она родила двойню.

— Двойню? — оторопел я. Да сколько же еще они скрывают от меня, эти... Зубы мои скрипнули, руки сами сжались в кулаки. Что за семья! Все не как у людей, у нормальных людей!

— И где же тот, другой... близнец? — Терзаемый подозрениями, я не отставал от тети.

— Он умер, слабенький был, может, две минутки только и пожил. Тоже мальчик.

— Ну?

— Что ну?

— Ну, а... а мама умерла от того, что у нее родилась двойня?

— От того и умерла.— Тетя быстро смахнула набежавшую слезу.— И тут уж не поможешь, так что не расспрашивай... вообще не пристало тебе о таких вещах рассуждать. Стыдись!

— Ах, вот как, не пристало! — рассвирепел я.— Но что же отец?..

— Да оставишь ли ты меня в покое?! Не было твоего отца в Пеште, он часом позже приехал. Занимайся и оставь, наконец, меня в покое!

---

[1] Принятая в Венгрии форма приветствия к женщине здесь подчеркивает отчужденность мальчика.

Глубоко вздохнув, я проглотил подскочившее к горлу сердце.

— Бедной Илоне было тогда двадцать восемь лет,— вдруг заплакала тетя и вышла на кухню. Я бросился за ней, но она нажала на дверь и с кухни повернула в замке ключ.— Занимайся и оставь меня в покое, слышишь?! — крикнула она голосом, сырым от слез.

— Да я бы на папином месте об стенку шмякнул этого щенка, понимаете? — заорал я через дверь.

— Ты спятил? Какого щенка? — Дверь внезапно распахнулась.

— Меня,— прошипел я сквозь стиснутые зубы.— Все у него умерли, только один я остался! И теперь нельзя даже узнать: я умер или мой брат... Если мы близнецы, как это можно знать?

— Нет, ты совсем одурел! — У тети сразу высохли слезы.— Собирайся, пойдем в кино.

— Не пойду в кино! — бушевал я.— Зачем разрешили, чтобы у мамы были дети, кто был тот идиот доктор, как он мог разрешить ей? Я убью его! — Лягнув угол дивана, я выскочил на улицу.

И вот началось со мной что-то такое, о чем можно писать только стихами... должно быть, началась юность? Какие то были годы! Ты ли выжил? Или тот, другой? Ты убил их, твердил во мне голос, ты убил их, ты у бил их, тыу би лих... тыуб...

После полуночи. Отец умер, мама умерла тоже. А *мама* живет далеко, Аги — еще дальше. И остальные все умирали, один за другим, вот только что умер вечный спорщик — милый, побывавший в Америке Эдуард. Позавчера уехал и Жан. Опять поползли разговоры о мобилизации, он пошел в посольство.

— Разрешите ваш военный билет,— выставил два пальца чиновник.

Жан выудил билет. Тот едва взглянул и тут же вернул ему документ.

— Выезжайте немедленно, только не в Париж, а прямо на место сбора. Счастливого пути.— Он протянул руку.

Я ждал на улице у входа. Жан спустился бледный, рассказал. Я остановил такси, мы поехали в гостиницу, оттуда на вокзал. По дороге не разговаривали. Когда же ему пришло время садиться в вагон, внезапно расцеловались. Теперь он уже где-то на линии Мажино, и кто знает, жив ли я? Жив ли он?

Когда кончается детство? А юность? А жизнь? Пролетит — не заметишь...

Лишь дважды удалось мне подсмотреть мгновение, когда лепесток покидает свое место и, закружившись, падает наземь. Оба раза то был тюльпан, оба раза белый.

И мертв ли уже тот лепесток, что, кружась на ветру, падает наземь?
Или он умирает в тот миг, когда достигает земли?

(Конец августа 1939 года)

■

ВОЛЕ ШОЙИНКА

Перевод с английского АНДРЕЯ КИСТЯКОВСКОГО

«Он придал началу черты воскрешения»

Известность Воле Шойинки переступила границы Нигерии с самого начала его творческой деятельности. Молодой писатель (Шойинка родился в 1934 году) уже в начале 60-х годов был признан ведущим драматургом Африки, замечательным режиссером и актером. К середине 60-х годов утвердилась известность Шойинки еще и как поэта и прозаика. Стихи, с которых он начинал, вошли в сознание африканцев так глубоко, что одни лишь их названия — «Телефонный разговор», «Эмигрант» — стали нарицательными, символами определенных ситуаций [1]. Из сотен возмущенных, гневных, обличающих, протестующих, яростных, рассудочных, пламенных и саркастических стихов разных поэтов о расовом неравенстве соотечественники Шойинки выбрали два названных выше. В них нет комплекса неполноценности и оборотной его стороны — «черного расизма», ярость поэта не слепа, а, напротив, слепы и так же безличны, как бесчеловечны, проявления расизма. Шойинке вовсе не понадобился отвратительный, отталкивающий образ злобствующего негрофоба — в стихотворении «Телефонный разговор» собеседники, договаривающиеся о найме квартиры, даже не видят друг друга, лишь в телефонной трубке слышен женский голос, как бы стесняющийся произносимых слов: «Вы темно- или очень светлокожий?» — которые являются заменой формулы: «Только для белых!»

«Культ черной расы» отвратителен Шойинке не менее «белого» расизма. «Послушайте,— говорит один из героев романа «Интерпретаторы»,— меня тошнит от всякой любви к себе. Даже национализм — это, некоторым образом, любовь к себе, хотя у него есть реальные основания. Особенно тошнотворен культ черной красоты... Когда вы рассуждаете о жизни в черной коже, я чувствую, как у вас течет слюна, и раз уж я родился черным — что не достоинство и не недостаток,— то меня тошнит от подобных мнений».

Стихи Шойинки можно было бы определить как рационалистические, но слишком высок их эмоциональный накал; их можно было бы назвать безудержно страстными и яростными, но слишком очевиден и явствен их интеллектуализм. В них — картины природы, то ласковой, то жестокой, но всегда одушевленной: «А сверху/Брызги кровавых капель: крадется/Одинокий пришелец,— и вдруг с размаху/Разодраны ветхие одежды неба» (это о рассвете); здесь же — славословия и проклятия человеческой цивилизации, потому что она вознесла человека над природой, но она же и оторвала его от природы, и уже не стихия, а создание рук человеческих — причина гибели людей. Вот почему самолет — это чудо цивилизации — описывается у Шойинки с благоговением и ненавистью одновременно: «Круги иллюминаторов, словно венцы,/Пламенеют вокруг голов/Людей», но человек в самолете чувствует себя «лишь тлеющим угольком/Внутри изъярившего себя дотла,/Испустившего дух зверя» («Вкруг нас, брезжась...»). Буйная, почти физиологическая радость и ликование («Радость ее дика») в стихах нигерийского поэта соседствуют со светлой печалью, скорбью, болью утраты.

[1] См. эти стихи в переводе А. Ибрагимова в сборнике «Голоса африканских поэтов». М., «Художественная литература», 1968.

Поэт пишет о том, из чего слагается душевный опыт, о том, что увидено и услышано именно им, Шойинкой. Но Шойинка — вовсе не прародитель Адам, который впервые называет каждую вещь в мире. Поэзия Шойинки — детище культуры, давней и разносторонней, и в этом смысле она представляет собою вызов высокомерным суждениям о примитивности и варварстве африканских народов, потому что, уходя корнями глубоко в культуру йоруба, стихи Шойинки в полной мере обладают изощренностью и утонченностью не меньшей, чем самая тонкая и виртуозная европейская поэзия.

Многому научившись у поэтов Европы и Америки, Шойинка сохраняет связь с традиционной культурой своего народа, с фольклорными истоками, которые дают себя знать не столько в тех или иных мотивах и образах, сколько в главном и первостепенном — в мировоззренческих основах поэзии Шойинки, в том оптимизме, с которым в цепочке понятий: жизнь — смерть — новое рождение — ударение делается на последнем (что так характерно для фольклорного сознания).

Льется золотистая летопись.
Созревание. Снова распад.
Начало конца. Начало...

(«На косых перекрестках дождей»)

Жизнь и смерть в их диалектической связи, кругообороте и обновление природы — вот глубинная, сокровенная тема стихов Шойинки. Русский читатель может вспомнить в связи с этим поэзию Н. Заболоцкого. Но в стихах последнего — спокойное дыхание, пристальность взгляда и ясность мысли; у Шойинки — императивность, заклинательная сила, наступательность и яростность:

Озари первозданную тьму, разожги
Древний огонь в очаге, воскури
Ароматом масла, соли, сурьмы
И слушай...

Это фрагмент из стихотворения «Семя». Семя, как и урожай,— один из излюбленных символов Шойинки, возникающий всегда, когда речь идет о смерти и воскресении (как в широкоизвестном стихотворении «Джон Ячменное Зерно»).

Чтобы лучше понять суть круговорота и обновления природы, Шойинка разглядывает начало и конец, рождение и смерть, сведя их в одну точку. Новорожденный умирает, едва родившись,— это Абику, знакомый с детства образ мифологии йоруба:

Ночь, дающая Абику жизнь,
Расцветает смертельным утром...

Женщина, ослепленная страстью («Радость ее дика»), так же как Абику, одинаково близка рождению и смерти, она чревата тем и другим: «В любви пусть завязь чрева будет крепка», но «Дика ухмылка ее — в ней гибель вождя». «Странным» это стихотворение можно назвать, лишь пренебрегая общим африканским контекстом поэзии Шойинки. В соседстве же с «Абику» и другими стихами Шойинки становится очевидным его глубокая фольклорность.

Почти во всех стихах Шойинки возникает сложная система образов, которые представляются максимально далекими и враждебными друг другу, но внезапно резкий и нежданный поворот сводит крайности в общей точке, вернее, сами эти крайности, соприкоснувшись, сливаются в одну точку — и вот уже нет никаких полюсов, а есть немыслимо сгустившаяся масса, светящееся ядро, которое можно поднести к глазам и внимательно рассмотреть: это капля воды, сохраняющая все свойства океана, это зернышко, в котором прозревается огромный урожай, это тлеющий огонек, упрятавший в себе необъятную стихию разбушевавшегося пламени, космос — в пылинке, бесконечность — в секунде, жизнь и смерть, встретившиеся и слившиеся воедино во времени и пространстве и ставшие единосущными. Но когда мы поднесли это ядрышко, этот мерцающий уголек к глазам, еще более внезапно, чем прежде, возникло слияние, происходит взрыв, и пылинка опять не более чем пылинка, а космос вновь вокруг нас в своей непостижимой огромности. И оказывается, что знание, которое мы получили, разглядывая светящуюся точку, соприкасаясь со сгустившимся временем, было промежуточным или попросту ложным, и мы стоим, опаленные взрывом. И опять конец есть конец, а начало — начало, и жизнь сменяется смертью, а смерть не начало новой жизни, но безвозвратность и окончательность, распад... Впрочем, прислушайтесь — раздается крик новорожденного, смотрите — сгнившее в земле семя принесло обильный урожай, и где же тогда конец? — его нет, как нет смерти, а есть постоянное возрождение...

В этом нет дурной бесконечности, это тот пульсирующий ритм, в котором живут стихи Шойинки. К Шойинке в полной мере можно отнести слова, сказанные в романе «Интерпретаторы» в адрес одного из персонажей — художника: «Он придал началу черты воскрешения». Это сверхоптимистический взгляд на течение времени.

Читатель отчасти знаком со стихами Шойинки по переводам А. Ибрагимова и А. Сергеева. Настоящая подборка призвана представить новые грани его поэзии. А. Кистяковскому удалось проникнуть в систему образов и мыслей этого автора в той мере, чтобы, избежав мелочного формализма буквальной передачи, добиться адекватности оригиналу по самой сути его и духу.

И вот, африканские стихи звучат по-русски.

ВИКТОР БЕЙЛИС

На косых перекрестках дождей

С громом дробясь меж уступчатых туч
На косых перекрестках дождей,
Пламя вплавляется в жизнь.

Огненные толчки
Сердца: последняя дрожь
Загнанного зайца,— и тьма

Перед молнией: миг рожденья,
Подтверждающий паденье, и смерть,
И любовь,— и вот уже семя

Распадается, ликуя. В ночи,
В самоотреченье растет
Трепетная нежность:

Лучи,
Протянувшиеся из глубин
Маслянистой плодородной тьмы,

Из заряженного жизнью мрака,
Приносят отдохновенье
Корням:

Огоньки ростков
Разливаются заревом жизни
У расцвеченных дождем берегов.

Льется золотистая летопись.
Созревание. Снова распад.
Начало конца. Начало...

Грузные горы зерна.
Ладонь над ладонью огня.
Капризные коммуны семян.
Ветровороты пепла...

Вкруг нас, брезжась...

На реактивной тяге

Этот зверь со своей высоты, свысока
Не признаёт родства
С горделивым племенем птиц.

Серный огонь, ярясь у крыла,
Перечеркивает серый покой пустоты
Полоской белой зари.

Круги иллюминаторов, словно венцы,
Пламенеют вокруг голов

Людей,
Отдавших себя во власть
Турбинам... Мгновенная мертвая боль
Врывается в сердце,— и бесцветная высь

Рассечена, и в расселинах туч
Громадятся гривы гор...
И сразу же — темная ночная тишь,

А я — лишь тлеющий уголек
Внутри изъярившего себя дотла,
Испустившего дух зверя.

Абику

Погибающий новорожденный. Это ребенок, который умирает, но возрождается вновь и вновь, чтобы вечно мучить мать,— поверье народа йоруба.

У ног моих бьется немая мольба —
Это блики твоих браслетов.
Но тщетна твоя волшба:
Я — обреченный Абику.

Что мне каури, стада скота,
Дымок очага ароматный?
Батат не цветет амулетом,
Погребающим Абику навеки.

Так сожги на огне улитку, возьми
Черепок раскаленной ракушки
И выжги клеймо у меня на груди,
Чтобы сразу узнать Абику.

Запомни — белке не по зубам
Только орех из камня,
А узнав узника веков, отрой
Как можно глубже могилу.

В веках, в череде материнских утрат
Я обречен возрождаться.
Запомни — даже похоронный обряд
Призывает меня на землю,

Вечно влажную от горьких слез,
Стынущих росою смерти
В вечерних сумерках, когда пауку
Легче справиться с жертвой.

Ночь, дающая Абику жизнь,
Расцветает смертельным утром,
А схватки родов рождают крик,
Исторгаемый хваткой смерти.

Созревшее чрево рождает плод,
Но созревший плод умирает,—
Мать дарует Абику смерть,
Вечную его праматерь.

Радость ее дика

Радость ее дика, дика, —
Переставши ткать, говорит она:
Разгрызи скорлупу — блеснет слюна,
И сломаешь зубы — на века, на века.

Сила ее дика, дика,
В ней бьется тоска последней любви:
Это последненький мой. В любви
Пусть завязь чрева будет крепка.

Эта минута дика, дика —
Мгновенье отринуто. И вот когда
Сжатый кулак разожмется, когда
Распутает узел твоя рука,

Ты увидишь колтун из волос. Дика
Ухмылка ее — в ней гибель вождя,
Ей мнится сквозь смех, что судьба вождя —
Судьба старика — была легка.

Страсть ее слов дика, дика.
Придется ли мне разгрызать орех?
Я понял, и я оправдал ее смех:
Она слепа — на века, на века!

Семя

Откати камень — взблеснет плетенье
Серебристых линий. Взрасти и омой
Колосья в капели осенних ливней
И жди, как Лазарь в пещере глухой,
Чтоб рассвет развеял смертельный саван.

Час уснувших семян,
Час распавшихся снов,
Обнаженных древесных колец,
Хранящих застывшее время,
И вскрытого чрева — чтоб плод
Не распался в остывшей тьме.

Озари первозданную тьму, разожги
Древний огонь в очаге, воскури
Ароматом масла, соли, сурьмы

И слушай, что скажут о мире
Эти мрачные предки судьбы.

Я говорю капелью дождей,
Шорохом первых ростков,
Звоном зерна на токах,
Бликами огня на воде
И шелестом летнего ветра
Пасущего стада облаков.

Я говорю рокотом волн,
Шепотом соломенных крыш
И венозными руками пришельца,
Открывающего крышу, как дверь.

Я дожидаюсь дождя,
Всхожу в перегное полей
И вхожу в распаленный мир
Пыльцой на крыльях ветров.

Я дожидался огня,
Вздымался золой полей
И тяжелым желтым зерном
Звенел в узловатых руках

В такт
Деревянным браслетам,
Сворачиваясь кольцами лет
Древесины, чье пахучее чрево
Вспухает, вбирая в себя

Деревенеющий мир,
Окольцованный тяжкой цепью
Из звеньев-мгновений,— они

Распадаются в немой тишине
Черной древесной утробы —
Плач, пустота, рост...

Приникнет на миг во тьме паутина...

Прильнет
Сухим мушиным крылом
И душным земным теплом,

Вздохнет
Эхом живых голосов
Схороненных мертвецов,

Пахнет
Ветром, несущим с могил
Воспоминаний немую гиль,

Обовьет
Нитью живую плоть,
Приникнет на миг вплоть

И ускользнет
В игре светляков —
Пуповина тугой паутины веков.

Равнина

Круг,
Окаймленный кровью комет,
Гигантский, расчищенный цаплями цирк,
По которому кружат планеты.

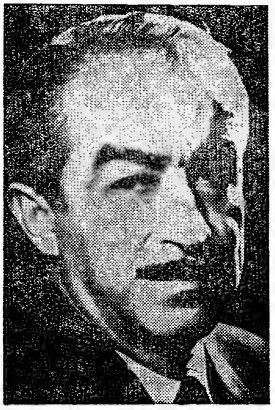
Завеса
Свинцовых туч,
И сквозь тучи — расплав серебра,
Прожигающий дымку тумана...
Или это озеро утром?

Утром
Озерный зрачок
Озаряют ресницы лучей,
И озеро

Все прощает,

Потому что равнина издревле
Впитывала влагу лучей, и отравленный сок тростника,
И пенье пастушеской флейты... А теперь вот опять плывет
По крылу перелетной птицы,
И орел на посту —
Кактус.

■



ОРХАН КЕМАЛЬ

Семьдесят вторая камера

ПОВЕСТЬ

Перевод с турецкого РАДИЯ ФИША

Игра шла на окурки.

— Не прижимай кости, парень! — рявкнул здоровенный арестант по прозвищу Скверный.

Его партнер Измирец, маленький, тщедушный, с огромной, как тыква, головой, не замедлил с ответом:

— Как не прижимать, ты-то ведь тоже придерживаешь!

— Не придержишь, не кинешь, морда!

— Я тебе не морда.

— А кто же ты?

— Я сын хафиза, не гляди, что сижу в камере голых.

— Закрой пасть!

— А если не закрою?

— Зубы вышибу.

— Смотри кулаки не обломай!

Скверный залился на миг краской, потом побледнел. Покачал головой: дай, аллах, терпения. Потряс костями в чашечке, кинул:

— Тройка, единица!

Бросали по очереди.

— Четверка, двойка!

— Пятерка, единица!

— Шестерка, тройка!

Злобные, спорящие голоса Скверного и Измирца пробивались сквозь привычный дневной гул тюрьмы. Обитатели камеры голых, или, как их еще называли, дети папаши Адама, одетые кто во что горазд, тощие, грязные, слонялись по коридору, изредка заглядывали в камеру и, обведя ее глазами, словно искали кого-то, снова исчезали, чтобы вскоре появиться вновь. Зачем? Кого они искали? Другие часами лежали у стен камеры, исписанных непотребными словами, разрисованных похабными рисунками,— не шелохнувшись, полузакрыв глаза. Кто знает, о чем они мечтали? Со своих мест они поднимались лишь по нужде или если голод и жажда становились нестерпимы.

В дверях показался длинный худущий арестант лет сорока по прозвищу Скала. Быстро оглядев камеру, он нашел того, кого искал.

— Капитан Ахмед!

Крик арестанта был похож на рев ишака. Все обернулись в его сторону. Что стряслось? Зачем ему понадобился Капитан?

— Эй, Капитан Ахмед!

У стены за игроками, растянувшись во весь рост на цементном полу, подсунув под голову локоть, лежал огромный детина. Нехотя приоткрыв глаза, он подозрительно огляделся. Лицом и фигурой он напоминал высеченную из гранита древнюю хеттскую статую. Неторопливо, без интереса спросил:

— Что там?

Скала от нетерпения переминался с ноги на ногу.

— Скорей, скорей! Пошли!

— Куда?

— Тебя вызывают в контору!

Статуя пришла в движение. Отерла кулачищами огромные черные усы. Зачем его вызывают в контору? Ему там делать нечего. В кости он не играл, опиум да гашиш не курил, не продавал... Он не спеша встал. Тяжело ступая огромными босыми ногами, подошел к Скале:

— Чего надо от меня этим дерьмоедам?

Скала не знал. Во дворе его увидел старший надзиратель, приказал: «Позови ко мне Капитана Ахмеда, да поживей!» Откуда ему знать? Зачем — не его дело.

Скала пожал плечами. И собрался было уйти, но огромная ручища Капитана удержала его:

— Тебя спрашивают! Зачем меня вызывают эти дерьмоеды?

Скала дернулся, высвобождая плечо:

— Я-то откуда знаю?

— Кто-нибудь на меня донес?

— Не знаю.

— Знаешь, не говоришь. Есть на меня донос?

«Эко хватил! — подумал Скала.— Приказано позвать. Остальное — не моего ума дело».

Спускаясь по запутанным полутемным лестницам, Скала бормотал:

— Почем я знаю! Мне-то что? Сказано позвать, я и позвал. Я тут ни при чем. Не я, так другой позвал бы. Хочешь иди, хочешь нет...

Капитан уставился в полутьму, скрывшую длинного худого арестанта. И тут же забыл о нем, да и обо всех остальных тоже. Его вызывали в контору! Ни в торговле гашишем, ни в поножовщине — ни в чем таком он не замешан. Даже если б с голоду подыхал, ничего бы не украл у соседа. И в кости не играл на окурки, как другие. А в контору, как правило, вызывали из-за такого вот дерьма.

Измирец тем временем просадил Скверному все свои окурки и, чуть не плача, подошел к Капитану.

— Мерзавец из мерзавцев этот Скверный! За один кон мне хребет переломил. Ты правильно сделал, что перестал с ним знаться.

Капитан оторвал взгляд от пустоты, посмотрел на Измирца. Но, казалось, не видел и не слышал его.

— Кто донес на меня начальству?

— О чем это ты? Какой донос? — не понял Измирец.

— Не знаю. Вызывают в контору.

— Зачем?

— Сказано ведь: не знаю.

— Спер что-нибудь.

Капитан вскинулся оскорбленный, словно была задета честь его невесты.

— Я тебе не чета.

— Тогда заначил ворованное.

— Не забывай, с кем разговариваешь, наглец!

— Не был бы виноват, не вызывали. В какое-нибудь дерьмо да вляпался...

Капитан так глянул на Измирца, что тот счел за лучшее исчезнуть, и растаял в темноте, которая только что скрыла Скалу.

Капитан застыл на месте, точно вырубленный из камня. Очень ему не хотелось идти к старшему надзирателю. Легче грудь под пулю подставить, чем молчаливо выслушивать брань. Он не такой, как его товарищи по камере. Тех иногда вызывали в контору по нескольку раз в день. Получив свою порцию ругани, а то и побоев, они возвращались с наглой улыбкой, незадачливо почесывая в затылке, и принимались за свое. Да и что с них взять? Мелкие жулики. Были среди них и такие, кто сидел за кражу курицы или свинцовой плитки с крыши мечети. Как можно равнять его с ними! Он попал в тюрьму за кровную месть. Убил племянников человека, который много лет назад застрелил его отца, когда тот выходил из портовой кофейни. Отомстил за кровь отца, которого в глаза не видел. Никто не смел равнять его с этими двухгрошовыми воришками.

В дверях камеры снова появился Скала.

— Послушай, сказано ведь, зовут в контору! — закричал он, еле сдерживая себя.— Господин старший зовет!

Капитан не шелохнулся:

— Зачем?

— Почем я знаю. Злой, как дьявол! Обложил всю мою родню до седьмого колена. Мое дело сказать.

Скала подлетел к Капитану, дернул его за рукав:

— Пошли, пошли!

II

— Кто у тебя в Ризе́? — спросил старший надзиратель, мрачный темнолицый тюремщик. Широкие черные брови Капитана сошлись на переносице, взлетели на лоб, снова сдвинулись. В самом деле, кто? Он не мог припомнить. Кажется, кто-то был, должен быть. Но кто? За дымкой времени припомнилось ему сморщенное сухонькое

лицо. Чье оно? Какая связь между ним и этим лицом? Много воды утекло, годы и годы минули. Разве удержишь в памяти?

— Ну?

Он поднял глаза.

— Не можешь вспомнить?

Он постыдился сказать «не могу» и потому ответил:

— Никого у меня там нет.

— А Календер Хатиджа кем тебе приходится? А?

Капитан уставился на надзирателя. В самом деле, кем она ему приходится? Матерью, что ли? Наверно, то была его мать. Да, конечно, мать. Он вздохнул. На лице мелькнула улыбка, но тут же погасла. Что с ней? Может, умерла?

Капитан с ужасом смотрел на старшего надзирателя.

— Сто пятьдесят лир прислала тебе,— сказал тот.

Сто пятьдесят лир? Ему? Дрожь сотрясла тяжелую хеттскую статую. Радость озарила лицо. Душа воспарила, светло, свободно.

— Моя мать! — проговорил он, не помня себя.— Мать! Мне! Мне, а?

Он обернулся к Скале, глянул на него с восторгом, широкая грудь вздымалась и опускалась. Потом снова перевел взгляд на старшего надзирателя. Слезы выступили на глазах, потекли по жесткой щетине.

— Мамочка моя, ах, моя бедная мамочка!

Он вдруг увидел ее, свою мать, крохотную сухонькую старушку, забытую им в одной из дальних деревень вилайета Ризе. Лет десять прошло, а то и больше...

III

Когда Скала, обрадованный небывалой вестью, вбежал в камеру и сообщил, зачем Капитана вызывали в контору, в камере словно бомба разорвалась. Отмеченные безнадежностью черные, изжелта-бледные лица арестантов оцепенели, сощурились глаза. Все замерло. Скверный, метавший кости, так и застыл с поднятым над головой грязным кулаком. Шутка ли, сто пятьдесят лир привалило Капитану!

— От матери,— проговорил Реджеб, осужденный за кражу кур и потому прозванный Куриным.— Значит, была у него мать?

— Ясное дело, была,— отрезал Скала.— Как же иначе? Голова ты садовая. Не мать, а львица. Кому из нас мать прислала деньги, а?

Скверный не слышал. Кулак его все еще висел в воздухе. Но он уже пожалел, что поссорился с Капитаном. С досадой швырнул кости в угол, содрал с завшивленной головы грязную кепку, поскреб в затылке, прикидывая, как с ним помириться. Но дело, видно, было дохлое.

— Уйдет теперь Капитан из нашей камеры,— пробормотал он.

— А что ему делать в этой вонючей конуре? — откликнулся Скала.

Все заговорили разом:

— Купит себе тюфяк, одеяло.

— Поест горяченького.

— На его месте я бы каждый день заказывал фасоль.

— Мясо с горохом, а не фасоль.

— И еще плов! Плов, а?

— Из булгура[1] или из риса?

— Да хоть какой!

— А по мне, непременно из риса...

Скала рассердился. Не успели построить мечеть, а слепые уже выстроились за подаянием. Э, пускай себе! Старший надзиратель послал с благой вестью не их. Он, Скала, принес ее, когда никто еще ни ухом, ни рылом о том не ведал.

— Уйдет и меня возьмет с собой,— бросил он.

Все с ненавистью обернулись в его сторону.

— Зачем?

— Прислуживать.

— Скажешь тоже!

— Чего тут удивляться, сынок? Добрую весть я принес или нет?

Наступило долгое молчание. Так ли уж важно принести добрую весть?

— А сколько раз ты его за глаза честил на чем свет?

— А вы? А вы?

— Подумаешь, добрая весть!

— И то верно. Попался на глаза надзирателю, он тебе и сказал. Нас бы увидел, сказал бы нам.

Испугавшись, что дело не выгорит, Скала засуетился.

— Мечеть еще не готова, а слепые в очередь встали. Вам-то что? Его деньги, его воля. Чего вы суетесь?

---

[1] Булгур — неочищенная пшеница.

— И будут соваться! — взорвался Скверный. Глянул на Скалу: пикни — изморду-ет. Скала умолк, только покраснел от гнева.

Все снова заговорили разом:

— Ишь, «чего суетесь»! А как же! Разве мы ему не товарищи?

— Нашли товарища!

— Сколько лет хлеб-соль с ним делили!

— Не человек, а божья благодать — в кости не играет, не ворует, гашиш не курит.

Скала чуть не плакал от злости. Как ни сдерживал себя, не утерпел:

— Жаль хорошего человека! Все вы, как один, на его денежки заритесь!

— Заткнись ты! — снова прорычал Скверный.— Не лезь не в свое дело!

— А что, неправда?

— Каждую ночь мы с ним душу друг другу изливали,— заявил Куриный.— Может, сто раз я от него слышал, как он отомстил убийце своего отца, пришил его племянников.

— Так ведь и я слышал.

— И я тоже!

— Может, я не слышал?

— А я, наверно, тысячу раз!

Скверного вдруг осенило:

— На его месте я бы пошел в камеру Селезли в кости играть.

— Это еще зачем? — испугался Скала.

— Как зачем? Привалит дьявол удачи, сорвал кон — гуляй, не хочу!

— А если проиграешься?

— Проиграюсь, что с того? Ничего не изменится. Как был гол, так и останусь. А если все загребу, а! Полтораста обернутся в шестьсот, в тысячу, две тысячи, десять тысяч, сто тысяч, миллион!

— Ишь, разгулялся, что море в бурю!

— Смотри, Куриный, будешь в мою волну камни бросать, дождешься.

Глаза у Скверного разгорелись от алчности. Только бы Капитан забыл про обиду, помирился с ним, взял бы его под крылышко. Заявились бы они вместе в камеру к Селезли, сели бы с двух сторон друг против друга за кости...

Он нахлобучил кепку.

— За кости, за кости надо сесть!

— Да не сядет он,— отрезал Скала.

— Закройся!

— Разве он не мой хозяин?

— Хозяин? Твой?

— Ясное дело, мой.

— С каких это пор?

— Ты с ним в ссоре! Какое теперь тебе дело до денег моего хозяина!

Скверный непотребно выругался.

— То-то же,— удовлетворенно проговорил Скала. И, не утерпев, выложил все, что до поры таил про себя:— Он мой хозяин. Возьмет с собой прислуживать. Варить буду ему, стелить, убирать постель. Еще бы мне его не жалеть! Разве с Селезли справишься? На кон, паршивец, тысячу, две тысячи ставит. Не успеешь оглянуться, и пропали хозяйские денежки.

Скверный подскочил к Скале, толкнул его в грудь.

— Ты чего тут нюни распустил! Закрой хлебало!

Тот попятился.

— Жаль мне его.

— Заткнись, говорят!

Знал Скала, стоит еще слово вымолвить — и получишь по зубам. Знал, а все же, выходя из камеры, не удержался.

— Как не пожалеть своего хозяина!

Во дворе он столкнулся с Капитаном. Глаза у того сияли. Скала потянул его в сторону.

— Будь осмотрителен!

Капитан тяжелый, увесистый, как хеттская статуя, поглядел на него невидящим взглядом.

— Слышь, ага! Будь осмотрителен!

— Почему?

— Еще спрашиваешь? Те, кто вчера над тобой за глаза насмехались, учуяв запах денег, улыбками да ласками хотят тебя в силки заманить. Будь осторожен!

Капитан пожал плечами:

— Деньги общие, братские, одни на всех.

Скала чуть ума не решился:

— Как можно, Капитан! Что значит на всех? Когда ты с голоду подыхал, кто тебе хоть ломоть хлеба дал? Разве это дело? Ты меня послушай! Купим подушку. И кастрюлю купим. Будем еду варить. Горячую. Накрошил хлеба и стучи себе ложкой, о-о-ох!...

Капитан не слушал. Он думал о матери — маленькой старушке, забытой им в одной из деревень вилайета Ризе, его родной матери...

— По вечерам будем пить чай. Запалим сигаретки... Станешь моим хозяином. Скажешь, постели, такой-сякой, мне постель — я тут как тут: слушаюсь, ага. Скажешь, ступай в лавку, купи мяса, луку, отнеси парашу в сортир — я повторять не заставлю, мигом исполню. Посуду мыть буду, белье твое стирать, спину в бане тереть. Как получишь денежки, скажи старшему надзирателю, пусть переведет тебя в бейскую камеру. Раз деньги есть, значит, и ты стал беем. Чем ты хуже других? И не забудь сказать: «Скалу я беру к себе прислужником!» Ладно?

Капитан не ответил, двинулся дальше. За ним как тень — тощий длинный Скала. Подождав, когда дежурный надзиратель откроет дверь в отделение, они так же молча прошли по внутреннему дворику, поднялись по грязным бетонным ступенькам, миновали темные коридоры, по которым слонялись арестанты, и вошли в семьдесят вторую камеру. Там их ждали. Все головы повернулись в их сторону:

— Поздравляю, Капитан!

— Будь счастлив!

— Молодец, Капитан!

— Значит, матушка деньги прислала?

— Конечно, матушка.

— Вот это мать, видал?

— Мать и есть мать, если настоящая.

— Получил деньги, Капитан?

— Еще не дали?

— Когда?

— Завтра?

— Теперь заживешь!

— Сваришь себе суп с мясом, горяченький.

— Я бы по сигаретам ударил.

— Башка у тебя с дыркой.

— Это еще почему?

— Ясно почему! Какие там сигареты, если можно купить порядочную постель, одеяло.

Капитан, прикрыв набрякшие веки, все еще думал о матери. О той ночи, много лет назад, когда из кровной мести в портовой кофейне убили его отца. Быстро прилетела в деревню черная весть. Мать его тогда не была сморщенной, сгорбленной. Пышущее здоровьем лицо, огромные черные глаза. С каждым годом, каждым месяцем, с каждым днем эти глаза тускнели, гладкое лицо иссекали морщины, пока оно не стало таким, каким виделось ему теперь. Но ни разу не слышал он от нее: «Забудь про убийц твоего отца. Пусть о них позаботится аллах. Не хочу потерять и тебя. Не хочу остаться одна на белом свете». Напротив, она только подливала масла в огонь: «Если не отомстишь ты за кровь отца, да будет ядом молоко, которым я вскормила тебя. И на том свете тебя не прощу!»

Он не оставил кровь отца неотмщенной. Однажды холодной ночью он сидел в своем шлюпе, закутавшись в бурку, и курил. Мальчишка Хасан, гарсон из кофейни, примчался к нему с вестью: племянники того, кто пролил кровь его отца, сидят в кофейне пьяны — чуть под стол не валятся. Он вытащил из-за пояса пистолет, с которым не расставался долгие годы, вышел на берег и, не обращая внимания на резкие порывы ветра, двинулся к кофейне. Низкое помещение, освещенное судовым фонарем, огласилось яростной бранью, прогремели четыре выстрела. Все смешалось. А он, опьяненный счастьем свершившейся мести, выскочил из кофейни и бросился по темным улицам, гудящим от ветра, в полицейский участок. Допрос, суд и огромные железные ворота тюрьмы...

Он вздохнул, огляделся. Заметил в углу Скверного, который пожирал его алчным взглядом. Долго смотрели они друг другу в глаза. Что бы там между ними ни случилось, они были друзьями. Ему следовало подойти первым, подать ему руку, помириться. Он встал. Но едва сделал шаг, как Скверный бросился навстречу. Два лихих удальца семьдесят второй камеры, два товарища по несчастью протянули друг другу руки, обнялись и расцеловались.

Потом отпустили друг друга. В глазах у обоих светилась радость. Счастливая радость примирения.

— Поздравляю! — сказал Скверный.

— Да будет мир с тобой! — весело откликнулся Капитан.

Их примирению были рады все обитатели камеры голых. Скверный, когда был с Капитаном в мире, делался не так жесток, не отбирал у них окурки, не осыпал непечатной бранью, если ему не везло в игре. И только Скалу жгла обида. Разве не он сообщил Капитану счастливую весть?

— Его дело,— пробормотал он,— не буду звать его агой, не стану стелить ему постель, мыть посуду, стирать белье, и в баню пойдет, не стану тереть ему спину.

IV

Семьдесят вторая камера была самой бедной и потому, как во всех тюрьмах, была и самой грязной. Не люди здесь обитали, а черви. Как и всем прочим арестантам, казна выдавала им в день по пайке черного хлеба — теплого или черствого, но всегда неотличимого от глины. Его приносили утром в грязных мешках, раздавали каждому по куску. То было их единственное пропитание на двадцать четыре часа. Завтрак, обед и ужин. Мало того, этой пайкой надо было расплачиваться за баню, за бритье и за сигареты. Хочешь ешь, хочешь продай.

Большинство продавало. Не одну, не пять паек, а всю свою норму за шесть месяцев, за целый год вперед — в обмен на грязную бумажку в пять лир. А чтобы приобрести кило сахара, к этим пяти лирам, полученным за триста шестьдесят кусков хлеба, за весь длинный-предлинный год, нужно было еще добавить сорок пять курушей[1].

В мире шла война. Германские моторизованные дивизии быстро оккупировали страны Европы. Все дороги и границы были перекрыты. Почти ничего не поступало из-за рубежа, Турция с трудом могла себя прокормить. Хлеб давали по карточкам. Липкий кусочек сахара продавался в тюрьме за пять курушей. Обитатели камеры голых, получив от дельцов, торговавших хлебом, замусоленную пятилировую ассигнацию, сразу бежали играть в кости. Пять лир могли стать десятью, двадцатью, а улыбнется судьба-индейка — полсотней, сотней, а то и пятьюстами лир. Могли, но не становились. Проигравшись в пух и прах за два-три кона, неудачники, почесывая в затылке, возвращались в семьдесят вторую камеру. Теперь им надо было прожить долгий год, не получая ничего. Ждать было нечего и не от кого. Значит, прожить год без еды? Вроде бы так, но возможно ли это? Они были живыми, наделенными желудком существами, они должны были жить. И они жили, не задумываясь, нужна ли их жизнь стране, народу. Не ведая ни о чем, жили как вши, черви, тараканы, простейшие одноклеточные, как плесень, жили, пока могли. Слонялись по темным коридорам, точно привидения, испуганные, презираемые, ничтожные, норовя схватить забытые кем-нибудь кастрюлю, банку, огрызок хлеба, брошенные в мусорное ведро оливковые косточки, порыться в сгнивших, вонючих отбросах. Иногда им удавалось незаметно подкрасться к оставленной без присмотра кастрюле, кипевшей на крохотном мангале, и, мгновенно подняв крышку, запустить в нее свою лапу с длинными черными ногтями, выхватить горсть фасоли, а если повезет, то и шмот мяса, и умчаться с быстротой, на которую еще были способны их тощие ноги, обратно в темноту коридоров, снова раствориться в ней.

Случалось, что их ловили. Поминая бога, отца, мать и веру, сбивали с ног, пинали сапогами, дубасили кулаками в кровь. Но что с того? Синяки рассосутся, подбитый глаз заживет. Стоило забежать за угол и безропотно, подобно побитой собаке, вернуться в семьдесят вторую камеру, как все забывалось.

Капитан Ахмед был не из таких. На воле за долгие годы никто ни разу не вспомнил о нем, и потому он в конце концов оказался в камере голых. Он не чурался ее обитателей, но старался не походить на них. Днем, когда арестанты играли в кости и грязные стены камеры содрогались от брани, он удалялся в самый уединенный уголок тюрьмы или заваливался спать на свою «постель» — пустые мешки из-под цемента.

Он любил тишину. Тишину и одиночество... Никто не должен был ему мешать, отрывать его от мечтаний. Нужно было дождаться ночи, когда дети папаши Адама, набегавшись, насуетившись за день, забудутся сном. Он любил ночи. Особенно такие, которые полная луна снова превращала в день. Тогда эта неподвижная, молчаливая хеттская статуя оживала, приходила в волнение.

Его любимым местом было окно, из которого виднелось приютившееся в углу двора небольшое крытое черепицей здание, где помещались заключенные женщины. Когда в небе светила луна, он, как только все засыпали, садился у окна, обхватив руками решетки, и принимался мечтать.

Есть же на свете аллах? Должны ведь когда-нибудь кончиться черные дни. Отцы, мужья, дети вернутся по домам в свои родные края. Долгие годы он не получал никаких известий от матери и потому считал ее умершей. Раз она умерла, значит, дома его никто не ждет. Выйдя на волю, он не вернется в деревню, а отправится в тот край, где кормило его неверное, коварное море. Найдет старого хозяина кофейни — той самой портовой кофейни, где убили его отца и где он четырьмя пулями рассчитался за его кровь,— и снова начнет зарабатывать на хлеб, а может быть, даже и на ракы[2]. Нет, теперь он будет зарабатывать не только на хлеб да на ракы. Он найдет способ обзавестись какой-нибудь Айше, Фатьмой, Султан, как бы ее ни звали, словом, красивой возлюбленной, которой он будет покупать алые, лиловые, желтые платья. Она родит ему толстого парня, будет варить обед, носить воду из источника, а ночью разделять с ним постель. Впрочем, она может быть и некрасивой, даже одноглазой, лишь бы родила ему крепкого храброго сына, который не оставит неотмщенной кровь своего отца...

Когда, получив сто пятьдесят лир, Капитан Ахмед вошел в камеру, дети папаши Адама окружили его кольцом. В их глазах сверкали голод, одиночество, отчаяние. Не-

[1] Куруш — мелкая монета, одна сотая турецкой лиры.
[2] Ракы — виноградная водка, изготовляемая с добавлением аниса.

ужели он не поднесет им миски горячего супа, не угостит пачкой сигарет, не даст хотя бы по пять — десять курушей?

— Братский куш, общий на всех,— сказал Капитан.— Давайте сварим кастрюлю фасоли, наедимся как следует.

Такого они не ждали.

— Браво, Капитан! Ура!

— Будь счастлив! Да исполнит аллах твои желания!

— Видали человека? А!

— Настоящий джигит! Угощает всех. Угощает фасолью!

Казалось, настал праздник. Да что там праздник, такого и в праздник не бывало. Обитатели камеры голых обнимались, плакали от радости.

Капитан не забыл и о Скале, который стоял в сторонке, опустив голову:

— Будешь моим прислужником!

Скала подбежал, с надеждой спросил:

— Уйдем из этой камеры?

— Нет, останемся здесь.

— Хорошо, но послушай, Капитан...

— Тебе говорят, останемся здесь!

Скверный был тут как тут, словно стал уже правой рукой Капитана.

— Как сказал ага, так и будет! — накинулся он на Скалу.

— А тебе-то что? — огрызнулся Скала.— Ты кто?

— Не тот лев, кто съел, а тот, кто смел. Понял, дорогой?

— Ты, что ли, принес моему аге добрую весть?

— Я говорю — лоб, а ты говоришь — клоп.

— Сам ты клоп. Не послушает тебя мой ага, не станет играть в кости, ясно!

Скверный приготовился дать ему пинка, но Капитан удержал его.

— Обойди отделение.— приказал он Скале,— найди тюфяк получше. Я покупаю!

— Все отделение обойди! — припечатал Скверный.

— Обойду не обойду, тебе какое дело?

— Послушай, парень...

— Чего тебе?

— Ты теперь служишь у Капитана, и потому я промолчу, но помни, я все тот же Скверный, что был.

— И будь себе на здоровье,— отбрехнулся Скала. Выбежал из камеры. Вихрем слетел по лестнице, заорал:

— Кто продает тюфяк, хороший тюфя-ак?

Все привыкли к тому, что Скала продает ворованные у других мелочи, только и ждет, когда хозяин отвернется от кастрюли, роется в бидонах из-под мусора. Поэтому его крик удивил всех.

— Ты что это, Скала? Постель решил купить?

— Ясно дело,— серьезно отвечал тот.— Почему бы нет?

— Молодец!

— Молодец, молодец! Есть тюфяк или нет?

— Деньги на бочку!

— На бочку, на бочку, успокойтесь. Чего смеетесь? За деньги покупаю! — рассердился Скала.

— Ишь, паршивец! Где ты, а где деньги?

— Не себе покупаю.

— Кому же?

— Моему хозяину.

— А кто твой хозяин?

— Капитан Ахмед,— объявил Скала, надувшись от гордости. В ответ раздался хохот. Скала рассердился пуще прежнего.— Чего ржете? В игрушки, что ли, с вами играю?

— Что ага, что слуга! Ищи мебель в цыганском шатре...

— Образумьтесь, черти! Сегодня моему аге пришло сто пятьдесят лир.

— От кого?

— От матери.

Дело приняло другой оборот. Стали показывать Скале тюфяки, называть цены, которые, как водится, были куда выше стоимости товара. Скала взял на заметку приглянувшийся ему тюфяк, подушку, одеяло и прибежал к своему аге.

— Что скажешь? — спросил Капитан у Скверного, выслушав доклад Скалы.

— Пойдем поглядим, ага!

Пошли поглядели. До сих пор им не приходилось покупать постели, и потому они не имели понятия о ценах. Капитан рядиться не стал. За него, божась и сквернословя, торговались Скала и Скверный.

— По рукам — и делу конец!

— Деньги моего аги приносят счастье, не пожалеешь!

— Пожалеть не пожалею, а не пойдет. Я уступлю пять лир, и вы набавьте пятерку.

— Ладно,— согласился Капитан, чтобы поскорей окончить торговлю. Он заплатил, и Скала, завернув постель в старое нитяное покрывало, ловко вскинул ее на плечо.

— Раздайся, народ, пароход плывет!

Прибытие в семьдесят вторую камеру тюфяка с одеялом и подушкой произошло с присущей случаю торжественностью. Скверный, расталкивая толпу грязных, оборванных арестантов, прокричал:

— Разойдись, рванина, перед чистой постелью!

За долгие годы камера голых успела позабыть, что такое чистая постель. Арестанты попятились, дали дорогу Капитану и его свите. Ввалившиеся, потухшие глаза, обведенные иссиня-черными кругами, с завистью уставились на постель.

Ее следовало расстелить в почетном, лучшем углу. Но в том углу лежал мешок из-под цемента, на котором спал старожил семьдесят второй камеры Измирец Кенан.

— Кликните его,— сказал Капитан.— Договоримся.

Скверный удивленно глянул на Капитана.

— О чем?

— Это его место!

Скверный не ответил. Взял мешок Измирца и отшвырнул в сторону.

— Подумаешь, его место! Не в наследство от отца оно досталось сукину сыну! — И приказал Скале: — Клади постель сюда, эй ты, поганец!

Скала насупился:

— Я тебе не поганец!

— А кто же?

— Слуга моего аги!

Ответ был верен. Теперь Скала не ничтожество, он честный рабочий человек, слуга Капитана. Скверный промолчал, и решив, что на сей раз последнее слово за ним, Скала присовокупил:

— Потому думай наперед, что говоришь!

Он не спеша снял с плеча постель. С необычайной серьезностью расстелил тюфяк, накрыл его покрывалом...

Неожиданно появился Измирец.

— Ты что это, Скверный, разорил мою постель? Может, вы меня просили, а я не согласился? Неужто во мне не осталось ничего человеческого? Да ради Капитана я душу отдам. У каждого своя честь!

Скверный глянул исподлобья:

— С чем ее едят, твою честь?

— Да ведь я не какой-нибудь бесчестный! Ежели попал в камеру голых, это еще не значит, что не почитаю аллаха...

— Не болтай!

Измирец, пришибленный, склонил свою огромную, похожую на картонную коробку голову, поднял мешок и принялся искать себе новое место. Капитану стало его жаль. Он подошел и незаметно для Скверного сунул ему в руку заранее приготовленные двадцать пять курушей. Измирец давно не видел таких денег. Сначала он не понял, в чем дело, потом бросился Капитану на шею:

— Капитан!.. Капитан Ахмед!.. Да ведь ты, эх...

В глазах у него стояли слезы.

Капитан рознял сжимавшие его руки Измирца:

— Не подымай шума!

Он бросил взгляд на Скверного. Измирец понял, что означает этот взгляд, но было уже поздно. Скверный обо всем догадался.

— Не надо, Капитан,— сказал он подходя.— Не приучай, ради аллаха, этих подонков.

— Ладно, оставь,— попробовал отвязаться Капитан. Но не тут-то было.

— Я-то оставлю, они потом не отстанут. Им палец в рот не клади — без руки останешься.

— Я сказал — оставь!

— Такие людишки у аллаха из кармана самого пророка вытащат. Стоит только приучить — конец. Не сердце у тебя — кисель. Нагнут рога, распустят нюни, ты и не выдержишь. Берегись! Если их аллах не жалеет, тебе-то чего жалеть? Не будем разбрасывать на ветер наших денег.

Они подошли к Скале, возившемуся над постелью в почетном углу.

— Такие продадут родного отца и мать в придачу...— продолжал Скверный. И прикрикнул на Скалу: — Взбей как следует, эй, ты, поганец!

— Я тебе не поганец! — зло обернулся на окрик Скала.

— А кто же?

— Сын старосты.

— Нашел чем хвалиться! Могильными камнями.

— А ты не лезь не в свое дело! Ага скажет взбить, я взобью! Прикажи, ага!

Капитан кивнул головой. Лишь после этого Скала принялся за дело. Он возился с четверть часа, семь потов с него сошло, а тюфяк не взбивался. Видно, вместо шерсти был набит тряпьем. Чем больше его трясли, тем он становился тоньше да мешковатей. Всем это стало ясно, но никто виду не подал. Да и как сказать, что тюфяк Капитана набит не шерстью, а тряпьем?

— Хватит, взбил достаточно,— опять приказал Скверный.

На сей раз Скала не стал огрызаться.

— Хватит, так хватит! Лежи себе на здоровье, ага. Отменная вышла постель, ей-богу!

— Хорошая постель,— послышалось со всех сторон.

— Не зря деньги плачены.

— Только чистую шерсть можно так взбить.

— Еще бы.

— Иначе в комки собьется.

— Умный человек даром денег не отдаст.

— Верно.

Капитан был доволен и горд. Сунул было руку в карман, но Скверный остановил его:

— Опять?

Капитан, помедлив, сказал:

— Купим мангал, чайник, кастрюлю.

Скверный задумался. Взял Капитана за руку:

— Только не плати деньги вперед... Поди-ка сюда, Скала!

Тот, уставив руки в боки, не двинулся с места. «Ишь раскомандовался! Можно подумать, что он мой ага!»

— Тебе говорят, поганец, поди сюда!

Скала опустил руки.

— Чего тебе?

— Пройдись по камерам, найди хороший мангал, кастрюлю и чайник и тащи сюда. Будем покупать!

Скала поглядел на Капитана:

— Как скажешь, ага? Идти?

Капитан мотнул головой, а Скверный смерил Скалу таким взглядом, что тот пулей вылетел из камеры.

Куриный вор Реджеб сказал ему вслед:

— Тьфу, бестолковый! Что приказывают, то и делай! Если вам, бей, наперед что-нибудь понадобится, можете рассчитывать на меня. Обернусь мигом!

— И я, и меня пошлите! — послышалось со всех сторон.— Все пойдем, только прикажите!

— Скала ничего в таких делах не смыслит,— не унимался Куриный.— Правду я говорю, Фитиль?

— Где ему! Медведь из Антеба, всю жизнь одним бекмезом[1] питался,— откликнулся длинный тощий арестант по прозвищу Фитиль.

— Только денег ему не давайте.

— Отчего же?

— На ходу подметки срежет, а о деньгах и говорить нечего, верой клянусь!

Скверный усмехнулся:

— Да кто из вас на ходу подметки не срежет, сукины вы дети, а? Карманщики, бандиты, налетчики, вот вы кто!

— Срамники, богохульники, висельники,— в тон ему подхватил Куриный.

Скверный был уже не тот Скверный, который еще вчера играл в кости на окурки, переворачивал в поисках еды мусорные ведра, жевал, как скотина, траву, что росла на тюремном дворе. Теперь он ближайший друг, правая рука человека — обладателя ста пятидесяти лир!

Окинув взглядом детей папаши Адама, жаждущих получить приказ, он не выбрал из них ни одного. Отвел Капитана в сторону.

— На этих подонков положиться нельзя. Задумаешь дело, откройся мне. Вместе решим!

— Хочу сварить еды, вскипятить чаю. От имени аллаха всех накормить, напоить!

— А потом?

— Что потом? Во имя аллаха, и все. Пусть наедятся дети папаши Адама. Из общего котла.

По мнению Скверного, все это было ни к чему. Ненужные расходы. Да и что поймут эти оборванцы и подонки? Лучше всего было бы отправиться к повару Чорбаджи во второе отделение, наесться до отвала вдвоем. Но Капитан заартачился, пришлось согласиться:

— Хорошо. А что сварим?

— Фасоль.

Скверный облизнулся. Кастрюля фасолевого супа, горячего, жирного, с кусками вареного мяса! Много месяцев не пробовал он горячей еды. Мякоть свежего хлеба обмакнуть в жирную фасолевую подливку и по кусочку бросать себе в рот... Он почувствовал, как рот его наполняется слюной. Смачно сплюнул на цементный пол.

— Давай деньги! Поди сюда, Куриный! Ступай в лавку, купи полкило фасоли, двести пятьдесят граммов мяса, мелко рубленного.

---

[1] Бекмез — виноградный сок вываренный до густоты меда.

— Мяса полкило,— поправил Капитан.

Скверный и ухом не повел:

— Ты слушай, что говорят: полкило фасоли, двести пятьдесят мяса. Купи и тащи сюда. Но гляди, чтоб фасоль была зрелая.

— А лук? — спросил Фитиль.— Лук разве не нужен?

— И соль, соль!

— А чем заправить? Без приправы какой вкус?

— Красный перец забыли!

— Заткнитесь вы, попрошайки! — взорвался Скверный.— Заправки, красного перца им подавай. Что вам здесь — ресторан или дом родной?

— Верно,— подхватил Куриный.— Здесь тебе не дом родной.— Зажав в кулаке пять лир, он бросился было из камеры, чтобы выполнить приказ, но в дверях столкнулся с Измирцем. Куриный не собирался с ним бары растабаривать — как-никак он держал в руках целых пять лир, а тот, у кого было пять лир, уже не считался голышом. А раз не считался...

Но Измирец встал у него на дороге:

— Куда разлетелся?

— По делу.

— Какие еще дела?

— А тебе что?

— Ищешь, где чего слямзить?

— Я тебе не ровня.

— С каких это пор?

Куриный, не удостоив его ответом, двинулся дальше, но Измирец не отставал. Вместе спустились по лестнице и, миновав полутемные коридоры, подошли к железным воротам тюрьмы. Лавка бакалейщика находилась с другой стороны, у самых ворот.

Заметив в руке Куриного пять лир, Измирец опешил:

— Где взял? Хлеб свой, что ли, продал?

— Какой хлеб?

— Откуда же иначе?

— Мой ага дал.

— Тебе? За что?

Делать нечего, пришлось рассказать. Измирец обрадовался. Значит, сегодня вечером Капитан угощает.

— А мне дадите? И я буду есть?

— Все будем.

— Ай да Капитан! Вот это человек! Если б еще к фасоли свежего хлебца...

— Будет и хлеб.

— А лук?

— Будет лук.

Измирец даже подпрыгнул от восторга:

— Бахнул кулаком по луковице, вынул сердцевину, макнул в соль и — в рот. А специй к фасоли берешь?

— Без приправы какой вкус?

— И красный перец?

К ним подошел надзиратель.

— А ну в камеру, вы, подонки!

— В камеру? — вскинулся Куриный.— Подонки? Кто подонки?

— Кто же еще, кроме вас?

— Мы не подонки!

— Вот как?

— Нет, конечно. Гляди!

Куриный помахал ассигнацией.

— О-о-о! — проговорил надзиратель.— Поздравляю!

— То-то же!

— Что собираетесь купить?

— Чего-нибудь поесть.

— Что?

— Фасоли, мяса, лука, красного перца...

Надзирателю пришло на ум другое.

— Где взяли деньги? — неожиданно спросил он.

— Где нужно, там и взяли,— отрезал Куриный.

— Может, украли?

— Ясно, украли.

— А узнают? Глядите у меня!

— Что сделаешь?

— Косточки вам переломаю!

— Узнают — ломай.

С той стороны к воротам подошел лавочник. Пока Куриный заказывал, надзиратель отвел Измирца в сторону:

— Где эта шваль взяла деньги?

— Наш ага дал.

— А кто ваш ага?

— Капитан Ахмед.

— Тот, что из Ризе? А он где взял?

— Не взял, а мать ему прислала.

— Сколько?

— Сто пятьдесят лир. Есть у тебя такой ага, как наш?

— Он себе и постель купил,— вмешался Куриный, прислушивавшийся к их разговору.

— Ну, а дальше что?

— А дальше вот что! — продолжал Измирец.— Сегодня вечером будем есть фасоль.

Надзиратель засмеялся.

— И чай будем пить,— добавил Куриный.

— Есть ли еще такой человек на свете, как наш ага? Я и не просил, сам дал мне двадцать пять курушей.

Этого Куриный не знал.

— А что же ты с ними сделал?

Измирец не хотел говорить при надзирателе. Но Куриный не отставал:

— Ну? Что сделал? Скрываешь от меня? Зря, выходит, я взял тебя с собой. Говори, куда девал деньги?

Подождав, пока от них отойдет надзиратель, Измирец ответил:

— Проиграл. Сперва все фартило да фартило. Выиграл сто пятьдесят курушей. Надо бы встать да уйти. Не ушел. Ну а потом фарт весь вышел.

— Капитан, говоришь, сам дал тебе деньги? — подавленно переспросил Куриный.

— Сам! Я и не просил, бесчестным буду!

— Если б мне дал, я бы тоже сел за кости. Только, отхватив сто пятьдесят, не стал бы играть дальше. Да и кто не уйдет с таким выигрышем?

— Думал, еще выиграю...

— Сила должна быть в человеке от аллаха. Поставили сто лир? Разом все и выиграл. Тысячу поставили — забрал!

— Тогда с тобой никто больше играть не будет.

— Тем лучше.

— Это почему же?

— Все, что выиграл, при тебе и останется.

Услышав грубый голос лавочника, донесшийся от ворот, Куриный подбежал, взял покупки. Снова промчавшись полутемными коридорами, они поднялись по каменным ступеням и влетели в камеру под номером семьдесят два. Скверный принял у них продукты.

Как ни старался Куриный, двадцать пять курушей, что Капитан дал Измирцу, не выходили у него из головы. Бочком, чтоб Скверный не приметил, подошел к Капитану и зашептал:

— Ты дал Измирцу двадцать пять курушей, а он проиграл твои деньги в кости. Будь я на его месте...

— Что бы ты сделал?

— Я-то? Спрятал. Подарок моего аги! Как можно проиграть его в кости. Стыдно!

Капитан не ответил. Вынул монету, сунул в руки Куриному. Тот, покрутившись по камере, выскользнул в коридор.

Выиграв сто пятьдесят курушей, он во что бы то ни стало прекратит игру. Он не Измирец, нашли дурака!..

V

За стенами тюрьмы бушевала непогода. Тьма — ни луны, ни звезд. А в семьдесят второй камере запотевали от жара стены, заляпанные кровавыми пятнами раздавленных клопов. Посредине камеры, чадя, пылал мангал. Распространяя аппетитный аромат, кипела огромная кастрюля с фасолью.

Дети папаши Адама сидели вокруг нее кольцом. Худые, изможденные лица озаряло розоватое пламя. Запах кипящего варева напоминал о прошлом, о днях, когда у каждого был отчий дом.

Они ждали. Ждали. Когда наконец сварится эта фасоль. Ждали, беспрестанно сглатывая слюну. Им казалось, что не в кастрюле, а у них в горле с бульканьем варились куски мелко нарубленного мяса.

К полуночи глаза у всех затуманились, камера, тюремные стены отодвинулись куда-то далеко-далеко, и из этой дали вместе с запахом варящейся фасоли всплыл давно покинутый, полузабытый родительский дом.

Кто знает, сколько было лет мальчонке, когда за оконным стеклом, оклеенным бумагой, вот так же стояла беззвездная, безлунная ночь, а февральская буря сотрясала стены ветхого дома. Отец в очках, в белой ночной рубахе, на голове скуфейка, оторвавшись от книги, садился у края расстеленной на полу скатерти и кричал захлопотавшейся на кухне жене:

— Ханы-ы-ым!

Из кухни доносился высокий голос матери:

— Слушаю!

— Ужин скоро?

— Сейчас.

Старшая сестра, ожидая, пока доварится фасоль, разламывала на куски хлеб крашеными хной руками. Наконец появлялась кастрюля с фасолью. Ставилась посредине. И с именем аллаха все принимались за еду. Дом наполнялся стуком ложек да истовым чавканьем.

Хриплый голос Скверного вернул арестантов к действительности:

— Фасоль сварилась!

Отчий дом исчез, они снова были узниками семьдесят второй камеры, за стенами завывали холодные ветры и стояла глухая беззвездная ночь.

Кастрюлю сняли с мангала. Скверный поднял своей огромной ручищей крышку. Запах горячей пищи потряс голодных арестантов. Не отрываясь, глядели они на кастрюлю. В красном от перца супе плавали куски мяса. Все уставились на мясо. Никто не желал, чтобы приглянувшийся ему кусок достался другому, даже думать об этом было тошно. Но разве Скверный даст выбрать? Накинется, бессовестный, на мясо, словно коршун.

Разломили хлеб, каждому раздали по куску, бросили на круг четыре ложки. У Капитана и Скверного были свои. Остальным придется есть по очереди. Разве это дело? Какой вкус в еде, если нельзя сжать в кулаке черенок своей собственной ложки?

Все опустились на колени, приготовились, словно солдаты, ожидающие команды. Иссякали последние силы, скулы, обтянутые кожей, стали еще острей, арестанты затаили дыхание. Скверный свое дело сделал. Команду должен дать сам Капитан. Чего он тянет? Почему не велит начинать? Сам не подает примера?

Хеттская статуя, закатив глаза, дрожащими губами творила полузабытую молитву, вознося хвалу и благодарность господу за его сегодняшнее милосердие.

Ох ты! Как ждать тяжело!

Его губы все замедляли свое бормотание, пока, наконец, не застыли. Капитан открыл глаза. Медленно протянул руку, оторвал от ломтя крошку хлеба, бросил в рот, затем взял ложку и опустил ее в кастрюлю.

Стрела сорвалась с тетивы. С головокружительной быстротой замелькали передаваемые из рук в руки ложки, устрашающее чавканье наполнило камеру.

Огромная кастрюля фасоли и несколько буханок хлеба были уничтожены за считанные минуты. Грязные руки с длинными ногтями выскребали последние крохи, кто-то пытался даже вылизать пустую кастрюлю.

Капитан был доволен и горд, как отец, накормивший своих детей. На грубо высеченном лице хеттской статуи сияла улыбка.

Скверный вырвал у кого-то ходившую по рукам кастрюлю:

— Готовы кастрюлю сожрать, паразиты!

Капитан бросил в круг три пачки сигарет «Кёйлю». Скала прокричал:

— Поставить чайник!

Чайник водрузили на мангал, снова уселись вокруг кольцом.

— Дай, аллах, нашему аге долгой жизни! — возгласил Скала.

— Аминь,— прозвучали в ответ сытые голоса детей папаши Адама.

— Где найдешь такого агу, как наш? — воскликнул Измирец и в мгновение ока спрятал в карман пять сигарет из пачки.

Куриный с грехом пополам разжился лишь двумя.

— Нет на свете аги щедрее нашего!

— Разве другие...

— Сварят фасоль для бедняков?

— Скорее руки на себя наложат...

— Селезли каждый день двести-триста монет гребет с игроков...

— А за ломаный куруш удавиться готов.

— И тебя удавит за компанию.

— Если б наш ага столько выигрывал, каждый день варил бы нам по кастрюле...

— Варил бы. И еще...

— Куревом угощал.

— Да что курево, хотя бы агу постыдились! Всем нам тогда постели пожаловал бы!..

— Тюфяк, одеяло, одежку...

Сладко дымились сигареты. Капитан сидел на постели, поджав под себя ноги. Рядом с ним уселся Скверный, не отрываясь глядел на неподвижное, как у статуи, лицо Капитана. Глядел на его дымящуюся сигарету, с удовольствием слушая разговоры.

По знаку Скверного все умолкли. Ясное дело, нужно было дать слово Капитану. Он должен был что-то сказать, но он молчал. Молчал — и все тут.

— Расскажи нам, ага, что-нибудь, а мы послушаем, на ус намотаем! — не выдержав, попросил Куриный.

Капитан медленно поднял голову, повел глазами в сторону Куриного. Глянул на него с улыбкой. Отер кулаком пышные усы и снова застыл статуей.

Что до Скверного, то он вовсе не хотел никаких рассказов. Выпили бы поскорей

чай. Черт бы побрал всех эти голодранцев! Скорей бы они заснули, чтобы он остался с Капитаном наедине. Зачем было так тратиться? Еда, курево, чай... Всем этим подонкам с потрохами — грош цена!

Но длинный Эмин, Мережа Риза, Измирец, а больше всех Куриный не отставали: расскажи да расскажи им что-нибудь.

— Заткнитесь вы, наконец! — окрысился Скверный.— Чего рассказывать? Захочет, расскажет. Нечего агу беспокоить!

Все умолкли.

Молчание длилось долго, пока не зашумел чайник. Кое-кого стало клонить ко сну. Когда крышка весело запрыгала, Скверный приказал:

— Снимай!

Скала словно не слышал. Спросил Капитана:

— Снять чайник, ага?

Скверный обозлился:

— Сказано, снимать!

Скала снова пропустил его слова мимо ушей.

— Как прикажешь, ага, сперва заварить или снять?

Скверный огляделся, нет ли чего потяжелей.

— Ты что, не слышишь? Я тебе говорю: снимай чайник!

Скала не спеша снял крышку, бросил заварку, снова повторил:

— Я снимаю, ага!

И не глядя на Скверного, снял чайник с огня.

В камере было всего пять стаканов. Скверный поставил один перед Капитаном, другой перед собой. Хорошо еще, что не расслышал ворчанья Скалы. И без того вот тут он у него! Так бы и пустил из него юшку!

Чай разлили по стаканам, бросили в каждый по куску сахара. Еще один стакан взял себе Скала. Оставшиеся два передавались из рук в руки.

Сперва налили Капитану и Скверному. Скале это не понравилось. Еще вчера Скверный был с Капитаном в ссоре, а теперь вот стал лучшим другом. Было отчего взбелениться.

Скверный понимал, что у Скалы на уме, и лишь выжидал удобного случая, чтобы убрать его с дороги. Знал он, что Скала, сукин сын, надеется на защиту Капитана. Видать, мало ему доставалось, когда они были с Капитаном в ссоре. Ничего, Скверный еще покажет, что его так недаром прозвали.

Капитан толкнул его локтем:

— Ты чего не пьешь?

Скверный пришел в себя, отогнал черные мысли. Загремел ложкой в стакане. Однако Скалу непременно надо укротить, иначе будет всю дорогу подкладывать камни в торбу, все дело испортит.

А дело было такое, что его испортить никак нельзя. Сто пятьдесят лир не такие уж большие деньги. За неделю, за десять дней может ни шиша не остаться, все пойдет прахом. А они с Капитаном оба могли бы каждый испытать свой шанс. Не повезет одному, так повезет другому. Аллах над всеми хозяин! Не Селезли же!

Лишь бы судьба-индейка потрафила! Пусть немного, скажем, чтоб сто пятьдесят стали тремястами пятьюдесятью. Тогда, тогда он знает, что делать. Прибыль они с Капитаном разделят, он возьмет свою долю, и поминай как звали — на кой ему сдалась эта вонючая камера! Или нет, он не уйдет, станет играть на свои деньги. По полста курушей, понемногу, чтоб поглядеть, как пойдут дела. Проиграл? Пропустит три-четыре кона! Выиграл — начнет с лиры. Сотня превратится в две, две сотни — в четыре, четыре сотни — в восемь...

Два стакана переходили из рук в руки.

— Ну и отхлебнул ты, парень!

— А ты? Ты сам?

— Мой глоток — твоего половина.

— Кончай болтать! Мы ждем.

— Люди ждут, сынок.

Скверный подсчитал в уме возможный выигрыш, добрался до двух тысяч. Потом до четырех, а потом и до восьми. Будь у него восемь тысяч лир, он купил бы себе новую одежду, а эту грязную сжег бы прямо на бетонном полу камеры. Потом отправился бы в баню, как следует попарился, надел свежее бельишко, новый костюм и поселился бы в камере беев. А уж там, известно,— отменный тюфяк, шерстяное одеяло, подушка. Под постелью толстый ворсистый ковер, как у Селезли... Нить его мыслей внезапно оборвалась.

Капитан поставил перед собой порожний стакан, и его тотчас схватил Скала.

— Ты что? — вскинулся Скверный.— Чего схватил стакан Капитана?

Скала глянул исподлобья.

— Тебе какое дело?

— Значит, не мое дело? Ну, гляди, как бы ты не проехал носом по бетону.

— Видали мы таких! На базаре по пять курушей за фунт дают!

Скверный вскочил, но мясистая ручища Капитана удержала его.

— Не связывайся!

Самолюбие Скверного было удовлетворено.

— Не будь тебя, Капитан...

«А что бы ты сделал?» — чуть было не вырвалось у Скалы. Держа в руке стакан, он спросил:

— Налить еще, ага?

— Наливай, конечно,— ответил за того Скверный.— Еще спрашивает!

Скала наполнил стакан, протянул Капитану. Тот закурил новую сигарету. И вдруг заговорил:

— Был я тогда в Стамбуле. Дело спешное, контракт заключал. Один друг — на Галате, другой — в Зибе. Денег что воды в фонтане.— Он неторопливо отхлебнул из стакана. —Заночевал в Зибе. Проснулся утром. Рань. Пошел в баню. Вышел из бани, прямо в компанию. Говорят, добро пожаловать, капитан! Доброго здоровья, говорю. Говорят, есть шлюп, выходит в рейс, пойдешь? Говорю, чего спрашивать у больного здоровья. Но шлюп, не шлюп, а что твой пароходик через Босфор. Стоит под парами, готов отдать концы. Пирей, Неаполь, Триест. Оттуда Марсель, Гамбург, Скандинавия, Россия... Говорю, ладно. Пошел в кофейню поглядеть, может, есть кто из земляков. Гляжу, наш Хидает сидит, на меня глядит. Ба-а, ты чего, говорю, глядишь, Хидает? А ты, говорит, ничего не знаешь? Убили твоих племянников! — Он снова сделал глоток, пустил клуб дыма.— Тут я прямо ума решился. В глазах потемнело, взял такси и домой, на родину. Говорят, собака, которая ищет смерти, мочится на стену мечети. Вылез из такси, гляжу, ведут Рахми жандармы из суда. Хороший браунинг был...

Он умолк.

— А дальше что? — спросил Куриный.

Капитан смерил его гневным взглядом.

— А что же еще! Не из мечети ведь меня привели в эту чертову дыру!

Он встал.

— Куда? — вскинулся Скверный.

— По нужде.

Скверный обернулся к Скале:

— Эй ты, чего развалился, как корова на подстилке! Принеси кувшин аги!

Скала поднялся, недовольно бормоча себе что-то под нос, взял кувшин в углу камеры, наполнил его водой, поставил в сортире и вернулся.

— Да,— сказал Куриный,— не так-то просто быть слугой. Ага еще только надумал встать, а ты уже должен быть на ногах!

Скала зло поглядел на него.

— Чего выставился, осколок минарета? — спросил Скверный.— Не правду он говорит, что ли?

— Я тебе не осколок минарета!

— А кто же, скотинка божья?

— И не божья скотинка.

— Кто бы ты ни был, не торчи столбом, челюсти переломаю!

— А кто торчит?

— Ты торчишь около Капитана, прилип, как коровья лепешка!

— Что верно, то верно,— подхватил Куриный.— Вот ты, Скверный, к примеру, тоже для нас ага! А не стыдно ему против тебя идти! Наш ага тебя ценит, уважает. Коль ты скажешь, прогонит его, возьмет другого слугу.

— Как же, возьмет! — проворчал Скала.— Держи карман.

— Возьмет, ясное дело. Ага сам себе хозяин.

— А и возьмет, тебе-то что?

— Сказать, вижу, больше нечего,— снова вмешался Скверный.— Правильно он толкует!

— Пусть не суется не в свое дело.

— Куда хочет, туда и суется.

— Пусть не суется.

— Тебе говорят, паршивец! Куда хочет, туда и суется.

— Пусть не суется.

Самое время. Скверный вскочил, схватил длинного худого Скалу за шиворот, оттащил к стене.

— Сейчас я тебе покажу, почем фунт лиха!

— Пусть не суется,— упрямо твердил Скала.

— Тебе говорят, мерзавец: ты ему не указ!

— А пусть он не суется.

— Ах, пусть не суется?

Грязная брань, за нею оплеухи, удар кулаком, ногой... Скала растянулся на бетоне. Взревел на всю тюрьму, точно бык. Сбежались надзиратели:

— Что? Что здесь происходит? В чем дело?

Скала заорал еще громче. Надзирателей, однако, провести было не так-то просто. Толстый, коротконогий охранник сказал:

— Замолчи! Чего ревешь, как вол!

— А чего он бьет? Он, что ли, меня кормит? Нет у него такого права!

Скверный снова налетел на него коршуном. Ударил раз, еще раз. Их розняли арестанты. Куриный подошел к надзирателю:

— Не верьте! Прикидывается. Выкомаривает!

Длинный худой охранник рассмеялся:

— Все вы тут мастера...

Обычная вещь. Надзиратели удалились. Скала не поднимался, лежал на бетоне вниз лицом. Боялся, как бы еще не попало. Ждал Капитана.

Капитан неторопливо вошел в камеру. Остановился и долго глядел на Скалу, растянувшегося на бетоне. Потом обернулся к Скверному:

— Ты за что его, а?

Скверный, Куриный, а за ними остальные стали все валить на Скалу. Тот вскочил на ноги:

— Врут! Клянусь верой и правдой, врут, мой ага! У них одна забота — оговорить меня перед тобой да занять мое место! Не выносят они меня, клянусь, не выносят!

— Много о себе думаешь! «Выносят, не выносят». Да кто ты такой?

— А я говорю: не выносите вы меня!

— Заладил как попугай! Досталось по зубам, мало?

— Досталось, а вот теперь попробуй-ка!

— И попробую!

— Не посмеешь. Теперь здесь Капитан, мой ага. Ну-ка попробуй, ударь!

Капитан потянул Скверного за рукав. Они уселись друг против друга.

Куриный с усмешкой глядел на Скалу. Перехватив его взгляд, Скала рассердился.

— Дерьмо! — пробормотал он, покосившись на Скверного.

Тот не слышал.

— Ну, а что было дальше, Капитан? — спросил Куриный.

Каждый из них слышал по меньшей мере раз тридцать историю Капитана. С течением времени она обрастала в его устах новыми подробностями, становясь все более геройской. Арестанты посмеивались про себя, но не пытались ловить его на слове.

В тот вечер они засиделись далеко за полночь.

VI

Капитан и Скверный вместе вышли из семьдесят второй камеры.

Целых два дня Скверный не решался начать разговор и открыть Капитану свои планы. Курил ночи напролет сигарету за сигаретой и мечтал. Вот ему удалось под каким-то предлогом затащить Капитана в камеру Селезли, усадить за игру. Фортуна ему улыбается, он выигрывает, выигрывает, выигрывает. Они перебираются в камеру беев. Там тоже играют. И снова выигрывают. Ссужают других выигранными деньгами в рост, под проценты. Тюфяк из шерсти, шерстяное одеяло, подушка, покрывала из верблюжьей шерсти. По стенам, как у Селезли, развешаны костюмы, обернутые белой бумагой. Каждый день, как у Селезли, кипит кастрюля, шумит самовар. Дыми себе сигареткой с дурманом да беседуй с гостями...

Он глубоко вздохнул.

— Чего вздыхаешь? — спросил Капитан.— Или корабли твои потонули в море?

— Нет, другое.

Они спустились по лестнице. На втором этаже им навстречу попался коротконогий, толстый, как кот, Боби Ниязи, посыльный начальника тюрьмы. Боби не ожидал их здесь увидеть.

— Ха! Вот так удача! — сказал он, потирая руки.— Позавчера, говорят, пришли тебе сто пятьдесят лир от матери? Давно пора и к нам заглянуть, милости просим.

Скверный с Капитаном знали, что Боби, если захочет, может устроить им разрешение начальника тюрьмы сходить под надзором жандарма или надзирателя в город к зубному врачу или в больницу. Они знали также, что, выйдя под таким предлогом за ворота, можно посидеть часок-другой в кабаке, побывать в публичном доме. В их интересах было умаслить Боби.

Капитан сунул руку в карман черных штанов, купленных вчера в тюрьме у Кара Хаджи за шесть лир, вытащил комок ассигнаций. Пока он разворачивал скомканные бумажки в две с половиной лиры, Боби выхватил у него пятилировую и принялся тереть ею щеки, глаза.

— Благослови тебя аллах, Капитан!

Скверный счел, что пять лир для Боби слишком много.

— Бессовестный ты!

— Не твое дело, труба водосточная! Свои, что ли, деньги отдаешь? Нашел в кого камень бросать, а! — Он повернулся к Капитану.— Не таскай ты с собой эту падаль. Ведь он готов с ресниц невесты сурьму слизать да продать. Клянусь аллахом!.. Да, верно ли, что я слышал?

Лицо хеттской статуи повернулось к Боби:

— Что ты слышал?

— Задаешь, говорят, пиры в камере голых?

Скверный оживился:

— Варим суп для бездельников, грош им цена с потрохами!

— А ты разве не ешь? Ты, что ли, не бездельник, труба водосточная? Не зря тебя Скверным зовут. Послушай, Капитан, прекрати ты это. Сам у мечети Султан Ахмед побираешься, а у Святой Софии милостыню раздаешь. Куда это годится? Если уж аллах голодранцев людьми не сделал, ты и подавно не сделаешь.

— Точно,— вставил Скверный.

— Ах, точно!.. Не вводи-ка меня лучше в грех!.. Послушай, Капитан, пропади они все пропадом, пусть воздаст им аллах по заслугам. Сто пятьдесят лир, как вихрь, не каждый день налетают. Хочешь меня послушать, сейчас же ступай в камеру Селезли. Попытай судьбу. Или султан, или чурбан!

— Браво! — в восторге завопил Скверный.— Сколько дней я хочу сказать то же самое, да все не решаюсь. Вдруг удача тебе улыбнется...

— А нет, что потеряешь? Представь, что от матери ни бумажки не приходило. Зато, если повезет...

— Тогда разбогатеешь, бесчестным буду!

— Бесчестным? Видать, у тебя за душой не одна тонна этой самой чести?

Скверный решил сделать вид, что это шутка, и рассмеялся.

Боби потянул Капитана за руку:

— Пойдем! Я как раз собирался испытать свой шанс. Хочешь, давай вместе?

Капитан не двинулся с места.

— Что? — спросил Боби.— Боишься? Не робей, приятель. Никто у тебя денежки из кармана не вытянет. Не хочешь, не играй. Поглядишь, посмотришь. Пошли!

Скверный схватил Капитана за другую руку, и вдвоем они потащили его в камеру Селезли, как быка на заклание.

Капитан здесь до сей поры не был ни разу. И не только он. Никого из семьдесят второй камеры сюда не пускали. Но теперь Капитан был уже не из тех, кого звали детьми папаши Адама. Он получил от матери сто пятьдесят лир, справил себе одежку, купил постель, угостил других арестантов супом.

Никто, однако, не обратил на Капитана и его спутников никакого внимания. Боби втиснулся между игроками:

— Селям алейкюм!

И выигрывавшие и проигравшиеся едва кивнули в ответ головой:

— Алейкюм селям!

Дрожащие руки игроков хватали кости с расстеленной на полу шкуры, трясли их в чашечке из-под кофе, снова кидали. На кон ставились бумажки в пятьдесят, в сто лир, проигравшие скрипели зубами от ярости, выигравшие, не в силах скрыть радость, пихали деньги в карман.

— Не перебивай, Хасан.

— Перебью, приятель, мое право.

— Держи!

— Нет, говорю!

— Ну вот, все дело испортил...

Селезли, привалившись спиной к свернутой постели, покрытой цветастым одеялом из верблюжьей шерсти, следил за переходившими из рук в руки костями. Он был осужден на восемнадцать лет за изнасилование. И сидел уже шестой год. В прошлом году его отец умер от горя, оставив ему в наследство тысячи денюмов[1] земли, стада овец. У Селезли было трое детей — два мальчика и девочка. Но страсть у него была одна — игра. Ничто на свете его больше не занимало.

Когда очередь дошла до него, он из пухлой пачки денег вытащил рукой, обильно усаженной кольцами, три мятые сотенные бумажки и бросил их на шкуру.

— На все!

— Не горячись! — сказал Бошняк Али, державший в руке кости.

— Да как же не горячиться? Продулся совсем! Бросай кости!

Голубоглазый тщедушный Бошняк, помедлив, загремел в чашке костями. Наконец, бросил:

— Две шестерки!

Забрал скомканные сотни. Скверный чуть не умер от зависти. Склонившись к Капитану, прошептал:

— Ах, Капитан, Капитан!

Взгляд его упал на дверь. Там, не спуская с них глаз, стояли Скала и Куриный. Скверный, чтобы досадить Скале, запалил сигарету и небрежно пустил дым к потолку камеры, убранной коврами.

— Нужник поганый! — с ненавистью сказал Скала.— Еще считает себя человеком!

Куриный не понял.

— О ком ты?

— А тебе что?

— О нашем аге?

— О нем, конечно. Беги доносить, медаль получишь!

Куриный умолк, вытянув длинный, острый нос. Но сделал зарубку на память. Скала еще ответит за «нужник».

---

[1] Денюм — мера площади, равная 919.3 кв. м

Игра разгорелась. Селезли в ярости бросил на кон пять сотен. Через два круга Бошняк заграбастал и их. Непотребная брань Селезли сотрясала стены камеры. Привычным движением игроки хватали кости, трясли, бросали, с радостью тянули деньги к себе или со злобой швыряли выигравшим.

Боби подошел к Капитану:

— Ну как?

Капитан собрался было ответить, но Скверный опередил его:

— В два кона можно стать богачом!

Капитан медленно встал. И вместе со Скверным, который поневоле вынужден был последовать за ним, вышел из камеры. Сотни, брошенные на кон Селезли, не выходили у него из головы. Бошняк разбогател за пять-шесть конов. Если б ему выпали такие кости, он тоже мог бы разбогатеть.

Капитан остановился. Скрестив руки за спиной, поглядел на Скверного:

— А если нет?

Тот ничего не понял.

— Что «нет»?

— Кости не выпадут.

— Нельзя так думать, Капитан,— с жаром принялся убеждать Скверный.— И в мыслях не должно быть. Играть надо спокойно, хладнокровно! А то шайтан попутать может. Как ни крути, все в его власти. Захочет — и ты сорвешь кон, как Бошняк... Я бы на месте Бошняка...

— Никогда больше не играл,— перебил его Капитан.

— Молодец! Если выиграем, переберемся в камеру беев, станем давать деньги под залог. Дашь пятьдесят лир, а вернут не меньше ста пятидесяти. Дело верное. Не смог должник вернуть деньги — погорел. За пять месяцев набрал бы деньжат. А там к Боби: вот, мол, тебе, дорогой, десять лир, устрой бумажку к зубному врачу от господина начальника. А там...

Они вышли в тюремный двор. Капитан снова остановился. Руки у него по-прежнему были за спиной. Но глаза сверкали огнем, дыхание участилось. Он представил себе публичный дом, женщин — и покраснел. Чуть заметно улыбнулся, покачал головой и пошел дальше. Ему хотелось говорить о женщинах. Женщины! Светловолосые, рыжие, в алых, зеленых, голубых, желтых платьях. Широкобедрые, рослые женщины. Ему нужна была женщина. Красивая или уродливая — не имеет значения. Лишь бы приходила раз в неделю к нему на свидание, приносила чистое белье, еду, и он, как другие арестанты, мог бы посидеть с нею в уголке тюремного двора — колено к колену, коснуться ее руки...

— В публичном доме найдем себе подружек. Стоит выйти на волю — к зубному врачу, мол, а там дело в шляпе. Такие есть красотки!

Не один год прошел с тех пор, как на горной дороге Капитан настиг свою соседку Хатидже. Давно забыл об этом. Хатидже — чистая, белая, чернобровая, черноглазая. Найти бы вот такую Хатидже, Фатьму или Айше. Но публичный дом — место скверное. Найти бы в городе. Чтоб каждую неделю приходила, приносила еду, чистое белье...

Они уселись на краю бассейна с золотыми рыбками. В воде отражались серые тучи, плывшие по небу. Они глядели на них и молчали.

Прошел час, полтора часа. Они молчали. Заговорить — значило все испортить, разогнать мечты. Неизвестно, сколько бы они так просидели, если бы к ним не подошел Боби. Показав кулак с ассигнациями, похвастался:

— А это — денежки настоящие! Видали? Все они недавно шуршали в кармане Селезли!

— Сколько выиграл? — нетерпеливо спросил Скверный.

— Сто пятьдесят!

— А с чем сел?

— Ни с чем. Десять лир у меня было да пять Капитан пожаловал, вот и все. Послушай меня, Капитан. Или выиграл, или проиграл. Третьего не бывает. Селезли сегодня не фартит. Бранится на чем свет стоит, матерью клянусь!

Раздался свисток старшего надзирателя. Они поднялись и направились в камеру.

VII

Ненастье миновало. Сверкающий сноп солнечных лучей бил в незастекленное окно камеры. Дети папаши Адама, довольные, пригревшиеся на солнышке, вели неторопливую беседу:

— Эх, хорошо всегда быть сытым!

— Спишь себе спокойно!

— Что там говорить! Да избавит аллах от голода моих врагов!

— Мне на пустой желудок непременно дурные сны снятся. Или в пропасть падаю, или зверь какой руку оторвет, или змея укусит. Говорят, ору во сне...

— Говорят?! Ревешь, как бык.

— Вот что поганый голод с человеком делает!

— Забыли мы теперь, как выуживать из мусора листья порея, косточки маслин,

вонючие остатки плова. Но долго ли так продлится? Не надоест ли Капитану? Что скажешь?

— Дай аллах, чтоб подольше не надоело.

— Аминь. Только бы Скала не услышал. Усадит его за кости, а если не выиграет? Что такое сто пятьдесят лир?

— Все равно Скверный правдами и неправдами усадит его играть!

Ахмед по прозвищу Бетон, тощий как палка, перевел разговор на другую тему:

— Как появились хлеб да горячая еда, мне сразу захотелось зубы почистить. Ах, черт возьми, ну что мы за люди! Не было бы стыдно, так и сказали бы Капитану: «Купи, мол, нам и по зубной щетке!»

— Обчистите вы Капитана,— сказал Куриный.

— Совсем от сытости обнаглели. Мало тебе горячей еды?

Бетон, однако, был человеком самолюбивым.

— Ясно, мало! Что мы, не люди?! Нам и зубная щетка нужна, и кровать, и холодильник, и радио!

Скверный проснулся со стоном: вчера лег поздно, не выспался. Солнце ударило ему в лицо. Он обвел камеру красными, воспаленными глазами, усмехнулся без причины. Потянулся на солнце. И вдруг вспомнил о вчерашнем разговоре с Капитаном. Сон как рукой сняло. И о солнце позабыл — подумаешь, радость! Повернулся на другой бок, поглядел на спавшего сладким сном Капитана и позавидовал: будь у него такой тюфяк, одеяло да подушка, и он не прочь был бы поспать до полудня.

— И у меня будет такая постель,— сказал он Куриному.

— Капитан, что ли, купит?

— Нет, дорогой!

— А кто же?

— Сегодня мы играем в камере Селезли!

— И ты?

— Ясно, и я.

— А деньги есть?

— Капитан даст.

— Правда?

— Чтоб мне провалиться!.. Загребем монету, аллах, аллах!

Куриному эта новость пришлась не по душе. Но от него все равно ничего не зависело. Оставалось сделать вид, что обрадован:

— Вот это да! Выиграешь с помощью аллаха! А что мне купишь с выигрыша?

Скверный глянул на Куриного из-под черных бровей:

— Молись, чтоб выиграли. А выиграем, увидим...

— Ты это «увидим» оставь. Скажи что?

— От души — две с половиной лиры. Ну как?

— Дай тебе аллах здоровья! Наверняка выиграешь. Только Скале ничего не давай.

— Не дам, дорогой, не дам.

Скверный вышел умыться. Куриный подошел к Измирцу. Головастый где-то разжился куревом, дымил сигаретой. Не плохо бы закурить с утра на голодный желудок, чтоб тоску развеять. Куриный глянул на него с завистью. Глянул еще разок. Измирец и ухом не повел, словно не видел. Вот бессовестный, чтоб его!..

— Дай разок потянуть!

Измирец не ответил. Куриный потряс его за плечо:

— Дай хоть разок потянуть!

— Да не толкай ты меня, поганец!

— Подумаешь, барин!

— Барин не барин, а за плечо трясут лишь больных, вроде тебя! Пшел вон!

— Все шутки шутишь? А мне так курить хочется! Ей-богу, Измирец!

— Мне-то какое дело?

— Ну погоди, я тебе припомню.

— И что?

— Да ничего. Будут у меня денежки, тогда поглядим!

Измирец задумался. Откуда у Куриного могут быть деньги? Глубоко затянувшись, выпустил дым через нос, как из трубы. Куриный не выдержал. Глаза блеснули голодным блеском.

— Помилуй, браток Измирец! Не мучай!

— Кто тебя мучает?

— Дай хоть разок затянуться. И у нас когда-нибудь деньги будут, аллах велик.

— Откуда у тебя деньги?

— В жизни все бывает. Капитан вот тоже денег не ждал!

— Брось! За рыбу в море цену не назначают.

— Вовсе и не за рыбу в море. Может, сегодня будут.

— Откуда? У кого возьмешь?

— У Скверного,— прошептал Куриный.

— Не умирай, ишачок, не умирай, скоро лето придет...

— Они сегодня играют с Капитаном в кости у Селезли.

— А тебе-то что?

— Обещал мне с выигрыша две с половиной лиры.

Измирец поглядел на него невидящими глазами.

— Дай разок потянуть! — снова завел Куриный.

Измирец протянул окурок: как знать, может, и правда? Да и на затяжку там едва ли осталось — все равно бросать пора.

Куриный схватил окурок, сделал затяжку — закатил глаза, втянул щеки, дохнуть боялся, чтоб не выпустить ни глотка драгоценного дыма.

— Значит, две с половиной лиры получишь? — поинтересовался Измирец.

Куриный кивнул.

— Лихо. А что с ними сделаешь?

Куриный не отвечал.

— Тебя спрашивают, эй! Куда денешь свои две с половиной лиры?

Куриный не вытерпел. Сперва открыл глаза, потом с неохотой выпустил дым.

— Посмотрим.

— Я на твоем месте сел бы играть. Либо зашиб пятнадцать — двадцать лир, либо все коту под хвост. А пятнадцать — двадцать лир, браток...

— Что бы ты на них сделал?

— Купил бы себе хорошую постель, как у Капитана. От лежанья на цементном мешке душа усохла, ей-богу... Все косточки болят!

— Может, и я так сделаю.

— Лучше не придумать. Когда рыба брюхом кверху повернулась, не оживишь — поздно. А нам все равно пропадать, что так, что этак.

— А если повезет?

— Может, тебе и повезет, дорогой. Ты мне только скажи: с выигрыша что мне купишь?

Куриный подумал.

— Если перевалит за двадцатку, скажем тридцать — сорок выиграю, подарю тебе две с половиной...

— Эх, а я на эти две с половиной...

— Играть сядешь?

— Сяду, видит аллах. Если он захочет...

— Аллах из глины и то живое создал...

— Нам обоим должно повезти. Я непременно выиграю тридцать — сорок лир. Такие себе постели соорудим, загляденье. Верно я говорю?

— Верно. Рядом постелим.

— Может, из этой вонючей камеры уйдем.

— За тридцать — сорок лир не уйти, вот если б сто — сто пятьдесят!

— Как наберем, тут же и уйдем...

Скверный, умывшись — волосы, лицо еще влажные, вернулся в камеру. Проснулся и Капитан. Скверный подошел, сел, поджав ноги, на край его постели. Куриный следил за ним издали: стрельнет сигарету у Капитана или нет. Скверный вытащил из кармана целую пачку сигарет «Кёйлю». Дети папаши Адама жадными глазами уставились на пухлую белую сигаретку из новенькой пачки. Чувствуя на себе их взгляды, Скверный не торопился: он наслаждался их завистью, ощущением превосходства. Медленно размяв сигарету в пальцах, повертел и так и сяк. Наконец взял в рот, зажег спичку, прикурил и со смаком затянулся.

У Куриного с Измирцем, у всех обитателей камеры, кейфовавших на мешках из-под цемента, засосало под ложечкой.

Капитан, опершись на локоть, наслаждался новой постелью. И вдруг зашелся глухим влажным кашлем. Откашлявшись, проговорил:

— Поганые сигареты!

И швырнул одну из новеньких пачек детям папаши Адама. Ее расхватали в одно мгновение. Шутка ли, не какие-нибудь паршивые бычки, а толстые, словно кефали, сигареты из новенькой пухлой пачки! Разом запалили, задымили. Когда надзиратели отперли двери камеры, ее обитатели впервые за долгие годы не бросились сразу же вон, а спокойно, «как люди», кейфовали, покуривая, растянувшись на пустых мешках.

— Что сегодня стряслось с паразитами? — удивился один из надзирателей.

— Не знаю, ей-богу,— откликнулся другой.

— Раздымились! Курят, как порядочные.

— Это все Капитан мудрит.

— Сколько веревочке ни виться...

— Два-три дня — и конец.

Но вышло иначе. Шайтан, видно, впрямь встал на сторону Капитана со Скверным. Им везло. Кости беспрестанно выпадали в их пользу. Они возвращались в семьдесят вторую камеру с набитыми карманами. И причем не малыми купюрами, а по пятьдесят, по сотне лир. Просто невероятно!

Мог ли это снести Селезли?

— Не позволю! — рычал он, сверкая двумя рядами золотых зубов.— Не позволю подонкам обирать себя! Еще не вечер, погодите! Поставлю на кон шесть сотен-

ных, тыщу сотенных, а вырву у них деньги из пасти. Перешибу им фортуну. Пол будут лизать за корку хлеба!

Во всей тюрьме только об этом и говорили. По общему мнению, «подонки» были недостойны таких денег:

— Ах, поганцы! Что творится-то? Того и гляди, переберутся из своей вонючей камеры.

— И переберутся!

— Говорят, Капитан — широкий человек.

— Говорят, как получил деньги от матери, сварил похлебку на всю камеру.

— А Скверный? Скверный что за птица?

— Ну его к богу! Вот Капитан — это человек!

— Может, пригласим его в нашу камеру?

— Если щедр, отчего не пригласить?

— Поглядели бы вы на Селезли! Прямо посинел от злобы...

— А Хасан-эфе? Про Хасана-эфе что не спрашиваешь?

— Тебя послушать, так и Сулейман-бей, и Неджиб-ага, и сотник Керим ни шиша теперь не стоят?

— Нет, не позволят они им денежками попользоваться, не позволят!

Для семьдесят второй камеры наступил великий праздник. Ее обитатели чуть не плясали на радостях. Каждую весть о новом выигрыше Капитана со Скверным камера встречала торжествующим воем. Камера голых стала похожа на дом, где готовятся к свадьбе. Забросив все свои дела, «поганцы» сновали между семьдесят второй камерой и камерой Селезли. Их ага выигрывал! Выигрывал беспрестанно. Шутка ли? Теперь у них всегда будет кипеть на мангале кастрюля, каждый вечер они будут ложиться спать на сытый желудок. А тем, кто ложится сытым, снятся иные сны: не кошмары, а молодые красивые женщины видятся по ночам. Сытого и холод не берет. И вообще, есть ли на свете что-нибудь лучше сытости?! Да здравствует сытость!

Капитан, все с той же величавостью хеттской статуи, застыл в дверях камеры, обвел ее взглядом. Окна без стекол, кровавые пятна на стенах, крохотная запыленная лампочка под потолком. Грязь такая — дальше некуда. Он обернулся к стоявшему рядом Скверному:

— Грязная камера!

— А нам какое дело? — недовольно проворчал тот, важно насупив темные брови.

По лицу Капитана пробежала мрачная тень. Не глядя на Скверного, скомандовал Куриному,— тот уже стоял навытяжку в ожидании приказов:

— Возьми десятку! Ступайте к старшему надзирателю. Скажите, чтоб дал большую лампочку!

Скверному это пришлось не по вкусу, но он промолчал.

Куриный выскочил в коридор, за ним все остальные. Вслед за всеми — Скверный: надо было приглядеть за поганцами, не то, чего доброго, надуют Капитана. Так они и спустились по лестницам, впереди «поганцы», позади Скверный. Промчались по темным коридорам. У проволочной сетки Скверный столкнулся с убийцей Хильми, остановился в почтительной позе. Хильми был осужден на двадцать четыре года и слыл грозой тюрьмы.

— Верно ли, что я слышал, Скверный? — строго сказал он.

— Что ты слышал, ага? — взволнованно переспросил Скверный.

— Говорят, вы хорошенько почистили Селезли и компанию.

— Почистили, с твоего позволения.

— Сколько выиграли?

— Да сотен пять-шесть на двоих.

— Браво! Молодцы!

— Тут уж ничего не поделать, ага. Везет — так везет!

— Ладно, ладно! Значит, переедете в другую камеру?

— Я бы давно переехал,— посетовал Скверный,— да вот Капитан...

— Останется, что ли, там?

— Сдается мне, что так. Дал поганцам денег, чтоб сменили лампочку в камере. Взялся им похлебку варить. Послушай, говорю, оставь их в покое, если их аллах не жалеет, тебе-то чего жалеть?

Хильми положил ему руку на плечо:

— Не связывайся ты с этим психом!

— А что делать?

— Как что? Место в камере у тебя не купленное. Переходи к нам. Эту ночь на моей постели вместе переспим. А завтра купим тебе стоящую. Выделю тебе пай в торговле гашишем, заведем свои кости...

Скверный чуть не рехнулся от радости. Самый славный, самый грозный ага приглашает его в свою камеру!

— Слушаюсь, ага! Будь по-твоему!

Он подошел к Куриному и остальным, ожидавшим его по ту сторону проволочной сетки, и, не глядя им в глаза, пристыженно проговорил:

— Вы ступайте. Я теперь буду в камере у Хильми.

Скала в душе возликовал. Но для виду спросил:

— С чего это?

— Может, мне тебе отчет дать? Или я с вами у муллы обручился?

— Что передать Капитану? — спросил Куриный.

Скверный вытащил из кармана пять грязных, скомканных десяток:

— За игрой взял у него в долг пятьдесят лир. Верните. Скажите, пусть не поминает лихом.

Обитатели семьдесят второй камеры глядели ему вслед до тех пор, пока он вместе с Хильми не скрылся в темноте коридора. Куриный вздохнул.

— Вот тебе и дружба, эхма! — протянул Скала.

Измирец только сплюнул.

— Сразу видать, продажная шкура,— пробормотал Бетон.

— Капитан рассвирепеет.

— Да было бы с чего! Раз он нас знать не желает, мы его тем более. Пусть катится хоть в ад. Убийца Хильми его быстренько обработает, своих не узнает.

— Верно. Покрутится, повертится и снова в семьдесят вторую вернется.

— Кто тогда с ним разговаривать станет?

— Хватит трепаться, нас по делу послали!

Куриный почесал в затылке:

— Сами, что ли, попросим лампочку?

— Ясное дело, сами. Обойдемся без Скверного.

— Конечно, обойдемся.

Они подошли к дежурке, остановились.

— Боитесь, что ли, войти? — удивился Скала.

Переглянулись, пошлепали губами.

— Бояться не боимся, да только дело такое...

— Какое?

— Станет ли нас слушать старший надзиратель?..

— То-то и оно.

— А вдруг прогонит?

— И еще по шеям даст.

— Ничего он нам не сделает,— решил Скала и помахал пятью десятками, полученными от Скверного.— Это денежки, братцы, денежки, не бумажки!

— Верно,— сказал Куриный.

Тем не менее прежде Скалы к старшему надзирателю никто войти не решался. Скала постучал, приоткрыл дверь. Чернявый темнолицый тюремщик болтал с жандармским начальником. Заметив Скалу, помрачнел:

— Чего тебе?

Скала испугался. Скользнул взглядом по календарю, висевшему на стене, над головой у старшего надзирателя: 20 февраля 1941 года.

— Чего тебе надо, эй ты?

— Лампочку! — брякнул Скала.— Дайте большую лампочку в нашу камеру.

Надзиратель рассмеялся.

— Чего смеешься, господин старший?

— Чего смеюсь? Да кто вы такие, чтоб вам давать лампочки?!

— Ничего смешного нет. Разве мы не люди?

— Выходит, нет. Какие вы люди? Что людям делать в семьдесят второй камере?

Скала перевел дух:

— Ах, господин старший надзиратель, ничего мы в ваших глазах не стоим.

— Ясное дело, не стоите. Пасетесь, как скотина, во дворе, травой да объедками из мусорных корзин питаетесь.

— Да разве мы по своей вине, господин старший? Кому охота есть траву да рыться в мусоре?

Жандармский начальник погасил сигарету в пепельнице.

— Он прав. Дай ты им лампочку!

— Сколько раз давали, сержант! Вывернут и продадут. Видел ты их камеру? Рамы, нары — все, что только можно было сжечь, сломали да сожгли. Дал им аллах душу, никак обратно не отберет. В такую-то холодину в одной рубахе на голом полу спят, и ничего им не делается. Будь на их месте ты или я, тут же схватили бы воспаление легких — и конец... Катись отсюда, не будет тебе никакой лампочки.

— За деньги, господин старший,— взволнованно проговорил Скала.— За деньги!

Он вытащил из кармана десять лир.

— Где ты взял деньги? — удивился надзиратель.

— У моего аги! Это его деньги.

— А кто твой ага?

— Капитан Ахмед.

Старший надзиратель мгновенно сообразил, в чем дело, и сменил гнев на милость:

— В твоем кармане, что ли, хранит Капитан свои деньги?

— В моем. Я его слуга.

Надзиратель молча повернулся к шкафу, достал большую лампочку, протянул ее Скале.

— А деньги, господин старший?
— Катись, катись, да поживей!
Скала вышел от старшего, гордо держа перед собой лампочку. Но у дверей не было никого. «Трусы»,— решил он. Заметил Измирца, притаившегося в тени коридора.
— Получил?
— Конечно, получил!
— Молодец! И он тебе ничего не сказал?
— А что он скажет? Где остальные?
— Испугались да смылись.
— Болваны. Чего бояться старшего надзирателя?
— А ты не боишься?
— Вот еще! Такой же человек, как ты, как я.
— А ведь раньше боялся!
— То было раньше! Теперь у нас деньжата есть, дорогуша.
Они отправились в камеру.
Капитан, неподвижный, как статуя, сидел на постели и думал.
— Капитан,— сказал Скала.— Твой Скверный...
Капитан поднял руку:
— Тихо. Не шуми!
— ...Перешел в камеру убийцы Хильми!
— Тебе говорят, замолчи!
Капитан так на него глянул, что Скала осекся и обвел глазами камеру. Значит, успели уже сообщить. Скала вспомнил про деньги.
— Что это? — спросил Капитан.
— Скверный отдал. Должен, мол, тебе.
Капитан взял деньги, сунул в карман.
— Зажги мангал, купи картошки, лука, масла.
Он протянул десятку. Куриный, за ним Измирец, Бетон и все остальные выскочили из камеры. Не чуя под собой ног, сбежали по лестнице, пронеслись по гулким коридорам, подлетели к тюремным воротам. Радость переполняла их: сегодня вечером снова будет горячая еда, а может, и чай.
— Вот это человек!
— Кто? Мой ага?
— Он всем нам ага, милок!
— Верно, но прежде всех — мой.
— Это еще отчего?
— Я первый сообщил ему, что пришли деньги от матери.
— Подумаешь, вспомнил!
— А как же не помнить.
— А я о Скверном ему сообщил.
— Ты один, что ли?
— А нас с тобой рядом не было?
— Когда узнал про Скверного, рассердился? — спросил Скала.
— Кто его знает, по нему не видать, сердит или нет.
— Эх, мать честная, какой человек!
— Орел — человек.
— Всем орлам орел!

VIII

Шайтан еще несколько дней подряд держал сторону Капитана. Сам Селезли, хозяин земель и домов, лавки, оливковых рощ, был перед ним бессилен.
— Подумать только! — ярился он.— Какой-то паршивый голодранец, пять курушей ему цена, перебил мне фортуну, а?! Пусть моя мать будет шлюхой, если я не заставлю его на брюхе ползать ради куска хлеба!
Не один Селезли исходил злобой. И Сулейман-бей, осужденный на пять лет за растрату, и Неджиб-ага, получивший восемнадцать лет за убийство, и ефрейтор Керим, и Бошняк Али поносили судьбу последними словами и страшными клятвами клялись отомстить за свое поруганное достоинство. Негодовала вся тюрьма. Как так? Мыслимое ли дело, чтобы вонючий оборванец из камеры голых, до вчерашнего дня не имевший другого дохода, кроме пайки хлеба, которую ему от своих щедрот выделяла казна, как липку ободрал уважаемых, знатных персон. Что это? Удача? Судьба? Предопределение? Как бы эта сила ни называлась — пусть аллах, пусть дьявол,— не могла она унизить порядочных, состоятельных арестантов, став на сторону грязного оборванца!
Но Капитан был по-прежнему невозмутим, как хеттская статуя. И об эту невозмутимость разбивались и брань, и пересуды. Капитан охотно прекратил бы игру. Ждать, что не сегодня, так завтра тебе изменит удача, было мучительно. Куда проще было удовлетвориться тем, что успел выиграть, хорошо ли, бедно ли, но жить спокойно, в

свое удовольствие. Однако его не оставляли в покое. Утром, едва успевали открыться двери камер, сверху бежали гонцы:

— Капита-ан!

Он знал, зачем его зовут. Молча вставал и отправлялся за гонцами. Селезли, проведший еще одну ночь без сна, ждал его с нетерпением. Являлись и другие неудачники, поддерживаемые надеждой отыграться. И все начиналось сначала.

В тот вечер Капитан снова вышел из камеры Селезли, провожаемый ненавидящими взглядами. Остановившись на пороге семьдесят второй камеры, он запахнулся поплотней в толстую черную бурку и обвел долгим взглядом стены.

Он продолжал выигрывать, только выигрывать. Похоже, что его противники решились идти до конца. Гордость не позволяла Капитану сказать: «Хватит. Боюсь, что судьба отвернется и я снова буду нуждаться в куске хлеба!» А ведь удача рано или поздно должна была ему изменить, и тогда он потеряет все, что выиграл. Где же выход?

Он подозвал Скалу:

— Завтра пойдешь к старшему надзирателю, дашь ему денег, попросишь извести. Побелим эти грязные стены!

Арестанты во главе с Куриным, Измирцем и Бетоном окружили его плотным кольцом. Редкостной души человек, этот Капитан. Скажи он: «Умрите» — и они готовы были за него умереть. Скажи он: «Пойдите убейте!» — и они не заставили бы его повторять приказ. В этом мире, где девяносто девять людей из ста не согласятся даром помочиться на обожженный палец, он, их Капитан, был чудом из чудес.

Они снова опустошили огромную кастрюлю фасоли. Напились чаю, закурили. Оставив Капитана у окна, уселись погреть косточки возле мангала, до краев набитого отборным углем.

— Давайте завтра встанем пораньше,— предложил Скала.— Как только откроют двери камер, я сбегаю к старшему надзирателю.

— За известкой? — спросил Измирец.

— Ага.

— Чем отплатим мы Капитану за его доброту?! — вздохнул Бетон.

— Нечем!

— Опять занудили! Подумаем лучше, как завтра стены отделать!

— Будут блестеть, что зеркало, уж мы расстараемся, честью клянусь!

— Не хуже, чем у Селезли...

— А если б добыть еще рамы со стеклами,— мечтательно протянул Скала.

За стенами тюрьмы стояла ясная, прозрачная, как лед, зимняя ночь. Одна из тех ночей, что сводили Капитана с ума, заставляя разговаривать вслух с самим собой. Обхватив решетки руками, он думал о Боби Ниязи, посыльном начальника. Если б Скверный не ушел из их камеры, а был здесь, рядом, Капитан послал бы его за Боби. Пусть устроит им разрешение сходить в больницу или к зубному... За годы тюрьмы он успел позабыть вкус ракы и вина, жаркого с фасолью, скумбрии по-цыгански... Вот это были денечки! Они только-только вернулись из рейса. В Стамбуле холод, дождь пополам со снегом, под ногами хлюпает. Вместе с приятелем из Сюрмене, подняв воротники кожухов, они пошли по мосту через Золотой Рог. Грязно-свинцовое небо, мокрые шаланды. Приятель из Сюрмене был человек женатый, многодетный. А ему самому откуда было знать, что предстоит ему гнить в тюрьме долгие годы! Знал бы, своего не упустил. Еще бы! Но то-то и оно, что не знал. Эх, да что говорить! Они быстро миновали мост, вышли через Эминению на Рыбный базар, явились в греческий кабачок, людей — не продохнуть. Хозяин, молодой, с длинными баками, сам под мухой. Выдумал тоже: музыку завел на френкский [1] манер, не кабак, а церковь, а всем плевать. Народ навалился на скумбрию по-цыгански. Приятель из Сюрмене большой был любитель лакерды [2] с красным луком. И сардин. Сам он сардины не любил, а вот красный лук — это да! В последний вечер, что ли, это было? Снег повалил хлопьями. Дыша кабацким перегаром, они вывалились на улицу и на берегу повстречали Айсель. Эх, Айсель! По правде говоря, не так уж она была красива, но взгляд — душевный. Искала, бедняжка, спасения, говорила: «Или сама умру, или убьют меня». Не смерти боялась — ожидания смерти. Видно, опротивела ей такая жизнь, не могла быть уличной: «Никак с собою не совладаю. Не могу ничем клиентов порадовать. Думают, я прикидываюсь, бьют. А у меня, ей-богу, не выходит — и все тут. Потому и в публичный дом не взяли. А жаль, хоть была бы сыта!»

Капитан вздохнул.

Айсель испугалась его приятеля. И было чего! Усищи до ушей, брови клочковатые, волосы черные-пречерные, длинными кудрями выбиваются из-под фуражки. Как она от него рванулась, ища защиты у Капитана!

Эх, найти бы теперь Айсель!.. Знал бы адрес, отправил деньги, письмо написал. Приезжай, мол, да поскорее! Она бы приехала. Он снял бы ей комнату с кухней в квартале поближе, заплатил из выигранных денег за полгода вперед... Женился бы на ней, ей-богу!

---

[1] Френками в народе называют европейцев.

[2] Лакерда — мясо сыросоленого тунца.

Капитан закашлялся.

А что? Плевать ему на всех, взял бы да женился. Кто здесь знает Айсель? Приходила бы к нему на свидания, вместе садились бы в углу двора, колено к колену, щека к щеке...

Он потянулся за новой сигаретой. Скала и Куриный подбежали, зажгли спичку, но Капитан вынул свой коробок, не спеша прикурил.

— Послушай, ага,— сказал Куриный.

Капитан не повернул головы:

— Что?

— Ребята говорят...

— Что говорят?

— Завтра побелим стены, говорят, но вот...

Капитан обернулся:

— Что вот?

— Ничего, сделаем, даст аллах...

— Дальше-то что?

Куриный толкнул Скалу локтем.

— Тебе говорят,— сказал Капитан,— дальше-то что?

— Ничего, дорогой. Говорю, человек для вас похлебку варит, чаем вас поит, куревом снабжает. А вам все мало. И правда ведь? Вари еду, кипяти чай, бели стены...

— Не тяните резину! Говорите, в чем дело?

— У наших оборванцев,— сказал Куриный,— ни совести, ни стыда, мой ага.

Капитан взорвался:

— Тебя спрашивают, черт побери, что они говорят, в чем дело?

— Говорят, не сыскать такого агу, как наш. Да ниспошлет тебе аллах удачу во всем. Пусть святой Ибрагим дарует тебе богатство! Но сам понимаешь, жаль угля, зря жжем, тепло понапрасну в окно улетает...

Капитан понял. Собственно, он и сам об этом думал. Надо бы вставить рамы, стекла. Все равно рано или поздно Селезли и другие его обыграют.

— Напомни мне завтра! — сказал он.

— Спаси тебя аллах, ага! — запричитали Куриный со Скалой.— Дай тебе здоровья!.. Пусть каждый камень в твоих руках станет золотом!.. Да не увидишь ты черных дней!

Когда добрая весть долетела до сидевших вокруг мангала, шапки полетели в потолок.

— Значит, вставят стекла?!

— Вставят, только рамы вот надо сообразить.

— Ишь, умник выискался. Будто ага без тебя не знает.

— А разве я сказал, что не знает?

— Только этого не хватало!

— А ты не перебивай!

— Перестаньте грызться! — крикнул Бетон.— Пусть вставят стекла, хоть с рамами, хоть без рам. Лишь бы стекла были!

— Будут!

— Как стекла вставят...

— Всю ночь будет тепло от мангала.

— Не только ночь.

— И днем тоже.

— Вот тогда...

— Что тогда?

— Тогда совсем шикарная будет жизнь. Еще бы только...

— Чего тебе еще?

— Постель была бы...

— Разгулялись! — обрезал Куриный.— Положи им палец в рот...

— Они всю руку оттяпают.

— Эх, Бетон! Кто это они? Разве ты не из нас?

— Из вашей камеры, да не из вас!

— Что так? — вскинулся Скала.— Чем ты лучше нас?

— У меня справка за среднюю школу...

— Один осел поверил, да еще в прошлом году сдох.

Бетон разозлился.

— А ну, кто из вас хочет меня проверить? — Помолчав, он обвел всех взглядом и спросил: — Что такое: три целых тысяча четыреста шестнадцать десятитысячных?

— Значит, завтра будут рамы? — как ни в чем не бывало продолжал Куриный.

— Рамы вместе со стеклами,— подхватил Скала.

— Эх вы, дубины! — крикнул Бетон.— Не знаете даже числа пи. Я на вашем месте постеснялся бы людьми зваться!

Как только надзиратель отворил утром двери камеры, от Селезли снова прибежал гонец:

— Капитан!

Прежде чем уйти наверх, Капитан отозвал в сторону Скалу и строго-настрого приказал ему не забыть про побелку. Скала, Куриный, Измирец и компания отправились к старшему надзирателю, разжились банкой гашеной извести. Скала когда-то работал на стройке и потому понимал толк в побелке. Как только он развел известь, все, засучив рукава, взялись за дело.

Капитан вернулся в камеру к обеду. Увидел чистые белые стены и чуть не заплясал от радости, но сдержался.

— Теперь черед за постелями!

Камера не поверила своим ушам. Неужто Капитан купит им постели? Быть этого не может. Куриный решился, однако, переспросить:

— Каких постелей, ага?

Капитан ответил не сразу. Долго разглядывал побеленные стены. Потом обронил как ни в чем не бывало:

— Подыщите себе одеяла, подушки, тюфяки. Я дам денег.

И вышел из камеры.

Измирец в восторге прыгнул Куриному на спину, повалил на цементный пол. Тот ушибся, но не стал с ним браниться. Не до того. Скала и внимания не обратил на удар коленкой под зад, которым кто-то успел наградить его на радостях. Лишь Бетон счел за лучшее предупредить:

— Ко мне не привязывайтесь, братцы! Я этих шуток терпеть не могу!

Но кто его слушал? Навалились скопом, загнули салазки и, словно пушинку, швырнули худущего Бетона на капитанскую постель. «Это уж слишком!» — решил Скала.

— Что за шутки с постелью аги? Смотрите, ребята, останетесь с носом!

Как только Капитан вернулся в камеру, возня мгновенно прекратилась. Через полчаса коридоры тюрьмы огласились криками обитателей семьдесят второй камеры:

— Ищу постель!

— Кто продает порядочное одеяло с тюфяком?

— Куплю одеяло! Куплю тюфяк!

К вечеру и с этим было покончено. Притащили одеяла, матрасы, набитые тряпками, паклей, оческами, расстелили вдоль стены. Операцией командовал Скала. На сей раз никто ему не перечил.

Когда Капитан в своей черной бурке вернулся из камеры Селезли и увидел товарищей по камере, блаженствовавших на своих постелях, лицо хеттской статуи неожиданно смягчилось, глаза потеплели. Он медленно пошел к своему углу. Такой покой и уют царили среди побеленных стен, что казалось, Капитан вот-вот прослезится.

Но он тут же дал Скале новое поручение:

— Завтра пойдешь к столяру, пусть сделают рамы, вставят стекла. Деньги получат с меня!

И это было сделано. Никто не помнил, когда, какой лютой зимой были выломаны и сожжены на бетоне старые рамы. Теперь вместо них были новые, а в новых рамах — целые стекла. Мангал полыхал вовсю, и его тепло больше не вылетало на воздух.

Настала очередь одежки, обувки. Ни один из обитателей семьдесят второй камеры не шлепал больше босыми ногами по бетону. На каждом были теперь штаны, пиджачок или куртка. Изможденные лица порозовели, жизнь засветилась в угасших глазах. Есть траву, рыться в мусорных корзинах — теперь это стало уже историей.

Вместе с сытостью бывшая камера голых обрела и благопристойность, и совесть, и стыд, и честь. К ним повадились гости из разных камер, и они сами начали ходить в гости к другим. Варили чай да кофе, угощали сигаретами.

Один Селезли не находил себе места. Отощал от злобы — кожа да кости. Беспрерывно требовал денег из дому. Вначале они текли рекой, потом река оскудела. Требованиям не было конца, а дома его хорошо знали — раз начав играть, он уже не мог остановиться, выигрывал или проигрывал, все равно.

Ему перестали отвечать. Оливковые рощи, поля, дома, лавка, конечно, принадлежали ему, и он вправе ими распоряжаться как пожелает. Но дома у него были жена, дети, и сидеть ему предстояло долгие годы.

Тогда он совсем взбесился. Превратил в деньги ковры, которыми была увешана камера, паласы, костюмы, самовар. Большая часть этих денег тоже уплыла в карманы Капитана.

IX

Во второй половине апреля погода совсем разгулялась. Солнце напоило сладостным теплом новую жизнь. Полопались почки на голых ветвях, все вокруг зазеленело. Чахлые листья подорожника, молодой клевер, ирисы слились во дворе тюрьмы в сплошной ковер. Но пышней всего этот ковер зеленел перед небольшим зданием под красной черепицей, откуда после полудня выходили на прогулку заключенные женщины. Прижавшись друг к другу, они чинно сидели на траве, будто не слышали криков, долетавших до них из мужских отделений, не видели, как столпившиеся у решеток арестанты, стараясь привлечь их внимание, колотят себя кулаками в грудь.

Но безразличие их было напускным. Они затылком ощущали голодное дыхание осатаневших мужчин, жадно вдыхали тяжелый, пропитанный табаком мужской дух, подрагивающие от страсти усы на расстоянии щекотали кожу. Ах, если б распахнулись двери и они, выскочив как разъяренные быки из загона, могли бы наброситься на них!

— Где те денечки! — вздохнула Хатидже.

— Они нас просто разорвать готовы! — отозвалась черноглазая волоокая Фатьма.

— Пусть бы на части разорвали, девка! Я согласна!

Женщины фыркнули. Высохшая надзирательница, жена стоявшего у ворот охранника, подняла от вязанья голову:

— Что ржете, как кобылицы, учуявшие жеребцов?!

Снова раздался смех.

— Тьфу на вас! Совсем стыда нету!

— А чего нам стыдиться? — возразила Недиме.

Надзирательница промолчала. Знала, что Недиме получила семнадцать лет за то, что, выследив своего удравшего любовника, всадила ему в живот кухонный нож. Стыд для нее теперь пустое слово. Но Недиме не унималась:

— По ночам валяешься со своим в постели, а днем приходишь сюда срамить нас! Не выйдет, моя милая! Мы ни днем, ни ночью места себе не находим, все мечтаем о мужчинах! Вот так-то!

Недиме говорила правду. Бывало, всю ночь проводили они в постелях в обнимку с грязной мужской рубахой, целовали, миловали заляпанные старые штаны.

Боби Ниязи приносил для стирки грязное мужское белье — десять курушей за штуку. На какие только мысли не наводило оно!

— И то правда! Помоги вам аллах! — пришлось согласиться надзирательнице.

— Я и говорю, солнце грязью не замажешь! Мне, положим, за сорок, а ты вон на нее погляди! Брови, глаза, грудь!

Айше залилась краской. Не от стыда, от удовольствия. Сговорившись с дружком, она вместе с ним зарубила в хлеву, а затем разрезала на части своего пятидесятипятилетнего мужа. И чуть не угодила на виселицу. Ей предстояло просидеть еще двадцать два года. Если аллах не повелит иначе, она выйдет на волю в сорок четыре. «Лучше сразу в речку броситься!» — говорила Недиме.

Если б не появился Боби с охапкой грязного белья под мышкой, Недиме не скоро бы замолчала. Дерзко глянув на него из-под тонких длинных бровей, она спросила:

— Зачем пожаловал, сукин сын?

— Да вот белье принес вам, матушка!

— Спасибо, дорогой сынок! Спасибо! Боюсь только, что и это лишь для красотки Фатьмы!

Красотка Фатьма, осужденная за «прелюбодеяние», черноглазая, чернобровая, черноволосая молодуха, рванулась с места, точно распаленная кобылица. Подскочила к Боби.

— От кого?

— От Капитана!

Она так привыкла получать белье от Селезли и других записных богатеев, что никто иной ей и в голову не приходил.

— Капитана? Это кто еще?

— Жнец да на дуде игрец. Главное — денежный!

— Новенький?

— Попал давно, а раздобрел недавно.

— Как так?

Боби изложил во всех подробностях. Закончив рассказ, прибавил:

— Дурачок, бабский страдатель! На кой он тебе? Стирай, получай денежки и не забывай про Боби. Не то, клянусь своей матерью, испорчу тебе коммерцию.

— Отдай белье и проваливай,—прикрикнула на него надзирательница.

Боби передал белье Фатьме, подошел к надзирательнице:

— Не бойся, сестричка, не съем я вашу Фатьму! Говорю только, что на сей раз хозяин — человек капризный, все должно быть сделано на большой!

— Поди сюда, Боби,— встряла Недиме.— Съешь меня!

— Тебя? Помилуй, аллах? Без тонны меда от горечи загнешься!

— Ах так, значит, брезгуешь земляками?

— Помилуй аллах! — проговорил Боби и был таков: заметил старшего надзирателя. Тот, зажав в кулаке свисток, глядел на Боби волком.

— Сколько раз тебе говорил: не трепись с бабами! — рявкнул он, когда Боби подбежал поближе.

Боби расплылся в улыбке, заегозил, как проворовавшийся кот.

— Говорил, отец ты наш, говорил! Разве я тебя ослушаюсь! Эти шлюхи сами ко мне пристали, еле ноги унес. Может, кофе выпьешь? Я сварю. И сигареты есть «Золотой рог».

— Где разжился?

Боби счел за лучшее не упоминать Капитана.

— Ешь изюм, господин старший, а про виноградник не спрашивай!

Он перемахнул через несколько ступеней, влетел в контору, открыл дверь в

крохотную заднюю комнатку. Боби обитал здесь не один. В этой сырой конуре вместе с ним жили арестанты, исполнявшие писарскую и другую работу для конторы. Быстро сварил кофе, отнес в дежурку старшему надзирателю. Выложил пачку «Золотого рога».

— Если нет других приказаний, я пошел!

— Ступай!

Боби вернулся к себе, уселся на деревянный сундук и задумался. Надо во что бы то ни стало выманить у Капитана толстые пачки денег. Но как облапошить этого идиота? Вчера, да и позавчера Боби ему долго толковал о том, какие письма посылают бабам вместе с бельем другие арестанты. У болвана аж глаза засверкали. Если б не стеснялся, наверно, сам попросил бы передать письмо. Но не решился. Застенчив, дурак, ясное дело. Даже бумажки не попросил у начальника, чтоб отправиться в город к зубному или в больницу. Значит, стесняется, не доверяет ему. А доверился бы, что с того?

Боби встал с сундука, где прятал чай, кофе, сигареты, сахар, вышел во двор и направился к мужскому корпусу.

У дверей дежурил надзиратель с татарским лицом. Они давно ненавидели друг друга. Вернее, надзиратель не выносил Боби за то, что тот не считался с рядовыми охранниками, поскольку служил у старшего.

— Куда идешь?

— Открывай!

— Куда идешь, говорю?

— Открой! Иду в корпус. Старший приказал.

Приказ старшего вынудил надзирателя повиноваться, не то он показал бы ему, где раки зимуют. Но ничего, он еще рассчитается с Боби, настанет день. Выругавшись, он отпер дверь, проговорил ему вслед:

— Погоди, попадешься ты мне...

Боби слышал, но не стал связываться. За ним стояли старший, сам начальник тюрьмы. Что мог ему сделать этот татарин?!

В дверях семьдесят второй камеры его ждал Капитан. Взял Боби за руку с детской улыбкой. Тот сразу понял, в чем дело: жаждет услышать, как приняла его заказ красотка Фатьма. Но виду не подал, словно бы ему невдомек. Да тут еще Скала, Куриный и прочая братия навострили уши. А Боби этих голодранцев терпеть не мог.

— Ну что? Чего зенки выкатили?

— Да так, ничего. Хотели спросить, может, чаю выпьешь?

— Разве об этом спрашивают? — пристыдил их Капитан.— Заваривайте!

Капитан отвел Боби в свой угол, усадил на постель против себя.

— Я говорил о тебе с Фатьмой...

Глаза у Капитана округлились.

— Обо мне? Что она сказала?

Боби бил без промаха:

— Рассказал ей твою историю! Она изумилась!

— А сказал, что я был капитаном?

— А как же, Капитан!

— Сказал, что плавал не на пароходике через Босфор, а в Марсель, в Германию, в Россию?

— Все рассказал. На других арестантов не похож, говорю, бельишко его как следует выстирай, выгладь, он за деньгами не постоит.

— А она что?

— Для такого удальца, говорит, белье стирать — большая честь.

Хеттская статуя ожила. Капитан встал, снова сел и рявкнул на всю камеру:

— А ну, поскорей заваривайте, да покрепче!

Скала прошептал Куриному:

— Что-то есть между ними, но что?

Куриный насыпал чай для заварки, кивнул:

— Есть. А кто знает?

— Такое меня зло берет на Боби!

— И меня!

Измирец с Бетоном подсели поближе.

— Послушай, Скала, нечисто у Боби с Капитаном, ей-богу!

— Вот и мы говорим.

— Забрал Капитана в руки.

— Еще как забрал!

— Лишь бы это на нас не отыгралось...

— Чего вы там столпились? Разойдись! — приказал Капитан.

— Оставь их! — сказал Боби.— У нас свои дела. До сего дня я один носил белье к этой бабе от Селезли, Сулеймана-бея и всех остальных. Обо всех ей рассказывал, но она ни о ком так не расспрашивала, как о тебе. Если б я ей сказал: Капитан, мол, по тебе сохнет, ждет от тебя письма...

— Написала бы?

— Я думаю, написала...

— Ах, если б написала!..
— Что мне за это дашь?
— Оба глаза вынь, сердце возьми!
— Ладно. Надо будет, возьму. А пока пусть глаза да сердце тебе послужат. Рассчитаемся лучше монетой. Согласен?

Капитан вытащил из черных саржевых шаровар пачку денег, положил перед Боби:

— Бери сколько хочешь!

Боби деликатно взял две десятки:

— Одна — мне, другая — Фатьме!

Услышав имя Фатьмы, Капитан вскинулся, как от удара:

— Ни в жизнь! Ей — пятьдесят! На, передай!

— Молодец! Сразу видно, понимает человек обхождение.

Боби, довольный, сунул деньги в карман. Выпил чай и был таков.

Ночью, когда камеры погрузились в сон, Боби принялся за письмо к Капитану:

«Возлюбленный мой падишах!

Ночью ты — в моих снах, днем — в моих мечтах. Я тебя так люблю! Прослышав о твоей славе, изнемогаю от страсти. Душу свою готова отдать за такого джигита. Если ты меня любишь, то не оставишь без своей милости. Целую, прикладываю к глазам твое белье вместо тебя. Да соединит нас однажды аллах! Аминь».

Он сложил записку. Вместо печати с четырех сторон прожег сигаретой четыре дырки и сунул в карман. Завтра надушит и вместе с чистым, выстиранным бельем передаст Капитану.

Он лег. Во сне ему привиделся публичный дом. Каждую субботу, получив от начальника бумажку на посещение больницы, он выходил в город, являлся в публичный дом и проводил время с Неджлой. Она была его землячкой: как он, родом из Мустафапаши, и познакомился он с ней в том же публичном доме.

Утром, проснувшись, он сладко потянулся:

— Ох!

— Тпру! — рявкнул Маленький Али, известный в тюрьме курильщик опиума. Окрик вернул Боби к действительности. Он расплылся в улыбке:

— Во сне с бабой спать еще приятнее...

— Ах, вот оно что!

Бывший староста Рамазан схватил чайник.

— Вставай, эй ты! Марш в баню!

Боби выскочил из постели. Натягивая штаны, проговорил:

— Сейчас! Сейчас!

Совершать омовение было не в его обычаях. Дожидался месяц, а то и два, чтоб разом смыть все грехи вместе с грязью.

Чей-то бас завел вдалеке песню «Тюремный источник».

X

Семьдесят вторая камера храпела. Бог знает какие сны снились детям папаши Адама.

Капитан, как обычно, припал к окну, обхватив решетки ручищами. Он думал о красотке Фатьме. Значит, она спросила у Боби, кто хозяин белья. И узнала, что он был капитаном и не на какой-нибудь галоше, что возит пассажиров через Босфор, а на большом пароходе, ходил в Пирей, в Неаполь, в Марсель, в Гамбург, в Россию.

Выходит, теперь она знает, что он за человек! Знает, что попал он в тюрьму, дабы не оставить без отмщения кровь отца, предательски убитого, когда он сам еще был грудным младенцем. Знает и, должно быть, говорит другим женщинам: «Мой милый — капитан! Да, капитан! И не на пароходиках, что ходят через Босфор, а на больших кораблях. Прежде чем попасть в тюрьму, он объездил с товарами и пассажирами все порты мира. Бил бокалы в портовых кабаках, опрокидывал столы. Я знаю, что мой капитан, кроме меня, никого не любил. Хотел бы, его полюбила любая. Но он не хотел. Ждал меня. Аллах заронил ему в сердце любовь ко мне раньше, чем я родилась».

Он курил одну сигарету за другой. То, о чем он мечтал годами, свершилось. И сверкающая луна в ясном февральском небе, и крытое черепицей здание в глубине двора, и толпы деревьев вдали, колыхавшиеся, как море под ветром, и рельсы железной дороги, сверкавшие двумя серебряными полосами, и крыши, и стены домов,— все находило отклик в его сердце, подобно радостной песне. Фатьма, красотка Фатьма в конце концов предпочла всем его, а? Та самая Фатьма, что плевать хотела на Селезли, на Сулеймана-бея, на Бошняка Али, на Неджиба-агу и прочих богатеев, выбрала его, не смогла не выбрать! Конечно: ведь никто из них не сидел здесь потому, что отомстил за кровь своего отца! Кто за кражу, кто за убийство, кто в драке за землю, а кто из-за женщин обагрил свои руки кровью.

Сумел ли только Боби все ей растолковать? Если нет, то и Фатьма не сможет

путем рассказать товаркам, не сможет толком похвалиться перед ними своим возлюбленным.

Об этом он первым делом и спросил Боби, когда тот на следующий день после обеда явился с чистым бельем в руках. Боби, однако, был не прост:

— И не стыдно тебе, Капитан? Я ей рассказал про тебя лучше, чем ты сам. Потому и не утерпела. Если так, говорит, напишу ему письмо.

Капитан припал к его рукам:

— Написала?

Боби выдернул руки:

— Что за спешка? Не блох ведь ловим! Сначала вели подать чай, а уж потом...

— Чай? Все чаи мира! Эй, Скала! Завари чаю, неси сюда. Аллах велик и щедр, давай на всех!

Он потянул Боби к своей постели, усадил напротив себя. Бросил на одеяло пачку «Золотого рога».

— Значит, так и сказала: напишу письмо?

Боби не торопился:

— Сначала позолоти ручку за добрую весть!

— За добрую весть? Бери сколько хочешь! На!

Он швырнул на одеяло пачку денег.

— Дай своей рукой, сколько положишь от души,— сказал Боби.

Капитан протянул ему две десятки.

— Мало,— сказал Боби.

Капитан протянул еще две.

— По правде говоря, и этого мало, но так уж и быть! — смилостивился Боби и протянул письмо, которое написал вчера вечером, запечатав четырьмя прожженными дырками.

От неожиданности, от изумления Капитана шатнуло. Словно земля вдруг дрогнула под ногами у статуи. Письмо источало аромат лаванды, одеколона. От этих запахов Капитан на миг опьянел. Они унесли его далеко-далеко за стены, за годы, в бог знает какой публичный дом, где точно так же вот пахли белые простыни.

Снова и снова он целовал записку, вдыхал ее запах. Перед ним возник тонкий стан красотки Фатьмы. Он видел ее в толпе других женщин, когда после обеда их выводили на прогулку перед домиком с черепицей. Значит, она послала ему эту записку? Сама написала ее белой мягкой рукой? Дрожь ожгла его, словно он дотронулся до ее пальцев своей огромной мозолистой ладонью.

— Прочти. И дай ответ.

— Ответ? Она ждет?

— Ясно, ждет.

Капитан несколько раз подряд перечитал записку от первого до последнего слова и никак не мог прийти в себя.

— Значит, ты рассказал о моем капитанстве?

— Рассказал.

— Сказал, что я не босфорский капитан?

— Сказал, конечно! Все рассказал.

— И за что попал сюда — тоже?

— Ох, Капитан, обалдеть от тебя можно! Говорят тебе, все рассказал. Давай пиши ответ.

Вручив Скале деньги, Капитан наказал ему купить в лавке красивый конверт и бумаги с цветочками. Выкурив подряд полпачки сигарет, выхлестав вместе с Боби несколько стаканов чаю, он удалился в угол, с грехом пополам нацарапал несколько строк на цветастой бумаге, которую принес Скала, надушил ее, как Фатьма, запечатал в конверт и вручил Боби.

— Давай грязное белье! — сказал тот, вставая.

Скала подхватился, собрал охапку белья. Физиономия при этом у него была кислая. Если б удалось и от этого избавиться, как от Скверного, черт бы их обоих побрал!

Как только Боби схватил белье и, точно нашкодивший кот, выскользнул из камеры, Капитан вскарабкался на окно и, по обыкновению, обхватив решетки руками, принялся ждать. Он должен был увидеть, как Боби передаст белье. Из окна были хорошо видны двери дома под черепицей. Боби с бельем подошел к дверям, постучал. Сперва показалась надзирательница, потом и Фатьма. Они о чем-то поговорили, пересмеиваясь, но о чем, расслышать отсюда было нельзя.

Красотка Фатьма, принимая белье, спросила:

— Чье?

— Тебе-то какое дело? Чье бы ни было! Твое дело выстирать!

— За десять курушей шутка не пойдет. Пусть теперь платят по двенадцати с половиной.

— Как скажете, ханым-эфенди! Есть еще приказания?

— Есть, земляк, есть,— влезла в разговор Недиме, показавшаяся в дверях с намыленными руками.

— Какие?

Недиме глянула на надзирательницу. Попросила:

— Впусти-ка его на минутку!

— Еще чего! — мрачно ответила та.— А ну, марш отсюда, чтоб я тебя не видела!

Боби ушел. Надзирательница заперла за ним дверь огромным ключом. Недиме и ее товарки припали к щелям в дверных досках.

— Как я зла на эту бабу! — сказала Недиме.— Ну, что ей, корове, стоит! Никого поблизости нет. Впустила бы его на пять минут... Не обеднела бы!

Она отошла от двери вместе с Фатьмой.

— Чье белье?

— Не знаю.

— Селезли?

— Ей-богу, не знаю. Приносить приносит, а чье, не говорит.

— Совести у него нет.

К ним подошли Айше, Хатидже и другие. С волнением передавая белье из рук в руки, они разглядывали его, гадали, кто владелец, и хохотали над непристойностями, за которыми Недиме в карман не лезла.

Каждый раз, когда Боби приносил чистое белье, Капитана сотрясала буря радости:

— А ну, садись сюда! Добро пожаловать, дорогой ты мой! Скала, готовь чай!

Пока Скала с приятелями засыпал заварку, ставил воду на мангал, Капитан и Боби принимались шептаться:

— Твоя говорит, что...

— Что говорит?

— Скоро ее срок кончится.

— Вернется в деревню?

— Вернется, но хотела бы здесь обосноваться.

— Давай снимем поблизости дом, я заплачу...

— Тогда порядок.

— Пойди, так ей и скажи. Хочет, может взять с собой мать

— Скажу.

— Устроим обручение, станет моей законной женой.

— Говорит, буду ждать, пока он не выйдет на волю.

Капитан не скупился. Когда Боби являлся с чистым бельем, давал ему на чай и раз, и два, и три. Красотке Фатьме посылал на чулки, на отрезы для платьев, на лаванду и одеколон, не спрашивая себя о том, доходят ли его подарки по назначению. Он никак не мог дождаться дня, когда у нее кончится срок и они смогут обручиться.

Днем, заложив руки за спину, он бродил один по коридорам, размышляя о Фатьме. По ночам, когда камера голых погружалась в сон, садился на окно и, уставившись на дом под красной черепицей, мечтал о Фатьме, о ней одной.

Жить в доме, который он для нее снимет поблизости от тюрьмы, она не могла одна. Если есть у нее мать, надо будет и ее выписать. А нет, приедет его собственная старенькая матушка, которая давно ждет его в деревне под Ризе. Приедет, поселится вместе с красавицей невесткой, станет ее оберегать от чужих глаз да приставаний. Есть на небе аллах: в один прекрасный день выйдет амнистия или его перешлют в другую тюрьму получше. В конце концов они соединятся с Фатьмой.

Больше всего нравилось ему мечтать о том, как он выйдет на волю. Никто не ждет, не гадает, и вдруг — амнистия. Распахнулись двери тюрьмы, соединились влюбленные. Выходит на волю и он. Берет за белые мягкие руки свою Фатьму, которая ждет его у тюремных ворот со слезами на глазах. «Молчи,— говорит он ей,— не плачь. Видишь, я вышел? Теперь мы всегда будем вместе. Первым делом, навестим мою мать. Пошли!»

Они садятся в такси, несутся, вздымая пыль, по дороге в Стамбул. Минареты, свинцовые купола мечетей, Галата, пристань Каракей, Принцевы острова — Стамбул! Фатьма не видела такого огромного города, пораженная, жмется к нему. Глаза распахнуты от страха и удивления. «Не бойся,— говорит он.— Я с тобой!»

Проведя ночь в гостинице где-нибудь в Сиркеджи или на Тепебаши, они следующим утром садятся на огромный пароход. Миновав Босфор, пароход закачается на крутых волнах Черного моря. И Фатьму опять одолеет страх. Ей плохо, она боится утонуть. Капитану становится жаль Фатьму. Нет, лучше не на пароходе, а на такси. Пусть хоть сто лир стоит. Садятся. И, вздымая пыль, мчатся до самой деревни. Старуха их ждать не ждала. Лицо еще больше сморщилось, глаза потускнели. Они припадают к материнским рукам. «Мама,— говорит он.— Мамочка, я привез тебе невестку!»

Бедняжка не может сдержать слез. Прижимает сына с невесткой к груди, возносит хвалу аллаху, который даровал им, наконец, счастливые дни.

Но в деревне долго оставаться ему не с руки. Он человек морской Деньги на пропитание, на чулки и цветастые одежки для Фатьмы, на увеселенья, что ждут их в Стамбуле, он должен добывать в море. С помощью земляков они находят в Стамбуле двухкомнатный домик где-нибудь в Джибали, Фенере или в Балате и селятся там...

В подобных мечтах проходила за ночью ночь. Но когда наступало утро и отворялись двери камер, наваждение рассеивалось. В глаза глядела жестокая реальность семьдесят второй камеры. Впереди было еще двадцать бесконечных лет заключения. А амнистия, где она? Где достойная человека современная тюрьма? Кто знает, может, ему никогда отсюда не выйти, не соединиться со своей Фатьмой?

От душевной боли, которую причиняли эти мысли, его посеревшее от бессонницы лицо мрачнело, казалось, он готов расплакаться. Он выходил из камеры, и тогда уже его ни о чем не спрашивай. Он или не слышал, или взрывался, как динамит. Но стоило явиться Боби и начать: «Твоя говорит...», как лицо его снова менялось.

Боби, изучив характер Капитана, никогда не являлся по утрам с пустыми руками. Непременно приносил от Фатьмы письмо. Получив бакшиш, вручал его адресату, пил чай да кофе, курил сигареты и, провожаемый ненавидящими взглядами Скалы и его товарищей, уходил восвояси.

Когда письма стали приедаться, от красотки Фатьмы пришел подарок. То была табакерка из простого дерева, отлакированная под орех. Капитан едва ума не решился. Не выпуская табакерку из рук, ходил по камере из угла в угол, показывал всем подарок. Смеялся, вскрикивал, ахал, охал, шутил с кем попало. Это было настолько на него непохоже, что все решили: и впрямь повредился в уме.

Слух об этом за несколько дней облетел всю тюрьму и, наконец, достиг ушей Фатьмы. Она знала, что ее имя в мужском корпусе треплют кому не лень, и не сердилась на это. Но кто же этот Капитан? Она его знать не знала. При чем здесь она?

— Кто этот человек? — раздраженно спросила она у Боби.

— Капитан!

— Какой Капитан?

— Да так, на парусной лодке плавал.

— Разве на лодке бывают капитаны?

— Псих. Воображает, что обошел весь мир на барже.

— Красивый?

— Какое там!

— Отчего же он треплет мое имя?

— А кто твое имя не треплет, красотка?

— Денежный?

— При деньгах.

Фатьма подмигнула.

— Познакомь!

— Страшен, ей-богу! Как статуя!

— Не важно. Познакомь.

Боби осенило.

— Ну,— не отставала Фатьма,— познакомишь?

— Не подмажешь, не поедешь...

— Подмажу.

— Так подмажь!

— Ты познакомь, а за мной не пропадет.

— Шалишь, плата вперед, а я уж найду способ!

Фатьма вытащила из-за пазухи одну из мятых бумажек в две с половиной лиры, которые заработала на стирке.

— Держи!

— Аванс, не так ли?

— Ох, парень, с тобой надо ухо востро держать!

Боби помчался с новостью в семьдесят вторую камеру. Нашел Капитана.

— Что мне дашь, если я устрою тебе свидание с Фатьмой?

Капитан упал на колени.

— Спаси тебя аллах!

— Ладно, ладно! Если пожалуешь полсотни лир, дело выгорит. Сам знаешь, надзирателям тоже надо в лапу дать.

Пятьдесят лир? Да разве это сумма? Он тут же вытащил деньги, отдал их Боби.

Дело, задуманное Боби, было совсем не столь сложным, чтобы связываться с надзирателями. Раз в неделю в тюремный лазарет приходил врач. Надо было только устроить так, чтобы Фатьму и Капитана вызвали в лазарет одновременно.

Ни с кем не договариваясь, никому не заплатив ни куруша, Боби свел их перед лазаретом. В полутьме коридора грузный Капитан действительно походил на статую. Смотрел себе под ноги. Молчал, как немой. Весь дрожал.

— Ну, поговори же! Спроси, как здоровье! Чего молчишь! — сказал Боби. Капитан смутился пуще прежнего.

Фатьму разбирал смех. Она протянула руку:

— Как дела, Капитан?

Белоснежная, мягкая, как хлопок, ладонь коснулась его руки.

— Хорошо! — ответил он, обливаясь потом.

На этом разговор и окончился. Фатьма ушла. Но долго еще не могла успокоиться: расписывала товаркам, какое уродливое у Капитана лицо, как похож он на высеченную из камня статую.

— Ладно,— сказала Недиме.— Понятно, что он уродлив. Но и урод — тоже божье создание! Ты вот завтра выходишь, попадешь в объятия своего дружка. А мы? Не то что на Капитана, и на семидесятилетнего старика согласны! Вот так-то, девка. Лишь бы только сидел со мной рядом, курил, да по ночам пахло мужским духом!

Вскоре Фатьма, отбыв срок, тихо покинула тюремные стены.

XI

С бьющимся сердцем следил он из своего окна, как уходит Фатьма из тюрьмы. Много недель назад они договорились с Боби, что вскоре Фатьма вернется, поселится в снятой для нее комнате поблизости от тюрьмы вместе со своей матерью, а нет — Капитан вызовет свою.

Шли дни. Каждый раз, когда Боби являлся в камеру, Капитан спрашивал:

— Ну что? Отчего она не приезжает?

— Не торопись. Приедет,— неизменно отвечал Боби.

Капитан бродил в одиночестве по коридору, перебирая крупные желтые четки, и все думал о своей возлюбленной, которая почему-то не возвращалась. Она приедет, он был в этом уверен, непременно приедет. Все это так, но не пора ли?! Сон не шел к нему по ночам. Кусок не лез в горло. Он перестал играть. Только Боби! Как его увидит, в волнении хватает за руки:

— Она приедет! Правда ведь, она приедет?

— Сказано — приедет.

Во время прогулок Капитан подбегал к тюремным воротам, через которые вышла на волю Фатьма, и долго выглядывал свою возлюбленную.

Шли дни, недели, месяцы.

— На кого ты там глядишь, Капитан?

— На Фатьму.

— Где она? Пришла, что ли?

— Пришла. Гляди, вон она! Стоит, ждет меня.

Тех, кто смотрел за ворота, он спрашивал с тревогой:

— Верно ведь? Меня ждет?

И начинал говорить с ней, будто и в самом деле она ждала его у ворот:

— Ты приехала, Фатьма? Не стой, не жди, устанешь! Ступай в деревню, к моей матери. Меня пересылают на остров Имралы. Отбуду срок, приеду!

Семьдесят вторая камера быстро обрела свой прежний вид. Сначала были проданы тюфяки, одеяла, подушки, ботинки. Потом загнали лампочку, спустили одежку. Затем, в свой черед — мангал, кастрюлю, чайник, ложки. А после того, как осенью вынули стекла, в камере не осталось ничего, кроме капитанской постели, да обувки и одежки на нем.

В середине зимы выломали рамы, сожгли их на цементном полу и грелись. Глядя на предательский голодный блеск в глазах своих приятелей, освещенных рыжеватым пламенем костра, Куриный вдруг все понял. Понял их и Бетон.

— Не надо! Ради аллаха, не надо! Он нам сделал столько добра!

— Плевать! — процедил Çкала.— Мы тоже ему служили, как жены!

— Как жены, как жены,— пробормотал Куриный.

— Сам он виноват. Кто велел ему втюриться? — обронил Измирец.

— Никто.

На следующее утро, когда Капитан снова вышел к тюремным воротам, Скала схватил постель своего бывшего аги, взвалил ее на плечи и выскочил из камеры. За ним — остальные.

— Кому одеяло с тюфяком?

— Кому постель?

Капитан, вернувшись под вечер, ничего не заметил. Куда подевалась постель? Да и была ли она? Он ни у кого ничего не спросил. Взобрался, как обычно, на окно, обхватил ручищами решетки, уставился на дорогу, по которой ушла Фатьма.

Как-то утром Скала подмигнул Куриному:

— Пиджак! Идет?

— Идет.

— Штаны и обувку тоже,— сказал Измирец.

— Ну и подлецы! Нет у вас жалости. Хоть его одежку не трогайте! — снова вмешался было Бетон. Но его тут же осадили:

— Ты не лезь, понял?

— Не то раздавим, как букашку!

— Кто он тебе, сват или брат?

— Ишь ты, школу кончил, будет теперь свою ученость показывать!

Скала тихо подошел к Капитану. Взял его за плечи, тряхнул. Капитан повернул голову, глянул на Скалу затуманившимися глазами. Узнал его, улыбнулся.

— Слезай!

Капитан с внезапной надеждой спустился с окна.

— Снимай пиджак!

Лицо хеттской статуи опять озарила улыбка.

— Снимай же! Фатьма пришла. Говорит, очень мерзну, пусть Капитан пришлет свой пиджак. Снимай!

Капитан затрясся от радости. Заторопился, словно боялся опоздать.

— Фатьма? Говоришь, Фатьма? Фатьма пришла, значит! Мерзнет. Что же, отдам, отдам! Где Фатьма?

— У ворот.

— Держи пиджак.

— И штаны.

— Штаны тоже?

— Да. Пусть пришлет, постираю, говорит.

— Возьми, пусть постирает.

— Ботинки тоже давай.

— Возьми, возьми. Меня вышлют на Имралы. Там дадут новые. Ты ей скажи, пусть не ждет здесь. Пускай едет в деревню.

— Ладно, ладно!

Шлепая босыми ногами по цементному полу, Капитан в одном исподнем подошел к окошку и уставился на дорогу, по которой должна была пройти Фатьма.

Дорога, по которой она ушла, лежала под снегом.

XII

Зима против всех зим выдалась на редкость лютая. Сперва Бетон, потом Фитиль, а за ними Куриный, Измирец и другие, ровным счетом десять человек, умерли от холода в семьдесят второй камере.

Перед самой весной, почесывая затылок, к камеру вернулся Скверный. Никто не обратил на него внимания. Капитан, куда бы ни глянул, видел только Фатьму. Да и Скверный не собирался просить прощения. Сел в угол, зевнул лениво.

Снова ударили морозы. Как-то утром надзиратели нашли мертвыми в камере Скверного и Скалу. Капитан примерз к решетке, его огромные руки с трудом удалось оторвать от железа. Он был в забытьи, но сердце еще билось.

На носилках отправили в лазарет.

Он выжил. Огромное тело победило болезнь.

— Фатьма! — сказал он, как только пришел в себя.— Передайте, чтобы не ждала! Меня вышлют на Имралы. Кончится срок...

— Передали,— сказал санитар.— Уехала в деревню, к твоей матери. Будет там тебя ждать.

Он сел рывком, точно хотел выпрыгнуть из постели.

— Уехала?

— Уехала.

— Врете! Фатьма не уедет, не бросит меня!

Когда его выписали, он подбежал к огромным железным воротам. Приставил глаза к дырке. И тут же обернулся, радостный:

— Ну, что я говорил? Говорил ведь, не уедет, не бросит меня! Вон она стоит. Весь платок в снегу. Стряхни снег, Фатьма! Снег стряхни с платка!

Наступила весна. За нею лето. В самое время явилось солнце, покровитель сирот и обездоленных. За черешней поспели арбузы, дыни, виноград. Затем на небе появились игривые белые облачка. За ними — дожди. За дождями — крупные хлопья снега.

И снова наступила зима. Давно такой не видали в этих краях.

— Господи спаси! Лихая будет в этом году холодина! — предсказывали старики.

И правда, зима пришла лихая. Снег лег в декабре, завалил дороги, перевалы. С гор спустились в город волки. В снегах замерзали сбившиеся с дороги путники. Такой зимы не вынесла и хеттская статуя.

Когда утром надзиратели открыли дверь камеры, они сразу все поняли. Подбежали к окну. Капитан обхватил решетки с такой силой, что кожа, мясо и железо, казалось, срослись. Послушали сердце. Оно не билось. Пульса тоже не было. Огромное туловище окоченело, твердое, точно камень. Попробовали оттянуть его от окна. Безуспешно. Будто весил он тонну, две тонны, пять тонн.

Попытались еще раз.

— Тут нужны зубило да молоток,— сказал один из надзирателей.

На воле яркое солнце сверкало на белом скрипучем снегу. Нахохлившийся воробей вспорхнул на окно Капитана. Что-то протренькал в камеру. Потом оторопело, пугливо глянул вниз. Далеко под стеной, на самом снегу приметил зерно. И ринулся в пустоту.

ВИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ

С английского

Вильям Вордсворт (1770—1850) считается у англичан одним из крупнейших, если не крупнейшим лирическим поэтом. А почему мы его почти не знаем? Основная причина примерно та же самая, по которой за рубежом сравнительно мало известна пушкинская лирика: прозрачность, не за что уцепиться, чтобы уловить особенности стиха. «Мне грустно и легко; печаль моя светла...» А у Вордсворта — «Кто о путниках плачет?» Слова по-английски так же просты, как и русские, только ради размера и перестановки нет никакой, стихов вообще, кажется, нет, а просто спрашивается: «Что вы беспокоитесь о тех, кто в пути?» А это — стихи, и какие стихи!

Многообъемлющий национальный гений, такой, как наш Пушкин, у англичан, конечно, Шекспир — не Вордсворт. Но в английской лирике Вордсворт — это эпоха.

Вордсворт заговорил в поэзии языком современным и обыденным. Он именно заговорил стихами — просто, естественно, без видимого напряжения и общепринятых поэтических условностей. Ныне, конечно, многое в стихах Вордсворта выглядит традиционным, однако в свое время это казалось «странным просторечием» (Пушкин).

Пушкин указал и на основное условие, при котором поэзия испытывает потребность в освежающем «просторечии»,— зрелость. Поэтическая почва в Англии была взрыхлена и обработана, словно тот шекспировский сад в «Ричарде II», что возделывался непрерывно из поколения в поколение: развит поэтический язык, культивируются все поэтические жанры, существует система классических имен. И вот на исходе восемнадцатого столетия появляются стихи, автор которых сам же предупреждает, что это — «испытание общественного вкуса», ибо никогда еще не предлагали публике стихотворений столь «непоэтических», лишенных всего, что считалось «слогом Поэзии».

Теперь и представить себе трудно, каким в самом деле новшеством была разговорная простота вордсвортовских стихов. Нам легче проследить, напротив, постепенный переход от похожей на приподнятую декламацию английской поэзии «осьмнадцатого столетия» к рубежу веков: поэзия больше учит человека, чем изображает его, больше рассуждает о том, каков он должен быть, чем каков он есть. Все же Человек — в центре внимания. Рисуется и Природа — предмет размышлений, хотя сами размышления тоже еще декламационны, рассудочны, как бы заготовлены «на случай», а не рождаются в присутствии читателя. Все-таки поэзия всеми силами старается думать, чувствовать и — прокладывает путь сборнику, подытожившему общие усилия. Сборник, вышедший анонимно, и назван был просто: «Лирические баллады» (1798).

Пять лет прошло; зима, сменяя лето,
Пять раз являлась! И опять я слышу
Негромкий рокот вод, бегущих с гор,
Опять я вижу хмурые утесы...

(Перевод В. Рогова)

«Вижу», «слышу» — каждое движение или мысль отражались в стихах непосредственно, шли, как тогда говорили, от сердца к сердцу. «Мы хотели представить вещи обычные в необычном освещении»,— пояснял впоследствии замысел «Лирических баллад» соавтор Вордсворта по этому сборнику С. Т. Кольридж.

Между собой они задачи поделили. «Простоту», «природу» Вордсворт взял на себя, «обычное» читатели должны были увидеть в его стихах как бы заново открытым. А Кольридж стремился приблизить к читателю, сделав почти вещественным, таинственное и фантастическое. Историкам литературы теперь кажется, будто стихи двух поэтов очутились под одной обложкой совершенно случайно. Нет, ведь принцип был один: все, чего только ни коснется поэтическое перо, должно произвести на читателя впечатление естественности. «В конце концов язык хороших стихов ничем не отличается от прозы»,— говорилось в предисловии к «Лирическим балладам».

«Упразднение искусства» — так со своей стороны оценили программу «Лирических баллад» их литературные противники, стоявшие на страже веками проверенных поэтических норм. Но ведь и вековые нормы когда-то были новшеством! Староверы ссылались на авторитет Шекспира, говоря: «Мы и Гамлету не можем позволить ни одного простецкого выражения», а создатели «Лирических баллад» обращались тогда как бы через голову гиганта еще на два с половиной века раньше, прямо к Чосеру, который с исключительной для своего времени натуральностью передал повседневный людской говор.

У «Лирических баллад» нашлось и немало сторонников. Вордсворт оказался во главе целого поэтического поколения, двинувшегося следом за ним тем же путем — к сердцу.

Мы знаем, что движение это совершалось не только в Англии, было не только поэтическим и что называлось все это — романтизмом. Так Вордсворт, протестуя против растущей буржуазности, демонстративно, вопреки энтузиазму торгашей и предпринимателей, живописал в своих стихах жизнь непритязательную, «простую». Из лихорадочно растущих городов звал он к вечному покою природы. Вордсворт стремился силой поэзии освободить своих современников, если угодно, от состояния стресса, тогда только наметившегося, но уже во вполне различимых формах. А стихотворную речь сделал он настолько естественной и прозрачной, что стихи, вернее, всякая искусственность в стихах должна была исчезнуть, открыв поэзию самой жизни.

Говорила листва, пел ветер — в строках Вордсворта. За этим чувствовалась непомерность мира, того, что, по словам поэта, «поглощает нас»... Мир открывался не только вовне, но и внутри человека. Конечно, не впервые, но в английской поэзии впервые так просто — в сердце каждого. В разговоре с простолюдином, с могильщиком Гамлет переходит на прозу. Вордсворт, повстречав пахаря, крестьянскую девочку, сельского торговца-разносчика, такого перехода не делает. Критики говорили, что разносчик у Вордсворта и не похож на разносчика, когда он говорит стихами. Но это означало лишь, что на этот раз (например, в поэме «Прогулка») поэт потерпел неудачу. Но в принципе поэзия уже не могла отступить от рубежа, обозначенного Вордсвортом, который обратился к своим современникам и потомкам с простой и проникновенной поэтической речью.

Если же создатель «Лирических баллад» силился превысить границы своего дарования, у него вместо поэзии и простоты получалась ходульность и многословие. Байрон, совсем еще молодой Байрон, так и написал об этом в рецензии на очередной сборник Вордсворта.

Наиболее радикальные из младшего поколения английских романтиков, тот же Байрон или Шелли, испытавшие воздействие Вордсворта, когда он сам был новатором, вскоре отошли от него; разрыв этот объяснялся и изменением политических позиций старшего поэта. А Вордсворт вовсе забыл идеалы молодости, по которой скользнул отсвет Великой французской революции, и неуклонно склонялся к угрюмому консерватизму. Век его оказался долгим, и новые поколения видели в нем бесславно «павшего поэтического вождя». Есть в новейшей англо-американской критике и такая тенденция — считать, будто Вордсворт поздний ни в чем раннему не уступает и даже, напротив, проявляет особенную «зрелость». Но такая критика принимает за «поэзию» набор признаков, «словесную организацию», а не живую творческую силу. Сонное словотечение, которым в изрядных количествах поучает иногда читателей Вордсворт, они склонны считать «серьезным мастерством», что ж, их дело! Есть и другая традиция: помнить о том Вордсворте, произведения которого «исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей» (Пушкин).

У нас Вордсворта переводили не много, но заметили и оценили давно, почти сразу, как прозвучали его стихи. Некоторые переводы из Вордсворта были помещены в известном сборнике «Английские поэты в переводах и образцах», вышедшем под редакцией Н. Гербеля в 1875 году. В наши дни несколько стихотворений Вордсворта перевел С. Я. Маршак.

Д. УРНОВ

Лондон, 1802 г. Милтон

Как нынче, Милтон, Англии ты нужен!
Она — болото; меч, перо, амвон,
Село и замок впали в смутный сон.
Мы себялюбцы, и наш дух недужен.

Вернись же к нам, дабы тобой разбужен
Был край родной и к жизни воскрешен!
Пусть мощным, вольным, властным станет он
И с добродетелью исконной дружен.

С душой, как одинокая звезда,
И речью, словно гул стихии водной,
Как небо чист, могучий и свободный,
Ты бодро-благочестным был всегда,

Взвалив на сердце, в простоте безгневной,
Убогий труд заботы повседневной.

Перевод АРК. ШТЕЙНБЕРГА

На Вестминстерском мосту 3 сент. 1802 г.

Нет зрелища пленительней! И в ком
Не дрогнет дух бесчувственно-упрямый
При виде величавой панорамы,
Где утро, будто в ризы, все кругом

Одело в Красоту. И каждый дом,
Суда в порту, театры, башни, храмы,
Река в сверканье этой мирной рамы —
Все утопает в блеске голубом.

Нет, никогда так ярко не вставало,
Так первозданно солнце над рекой,
Так чутко тишина не колдовала,

Вода не знала ясности такой.
И город спит. Еще прохожих мало,
И в сердце мощном царствует покой.

Скажи, мой друг, как путь найти прямей,
Когда притворство — общая зараза,
И делают нам жизнь — лишь для показа —
Портной, сапожник, повар и лакей.

Скользи, сверкай, как в ясный день ручей,
Не то пропал! В цене — богач, пролаза.
Величье — не сюжет и для рассказа,
Оно не тронет нынешних людей.

Стяжательство, грабеж и мотовство —
Кумиры наши — то, что нынче в силе.
Высокий образ мыслей мы забыли.

Ни чистоты, ни правды — все мертво!
Где старый наш святой очаг семейный,
Где прежней веры дух благоговейный?

На ликвидацию Венецианской республики

И часовым для Запада была,
И мусульман надменных подчинила.
Венеция! Ни ложь врага, ни сила
Ее дела унизить не могла.

Она свободы первенцем была,
Рожденью своему не изменила,
Весь мир девичьей красотой пленила
И с морем вечным под венец пошла.

Но час настал роскошного заката —
Ни прежней славы, ни былых вождей!
И что ж осталось? Горечь и расплата.

Мы — люди! Пожалеем вместе с ней,
Что все ушло, блиставшее когда-то,
Что стер наш век и тень великих дней.

Перевод В. ЛЕВИКА

Скала Джоанны

Два года ранней юности своей
Ты подарила дымным городам
И с тихим прилежаньем научилась
Ценить лишь те живые Существа,
Какие жизнь проводят у камина;
И потому-то сердцем не спешишь
Ответить на расположенье тех,

Кто с умилением глядит на горы
И дружит с рощами и ручейками.
Ты нас покинула, и все же мы,
Живущие в укромной простоте
Среди лесов и нив, не разлюбили
Тебя, Джоанна! Я бы поручился,
Что после долгих месяцев разлуки
Ты с радостью бы услыхала некий
Обычный наш пустячный разговор
И подивилась верным чувствам тех,
С кем ты бывала счастлива когда-то.

Тому дней десять, я сидел в тиши
Под соснами, сомкнувшимися гордо
Над старой колокольней, и Викарий
Оставил мрачное свое жилище
И, поздоровавшись со мной, спросил:
«Что слышно про строптивую Джоанну?
Не собирается ль она вернуться?»
Порассудив о сельских новостях,
Он принялся выпытывать, зачем
Я возрождаю идолопоклонство,
И, как Друид, руническим письмом
Я высек чье-то имя на отвесной
Скале над Ротой, у опушки леса.

Я ощущал в душе невозмутимость,
Какая возникает на границе
Меж старою любовью и досадой,
И не старался избежать дознанья;
И вот что я сказал ему: «Однажды
С Джоанной мы гуляли на заре
В то восхитительное время года,
Когда повсюду верба расцветает
И золотыми жилами струится
В зеленых перелесках по холмам.
Тропинка привела на берег Роты
К крутой скале, глядящей на восток;
И там пред величавою преградой
Я замер — я стоял и созерцал
Скалу от основанья до вершины:
На необъятной плоскости сплетались
Кусты, деревья, камни и цветы;
Прелестная игра нежнейших красок,
Объединенных властной красотой,
Одним усильем восхищала сердце.
Так я стоял минуты две — и вдруг
Лукавая Джоанна мой восторг
Заметила и громко рассмеялась.
Скала как бы воспрянула от сна
И, вторя Деве, тоже рассмеялась;
Им отвечала древняя Старуха,
Сидящая на гулком Хэммарскаре;
И Хелмкрег, и высокий Силвер-Хау
Послали вдаль раскаты смеха; к югу
Его услышал Ферфилд, а за ним
Откликнулся громами дальний Лохригг;

Хелвеллин к ясным небесам вознес
Веселье гордой Девы; старый Скиддо
Задул в свою трубу; сквозь облачка
Донесся снежный голос Гларамары;
И Керкстон возвратил его к земле».

Наш добрый друг Викарий мне внимал
С растерянной улыбкой изумленья,
И мне пришлось сказать, что я не знаю,
На самом деле братство древних гор
Откликнулось на смех иль, может быть,
Я грезил наяву и был мой слух
Обманут потаенными мечтами.
Но только я уверен, что вдали
Мы слышали раскатистое эхо,
И милая Джоанна вдруг прильнула
Ко мне, как будто требуя защиты.
А восемнадцать месяцев спустя,
Уже один, прохладным ясным утром
Я оказался около скалы
И в память о давнишнем верном чувстве
Я высек на живом ее граните
Руническими буквами: ДЖОАННА.
И я, и те, кто близок мне, зовем
Прекрасную скалу скалой Джоанны.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Нарциссы

Как тучи одинокой тень,
Блуждал я, сумрачен и тих,
И встретил в тот счастливый день
Толпу нарциссов золотых:
Близ озера, в тени ветвей,
Они плясали все резвей.

Казалось: ночью голубой
Мерцает зыбкий звездный свет.
Цветы, кивая головой,
Мне посылали свой привет.
Их были тысячи кругом,
Танцующих под ветерком.

Играли волны, но цветы
Сверкали ярче их сто крат,
И созерцаньем красоты
Поэт был упиваться рад.
Тогда не знал я всей цены
Живому золоту весны.

Но всякий раз, когда впотьмах
Я тщетно жду прихода сна,
Я вспоминаю о цветах,

И радостью осенена,
На том лесистом берегу
Душа танцует в их кругу.

Родник любви

Увы, лишился я всего,
Богатый — обеднел я вмиг.
Близ двери сердца моего
Еще недавно бил родник
Твоей любви; свежа, чиста,
Вода сама лилась в уста.

Как счастлив был в ту пору я!
Под лучезарной синевой
Кипела, искрилась струя
Твоей любви — воды живой.
Здесь бил родник, но вот иссох;
Теперь на дне — трава и мох.

Родник иссох, но не иссяк
И не иссякнет никогда.
Что радости? В подземный мрак
Ушла — и тихо спит вода.
Отныне горек мой удел:
Я был богат, но обеднел.

Перевод А. ИБРАГИМОВА

Цыганы

Мужчины, женщины и дети — весь
Сплоченный род, на том же месте, здесь;
Подмостки те же — тот же луг
И тех же лицедеев круг;
Лишь дерзостней костер ночной горит,
Придав глубокий, рдяный колорит
Цыганам смуглым, и шатрам,
И жалким травяным одрам...
Столь много перемен в теченье дня
Под небосводом тешили меня
В скитаниях,— но этот люд
На месте прежнем тут как тут!
Вот солнце утомленное зашло,
И Веспер, словно некий бог, светло
Вознесся, царственно скользя,
Где пролегла его стезя;
И после краткой тьмы, когда Луна
Была развенчана, опять она
Свершает властный свой полет,
Но табор к ней молитв не шлет...

Нет! Лучше распря, лучше боль обид
Неправых, чем застывший этот быт,
Покой, которому в укор
Кружится вечно звездный хор!
Хоть в мире все и движется, но я
Не опорочу косного житья
Цыган,— Судьба взрастила их
Изгоями общин людских!

Я отложил перо; мне шквальный ветер пел
О бригах гибнущих, о буреломных чащах —
Полуночный псалом, утраченный для спящих
Невольников забот и повседневных дел.

Помыслил я тогда: вот мой земной удел —
Внимать мелодии, без меры и созвучий,
Чтоб я ответствовал на вещий зов певучий
И страстным языком природы овладел.

Немногим явственен надгробный спор такой,
Звучащий набожно над горем и тоской
Давно минувших лет; но он, как буря эта,

Порывом яростным печаля сердце мне,
О наступающей пророчит тишине,
О легкой зыби в час рассвета.

Перевод АРК. ШТЕЙНБЕРГА

Прощальный сонет реке Дэддон

В прощальный час, мой друг и спутник мой,
Иду к тебе. Напрасное влеченье!
Я вижу, Дэддон, все в твоем теченье,
Что было, есть и будет впредь со мной.

Ты катишь воды, вечный, озорной,
Даруешь вечно жизнь и обновленье,
А мы — мы сила, мудрость, устремленье,
Мы с юных лет зовем стихии в бой,

И все-таки мы смертны. Да свершится!
Но не обижен, кто хоть малый срок
Своим трудом служить потомству мог,

Кто и тогда, когда близка гробница,
Любовь, Надежду, Веру — все сберег.
Не выше ль он, чем смертным это мнится!

Перевод В. ЛЕВИКА

Не хмурься, критик...

Не хмурься, критик, не отринь сонета!
Он ключ, которым сердце открывал
Свое Шекспир; Петрарка врачевал
Печаль, когда звенела лютня эта;

У Тассо часто флейтой он взывал;
Им скорбь Камоэнса была согрета;
Он в кипарисовый венок поэта,
Которым Дант чело короновал,

Вплетен как мирт; он, как светляк бессонный,
Вел Спенсера на трудный перевал,
Из царства фей, дорогой потаенной;

Трубой в руках у Милтона он стал,
Чье многогласье душу возвышало;
Увы, труба звучала слишком мало!

Перевод АРК. ШТЕЙНБЕРГА

Отклики, встречи, впечатления

ЮРИЙ НАГИБИН

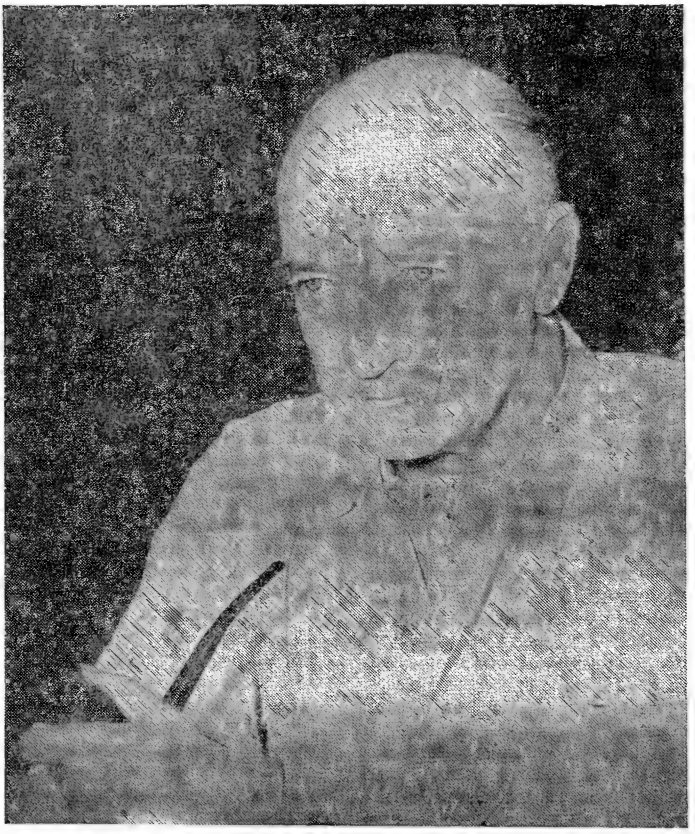
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ, АЛАН!

Не помню уж, в каком году, но где-то в конце пятидесятых мне передали просьбу известной переводчицы с английского посмотреть ее перевод охотничьего рассказа австралийского писателя Алана Маршалла. Переводчица сомневалась в охотничьей терминологии. «Вы получите удовольствие,— сказали мне,— Маршалл очень хороший писатель».

Незадолго перед тем я познакомился с приезжавшим в Советский Союз австралийским прозаиком Джоном Моррисоном и почеловечески влюбился в этого серьезного, глубокого, доброго и мрачноватого человека, напоминавшего героев Генри Лоусона — бродяг и стригалей. Правда, Джон Моррисон никогда не бродяжил. Ему довелось быть и докером, и рабочим, а в пору нашего знакомства он для поддержания жизни, которую новеллистика в Австралии не обеспечивает, священнодействовал в розарии какого-то мельбурнского богача. Рассказ Джона Моррисона «Тебе, Маргарет», опубликованный на русском языке, до сих пор представляется мне шедевром рассказовой литературы. «Лучше Моррисона?» — ревниво спросил я тогда. «Смотря на чей вкус,— последовал дипломатичный ответ,— но много популярней». Несколько обиженный за Джона, я все же взялся посмотреть рассказ. Просьба переводчицы мне льстила. Незадолго перед этим я приобщился к утиной мещерской охоте и опубликовал свои первые охотничьи рассказы. И вот ко мне уже обращаются как к признанному авторитету — было отчего возгордиться. Помню, в рассказе оказались две-три неточности, кроме того, я обогатил перевод словом «козырять». Но не тем, разумеется, значительна для меня первая встреча с прозой пусть и популярного в Австралии, но тогда вовсе неизвестного мне писателя.

Прекрасен, высокогуманен был этот крошечный, страниц на восемь, рассказ, заставивший меня усомниться в собственных охотничьих воззрениях. В ту пору я исповедовал веру Хемингуэя: дичь создана для того, чтобы на нее охотились. Эта точка зрения соблазнительна для молодого охотника, самозабвенно отдающегося извечной мужской страсти, она снимает моральные запреты, ограничения, всю ту рефлексию, которую современный человек привносит в каждое дело. В моих рассказах охоты были так же результативны, как и в действительности, на богатых тогда Мещерских озерах, ныне печально оскудевших. В охотничьей литературе, не аксаковской давности, а современной, считается дурным тоном упоминать о добыче, надо делать вид, будто ее вовсе не было. Мол, не в трупах животных дело, а в единении с природой, самораскрытии человека в естественной среде и т. п. ...Хемингуэй не скрывая презирал подобное лицемерие. Не в подражание ему, а в соответствии со счастливой охотничьей практикой тех дней я живописал удачные, добычливые охоты.

Герой рассказа Маршалла — озерный егерь. В день открытия охоты он наблюдает, как в строгом соответствии с правилами городские охотники, сидя в бочках, разбивают утиную стаю. Пусть стая велика, но уток на озерах осталось куда как мало, и егерь мучается, слыша ликующие вопли охотников: «Моя утка, моя!» Водит стаю, козыряющую с берега на берег, старый, матерый селезень, и егерь молится в душе, чтобы тот осилил инстинкт и вылетел за



АЛАН МАРШАЛЛ

роковой круг. Тогда не все еще пропало, восстановится утиное племя. Но вот, казавшиеся обреченными, птицы прорываются за огневое кольцо в тишину чистого неба, и егерь кричит торжествующе: «Мой селезень, мой!»

Уже тогда, при первочтении, почувствовал я, что правда маршалловского егеря выше, человечнее, нужнее миру, нежели мужественная прямота Хемингуэя, безоговорочно принимающего от века существующий устав: есть дичь и есть охотники. И никаких мерихлюндий — стреляй, пока крепка рука и верен глаз. А начнешь разводить подранков, зачехляй ружье.

Алан Маршалл давно понял, к чему это приведет. Ныне охота потеряла даже ту видимость спортивности, какой она обладала два десятка лет назад. Тогда еще можно было тешить себя иллюзией некоего равенства шансов: смертоносному огню птица и зверь противопоставляют свою хитрость, быстроту, навык защиты, в некоторых случаях даже силу. Охотнику надлежало быть собранным, терпеливым, выносливым, хладнокровным, мужественным — вот сколько качеств требовалось, чтобы принести с охоты утку или зайца, не говоря уже о лосе или медведе. А ныне далеко шагнула техника. На мещерской охоте, ставшей до отвращения барской, признают только скорострельные карабины с удлиненными стволами. Мой репарационный «зауэр» производит жалкое впечатление, словно кремневое ружье. Я брал дичь на сорок—пятьдесят метров, чтобы не делать подранков. «Карабинщики» лупят очередями по стаям, проходящим в восьмидесяти—ста метрах. С двух выстрелов и промахнуться не мудрено, эти скорострелы после каждой очереди непременно сбивают хотя бы одну утку. Да еще скольких калечат, превращая в добычу для ондатр, лисиц, коршунов, в источник заражения водоема. А дичи мало, ох как мало!.. И, ей-богу, лучше лишить себя дивных апрельских зорь и августовских закатов, чем участвовать в убийстве, уничтожении утиного племени. А ведь так же изводят и болотную, и боровую дичь, и лис, и зайцев, и медведей — мир природы нищенски беднеет.

ЮРИЙ НАГИБИН
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ. АЛАН

Бывает — хотя и нечасто,— что животных в данной местности оказывается больше, нежели может прокормиться, что изобилие их нарушает нормальную жизнь леса, водоема, вредит сельскому хозяйству. Тогда охота просто необходима. Но не о такой охоте идет здесь речь.

Читатель, наверное, в недоумении — взялся рассказать об Алане Маршалле, а завел об охоте. Что поделать, если разговор об этом австралийском писателе неотделим от разговора об охоте, лесе, зарослях, птицах, лошадях, детях, обо всем, что нуждается в защите,— ведь Алан Маршалл прежде всего защитник всех слабых, угнетенных, будь то загнанное зверье, искалеченное дерево, плачущий ребенок или австралийский абориген с ночью в темно-влажных глазах.

Полюбив Маршалла после первого прочитанного рассказа, я мечтал познакомиться с ним, сходить на рыбалку и на охоту — нужную, справедливую охоту. Он рисовался мне под стать своему егерю — большим, сильным, добрым человеком, со светлым разумом и умным сердцем.

Прошло какое-то время, и однажды вечером в Центральном доме литераторов переводчица Оксана Кругерская предложила мне познакомиться с Аланом Маршаллом: «Он рядом, за стойкой». Мы прошли в бар. Взгляд быстро обежал лица завсегдатаев и не задержался на единственном незнакомце в мятом сером костюме — маленьком, скрюченном, с кнопкой слухового аппарата в правом ухе. Машинальными движениями он все время хватался за прислоненные к стойке костыли. «Познакомьтесь,— сказала Кругерская,— Юрий Нагибин — Алан Маршалл». Человек быстро обернулся, поправил сползшие на кончик носа очки, оперся о стойку бара и скользнул с высокого табурета вниз. Левой рукой он взял костыли, правую, горячую и сильную, протянул мне.

Подошла высокая крепкая девушка и что-то требовательно, даже резко сказала человеку на костылях— я все еще отказывался верить, что это и есть Алан Маршалл.

— Моя дочь,— сказал Маршалл и с улыбкой добавил,— одна из двух.

Кажется, то была старшая Гефсиба, но не отдам голову на отсечение, что я не был представлен младшей Дженнифер.

— Пойдемте за мой столик,— предложил я, все еще пребывая в тяжкой растерянности, потому что требовалось срочно переосмыслить многие представления, а я не был готов к такому душевному и умственному усилию.— Выпьем...

Гефсиба — но, может, Дженнифер? — обрушила на меня много австралийского сленга, из которого я понял лишь, что пить вредно.

Алан ничего не сказал, только пожал широкими плечами, бросил вперед костыли, шагнул им вслед живой левой ногой и подтянул парализованную правую.

Историю своей болезни и преодоления ее Алан Маршалл с редкой откровенностью, простотой и достоинством описал в замечательной автобиографической трилогии: «Я умею прыгать через лужи», «Эта трава, что повсюду растет», «В сердце моем»[1]. Первая часть посвящена детству. Алан родился крепким и здоровым мальчиком, его отец, объездчик лошадей, сказал: «Я сделаю из него бегуна и наездника. Клянусь богом, сделаю». Он не сделал из сына бегуна, а наездником тот действительно стал, без чьей-либо помощи, и хорошим драчуном, и охотником, и рыболовом, и путешественником, и великим борцом за природу и человека, и одним из лучших австралийских писателей. Но когда Алан, только что пошедший в школу, заболел детским параличом (эпидемия вспыхнула в штате Виктория в начале девятисотых годов), даже самые близкие люди считали, что резвому, любознательному, веселому мальчику предстоит отныне не жизнь, а прозябание. Иначе считал лишь сам больной. Привыкший с младенчества восхищаться лошадьми, совершеннейшим созданием бога, любивший собак и птиц, таких стремительных и быстрых, этот прикованный к больничной койке мальчик решил одолеть недуг, вернуть способность двигаться, более того, вновь научиться прыгать через лужи. Для этого надо было справиться с непослушным телом, с болью, страхом, с расслабляющими и бестактными соболезнованиями взрослых людей, с неверием в его силы даже тех, кто от всего сердца желал ему добра. Он принимал помощь, только если не было другого выхода и если помогавший не вкладывал в свой поступок ни грана жалости или того хуже — снисхождения. Это перешло в его книгу: Алан Маршалл не хочет жалости и от читателя, ему противны вздохи и слезы сочувствия.

Сейчас много пишут о ритме прозы, недавно вышло очередное исследование на эту тему. Что ж, ритм весьма важен в прозаическом произведении, претендующем на звание художественного, но, по-моему, куда важнее тон. У Алана Марщалла самое чарующее, покоряющее, возвышающее дух — это спокойный, чуждый самолюбования, глубокий и чистый тон его прозы. Тон умного исследователя, который не боится заглядывать в темные закоулки человеческой психики, в глубины человеческой боли, не боится говорить о скорбном, ущербном в человеке, но так, что читатель испытывает не жалость, не расслабляющее и бессильное сочувствие, а все растущее уважение к безграничной мощи человеческого духа.

Неторопливо, обстоятельно и благожелательно говорит он о своих соседях по палате, о нянечках и медицинских сестрах, людях вполне дюжинных, не умеющих да и не пытающихся щадить тонкую психику маленького калеки; описывает пору жестоких мучительств, проделываемых над его плотью с самыми лучшими намерениями, тщетные надежды на возвращение здоровья, затем постижение своей участи: придется жить с «хорошей» (полупарализованной)

[1] Эта трилогия вышла в переводе на русский язык в 1969 г. в издательстве «Художественная литература».

ногой, «плохой» (висящей плетью), искривленной спиной, и предстоит обучение этой новой, неудобной, утомительной и все равно прекрасной жизни. Маленький Алан никогда не плакал во время своих частых и болезненных падений при освоении костыльного передвижения. Не позволяет он рассиропиться и читателям. Он вызывает их на сопереживание, а не на слезный дым. Идешь с ним шаг за шагом по всему его крестному пути и страстно желаешь, чтобы он выполнил очередной предписанный самому себе урок: одолеть кручу, добраться до далекой изгороди, влезть на спину брыкливого пони, проскакать на нем — да, настанет день, и Алан промчится мимо своего отца и услышит скупую похвалу этого сдержанного человека,— проникнуть в кратер погасшего вулкана, принять участие в охоте с гончими, одолеть в драке на дубинках обидчика. Лишь через лужу так и не прыгнет Алан, но это и не важно, ведь он *умеет* прыгать через лужи, он умеет куда большее.

Если бы Маршалл писал о своей детской страде с оттенком скромной горделивости, или зажав в горле крик боли, или даже с некоторой ожесточенностью, все равно никому не вспало бы бросить в него критический камень. Мы были бы признательны ему за описание беспримерной и поучительной судьбы. Но то, что он сумел говорить о себе почти со стороны, не с юмором, конечно, для этого у него слишком хороший вкус, а с легкой, чуть напрягающей уголки рта улыбкой, с полным доверием к слуху и постигающему аппарату своих слушателей и потому негромко,— создает неповторимый, серебряный, завораживающий тон его книги, не просто хорошей, а исключительной.

Но тогда я еще не читал автобиографической трилогии, рассуждали же мы об охоте, рыбалке, путешествиях, а не о болезнях и литературе. Весьма смутно представляя себе картину постигшей его в детстве беды, а также характер Алана, я вел себя экзальтированно, умиленно. Но это не вызвало в нем отчуждения. Что подтвердилось и авторитетным свидетельством Оксаны Кругерской, и присланной им из Австралии книгой рассказов с очень доброй надписью, а через годы — встречей в Мельбурне, гда Алан живет с юности. После окончания школы ему пришлось покинуть любимые заросли, кроликов, опоссумов, птиц и перебраться для продолжения учебы и работы в город — второй по величине в Австралии.

Но до того, как мы встретились в мельбурнском доме Алана, я познакомился с его книгами — и автобиографической трилогией, и чудесными маленькими рассказами, которые читал по-русски и в подлиннике. В переводе язык Алана кажется простым, прозрачным и ясным, но читать его по-английски человеку со средней подготовкой очень трудно. Мне несравнимо легче давались многие современные авторы, обладающие значительно более усложненной и громоздкой фразой, нежели у Алана. К тому же Маршалл щедро пользуется сленгом и специальной терминологией, связанной с охотой, объездкой лошадей, сельским хозяйством.

В романах «Эта трава» и «В сердце моем» Алан продолжает тему, начатую в первой части трилогии. Как найти свое место в немилостивой, порой откровенно жестокой действительности человеку, обойденному здоровьем? Мальчик Алан научился прыгать через лужи; жестокими драками, скачкой на плохо объезженных пони, участием во всех ребяческих проделках, походах, приключениях он заслужил признание сверстников. Ему могли помочь при случае, но так, между делом, не придавая этому значения, и только немногие — глупые — взрослые люди оставались при тупом убеждении, что он нуждается в особом отношении. Мальчишки же и девчонки об этом вовсе не думали, они могли задеть Алана, ударить, обидеть, как и всякого другого, и в этом было признание его равным среди равных.

Нелегко завоеванное равенство кончилось, когда он перешел в другой возраст, в юность, и сделал первые попытки найти работу. Оказывается, за ним в мире жестокой конкуренции не признают равных прав. Было мучительно трудно получить место, когда же он, наконец, добился своего, ему стали платить лишь половину положенного жалованья. Алан был хорошим, исполнительным клерком, потом стал высококвалифицированным бухгалтером, его ценность как работника не вызывала сомнений, но рядом с конторкой стояли костыли, а за окнами офиса маячили тени безработных — начиналась пора депрессии,— и хозяева не только спокойно обирали его, но еще почитали себя благодетелями.

И Маршалл стал вновь яростно бороться за себя, за свое скромное достоинство, за равноправие с теми, кому не нужны костыли. Иными словами — вновь учиться прыгать через лужи. Но не через веселые дождевые лужи своего детства, а через мутные, грязные лужи холодного мира взрослых, тупой предубежденности, корысти, подлости, жестокости, обмана, безграничного цинизма. Он прорубал социальную чащу столь же настойчиво, мужественно и неустанно, как и в детстве одолевал непролазные заросли вокруг своего жилья. Профессионально отлично подготовленный, исполнительный и трудолюбивый, Алан тем не менее сразу оказался среди изгоев буржуазного общества, его самостоятельная жизнь начиналась вблизи мельбурнского дна. Это было несправедливо, трудно, опасно, но каким неоценимым жизненным опытом обогатила будущего писателя причастность к мрачному быту мельбурнских трущоб, к горестной судьбе униженных и оскорбленных! Он столкнулся с человечьей протерью, заглянул в самые черные бездны, это потребовало от него громадного напря-

---

ЮРИЙ НАГИБИН
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ, АЛАН!

жения душевных сил, мобилизации всех скрытых ресурсов личности. Ничего не потеряв в своей внутренней свободе, доброте и деликатности, он научился при необходимости пускать в ход кулаки, локти, зубы. Вновь в синяках и ссадинах, он заставил себя уважать, добился равноправия среди сослуживцев, друзей и недругов.

Человек не исчерпывается прямой борьбой за существование, особенно когда он юн, когда в жилах его течет горячая кровь и сердце полно нежности. Юноше на костылях хотелось любить и быть любимым, а он даже не мог пригласить девушку на танец. В ту пору острого безденежья кафе и кино были недоступны начинающему клерку, лишь танцульки давали возможность приблизиться к девушке, завести знакомство, сказать те слова, без которых человек высыхает. Маршалл ходил на танцы и даже танцевал с помощью... друга. Алан говорил, какая девушка ему приглянулась, и друг, красавец и победитель, оттанцевав со своей партнершей, приглашал избраннцу Маршалла. Иногда удавалось представить ей Маршалла, но главная цель «танца через друга» была в ином: сломать внутренний барьер, изжить ту вяжущую, обезволивающую робость, какой не знал Алан в своих прежних конфликтах с окружающим. Сейчас перед ним встал враг более грозный, чем заросли, норовистые пони, работодатели, хозяйки меблирашек и населяющие эти меблирашки воры, сутенеры, жулики всех мастей,— его собственное затрепетавшее сердце.

Если в темах детского, отроческого и юношеского преодолений Алан Маршалл показывает, как пришла к нему победа, то здесь, в теме важнейшего, наверное, преодоления, выводящего человека в зрелость, он ограничивается многоточием. Возможно, это правильно, особенно для такой деликатной души, как у Маршалла, но меня недосказанность последней части огорчает. Непонятно, почему автор, начисто отвергающий всякие литературные запреты, бесстрашный с другими и беспощадный к себе, вдруг проявляет чисто викторианскую, стародевичью стыдливость. Мне не хватает этой последней победы Маршалла, хотя ее можно вывести умозрительным путем из всего контекста.

Я спросил Гефсибу — а может, Дженнифер? — живет ли она в доме отца или уже отделилась, празднуя самостоятельность. «Нет, мы живем в разных городах,— ответила девушка.— Папа в Мельбурне, а мы с мамой в Сиднее. Родители давно разъехались.— И предупреждая мой вопрос, добавила: — Трудно быть папиной женой, он слишком нравится женщинам».

Вот так бы и закончить трилогию, не буквально, разумеется, а по смыслу. Пусть я прямолинеен и лишен тонкости, но уж больно хочется услышать и об этой победе Алана Маршалла, быть может, самой трудной из его побед — укрощении строптивых...

Известный английский писатель Джек Линдсей в большом и содержательном предисловии к однотомнику избранных рассказов Алана Маршалла, вышедшему недавно в Сиднее, производит все творчество, а стало быть, и жизненную позицию автора из недуга, воздвигавшего барьер за барьером на пути формировавшегося сознания, и взятия этих барьеров, что иначе можно назвать неуклонным отстаиванием своей полноценности. Здесь, по мнению Линдсея, коренится и ненависть Маршалла к дискриминации всех видов: расовой, национальной, политической, общественной, моральной, равно и к войне, и к насилию над природой, его стремление к социальному равенству, обостренное чувство справедливости и даже трепетное отношение к детям — малым и слабым мира сего. Отсюда же, считает Линдсей, в романах и рассказах Алана Маршалла добро так часто и счастливо торжествует над злом.

Подобное утверждение столь же справедливо, сколь и условно. Оно вполне в духе современной западной психологии, охотно выводящей весь комплекс человека из одного посыла — чаще всего преодоления внешнего или внутреннего ущерба, фобии, запрета — табу, наложенного семьей, школой, обществом, религией или личным фиаско. Надо сказать, что ключ этот вручен Джеку Линдсею самим Маршаллом. В автобиографической трилогии он прямо говорит, что болезнь, поставившая его (вернее было бы — пытавшаяся поставить) за рамки нормального детства, обострила в нем чуткость к чужой слабости, истинной или мнимой недостаточности и навсегда зарядила ненавистью к расизму, антисемитизму, милитаризму, всем образцам насилия и угнетения.

Аборигенам так же отказывали в праве гражданства, как ему — в месте рядом со здоровыми. Нация, ведущая начало от английских каторжников и тех, кто их сторожил, третировала белых переселенцев более поздних эпох, не говоря уже о людях с желтой и темной кожей — этим просто запретили въезд в страну. Капиталисты эксплуатируют рабочих, богачи угнетают бедняков, фермеры травят бродяг, взрослые подавляют детей, и все сообща уничтожают природу. Против этого многоликого зла восстала сильная и закаленная душа Алана Маршалла, заключенная в изуродованное болезнью тело.

Но представим себе, что детский паралич пощадил Алана и он не знал костылей. Разве стал бы он — в главном — другим? Он, выросший в сельской глуши, как говорят австралийцы — в буше, в простой, доброй, честной семье, под переступ копыт и шумное дыхание лошадей, он, с молоком матери впитавший свободолюбие и независимость, он, с младенчества окруженный домашними животными, ласковыми опоссумами, попугаями, за которыми преданно ухаживал? Не верю!.. А если взглянуть на дело с другой стороны: и калека может озлобиться, вознегодовать на мир здоровых и еще больше на увечных, видя в них свое горькое отражение, может и смириться перед роком, повесить голову, выйти из игры.

Одна и та же причина порождает разные следствия. И ничего не стоит представить иной образ страдальца, преодолевшего недуг. За науку прыгать через лужи такой человек мог расплатиться утратой важных и хрупких ценностей в себе, мог стать как из железа, себялюбцем, гордецом, этаким хромым суперменом и свысока третировать всех неудачников и слабаков. Король Ричард III был калекой, а сумел вдюбить в себя королеву Анну, вдову венценосного супруга, убитого им. Вот уж кто преодолел свою ущербность, но остался в памяти потомков исчадием ада.

Алан Маршалл должен был стать тем, кем он стал, потому что у него была умная, добрая, способная вышагнуть за собственные малые пределы мать, чудесный отец, знавший про лошадей то, чего не знал никто другой, любивший народные песни и — что вовсе уж необязательно — тонко чувствовавший литературу, потому что он, Алан, с детства узнал голоса птиц, повадки животных, жизнь травы и земли, потому что у него была счастливая рука на хороших людей, которых он угадывал под самой невзрачной оболочкой, потому что забота близких и полная внутренняя свобода гармонично формировали его личность; и потому, наконец, что у него были хорошие гены тех насельников Австралии, которые создали достоинство страны: земледельцев, пастухов, объездчиков, охотников, стригалей, старателей.

И вот я, наконец, в Австралии. Таможенный досмотр и паспортный контроль с непостижимой быстротой был осуществлен в Сиднее, где часовую стоянку сократили вдвое. Я смутно подозревал, что эта спешка связана с огромной черной, золотом отороченной тучей, по самому краю которой мы скользнули на посадку. Тучу видели, разумеется, все пассажиры суперлайнера «Боинг-747», но в иллюминаторах по другую сторону было столько сине-блещущего, радостного неба, а воздушный гигант казался таким надежным, хоть его и здорово покачало перед посадкой, туча же так неправдоподобно, картинно грозна, что нельзя было всерьез поверить в опасность. Тем не менее из Сиднея мы удирали во все лопатки, забрались далеко в океан и, сделав крюк, благополучно приземлились в тихом пасмурном Мельбурне. Там мы сразу услышали, что чудовищная буря обрушилась на Сидней. Радио, правда, еще ничего не сообщило о размерах бедствия, разрушениях, человеческих жертвах, но мельбурнцы были хмуры и подавлены.

Было еще одно обстоятельство, омрачавшее души людей,— надвигались выборы, и шансы лейбористов, только-только повернувших Австралию в сторону демократизации и миролюбия (эта отдаленная от всего мира скотоводческая страна участвовала во всех войнах, в том числе заведомо несправедливых), расценивались невысоко. Телевидение, самое мощное оружие агитации, находилось в руках их противников, которые вели избирательную кампанию шумно, агрессивно, вызывающе, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями, и, как многим казалось, успешно. Прогрессивные писатели, пригласившие меня в Австралию, были, разумеется, на стороне лейбористов, уже сделавших немало и для литературы, и для всей культуры, и для связей с прогрессивными странами.

На аэродроме меня встречала чета Уотенов. И сразу вслед за непременным «Хау ду ю ду?», раскатисто произнесенным Джудой Уотеном, талантливым писателем, видным общественным деятелем и очаровательным человеком, инициатором моего приглашения,— «Вам привет от Алана Маршалла». «Алан все спрашивал о вас и удивлялся, что вы не едете»,— присовокупила миссис Уотен, большая, сильная и добрая, какой в моем представлении должна быть коренная австралийка. «Я ждал австралийскую визу»,— ответил я, а сам подумал о том, что далекая и единственная встреча в Москве тоже, выходит, что-то значила для Алана.

Я засыпал чету Уотенов вопросами об Алане. Они с жизнерадостным видом сообщили, что он здоров, пишет, неутомимо воюет с браконьерами и расистами, недавно отметил свое семидесятилетие, награжден орденом. И вскользь: «Вы, наверное, слышали, что он потерял ногу? Ту, которую называл «плохой». Она ему не служила, скорее мешала». — «Как потерял?» — «Сломал, нога больная, не срасталась, возраст опять же... Пришлось ампутировать. У него великолепное кресло на колесах, он носится по квартире, как заправский гонщик». Хорошие люди Уотены сделали прямо-таки невозможное, дабы уверить меня, что без ноги Маршаллу куда лучше.

Я думал, что начну австралийский цикл с Алана Маршалла, но после этого известия не стал настаивать на немедленной встрече. Надо было собраться с мыслями. Почувствовав, что я скис, миссис Уотен принялась рассказывать, как они катались верхом с Аланом. «Он отличный наездник, хотя и немного головорез»,— говорила миссис Уотен, ловко и рискованно лавируя в потоке машин на нешироких улицах Мельбурна. «Ты сама отличная наездница...» — начал Джуда, но замолк, ибо в этот момент должно было произойти наше вселение в гигантский рефрижератор, неведомо как оказавшийся перед носом машины. Сильные руки миссис Уотен совершили непостижимое чудо с рулем, и мы вызмеились из-под серебристой железной громады. «Но тоже головорез»,— закончил Джуда со вздохом облегчения.

Они еще много чего говорили, пытаясь привлечь мое внимание к старым домам Мельбурна в традиционном колониальном стиле, к памятникам и церквам,— точь-в-точь такой вот уютный, немного провинциальный и хмуроватый Мельбурн был изо-

---

ЮРИЙ НАГИБИН
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ АЛАН!

бражен на иллюстрациях к «Детям капитана Гранта» дореволюционного издания,— но голову мне сверлила мысль о странном избранничестве Алана Маршалла.

Почему бог, творя свои символы, порой начисто утрачивает чувство художественной меры? Уж кто-кто, а Маршалл, право, заслужил хоть в старости немного покоя и физического равновесия. Зачем ему за рубежом семидесяти лет вновь учиться прыгать через лужи, теперь уже на одной ноге? Да и какой смысл проверять его на разрыв, если заранее известно, что он выдержит, кому нужно это бессмысленное мучительство?

Я так ушел в свои мысли, что проглядел Мельбурн. Когда мне отведен короткий срок для ознакомления с городом, я лучше всего схватываю его при первовидении, по дороге с вокзала или аэропорта. Последующая беготня по улицам и площадям почти ничего не добавляет. Так у меня было, к примеру, с Лондоном, где я находился всего три дня. Не могу, конечно, сказать, что я знаю Лондон, но образ великого города, четкий как на медали, отпечатался в мозгу. А в Австралии я запомнил Сидней, Брисбейн, Канберру, но Мельбурн подернут в памяти туманной изморосью, неясен и расплывчат. Кстати, все дни, что я провел в Мельбурне, не переставая сеялся нудный осенний (май — австралийская осень) дождик. Эта серая небесная слезница была исходом сиднейской бури.

Все же кое-что я уловил. В Мельбурне нет современного величия Сиднея, широко раскинувшегося по холмам, прорезанным излучинами глубокого залива, Сиднея с его небоскребами, гигантским чугунным мостом, уникальным оперным театром в виде корабля с надутыми ветром парусами, а каждый парус — из бетона, в Мельбурне нет и женственности маленькой, изящной, нацельно построенной Канберры, и нагловатой самоуверенности быстро набирающего силу Брисбейна, он по-своему прост, добродетелен, слегка старомоден и уютен, как дедушкино вольтеровское кресло. И при этом Мельбурн вполне сегодняшний город, ибо в нем ключом бьет научная, общественная и художественная мысль, в нем три университета, старая интеллигенция, едва ли не лучшая в стране литература.

А еще есть замечательные окрестности, куда мы вскоре поехали, как выяснилось, по прямому указанию Алана Маршалла. Кстати, не увидев его в день приезда, я все же встретился с ним, едва переступил порог своего номера в отеле. На полу, возле двери, лежал свежий номер мельбурнской газеты. Я стал проглядывать его и сразу наткнулся на статью Маршалла в защиту природы. Он обращался к министру, в чьем ведении находятся леса и угодья страны, и от имени детей говорил, что они не желают получить в наследство голую пустыню, без деревьев, кустов, травы, цветов, без рек и озер. А к этому идет дело при нынешнем хищническом обращении с зеленой жизнью. То был хорошо знакомый мне Маршалл, когда касалось детей и деревьев, то был совершенно новый Маршалл, когда он разделывал под орех министра. Я и не подозревал, что Алан может быть таким язвительным, острым и хлестким, это была публицистика белого накала. Он от плеча бил по чиновничьей косности, равнодушию, недальновидности, делячеству. Двести — двести пятьдесят от силы строк, но до чего же насыщенный раствор, до чего богатая интонация: от звонкого голоса боли и нежности до свифтовского сарказма. Алан по-прежнему на посту, его сильная, гневная, юношески задиристая статья убедила меня, что Уотены не преувеличивают — он в отличной форме. Андерсеновский оловянный солдатик, как известно, обходился одной ногой, но все же был самым стойким солдатом на свете.

Потомок выходцев из Одессы, Джуда Уотен, преданный друг и почитатель Алана Маршалла, уютно совмещает в своем крупном существе иронию, лукавство с какой-то растроганной добротой. Разрабатывая для меня программу, он с интересом выслушивал рекомендации Маршалла. И решено было первый день посвятить людям, второй — лесу. Позже до меня дошло: Алан нарочно оттягивал нашу встречу, чтобы я хоть прикоснулся к австралийской жизни побывал в австралийском лесу, подружился с австралийским зверьем. И это был добрый замысел...

...До чего приятно было встретить старых знакомцев: обаятельного человека, писателя, редактора и издателя журнала «Миэйн-джин» Кристесена и особенно — Джона Моррисона. За минувшие с нашей встречи полтора десятка лет Джон помолодел на эти пятнадцать. Я даже не узнал его в первый момент. Несколько унылый, с вытянутым и желтым от хронической язвы лицом, садовник-новеллист превратился в бодрого, моложавого, элегантного джентльмена, знающего толк в яствах и тонких винах. Он отпустил острую бородку, носит светлые пиджаки и яркие галстуки. Постная мина вегетарианца уступила место на его округлившемся порозовевшем лице живой, победительной улыбчивости. Джон женился по любви на довольно состоятельной русской женщине, отличной кулинарке, в два счета избавившей его от язвы.

— Ну, а как работается на сытый желудок?— спросил я.

— Все о'кей! — звучит жизнерадостный ответ, и я тщетно ищу на цветущей физиономии остроту черт бывшего докера.

— Лев Толстой говорил, что писатель должен всегда немного недоедать.

— Поголодал бы он с мое! — рассердился Джон.— Я на этом язву заработал. Проклятые графские причуды! — и стал точь-в-точь докер...

Когда мы поехали к зверям, изморось сменилась мелким, но довольно хлестким слышимым и видимым дождиком. Все стало очень свежим и зеленым, желтое не примешивалось к краскам осени, и было трудно поверить, что на дворе по-нашему ноябрь. Обитатели громадного заповедника

Маккензи, за малым исключением, содержатся на воле. Австралийское зверье доверчиво и добродушно. И только собака динго являет собой редкий случай возвращения в дикое состояние одомашненного животного. Говорят, собак завезли сюда десять тысяч лет назад малайские рыбаки да и бросили на произвол судьбы. Сходного происхождения дикая австралийская свинья, но она пуглива и безвредна, а динго — дьявол. Дикая собака с утратой сторожевых качеств разучилась лаять, но умеет выть и с противным подвизгом гявкать. Между динго и фермерами — непрекращающаяся война.

Есть и настоящий дьявол, правда, не с материка, а с острова Тасмания, он так и называется — «тасманский дьявол». Это небольшой, с кошку, зверек, черный, с голыми розовыми, почти человечьими ушами, с голыми розовыми лапами и храпом, с железным сцепом маленьких челюстей, которым перегрызть человечью руку все равно что белке — орех.

Но поразительно, что самая кровавая война ведется не с хищниками, а с наикротчайшими кроликами и милыми, такими безобидными с виду кенгуру. Об этом много писалось, и все-таки трудно вообразить, что несметно расплодившиеся братцы-кролики страшнее любого стихийного бедствия. Они способны уничтожить все посевы, весь зеленый покров материка, и против них ополчаются всенародно, как против вооруженных до зубов агрессоров.

Австралийский животный мир не похож ни на какой другой. Когда в незапамятные времена распался древний материк Гондвана и громадные водные пространства пролегли между Австралией и другими континентами, она вышла из мирового природного обмена. Впрочем, сказанное прежде всего относится к фауне, не к флоре, ибо семена растений заносились сюда ветром, птицами, насекомыми и упавшими в воду деревьями.

И не случайно из высших млекопитающих в Австралии встречаются только летучие мыши, способные перелетать широкие проливы, и полевки, приплывшие сюда на стволах деревьев. Преобладают же в Австралии так называемые эндемичные — свойственные только данному месту — животные.

Обитатели заповедника, за исключением хищников, легко подпускают человека, позволяют трогать себя, а те, что поменьше, брать на руки. Не вступает в общение лишь хмурый утконос. Он помещается в длинной стеклянной ванне и при виде людей приходит в состояние лихорадочного, безостановочного, челночного движения. Словно пловец в бассейне, одержимый побитием рекорда, носится он от стенки к стенке. Изредка над водой возникает по-утиному плоский клюв — глотнуть воздуха. А гнездо для яйцеклада утконос строит на суше и делает очень узкий вход, чтобы отжималась влага со шкурки, когда он туда протискивается. Будучи один в трех лицах: рыба, птица, зверь, утконос вовсе не считает себя чем-то исключительным, повышенное внимание посетителей его возмущает. Наверно, он прав.

А вот пасущиеся на зеленых лужайках кенгуру милы и общительны. Передвигаются они сильными, упругими прыжками, у самок из сумки на животе выглядывают детеныши. Когда малышу надоедает заточение, он выскакивает наружу, резвится, наслаждается жизнью и снова забирается в тело матери.

Самый удивительный, до слез трогательный обитатель заповедника — коала (или сумчатый мишка). Они живут на деревьях. Иное деревцо усеяно ими, словно большими серыми грушами. Матери носят детенышей за спиной. И кажется, что все они, от мала до велика, дремлют. Изредка приметишь вялую, будто сквозь сон, челюстную работу. Ты можешь взять медвежонка на руки, он зыркнет черным глазком и тут же вцепится в тебя, как в дерево или в шкуру матери, и вновь уснет. Коала почти не встретишь в зоопарках мира, ибо питаются они листьями того вида эвкалиптов, который нигде, кроме Австралии, не растет. Они не пьют, получая необходимое количество влаги из этих листьев, а заодно и хорошую дозу наркотика, вот почему кажутся сонными. Коала впрямь слегка отключены, пребывая в мире зверьевых грез. И до чего же гадко, что этих очаровательных, безвредных и совершенно беззащитных зверушек безжалостно уничтожают. Сохранение коала, являющегося наряду с кенгуру символическим зверем Австралии, стало делом государственной важности...

После заповедника нам предстояло увидеть лес. По некоторой торжественности, с какой супруги Уотен говорили об этом, я понял: изведя леса почти под корень, австралийцы гордятся тем, что осталось. И не без оснований: лес, обступивший нас, едва мы выехали за пределы заповедника, был и впрямь неплох — хоть и малорослый, но довольно густой, с манящей глубью. Я похвалил лес.

— Где вы видите лес? — осведомилась миссис Уотен.— Это кустарник, буш.

— Разве?..— пробормотал я.

— Буш!.. — пренебрежительно дернула плечом миссис Уотен.

Через некоторое время я вынужден был признать, что звание леса в Австралии даром не дается — по сторонам шоссе, погрузив его в тень, поднялись рослые, раскидистые эвкалипты и акации с толстыми стволами, густыми кронами, и я от души поздравил спутников с великолепным лесом.

— Да нет,— равнодушно сказала миссис Уотен.— Это буш.

— Перестаньте смеяться! — вскричал я.— Что же, по-вашему, лес?

— А вот сами увидите,— последовал хладнокровный ответ.

И я увидел и молча склонился перед чудом. Все слова разом обесценились. Я был

ЮРИЙ НАГИБИН
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ АЛАН!

ошеломлен, потрясен, подавлен. Только потом мне вспомнилось, что на иллюстрациях к незабвенным «Детям капитана Гранта», настольной книге моего детства, видел я стволы-колонны (из арсенала более поздних воспоминаний могу извлечь уточнение: колонны Баальбекского храма), у подножия которых фура Гленервана казалась не больше жучка. Но тогда я считал эти деревья — их кроны не помещались на иллюстрациях — порождением художественного вымысла, чтобы страшнее было. А он есть, этот исполинский лес, есть!..

Стволы эвкалиптов неохватны, но не кажутся толстыми, так стройны они и высоки. Задираешь голову до хруста шейного позвонка, а верхушек не видать, они где-то там, в прозрачно-серебристом сиянии процедившихся сквозь хмарь солнечных лучей. Меж стволами и листьями гигантских папоротников реет зеленоватый туман, то сгущаясь, то разрежаясь до полной прозрачности, и тогда взгляду открываются сумеречные влажные глубины с оранжевыми и голубыми мхами в изножии деревьев и седыми от влаги, тяжелыми травами. Лес словно дышит. И когда он набирает в грудь воздуха — студью опахивает тело, когда выдыхает — обдает влажным теплом.

Послышался стук топора, затем мерный, с отзвоном, скрежет пилы. Неужели я увижу сейчас, как падает великан-эвкалипт? У меня аж в лопатках похолодало. Какой сейчас поднимется ветер, какой грохот сотрясет простор, сколько сокрушит и покалечит соседей падающий гигант, сколько малых жизней унесет с собой!

Ничего этого не случилось. Рубщиком и пильщиком оказалась лирохвостая красавица, извлекавшая из своего тонкого горла и хряск топора, и надсадный зуд пилы. Птица-лира, величайший пересмешник, изумительно копирует не только лесных обитателей, но и механические шумы: пилку, рубку, рокот тягачей, автомобильные гудки. Почему только роскошный хвост этой подражательницы образует на вскиде символ поэзии?..

Как уже говорилось, мне следовало напитаться Австралией, а потом уже предстать пред очи Алана Маршалла. Но истинная Австралия — это аборигены, за права и достоинство которых Маршалл дерется всю жизнь, а их в Мельбурне не было. Аборигены по большей части живут на севере, в пустынные, неплодородные места оттеснили их колонизаторы. До недавнего времени, когда аборигенам наконец дали право гражданства в искони принадлежавшей им стране, они размещались в особых резервациях, вроде тех, куда в Америке загнали индейцев. Там аборигены охотились с помощью бумерангов и копий, собирали плоды, ягоды, коренья. Ни земледелия, ни скотоводства они не знали. Встречаются аборигены и в некоторых других местах страны, например, на островах возле Брисбейна, где я их позже увижу, но наиболее близкое знакомство сведу в Сиднее, в аборигенском центре, включающем школу-интернат и лечебницу. В школе они получают образование в объеме восьми классов, что позволяет им вести канцелярию впервые созданных аборигенских кооперативов. Некоторые ребята продолжают учебу, и сейчас среди аборигенов есть люди с высшим образованием: юристы, учителя, бухгалтеры, но их еще очень мало. Вот так рухнула грязная легенда расистов об умственной неполноценности первожителей Австралии. Татуированный отец в набедренной повязке кидает бумеранг в птицу, а сын в адвокатской мантии выступает в суде. Одним из самых светлых воспоминаний поездки стала для меня встреча с учащимися аборигенской школы в Сиднее. Это были красивые, воспитанные молодые люди, в меру скромные, в меру свободные, и под стать им девушки, стройные, с прекрасными волосами и глазами, мягкими движениями и легким привкусом горечи в улыбке. Ибо при всех решительных переменах, произошедших за последнее время в их жизни, чувство изолированности, нерастворенности в окружающем все еще остается. Чтобы это чувство прошло, нужно время и... новая борьба. Ребята пели, играли на гитарах, угощали нас кофе, печеньем и улыбались. И как же много можно сказать улыбкой!..

Но все это было позже, в Сиднее, а в Мельбурне, вместо встречи, я получил историю о том, как аборигены «вознесли» Алана Маршалла.

«Мы такие же люди» с полным правом назвал Алан Маршалл свою книгу, посвященную аборигенам. Люди с бумерангами всегда считали Маршалла своим. И они были искренне огорчены, узнав, что для их друга, умеющего охотиться, ловить рыбу, метать копье, скакать на лошадях, недоступны горы. Он никогда не был в горах. Правда, мальчиком он вскарабкался однажды по заросшему папоротниками склону потухшего вулкана и заполз в кратер, но то не было настоящей высотой. А в Австралии есть очень высокие горы, с вершинами, покрытыми снегом, и земля оттуда видна далеко окрест, даже с самого рослого эвкалипта не охватишь столько пространства. Аборигены решили доставить Маршалла на вершину горы. Человек доверчивый, любящий риск и приключения, он ни о чем не спрашивал.

Вышли перед рассветом. Там, где началась крутизна, Алана усадили на деревянную дощечку, подняли до уровня плеч и велели держаться за шеи носильщиков. У подножия горы ночь, уже утратившая плотность, была непроглядно черна. «Держись!» — сказали невидимые носильщики Маршаллу и прянули из тьмы во тьму.

Они продвигались быстро, почти бегом, и Маршаллу подумалось, что они не рассчитали сил. Но шагов через пятьсот—шестьсот один из носильщиков коротко свистнул, ему тут же отозвались: от ночи отделились два сгустка тьмы, приняли ношу и, не задерживаясь, устремились вперед и вверх. Так подымались они без остановок: свист, подстава, пробежка, хриплое дыхание — Маршалл тщетно пытался угадать, кто его

несет. Прореживалась тьма, светлело небо в близости восхода, вскоре Маршалл стал различать лица своих носильщиков. Многих из них он не знал, но это и не важно, коль все они были его соплеменниками. Затем ему заложило уши — новое, незнакомое ощущение от разреженного воздуха.

Круче и круче становился подъем, чаще и чаще подмены — скорость не утрачивалась, молчаливые, коренастые, надежные люди все учли. Свист, толчок, пробежка, свист, толчок, пробежка... И вот раздался какой-то особый свист — долгий, ликующий, и не последовало очередного толчка. Носильщики стояли, тяжело дыша, от них тянуло мускусом пота. Над головой, мерцая, серебрился небесный свод в гаснущих одна за другой звездах. Светлая полоса на востоке заблистала, вот-вот из-за окоема появится солнце. В прозрачнейшем сумраке обрисовывались, обретая краски, становясь плотной материей и самими собой, гряды гор, холмы, леса, купы деревьев, реки, и задрожавшим сердцем постиг Алан Маршалл земное пространство.

Вот какой подарок сделали соотечественники своему писателю, вот как они понимали дружбу.

Наше ви́дение во многом зависит от предваряющих впечатлений. В свое время, настроенный на встречу с охотничьим богом, богатырем, пропахшим лесом и осокой, я не разглядел в поставе Алана даже тех признаков силы, которые воспитываются хождением на костылях. Но встретив в его книгах многократные упоминания о диспропорции между его грудной клеткой, широкими плечами и «нижним этажом», я постиг ложность своего первовидения, и теперь даже инвалидная коляска не помешала мне узреть могучего Алана. Ему за семьдесят, но крепок он, как топор, свеж гладким розовым лицом и загорелой лысиной, которая очень ему идет; у него седые, впроголубь волосы на висках и затылке и седые, припаленные желтым, усы, хорошо обрамляющие крепкий рот. Одет Маршалл франтовато: стального цвета рубашка, красный, в горошек, шейный платок, светлые брюки и коричневая замшевая туфля. И вообще, Алан Маршалл красивый мужчина, и легко понять, что домашнее гнездо не устояло под напором неистовых гарпий.

Ампутация еще более сузила для него постижимое пространство, но подвижный, как ртуть, Маршалл отказывается принять насильственный покой. То и дело, упираясь в подлокотники, он перемахивает из коляски в кресло или на диван, оттуда обратно в коляску, толкает колеса и вдруг оказывается в противоположном конце комнаты. И вовсе не от болезненной перевозбужденности, он спокойный человек, а для дела: чтобы удобнее было разговаривать, легче достать нужную книгу, газету, подать гостю прохладительное, сигареты, огня. Он сроду не любил прибегать к посторонней помощи и сейчас верен своим привычкам. Презирая новую каверзу судьбы, он планирует поездку в Европу и в первую очередь в Советский Союз. Я ведь не сказал, что Алан Маршалл сейчас председатель Общества австралийско-советской дружбы, большой организации с отделениями во всех крупных городах Австралии.

Активность Алана вызывала некоторое раздражение у его племянника, осуществляющего при нем роль «дядьки». Этот австралийский Савельич, преданный и ворчливый, как и все Савельичи на свете, несколько преувеличивает свою обремененность причудами старого дяди, втайне гордясь его неуемным темпераментом. Он покрикивает и только что не щелкает бичом, словно перед ним не инвалид в коляске, а бенгальский тигр или дикий конь. Алан относится к его выходкам с той же спокойной, благожелательной иронией, как и к окрикам Гефсибы и ко всем малым нелепицам жизни. Мне племянник неожиданно понравился. Наконец-то я увидел воочию австралийца, полностью соответствующего типу бродяги-стригаля из чудесных рассказов Лоусона: большой, загорелый, горластый, ворчливый, с размашистыми жестами, добродушный, но достаточно твердый, чтобы оградить свою внутреннюю суть от любых посягательств и, добавлю, надежно сберечь то, что ему доверено.

Мы с Аланом обрадовались друг другу, но в небольшую квартиру набилось слишком много народа, и это не располагало к углубленной, сосредоточенной беседе. Когда же мы наконец уединились, весьма относительно — поминутно кто-то заходил, я вдруг понял, что сказать надо слишком много и этого все равно не скажешь, даже не будь мы ограничены во времени. Но я не особенно огорчился, ибо сделал открытие: когда людям хорошо друг с другом, то нет нужды сыпать словами, можно помолчать; оказывается, молчание тоже форма общения, едва ли не самая полная. Как хорошо молчалось нам с Аланом Маршаллом! Мы молчали о литературе, о нашей работе, молчали о предстоящих выборах. Почему-то я сразу понял, что, в отличие от своих друзей и соратников, Алан убежден в победе лейбористов, так впоследствии и оказалось,— молчали о настоящем, прошлом и будущем, о женщинах, которых любили, о надеждах, с которыми еще не расстались. Я многое понял из этого молчания.

Но не бывает так в жизни, чтобы люди вкусили благость тишины и молча разошлись. Совершенная чистота приема возможна только в литературе, а не в сутолоке быта. И мы против воли оказались втянутыми в разговор.

Конечно, я поделился с Аланом своими скудными, хотя и сильными австралийскими впечатлениями.

— А лес? — спросил Алан и чуть привстал, опираясь о ручки коляски.

— Ого!..— сказал я.

— Ого!..— повторил он, радостно засмеялся и хватил стакан кока-колы.

Но, добрый человек, он тут же с большой

ЮРИЙ НАГИБИН
ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ АЛАН!

похвалой отозвался о русском лесе и сообщил, что собирается в Советский Союз. Я пригласил его на охоту. Он медленно покачал головой.

— С охотой покончено... А вы охотитесь?

— Сейчас нет.

— И хорошо делаете. Время охоты миновало. Сохранить бы то, что еще осталось.

— Но ведь приходится уничтожать кроликов, кенгуру...

— Именно, уничтожать! — с отвращением повторил Маршалл.— Это мерзкое следствие всегдашней человеческой безответственности, неспособности да и нежелания видеть хоть на шаг вперед. Зачем было доводить до массового убийства?.. Знаете, что делают фермеры? — Он подкатил свое кресло ближе ко мне, за очками у него была боль.— Они нанимают стрелков — это демобилизованные солдаты корейской и вьетнамской войны, не нашедшие применения в мирной жизни. Банды этих парней бродят по стране, у них сохранилось старое оружие. Может быть, они слишком привыкли убивать и теперь не годятся ни на что другое? Они косят кенгуру из пулеметов и автоматов, забрасывают гранатами. На полях остаются сотни трупов прекрасных и добрых животных. Кончится тем, что кенгуру изведут, вроде вашего волка.

— Да, теперь спохватились, что волк — санитар леса. А на севере, где выбили волков, олени вырождаются, теряют силу, выносливость, скорость бега. Волк был их тренером.

— Есть и еще одно,— чуть улыбнулся Маршалл.— Ивану-царевичу не на чем вывезти царевну из леса. Джип в чаще не пройдет. У детей украли одну из самых красивых и поэтичных сказок...

Мой друг, писатель Виктор Астафьев рассказывал, как били глухарей у него на родине, в Красноярском крае, года два назад, когда этой редкой, почти истребленной птице как-то удалось восстановить убыль. Приезжие охотники отстреливали столько, что пришлось срочно оборудовать пункты по приемке дичи. Но вскоре эти пункты свернули, не хватало ни рабочих рук, ни транспорта. А вошедшие во вкус стрелки продолжали лупцевать глухарей просто так, из азарта и распущенности. Повсюду гнили мертвые глухари, эти редкие зашельцы в наш век из глубокой древности, биологическое чудо: у них вместо голосовых связок косточки. Измаравшиеся по маковку в крови, пусть и птичьей, охотники убили что-то важное в самих себе. Они стали бояться друг друга, прятаться по ночам. «Зачем вы прячетесь?» — спросил одного из них Виктор Астафьев. «Как зачем? Убьют!» — ответил тот с жуткой простотой. «Да за что?» — «Вот те раз! Может, ружье мое приглянулось, или надувная лодка, или сапоги. А может, так, из настроения»... Это не были какие-то отщепенцы—самые обыкновенные, средние люди...

Алан Маршалл внимательно выслушал эту историю.

— Ну вот видите... Какая уж там охота! Людей слишком долго ориентировали на истребление, надо повернуть руль на сто восемьдесят градусов. Иначе черт знает до чего дойдем, уже дошли. Не охрана природы, а спасение гибнущего мира, включая и человека,— так стоит вопрос.

Я сказал, что прочел его статью.

— Это только начало. Нет в Австралии страшнее браконьера, чем само государство. Тысячи нарушителей сроков и способов рыбалки не причинят того вреда, как одна бездарная плотина...

Я покинул Маршалла поздно ночью, племянник-стригаль шипел от гнева, как сало на сковородке,— так бесило его легкомыслие дяди, нарушившего режим.

Не помню, кто из мыслителей сказал: «Человек должен стать тем, что он есть» но мы с Маршаллом вспомнили эту формулировку и взяли на вооружение. Подписались мы еще под несколькими, отнюдь не новыми истинами. Надо ежечасно, ежеминутно помнить о детях и отвечать перед ними за все свои поступки. Мы оставляем мир в неважном состоянии, надо, чтобы дети были очень хороши, добры, умны тверды и ответственны. Не теряет силы изречение Блейка: «Все существующее свято». Сразу оговариваюсь для тех, кто при малейшем проявлении «отвлеченного» гуманизма хватается за оружие: гитлерообразные не включаются в понятие «существующего», это нежить. Еще не поздно спасти этот лучший из миров.

Мы не открыли никаких Америк, даже Австралий,— кстати, почему так мало известен голландский шкипер Виллем Янц, подаривший современникам целый материк?— нам просто хотелось укрепиться в нашей вере.

А потом я поцеловал Алана в загорелое гладкое темя, мы обменялись рукопожатием, и гарцующий от нетерпения, как застоявшийся конь на ферме Маршалла-отца, домовод-племянник выпроводил меня за дверь, в теплую и влажную ночь Мельбурна...

Мир сегодняшней Австралии пестр, многообразен и в социальном, и в политическом, и в идеологическом смысле. Правда, краски его далеки от ликующей яркости его природы. На долю мне выпали не только спичи, тосты, рукопожатия, доверительные, душа в душу, беседы, внимание заинтересованных аудиторий, но и немало яда. Были и серьезные споры, и настоящие идеологические бои, и словесные драки, да такие, что друзья на всякий случай засучивали рукава. Это в порядке вещей, иначе жизнь была бы пресна.

Поездка не изжилась в моей душе, но Австралия слишком сложна, чтобы писать о ней впрямую после двухнедельного пребывания. Не скрою, мне случалось писать о некоторых странах после столь же краткого визита, но то были страны, а это целый материк. И наконец, разве Алан Маршалл—это не сама Австралия с ее муками и радостями, победами и поражениями, с ее мужеством, твердостью, верой в будущее и умением за это будущее бороться? Конечно, каждая страна, каждый народ многолик. Алан Маршалл — самый светлый образ породившей его земли.

Критика

Т. ГРИГОРЬЕВА

И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Вступление А. ДОЛИНА

Узнать друг друга. Об этом думают люди при первой встрече. Об этом думают народы разных стран. Узнать друг друга пытаются ученые, писатели, художники.

В 1971 году внимание читателей привлекла напечатанная в «Иностранной литературе» (№ 8) статья Татьяны Григорьевой «Читая Кавабата Ясунари». Письма в редакцию показали, насколько велик в наши дни интерес к поднятым в статье проблемам, к древней, нестареющей культуре Японии.

В 1973 году статья была переведена на японский язык доктором Мурамацу Томоцугу, специалистом по классической японской литературе, и опубликована в литературно-критическом журнале «Тоё» («Восток»). На статью откликнулись японские ученые, и их заметки были помещены в последующих номерах журнала. Помимо доктора Мурамацу, в обсуждении статьи «Читая Григорьеву-дзёси [1]» приняли участие такие видные специалисты, как профессор факультета литературы Исида Дзёдзи, профессор кафедры японской литературы Кобаяси Итиро. Ряд интересных наблюдений о древнекитайских текстах высказал исследователь китайской литературы профессор Канэока Тэрумицу и другие. Отмечая достоинства статьи, каждый из них развивает отдельные аспекты работы и тем самым обогащает наши представления о своеобразии японской культуры. Такой непосредственный обмен мнениями между советскими и японскими литературоведами происходит едва ли не впервые и говорит, по всей видимости, об определенном качественном сдвиге в изучении японской культуры.

Статья «Читая Кавабата Ясунари» — это равноправная беседа ученого с читателями, где анализ философских и эстетических концепций японского писателя подкрепляется примерами из различных областей нашего знания, смелыми и неожиданными параллелями, обширными экскурсами в историю вопроса. «Госпожа Григорьева подходит к рассмотрению японской литературы и культуры в свете влияния устойчивых национальных традиций. Чем глубже я вчитывался в эту работу, тем больше убеждался в ее значительности...— пишет доктор Мурамацу.— Автор стремится максимально расширить диапазон исследования. При переводе мне часто приходило в голову, что именно такой метод следует использовать и нам. Я очень рад новому успеху Тани-сан, отдавшей свой творческий дар изучению японской культуры и проявившей глубокое понимание и симпатию к нашей стране».

Статья об одном японском писателе превратилась в разговор об особенностях японского искусства в целом. И это закономерно. Ведь цель изучения восточных культур — не только детальное воспроизведение «мира иного» в конкретных его проявлениях, но и возможный пересмотр некоторых сложившихся у нас представлений.

Почему же из всей плеяды писателей послевоенной Японии привлекает такое внимание Кавабата Ясунари?

---

[1] Дзёси — вежливое обращение к женщине-ученому.

Кавабата — писатель сугубо национальный, «красотой Японии рожденный». Он как никто из его современников умел передать «очарование вещей», специфику традиционного японского эстетического восприятия, о котором так интересно написали доктор Мурамацу и профессор Исида Дзёдзи. Душевному настрою этого человека, по словам Т. Григорьевой, «доступен голос природы — он слышит ее дыхание, ее безмолвие». В древности не было иного пути к познанию истинной сущности вселенной, кроме как через сердце человека. Смысл творчества Кавабата — познание сердцем. Глубинную связь прозы Кавабата с эстетикой дзэн подчеркивают в своих отзывах Исида Дзёдзи и Мурамацу Томоцугу, развивая тезис о способности японского писателя к «непосредственному восприятию мира». «Я как будто вижу перед собой человека, сидящего по-японски поджав ноги и выводящего «незримые письмена»,— говорит о Кавабата профессор Кобаяси Итиро. Незримые письмена — это все, что существует за строками, что находит созвучие в сердце читателя. Символ, воплощающий явление; намек, рождающий прозрение; предмет, воскрешающий в памяти забытые мысли и чувства,— волшебство недомолвки унаследовал Кавабата у японских поэтов минувших веков. Чем меньше сказано, тем больше домыслено — и писатель, и читатель владеют культурным контекстом произведения.

Культура страны аккумулирует достижения прошлого, вырабатывает художественный канон на основе испытанной временем традиции. Постепенно оформляется национальная самобытность искусства. Конечно, мастер может нарушить канон, выйти за его пределы, откликнувшись на зов современности, как это делает Кавабата, но можно ли порвать с традицией, дающей жизнь языку, литературе, всей многоликой культуре страны?

Кавабата и в прозе прежде всего — поэт, умеющий безошибочно определить ценность каждого слова, как опытный ювелир — чистоту воды алмаза. Он относится к Слову с любовью, нежностью, а порой и с суеверным страхом. Ведь слово — тот же мазок кисти, который может перечеркнуть прекрасное полотно или придать ему еще большее совершенство. Выбор слова для него равносилен принятию важного решения, которое может многое изменить в настоящем, в прошлом и в будущем. Дорожит словом Кавабата, но еще больше он дорожит тем, что стоит за словом, за иероглифом,— «незримыми письменами».

Недаром исследователи прозы Кавабата уделяют внимание вещам на первый взгляд незначительным. Казалось бы, что может дать такая мелочь, как рассуждение о частице «но», которая входит в название Нобелевской речи Кавабата («Уцукусий Нихон-но ватакуси»), при анализе романа или при оценке творческого пути писателя? Но одна фраза, один иероглиф (а ведь иероглиф многозначен), если понять их до конца, иногда могут сказать больше, чем вся книга. Одобрительно отзываясь о попытке воссоздать стиль художественного мышления Кавабата из названия его Нобелевской речи, доктор Мурамацу замечает: «На примере использования частицы «но» госпожа Григорьева дает весьма любопытное объяснение восточной цивилизации, стремясь понять первоосновы японской культуры».

...В своих откликах на статью Григорьевой японские литературоведы затронули много важных проблем. От творчества Кавабата они протянули нить к истокам национальной культуры, и мы, следуя за их рассуждениями, углубляемся в бесконечно новый, но уже не столь далекий мир.

Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить переводчика Мурамацу-сан, взявшего на себя этот нелегкий труд и выполнившего его с добросовестностью исследователя, а также японских ученых, откликнувшихся на статью и углубивших мое познание Японии,— профессоров Исида Дзёдзи, Кобаяси Итиро, Конэока Тэрумицу и других. Хочу поблагодарить соотечественников, приславших мне теплые письма.

Само время поставило человека перед необходимостью искать глубинные связи всего со всем, проникать в те скрытые закономерности, которые позволяют лучше понять происходящее и предвидеть будущее. Испытания, выпавшие на долю человечества в XX веке, заставили осознать нравственное значение деятельности любого рода. Ни один настоящий ученый не обходит теперь вопрос о личной ответственности — как результаты его трудов скажутся на жизни людей. Настало время и к проблеме Запада и Востока подойти с нравственным критерием.

Проблему «Восток — Запад» можно рассматривать под разными углами зрения (говоря о Востоке, я имею в виду в силу профессиональных интересов Китай и Японию). Попробуем понять, как Восток и Запад соотносятся в духовном, психологическом плане, на уровне устойчивых культурных ценностей, которые достались нам от прошлого и которые мы обязаны передать в будущее, чтобы не нарушить закон преемственности, поддерживающий жизнь человечества. Это, естественно, не значит, что Восток и Запад сами по себе однородны, что на социально-историческом уровне нет сложнейших и обострившихся в XX веке противоречий, нет национальных и классовых антагонизмов — действительность на-

ших дней дает ежечасные тому подтверждения. Но не различать, смещать эти уровни, подменять одно другим, не видеть сложности структуры человеческих взаимосвязей — значит не оставлять человечеству надежды на возможность взаимоединения в будущем, значит разрушать собственный идеал. Разве не принадлежат всему человечеству Данте, Шекспир, Пушкин, Басё, хотя жили в разные времена и на разных широтах?

Еще Мацуо Басё (1644—1694) говорил: «Без неизменного не было бы основы, без изменчивого нет обновления». Если бы не было перемен, не было бы развития, если бы не было постоянства — ничего не было бы, только в диалектической связи того и другого творится история.[2]

Интерес к проблеме «Восток—Запад» не нов. Ее значение превосходно осознавали русские востоковеды. Почти семьдесят лет назад В. М. Алексеев писал: «...желая понять китайскую культуру, уложить ее в наше понимание, надо сохранить ее как неповторимую, оригинальную систему человеческого мышления...» Единство не достигается уподоблением: не осознав различий, мы не поймем единства.

«Я буду бороться,— продолжает ученый,— с пессимистическим девизом Киплинга: «Восток есть Восток и Запад есть Запад. Эти близнецы никогда не встретятся».

Напротив, я убежден, что встреча «близнецов» состоится и откроет огромную перспективу всему человечеству. Реакция западной души на душу Востока и наоборот создаст новую жизнь, новых людей, новую культуру.

Я счастлив именно этим синтезом...»[3]

С тех пор мы мало продвинулись в решении этой проблемы, в осознании различий. Попробуем понять причину. Я позволю себе напомнить, что писала в прошлой статье: «Наше признание Востока заключается не в признании за ним права походить на нас, а в признании за ним права на собственные ощущения, на собственные откровения и принципы, которые не исключают существования противоположных, а предполагают, дополняя их, как две стороны одного процесса дополняют друг друга». Но сделать это не просто. Дело не только в желании или нежелании, а в некой предубежденности. Если наше мышление станет более гибким, более восприимчивым к культурным ценностям иного порядка, положение вещей изменится. Ученые займутся наконец поиском не аналогий, а того, что в действительности было на Востоке, и то, что мертвым капиталом лежало по ту сторону наших знаний, найдет применение в человеческой практике, начиная от медицины, кончая эстетикой быта, эстетикой производства. (Это не праздный вопрос. Чувство гармонии, чувство меры, в течение веков формировавшееся, например, у японцев, развило в них особую эстетическую ответственность, ту самодисциплину, которая не позволяет делать вещи плохо, некрасиво. В этом — одна из причин их успехов.)

Главное, что в процесс взаимопроникновения на уровне культуры по временным и пространственным параметрам (прошлое — настоящее, Восток—Запад) сегодня вовлекаются народы. Встреча обусловлена не столько взаимным влиянием, сколько взаимным влечением, вызванным спонтанным развитием каждой из сторон. Человек возвращает себе то, что ему принадлежит.

Не знаю, что ближе человеческому сердцу — радость признания или радость узнавания? Восток и Запад. Один из вечных вопросов: Как-то я записала на карточке: «Эврика! Восток и Запад — все равно что левая и правая рука. Все имеет восточную и западную сторону!» «Эврика!» Может быть, мне только показалось, что я пришла к этому выводу сама, не под влиянием древнекитайской символики, где все, начиная от дворцовых построек и кончая человеческим телом, находится в соответствии с четырьмя сторонами света, и сообразно левая рука — символ востока, а правая — запада. Не о том ли говорил даосский мудрец Чжуан-цзы двадцать четыре века назад? «[Так], узнав, что Восток и Запад друг другу противоположны, но что ни тот, ни другой отрицать нельзя, можно[определить роль [каждого как] части».[4] И ближе к нам — Гегель: «*Единство* и *различие* — это звучит бедно и жалко по сравнению, например, с великолепием солнца, с востоком и западом... Восток и запад присущи каждой вещи».[5]

Об этом знали, но мы нередко забываем то, что не следует забывать, и помним то, что не следует помнить, не потому ли, что измеряем вещи масштабами собственной жизни? Пространственно-психологическое деление мира на Восток и Запад относительно (меняется его содержание), подвижно (смещаются границы), условно (Запад и Восток есть в каждой вещи), но неизбежно, как неизбежны две стороны в любом явлении (только с точки зрения дзэн возможен хлопок одной ла-

[2] Целостный подход не только не противоречит принципу историзма, но является его необходимым дополнением, то есть мы не можем понять характер отдельного — день сегодняшний,— не принимая во внимание природу целого, исторической закономерности. Еще апории Зенона заострили внимание на двуединстве движения: оно одновременно и прерывно, и непрерывно. В нашей философской литературе в последнее время довольно часто пишут о существовании уровня синхронии — генетической преемственности и диахронии — эволюционного обновления и их взаимной дополнительности.

[3] В. М. Алексеев. В старом Китае. М., Издательство восточной литературы, 1958. стр. 311.

[4] Л. Д. Позднеева. Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. Москва, «Наука», 1967, стр. 296. Дальше Чжуан-цзы цитируется по этому изданию.

[5] Гегель. Работы разных лет. В 2-х томах. М., «Мысль», 1971, т. 2, стр. 554.

Т. ГРИГОРЬЕВА
И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

дони). Восток и Запад — то единство противоположностей, которое является условием всякого существования, нормальной жизнедеятельности целого. Это я и имела в виду, когда писала в статье, послужившей предметом разговора: «Нет Востока без Запада и нет Запада без Востока — одно помогает другому осознать себя». Дополняя друг друга, Восток и Запад самопознаются друг в друге. Но слова останутся словами, если не показать это на деле.

Две стороны знания, которое в течение тысячелетий вынашивало человечество, то сходились, обогащая друг друга, то расходились, друг от друга отталкиваясь.[6] Последнее происходило, видимо, в те моменты, когда одна из сторон приходила к выводу, что она сама себе правило, обладает полнотой знаний. Эти моменты наступали вслед за эпохами расцвета и были первыми вестниками упадка.

Новое время породило альтернативу: «Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и нет между ними никакой связи», и ее оборотную сторону (крайности сходятся): «Восток и Запад суть одно и то же, шли они одним путем с большими или меньшими хронологическими отклонениями». Нет решения проще — сторонники единого культурного пути берут за исходное европейскую модель развития, хотят понять мир, исходя из самих себя, сводят целое к части, многообразие связей к их единообразию. Те и другие отдаляют встречу, одни — потому, что в нее не верят, другие — потому, что закрывают глаза на существование второй стороны вещей, на богатейший и не похожий на западный опыт Востока.

Мы бы меньше блуждали, если бы лучше знали дороги древних. Без прошлого нет будущего, без Востока нет Запада, без Запада нет Востока — между ними кровная связь. Древние учили беречь «середину», уравновешенность начал,[7] учили избегать крайностей, односторонности, ибо всякая односторонность саморазрушается. Нарушение равновесия в одном приводит к нарушению равновесия в другом: все в мире взаимосвязано. Разрыв всеобщих связей начинается постепенно. Сначала рвутся связи человека с природой, потом человека с человеком, потом человека с самим собой.

Возможно, со временем Запад будет больше походить на Восток, а Восток на Запад, но разница между ними останется как условие мирового развития. И не суть важно, чья цивилизация более древняя (что предшествовало, что последовало), важно, чтобы стороны сообщались между собой, преодолев надуманный (не без корысти) европоцентризм и востокоцентризм. (Центр у земного шара один, два центра образовали бы две земли.)

Спору нет, труднопостижимая вещь — двуединство мира. Но вопрос этот — насущнейший, жизненно важный. От его решения зависит благополучие целого. Не осознав разницы, мы не поймем единства.

Порой диву даешься, насколько структурно противоположны явления европейской и китайской, например, культуры. Одно представляет обратную проекцию, как бы зеркальное отражение другого. Сталкиваясь с этим в повседневности, мы, может быть, уже не замечаем, что открываем книгу с обратной стороны, читаем строчки в обратном порядке (справа налево). Гексаграммы (символы — гуа) в древнейшей «Книге Перемен» («Ицзине»), повлиявшей на склад мышления дальневосточных народов, пишутся не сверху вниз, а снизу вверх. Географические карты в старом Китае представляют собой обратную проекцию европейских, север — внизу, юг — наверху и соответственно наоборот — восток и запад. Юг находится под знаком «огня» — огонь же стремится кверху, север — под знаком «воды», вода устремляется вниз,— и все «пятью элементами» объясняется. И там, и там сознание выделило из природы «пять элементов» (земля, дерево, огонь, металл, вода), взаимодействие которых порождает все вещи, но соединило их в разном порядке.

Одной из причин структурного несоответствия послужили, очевидно, разные точки зрения на происхождение мира, разные космологические представления. Для одних начало всего — прародительница земля, для других — небо, для одних — творец, для других — спонтанность, для одних — свет, для других — тень. (Я даже не решаюсь произнести «тьма», настолько мы предубеждены против этого слова, веками воспитываясь в поклонении свету,[8] чтобы не вызвать неизбежных ассоциаций с мраком — мракобесием. Совершенно необходимо иметь в виду, что в Японии философские понятия, такие, например, как «небытие», «пустота», противоположны по смыслу нашим).

Темное начало инь (покой) лежит в

---

[6] То Запад учился у Востока, то Восток у Запада. «Пифагор научился у египтян священному слову, геометрическим теоремам и учению о числах». Диодор, 198, 2 (Антология мировой философии в 4-х томах. М., 1969, т. 1, стр. 286. Дальше ссылка на это издание — Антология).

[7] Эту уравновешенность особенно ценил в восточных учениях Л. Толстой. «Внутреннее равновесие,— говорил он,— есть тот корень, из которого вытекают все добрые человеческие деяния... Путь неба и земли может быть выражен в одном изречении: «В них нет двойственности, и потому они производят вещи непостижимым образом».

[8] «Кто дерзнет сказать, что солнце лживо?» (Solem quis dicere falsum audeat) — латинское изречение, а буддист скажет: «Природа моя что луна—вечно светла». Свет обнаружил для греков упорядоченность вселенной, зрение стало одним из главных источников знания: «Бесконечное множество текстовых материалов из греко-римской античности свидетельствует о том, что только зрение считалось в античном мире тем познавательным процессом, который способен явить нам данную вещь как именно данную вещь» (А. Ф. Лосев. История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974, «Искусство», стр. 241). Даосские и буддийские тексты не только не видят в зрении источник знания, но считают зрение препятствием на пути к познанию: внешний вид вещи не отражает ее сути, истина постигается «внутренним оком», размышлением. «Не выходя со двора, можно познать мир,— говорит Лао-цзы (VI в. до н. э.).— Не выглядывая из окна можно видеть естественное дао (путь). Чем дальше идешь, тем меньше

основе всех жизненных явлений, но оно неотъемлемо от светлого начала ян (движение). Их взаимодействие проявляется в природном ритме: смене ночи и дня, прохлады и тепла, покоя и движения, податливости и напряжения. Особый тип связи: «инь — ян» нераздельны, действуют друг в друге по принципу убывания — нарастания и неизбежно меняются местами (что было инь, станет ян, что было ян, станет инь)[9] — обусловил особое представление о принципе всеобщего развития. Понимание противоположностей как пребывающих друг в друге, нерасторжимых, способных меняться местами привлекло к восточным системам внимание крупнейших ученых в начале XX века,[10] в том числе известного физика Нильса Бора. Он сделал своим гербом древнекитайскую модель инь-ян, обрамленную латинским изречением «Contraria Sunt Complimenta» («Противоположности дополняют друг друга»).[11]

Научные открытия XX века привели к переосмыслению картины мира, что не могло не повлиять на образ мышления людей. Принцип дополнительности вслед за точными науками проникает в гуманитарные, а это говорит о том, что метафизический, альтернативный тип мышления (или то, или это) уступает место диалектическому,[12] ядро которого, как известно,— закон единства противоположностей (и то, и это)[13], что в свою очередь делает реальным исследование сложнейших связей, как внутренних (психологических), так и внешних (межнациональных).

Поисками несходства можно было бы не заниматься, если бы они не имели глубинного смысла. Если двуединство есть всеобщее свойство вещей, оно должно быть присуще и миру как целому—значит, структурная противоположность не исключает, а предполагает единство разного, взаимодействие сторон, необходимое для нормального функционирования целого. Взаимно дополнять друг друга может только то, что на каком-то уровне едино.

Противоположны по своему воздействию на земные существа, но необходимы для жизни на земле лунный и солнечный свет, и если допустить, что луна исчезнет, то жизнь, видимо, прекратится. Будет вдох, не будет выдоха, собьется чередование тени и света, покоя и движения. Пристрастие к тени, по мнению известного японского писателя Танидзаки Дзюнъитиро (1886—1965), удивительно устойчиво в сознании японцев: «В Европе тоже было время, когда электричество, газ и керосин были неизвестны, но я ничего не знаю о пристрастии европейцев к тени... в нашем воображении неизменно присутствует темнота черного лака, в то время как воображению европейцев даже привидения рисуются светлыми... Откуда эта разница во вкусах? Мне кажется что нам — людям Востока — свойственно искать удовлетворение в той обстановке, в какой мы очутились. В силу этого мы не питаем чувства недовольства к темноте, добровольно затворяемся в тень и открываем в ней присущую ей красоту. Что касается европейцев, то они, движимые своим активным характером, всегда стремятся к лучшему».[14]

Можно сказать, одна сторона развивалась под знаком солнца, другая — под знаком луны. Может быть, это звучит парадоксально, если вспомнить, что Япония — Страна Восходящего Солнца, ее мифологическая прародительница синтоистского пантеона Аматэрасу — богиня Солнца, а главное божество — Будда Дайнити — «Великое Солнце» — центр вселенной, постоянно излучающий свет. Но лунный, а не солнечный свет пронизывает классическую поэзию и прозу японцев, начиная от «Такэтори-моногатари» (IX в.) — повести о лунной деве Кагуяхимэ, о которой так проникновенно рассказал Кавабата в «Существовании и открытии красоты».

познаешь. Поэтому совершенномудрый не ходит, но познает [все]» («Даодэцзин», гл. 47 — «Древнекитайская философия». М., «Мысль», 1972, т. 1, стр. 129). Господствующее мировоззрение, естественно, не могло не сказаться на характере научного знания и художественного мышления. Буддизм объявлял «шесть чувств» «шестью преградамн» на пути. «Но и слова, рожденные устами, и сердцем завладевшая любовь — все дальше по дороге заблуждений ведут нас, мы блуждаем в этом мире шести преград... Шесть чувств у человека, шесть грехов он совершает. Зрение и слух — вот главная причина заблуждений» (пьеса театра Но «Эгути» Канъами (1333—1384). Перевод Т. Л. Делюсиной).

[9] Сравните с Платоном: «И вообще ни одна из противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо удаляется, либо гибнет». (Антология, т. 1, стр. 390).

[10] Интерес к традиционным учениям Востока будет возрастать, потому что истоки того, к чему приходит современная наука, в частности физика, начиная от гипотезы образования вселенной, так сказать, от «нуля», из «пустоты», путем естественного процесса сгущения, уплотнения и расширения мельчайших частиц, можно найти и в древнекитайских учениях о ци — мельчайших частицах, носителях энергии разной силы напряжения, и в буддийских учениях о шуньяте — пустоте. Знание восточных учений, несомненно, поможет решить те вопросы, над которыми бьется наука.

[11] См. Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 1970, p. 1021.

[12] И об этом свидетельствует большой интерес к «принципу дополнительности» в нашей философской литературе. См., например, статью В. Л. Алтухова «Принцип дополнительности и антиномии познания», «Вопросы философии» № 2, 1975.

[13] Естественно, всякая тенденция имеет свою оборотную сторону, выражает себя по-разному в разной социальной среде. У художников-«беспредметников», например, она звучит по-своему: «Борьба тонов, утраченное равновесие, рушащиеся «принципы», внезапный барабанный бой, великие вопросы, видимо, бесцельные стремления, видимо, беспорядочный натиск и тоска, разбитые основы и цели, соединяющие воедино *противоположности и противоречия, — такова наша гармония*» (В. Кандинский. О духовном в искусстве. Нью-Йорк, 1967, стр. 114).

[14] Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени. «Восточное обозрение» № 1, 1939, стр. 124—125.

Т. ГРИГОРЬЕВА
И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Луна, а не солнце лежит в основе отсчета времени. Правда, относительно: свет и тень не противопоставляются. Согласно модели инь-ян — одно в другом, одно дополняет другое. Естественно, что в традиционной японской живописи не появился прием светотени и не сложилась эстетика света.

Мы отдаем предпочтение солнцу и движению чисто психологически, так же как древние китайцы отдавали предпочтение тьме и покою. «Покой есть главное в движении»,— говорил Лао-цзы. Но покой, который таит в себе движение,— пустота, которая таит в себе полноту. Эти универсальные категории определили своеобразие японского искусства. Наполнены смыслом пустое, незарисованное пространство в живописи, недомолвка, недосказанность в классической японской поэзии, паузы, застывшие позы в театре Но и Кабуки.[15] Японские исследователи часто об этом пишут: «Сердцевиной японского исполнительского искусства являются так называемые ма (паузы)... Это можно было бы даже назвать проявлением сущности национальной специфики... Другими словами, эта пауза выражает физиологическое осознание красоты в японском искусстве».[16] Покой на одном уровне вызывает движение на другом, провоцирует работу чувства. Древние не признавали чего-то абсолютно одного, хотя и могли отдавать предпочтение чему-то одному. Солнце и луна противоположны, но находятся в одной системе и потому взаимосвязаны, взаимозависимы. Противоположные акценты уравновешивают.

Не к тому нужно стремиться, чтобы между Востоком и Западом исчезла разница[17] в духовном плане (тогда они не смогут дополнять друг друга, перестанут быть взаимозаинтересованными), а к тому, чтобы стороны находились в позиции взаимного притяжения, взаимообогащения, а не взаимного исключения, отталкивания друг от друга. Не разница должна исчезнуть, а неравенство, чувство превосходства одних над другими, обусловленное непониманием, незнанием.

Что носится в воздухе, станет реальностью, но от степени осознания зависит— ускорить или замедлить этот процесс. В мире искусства взаимопроникновение восточных и западных культур началось давно. В прошлом веке в живописи (импрессионисты), в театре, поэзии, в нынешнем — больше в прозе и музыке.

Европейцы не сразу постигли тайну японского искусства: почему, несмотря на условность, отсутствие правдоподобия, оно вызывает острое ощущение правдивости? И только когда художники осознали, что в любом виде искусства, будь то театр Но или традиционная форма короткого стиха, главное — достоверно передать не внешний вид, а внутреннюю, затаенную в каждой вещи красоту, которая и есть «истина», передать естественный ритм вещей, меняющийся в потоке времени от осени к весне, от рассвета к закату, они смогли творчески воспринять художественный кодекс японцев. Но уже одно то обстоятельство, что японское искусство было воспринято как откровение, говорит о его принципиальном отличии от европейского. Японцы предложили свою систему измерений, свой модус времени и пространства, которые позволяли взглянуть на мир под новым углом зрения. По закону исторических парадоксов, неожиданных, казалось бы, совмещений прошлого с настоящим, древнее искусство Японии оказалось своевременным, синхронным умонастроению людей XX века. И если слова У. Йитса (1865—1939): театр условностей Но «ближе нам, чем Шекспир или Корнель», объясняются большой увлеченностью в те годы всем японским[18], то и в наше время знаток Японии американский ученый Д. Кин говорит: «Психологически американцам XX века ближе «Гэндзи»[19], чем европейская литература XIX века... Герои «Гэндзи» — живые люди, и отсюда его вечная молодость и неизменный успех. Время и образ жизни, конечно, другие, но они понятны американцам. Не случайно несколько колледжей в Нью-Йорке включили «Гэндзи-моногатари» в курс литературы XX века». Наконец, сам Кавабата упоминает об этом в Нобелевской речи: «Гэндзи-моногатари» — вершина японской прозы всех времен. До сих пор нет ничего ему равного. Теперь уже и за границей многие называют мировым чудом то, что уже в X веке появилось столь замечательное и столь современное по духу произведение... Все виды японского искусства, начиная от прикладного и кончая искусством планировки садов, находили в «Гэндзи» источник красоты».[20]

В чем же причина живучести, жизнеустойчивости японского искусства, будь то короткие стихи — танка, структура которых сложилась задолго до VIII века, или символический театр Но, оформившийся к XV веку и почти в неизменном виде дошедший до наших дней? Может быть, в том самом модусе пространства и времени, который поразил европейцев, в некоей вневременности или надвременности японского искусства, которое всегда было ориентировано на природу, а природе свойственна цикличность.

Естественно, движение во времени было,

[15] Профессор Кобаяси Итиро связывает это с особым, отличным от европейского пониманием «небытия» и человеческой жизни на Востоке («Тоё» № 7, 1973, стр. 19—20).

[16] М Гундзи Японский театр Кабуки. М., «Прогресс» 1969, стр. 24.

[17] Такой взгляд на Восток и Запад не только не исключает типологические сопоставления а напротив, делает их более плодотворными и глубокими: разные культуры соединяются между собой в мировую не по принципу совпадения, наложения одного на другое а именно по принципу дополнительности предполагающей сосуществование в едином разнокачественных связей.

[18] Увлечение японским театром пережили и Всеволод Мейерхольд и Сергей Эйзенштейн, оба использовали в своих работах принципы сценического искусства японцев.

[19] «Гэндзи-моногатари» — знаменитое прозо поэтическое произведение писательницы Мурасаки Сикибу (978—1014).

[20] Кавабата Ясунари. Би-но сондзай то хаккэн Токио, 1969, стр. 67.

исторические закономерности приводили к смене одного другим. Каждая эпоха в Японии имеет свое лицо, свои неповторимые черты, свой стиль. Но моноцентрическая модель мира, представление о движении как волнообразном развертывании и свертывании вселенной, представление о целостном характере каждой малости привело к тому, что образцы японской поэзии, живописи, драмы воспринимаются как некое органическое развитие одного художественного образа. Искусство, по законам японской поэтики, не делается, не составляется из разных кусков, а вырастает, как цветок. Между средой, временем года, пространством, человеком существует тесная взаимосвязь — все соединяется сложнейшей системой кровеносных сосудов, и никакой из них не может быть прерван без того, чтобы не пострадал весь организм. В этом ощущении единого дыхания: «одно во всем и все в одном» — притягательность японского искусства. Если мы поймем, как люди думают, поймем, как они создают свое искусство, как организуют быт, оберегают здоровье.[21]

Итак, может быть, японцы научат нас глубже проникать в единичное, помогут нам избавиться от предубеждения против темного начала, покоя (пауза необходима для размышлений), а мы укрепим их веру в человека, как такового, прибавим к их восприятию мира немного светлой палитры? Важен прецедент: ощущение всеобщей связанности вещей, уравнения всего со всем (света—тьмы). Превозносить одно, умаляя другое, значит наносить ущерб тому и другому (если солнце на Западе зайдет не вовремя, не вовремя и взойдет на Востоке).

Более восьмидесяти лет назад японский поэт Китамура Тококу (1868—1894) говорил: «Поток стремится с Востока на Запад и с Запада на Восток. Страны света являют собой лишь стороны единого мира идей... Все высшие проявления человеческой мысли сообщаются между собой». В идеале, в перспективе. Действительно, для циркуляции идей необходимо взаимодействие двух сторон. Но в жизни на пути встречных потоков стоит немало еще препятствий. Раньше это были предрассудки, порожденные неведением, которые заставили Окакура Какудзо (1862—1913), автора замечательной по своему настрою «Книги о чае», появившейся в 1906 году, но не утратившей актуальности и в наши дни, сокрушаться по поводу тех небылиц, которые плетутся вокруг японцев. «Японцы избавляются от предубеждений против европейцев, по крайней мере искренне стремятся к этому, христианские же миссионеры,— сетовал Окакура,— поучают, но не учатся сами.[22] Много зла родилось из-за этого взаимного непонимания... Мы развивались разными путями,— продолжает Окакура,— но нет причин не дополнять нам друг друга».

С тех пор прошло почти семьдесят лет. Положение вещей изменилось. Японцы чтят и глубоко понимают Чехова. Достоевского, русские отдают дань японским микростихам, зачитываются повестями Кавабата, размышляют над романами Абэ Кобо, хотят понять, и не безуспешно, «что за люди японцы». Взаимопонимание становится реальным. И дело не только в том, что один народ лучше узнал другой, но и в том, что за последние десятилетия произошли сдвиги в сознании, появилась почва для широкого взаимопроникновения культур.

Однако более высокий уровень общения предполагает и более глубокое проникновение в духовный мир народов. Теперь уже ученые говорят не о суевериях и предрассудках, а о существовании клише мышления, которые мешают понимать друг друга. Вот что пишет по этому поводу американский ученый Алан У. Уоттс в своем интересном исследовании «Путь дзэн»: «Сложность и загадочность, с которыми сталкиваются исследователи дзэн на Западе, объясняются главным образом непониманием метода мышления китайцев, метода, который в корне отличен от нашего, но который именно поэтому и представляет для нас особую ценность, заставляя критически взглянуть на собственные идеи...

Задача в том, чтобы ощутить разницу в самом способе понимания вещей, чему мы меньше всего придаем значение. В результате наше толкование китайской философии оказывается не чем иным, как проекцией европейских идей, облаченных в китайские термины... Препятствием служит не столько незнакомый язык, сколько клише мышления, которые до сих пор отождествляются с научным, академическим способом рассмотрения вещей. Непригодность этих клише для таких явлений, как даосизм и дзэн, приводит к тому, что «восточный ум» воспринимается как нечто таинственное, иррациональное, непостижимое».[23] (Впрочем, то же можно сказать и о противоположной стороне.)

Клише дают себя знать в любой области. Даже тот, кто ратует за понимание Востока и Запада — например, французский писатель Жорж Фрадье: «Представители Запада, решившие серьезно ознако-

[21] Метод китайской медицины, если попытаться охарактеризовать его одной фразой, должен соответствовать общему мировоззренческому принципу — воздействовать, не нарушая природу целого, то есть лечить не заболевание, а организм, восстанавливать ритмически правильную циркуляцию вездесущих частиц ци (которые, как и всё, делятся на темные, тяжелые — инь-ци и светлые, легкие — ян-ци). Если восстановлена работа целого, пройдет и болезнь.

[22] Это же отмечал В. М. Алексеев: «Изучая Восток, европеец делает это, не учась у него. И в этом, по-моему, и лежит основа нашего многовекового непонимания и незнания Китая... Мы думаем, что нам нечему учиться, а на самом деле — не умеем» (В. М. Алексеев. В старом Китае, стр. 281).

[23] Alan W. Watts. The Way of Zen. New York, 1968, p. 23—24.

Т. ГРИГОРЬЕВА
И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

миться с музыкой Индии, острова Бали или Ближнего Востока, вместо того чтобы упорствовать в своем предубеждении против «монотонного пения» и «четвертей тона», почувствуют, что вступают в совершенно новый мир музыки»,— может оговориться: «и хотя это, конечно, не музыка Моцарта, тем не менее она обладает своеобразной красотой, оценить которую при желании так же легко, как и красоту современной музыки Запада».[24] «Не музыка Моцарта»? Если я скажу, что китайская музыка мне нравится больше, чем русская, я скажу неправду, но я отдаю себе отчет в том, что русская музыка мне нравится больше, чем китайская, потому, что так веками воспитывался наш слух. Только научившись чувствовать восточную музыку, как собственную, мы вправе сравнивать.

Сделать знания одних достоянием других не так просто именно потому, что развивались народы разными путями. Кавабата счел возможным подчеркнуть это в Нобелевской речи: «По-видимому, различна наша духовная сущность», имея в виду способ восприятия вещей европейцами и японцами. Разумеется, эту разницу нельзя абсолютизировать: антично-христианской культуре знаком метод иррационального, интуитивного постижения истины, японской науке — метод логических постулатов. Но несомненно, что у одних преобладал и совершенствовался один тип знания, в основе которого лежал метод целостного подхода, у других — другой, но это и позволяет им дополнять друг друга и на уровне мировой культуры составлять целое. Многообразие мира предполагает многообразие форм его отражения.

Вот почему я и затеяла этот разговор. Не для того, чтобы показать уязвимость «американского образа мышления», как предполагает профессор Кобаяси Итиро, и не для того, чтобы упрекнуть американского переводчика Нобелевской речи Кавабата [25] (и в моих, и не в моих переводах есть неточности). Мне просто хотелось понять, почему это происходит. Чтобы преодолеть клише, нужно отдавать себе отчет в их существовании, иначе при переводе будет пропадать нечто самое существенное, что отличает одну культуру от другой.

Когда долгое время изучаешь культуру народа, то появляется, видимо, чувство целого, которое позволяет угадывать какие-то вещи почти безошибочно. И тем не менее избежать воздействия клише нелегко. В Нобелевской речи Кавабата вспоминает слова Ясиро Юкио: «Сущность японского искусства можно передать одной поэтической фразой — «Когда смотришь на снег, луну или цветы, не можешь не грустить о друге». Когда любуешься красотой снега или красотой луны, когда бываешь потрясен красотой четырех времен года, когда испытываешь благодать от встречи с прекрасным, особенно тоскуешь о близком друге: хочется разделить с ним радость».

И американский переводчик, и я первоначально невольно перевели слово «друг» словом «друзья» — «никогда так не думаешь о друзьях». На свой лад. Или еще пример совсем уже досадной оплошности: очень тонкая вещь Кавабата «Тысяча журавлей» на русском оказалась «Тысячекрылым журавлем». Дело не в том, что образ несуразен сам по себе, дело в том, что он совершенно неприемлем для образа мышления японцев, суть которого можно передать словами Кавабата: «Один цветок лучше, чем сто, передает цветочность цветка». Журавли, должно быть, даже не тянутся вереницей, а свободно парят по шелку. Каждый журавль сам по себе, но вместе они создают особый настрой свободного полета, свободного созвучия, подобно морю из того же романа: «На воде вспыхивали ослепительные искры, похожие на звезды. Вспыхивали в одном месте и угасали, чтобы тотчас зажечься где-нибудь рядом. Каждая волна блестела и сияла сама по себе, независимо от других, но тысячи блесток сливались в сплошное сияние. Оно-то, должно быть, и создавало серебристое зеркало, простиравшееся до самого горизонта, очень гладкое и в то же время подернутое звездной рябью».[26] Это же настроение сообщилось его эссе «Существование и открытие красоты»: «...наверно, сияние многих звезд красивее одной, но для меня истиннее та красота, которую я пережил, вначале увидев одну звезду... В литературе и в жизни не так ли?»

В этом особенность художественного мышления: «каждая волна блестит и сияет сама по себе», точнее — «сама по себе» и «не сама по себе», то есть каждая волна отражает море, а это и создает впечатление свободного, подвижного целого. Такой тип структуры обусловлен традиционным представлением о целостности каждой вещи, сколь бы ни была она мала, и об общей связанности вещей на высшем уровне. У каждой вещи свой центр, свое «кокоро», и потому она суверенна, и потому связана с другими еле заметным, непринужденным типом связи, не теряясь в массе себе подобных. Все имеет свою индивидуальную природу, свое назначение, и это делает каждую вещь, с одной стороны, уникальной, незаменимой, с другой — родственной всему миру.

Художественный вкус складывается веками. В традиционной живописи японцев отсутствовал не только прием светотени, но и линейной перспективы. Взор художника направлен не вдаль, а в глубь предмета, художник стремится не охватить пространство, а сосредоточиться на чем-то одном,

---

[24] Жорж Фрадье. Восток — Запад, возможности лучшего взаимопонимания. «Курьер ЮНЕСКО» № 12, 1958, стр. 14.

[25] Европейский читатель обязан Е. Г. Зейденстикеру знакомством с лучшими произведениями Кавабата, а предисловие переводчика к английскому изданию «Снежной страны» свидетельствует о глубоком понимании особенностей художественного мышления японцев ("Snow Country" by Yasunari Kawabata. Translated with an introduction by Edward G. Seidenstiker. N. Y., 1957).

[26] Ясунари Кавабата. Избранное. М., «Прогресс», 1971, стр. 126.

пока не раскроется его внутренняя суть. Эта же особенность мироощущения, стяжение в одно, в центр круга, единственно неподвижную точку, характерна и для японской поэзии. Тот, кто знает Басё,[27] не мог не почувствовать: все, казалось бы, просто, но за простотой ощущается непостижимая глубина.

Образы Басё — та же повседневность, только взятая в такой степени концентрации, из повседневности выхвачена такая интенсивная деталь, что переносит вас в иное измерение, измерение вечности. Благодаря стяжению в одну точку время и пространство как бы исчезают, и поэт заглядывает в бездну. В умении схватить миг, в который время соприкасается с вечностью, тайная сила Басё. Можно сказать, его стихи есть предельное выражение присущей художественному мышлению японцев сосредоточенности на одном, благодаря которой единичное воспринимается не как очередной предмет в веренице событий, а как само по себе неповторимое целое. И мы начинаем подчинять свое сознание не поискам внешних связей одного с другим во времени и пространстве, объективизируя предмет, глядя на него со стороны, а погружаемся в сам предмет до тех пор, пока не откроется его природа, не откроется именно через переживание предмета. И вот начинаешь понимать, что Кавабата конечно же имел в виду одного друга, единственного, незаменимого. Тема близкого друга прошла сквозь всю китайскую и японскую литературу и дошла до наших дней. Знаменитый «Луньюй» Конфуция — записи его бесед с учениками — начинается словами: «Вернулся друг издалека. Это ли не радость!» Отношение к другу — отношение искренности, прямоты, чистосердечия, верности — есть частное проявление отношения к миру вообще, к природе, неотделимой от человека. Красота возвышает душу, и через единичное — отношение к близкому другу — выявляется отношение к людям вообще. Потому Кавабата и говорит: «Созерцание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви к людям, и тогда слово «друг» звучит как слово «человек».

Итак, писатель, близкий традиционному мироощущению, имел в виду не «друзей», а единственного «друга». Ну, а почему все же единственное число в наших переводах имеет тенденцию превращаться во множественное? Не случайное же это совпадение. Может быть, сознание за последние века привыкло акцентировать внимание на множественном, не выделять единичное? Может быть, время не давало сосредоточиться на одном, вещи не воспринимались сами по себе, в своей индивидуальной неповторимости, а воспринимались с точки зрения своей полезности, пригодности, как части общей системы? Знакомство с непривычным помогает взглянуть на себя со стороны (именно благодаря тому, что одна сторона выявила в себе то, что не выявила другая).

Окакура — носитель японской традиции, может быть, поэтому ему было легче подметить в психологии европейцев то, что самим европейцам могло не бросаться в глаза: «Девятнадцатый век с его идеей эволюции приучил нас думать о человечестве, но не думать о человеке. Коллекционер весьма усердно собирает образцы, чтобы осветить период или школу, забывая о том, что одно прекрасное произведение искусства может научить нас больше, чем многочисленные примеры посредственной работы целого периода или школы».[28] Мы слишком много классифицируем, продолжает Окакура, и слишком мало непосредственно переживаем. У прошлого есть основания смотреть с сочувствием на нашу цивилизацию. И будущее, возможно, будет смеяться над ничтожностью нашего искусства. Разрушая прекрасное в жизни, мы разрушаем искусство.

Конечно же, Окакура имел в виду не великих писателей-гуманистов, которые сами стояли в оппозиции к этим школам и школкам. Он хотел предупредить какие-то обнажившие себя в начале века тенденции, которые пагубным образом действуют на человека. Люди заняты усовершенствованием вещей вместо усовершенствования своего сердца. «Мы хвалимся, что победили материю, и забываем, что это материя поработила нас».[29] В наши дни почти в каждом романе, в каждой серьезной социологической статье и европейских, и японских ученых слышится эта тревога, как предотвратить процесс овеществления, отчуждения человека, утраты им своей природы, способности к сопереживанию?

Недостаточно сделать содержанием сознания новые, гуманные идеи, необходимо изменить форму мышления (эта форма чрезвычайно устойчива, она уподобляет себе содержание). В течение последних двух веков на умы воздействовали идеи эволюционизма, детерминизма, непрерывности движения, его односторонней направленности («вперед, вовне», в отличие от традиционного для китайцев и японцев представления о двуединой природе, двустороннем характере движения: «вперед — назад»). Это в конечном счете мешало сосредоточиться на единичном, стянуть явление в единую сущность изнутри, дать выявиться его индивидуальной природе. Без прерывности (диалектика признает: материя одновременно и прерывна и непрерывна) отдельное не может иметь самостоятельной формы, своего центра, без центра же нет целостности.

Во второй половине XIX века начинается кризис механистического мировоззрения, однолинейного детерминизма, что определило характер второй научной революции. Аналитический метод, как односторонний,

[27] Басё. Лирика. М., «Художественная литература», 1964.

[28] Окакура Какудзо. Тя-но хон. Токио, Иванами сётэн, 1973 (51-е изд.), стр. 68.

[29] Там же, стр. 71.

Т. ГРИГОРЬЕВА

И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

перестал удовлетворять ученых. К началу XX века физика своими открытиями (теории относительности, законов вероятности, структурности явлений, дискретности мира в области малых масштабов и т. д.) перевернула представление о мире и о законах развития, что привело к колоссальному сдвигу в сознании, к переосмыслению природы целого. Целое не исключает, а предполагает индивидуальную расчлененность вещей внутри себя. Между вещами устанавливается более гибкий, более подвижный тип связи. Индивидуум получает возможность раскрывать свою природу в пределах целого.

Но то, что доступно науке и искусству, не стало еще фактом обыденного сознания. Отличительная особенность, по выражению Ф. Энгельса, «метафизического способа мышления» — неспособность осознавать двуединство вещей (одна сторона вытягивается до тех пор, пока не превратится в свою противоположность), неспособность воспринимать целое как диалектическое единство разного, где «каждый момент сам по себе, независимо от целого является целым» (Гегель). Не отсюда ли «линейное» понимание мировой культуры некоторыми нашими востоковедами? Но мировая общность невозможна там, где нет осознания индивидуальной неповторимости наций, так же как гуманистическое общество невозможно там, где нет осознания индивидуальной неповторимости человека. *«Тайна национальности* каждого народа заключается... в его... манере понимать вещи»,— говорил В. Г. Белинский. «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [30],— говорил А. С. Пушкин.

В наше время дает себя знать стремление к «антилинейности», к сосредоточенности на отдельном, или самососредоточенности[31]. Эта тенденция проявляется в разных сферах: в музыке, живописи, литературе, отражая произошедшую в психологии людей перемену. Но, как и всякая набирающая силу тенденция, и эта оборачивается своей второй стороной. Стремление к самоопределению приводит к обратным результатам, если нарушается закон «середины»: один тип связи (внутренний, интравертный — разъединяющий во имя целостности отдельного) не дополняется другим типом связи (внешним, экстравертным — объединяющим во имя целостности общего), а замещается по принципу «или то или это». Нарушение диалектики отношений приводит к разрыву всеобщих связей: человека с человеком, народа с народом, настоящего с прошлым и т. д. Там, где побеждает односторонность («я сам по себе и сам для себя»), там развиваются крайние формы индивидуализма и национализма, а там, где развиваются крайние формы индивидуализма и национализма, там начинается всеобщий распад, процесс саморазрушения, ибо всякая односторонность неизбежно саморазрушается. Но если этим чревата действительность наших дней, если этот процесс, поощряемый реакцией, угрожает миру, как можно не замечать его, не пытаться понять его природу?

Однако интересно ли все это моим японским коллегам? Думаю, что да. На психику людей воздействуют не только традиции, но и то, что приносит с собою новый век. Традиции неизбежно окрашены в цвет времени, так что самый что ни на есть традиционный писатель неизбежно говорит языком современника. Традиции неоднородны — есть в них то, что помогает и что мешает человеку обрести себя.

С начала XX века Япония переживает, может быть в более острой форме, то, что уже успела пережить Европа: процесс разрушения связей, который может привести к утрате человеком и нацией своей неповторимости. Это волновало Окакура, это волновало и Кавабата. В Нобелевской речи и в лекциях о «Существовании и открытии красоты» писатель дал почувствовать миру то, что делает японскую культуру именно японской, что веками созидалось мыслью и чувством народа. Не случайно во время лекций Кавабата дважды вспоминает слова Тагора (хотя эти слова уже прозвучали в очерках Н. Федоренко [32], мысль эта настолько плодотворна, настолько важна для правильного понимания проблемы, что я позволю себе привлечь к ней внимание читателя еще раз): «Долг каждой нации — выявить перед миром свою национальную сущность. Если же нация ничего не дала миру, то это должно рассматриваться как национальное преступление, вернее, это хуже, чем смерть, и никогда не прощается человеческой историей. Нация обязана сделать всеобщим достоянием то лучшее, что есть у нее».

Какова же мера вины тех, в исследованиях или в переводах которых пропадает эта «национальная сущность»?

Кавабата прекрасно понимал, что уничтожение традиции равносильно уничтожению культуры, а уничтожение культуры равносильно уничтожению человека. В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» в октябре 1969 года писатель поделился своей тревогой: «...опасность японской культуре, традициям существует. В век ядерной физики и покорения космоса все, даже люди, нивелируется, стандартизируется. Колоссально влияние телевидения. В

---

[30] А. С. Пушкин. О народности в литературе. Собр. соч., т. VII. М., 1958, стр. 39—40.

[31] Конечно, в каждом обществе это протекает по-своему. А. Вознесенский вынес наблюдение из знакомства с американской молодежью: «Речь идет о «Третьем сознании» («Первое сознание» — первооткрыватели Америки, супермены, индивидуалисты. Его сменило «Второе сознание» — винтики технократической машины). «Третье» — новая волна, молодежь с антилинейным мышлением. Самое преступное для нее — убить в себе себя» (А. Вознесенский. Взгляд. М., «Советский писатель», 1972, стр. 85).

[32] Н. Федоренко. Кавабата: взгляд в прекрасное. «Иностранная литература» № 7, 1974, стр. 205.

Японии сильно еще и бездумное подражательство Западу, прежде всего США, некритическое освоение западной культуры. И все же я верю, что суть души японца выстоит».

Проблема денационализации волнует людей. По словам философа Ниситани Кэйдзи, в японском обществе «в результате утраты традиций образовался вакуум, подобного которому не знала история Японии» [33]. Насколько актуальна эта тема, можно судить по романам известных у нас писателей Абэ Кобо, Оэ Кэндзабуро. Тема «uprooted» — «вырванного с корнем», тема разрушения личности, утраты человеком самого себя, своей сущности, верности себе (identity, как пишет Оэ в «Футболе 1860 года») стала темой № 1. Почти физическое ощущение раздвоенности приводит одного из героев Оэ к полному опустошению, другого — к смерти [34]. Значит, поиск целостности актуален не только для европейцев, но и для японцев, в какой-то мере утративших свое прошлое.

Сосредоточенность на одном позволяет уйти вглубь, на глубине обнаруживается связь всего со всем, которая невидима на поверхности. Но иначе не поймешь и один заголовок одной речи одного писателя: «Я потому и существую, что существует прекрасная Япония». (Кстати, я не читала интервью обозревателя Сираи-сан, задавшего Кавабата вопрос о частице «но», и мне очень приятно было узнать от профессора Кобаяси Итиро, что ответ Кавабата совпадает с моим предположением.[35])

Японские коллеги в своих отзывах не случайно заострили внимание на частице «но». Сосредоточившись на одном знаке, можно проникнуть в структуру мышления. Графическое изображение «но» напоминает зародыш или виток спирали, незамкнутый круг — символ бесконечности, а может быть воспринято как знак сосредоточенности на внутреннем, на собственном центре. Выступая посредником между словами, «но» означает взаимообусловленность, взаимосвязанность вещей: «одно во всем, и все в одном». Виток спирали олицетворяет нелинейное движение, вдоль оси по вертикали. Это очень существенно. Движение по горизонтали, пусть не по прямой, а по зигзагу, с подъемами и спадами, самим своим характером предполагает, что что-то остается безвозвратно позади, «пройденным этапом». Люди делают усилие, чтобы воспроизвести в памяти полузабытое. Движение по вертикали, когда нечто новое находит на ту же ось, на ту же основу, предполагает иное отношение к прошлому, которое всегда остается фундаментом будущего, само исчезновение которого означало бы крах всей системы. Традиционным китайским учениям чужда идея сотворения мира. Мир развивается из самого себя, «произрастает»; перечеркнуть прошлое — все равно что вырвать корень. Один слой действительности наслаивается на другой или один виток дерева жизни находит на другой, ничто не исчезает, а как бы уплотняется. Помимо горизонтального деления, правая — левая сторона, обнаруживаем вертикальное — новый градус высоты. (Это не значит, что правого и левого не существует, это значит, что правое и левое — не единственная система измерений.) Не принимая во внимание разные параметры, разные уровни действительности, невозможно даже приблизительно верно представить картину мира.

Почему Кавабата, сопоставляя стихотворения Догэна (1200—1253):

Цветы — весной,
Кукушка — летом,
Осенью — луна,
Чистый и холодный снег —
Зимой.

и Рёкана (1758—1831):

Что останется
После меня?
Цветы — весной,
Кукушка — в горах.
Осенью — листья клена —

подводит к мысли: «Обычные вещи, обыкновенные слова незамысловато, даже подчеркнуто просто поставлены рядом, но, воздвигнутые друг над другом («касанэру»), они передают сокровенную суть Японии»? Почему именно данное слово передает «сокровенную суть Японии»? Глагол «касанэру», о котором интересно написал профессор Исида Дзёдзи, по его признанию, не всегда до конца понятен и японцам. Видимо, то, что имел в виду Кавабата, лежит в глубинах подсознания, но заставляет японцев делать вещи так, что в них обнаруживается общая внутренняя структура. Когда-то вид знаменитой Пятиярусной пагоды навел меня на мысль, что люди, ее создавшие, должны иначе смотреть на мир, чем мы. Один ярус находит на другой, напоминая о круговороте четырех времен года, словно в стихотворении Такахама Кёси (1874—1959):

Старый год,
Новый год —
Будто палкой их протыкают.—

о котором Кавабата вспоминает в «Существовании и открытии красоты». И совсем недавно мне пришла в голову простая мысль: «ярус» пишется тем же иероглифом «касанэру», то есть в архитектуре пагоды запечатлен тот самый принцип цикличности, круговращения по спирали, который является универсальным для японцев с древних времен, который можно обнаружить и в храмовой архитектуре, и в классических повестях, и в знаменитых поэтических антологиях, и в структуре отдель-

[33] Ниситани Кэйдзи. Нихиридзуму. Токио, 1970, стр. 224.
[34] Оэ Кэндзабуро. Футбол 1860 года, «Иностранная литература» № 1, 2, 1972.
[35] Кавабата ответил: «Это поистине загадочное слово. Как бы сказать, когда я рассказываю о Японии, у меня такое чувство, что все это во мне» («Тоё» № 7, 1973, стр. 8).

Т. ГРИГОРЬЕВА
И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

ного стихотворения, потому что таков принцип видения мира. Все воспринимается сквозь призму сменяющих друг друга четырех времен года. В пьесах Но и в классической поэзии отсутствует историческое время, но обусловлено время года. От времени года зависит колорит пьесы.

И все же действительно, «касанэру» — «прибавлять к вещи одного рода вещь того же рода»? А может быть, «того же и не того же»? Каждый год повторяются четыре сезона, но ни одна весна не похожа на другую. Та же весна — и не та же. Мне кажется, в системе мышления, в которой мир воспринимается как процесс становления, повторение того же невозможно в принципе. Греки мысленно допускали остановку движения, что способствовало развитию понятийного мышления, теоретической, дедуктивной науки. Для античных философов гармонический космос — это нечто устойчивое, «пластически слепленное целое, как бы некая большая фигура, или статуя, или даже точнейшим образом настроенный и издающий определенного рода звуки инструмент»[36]. Для Хуэй-нэна (638—713), известного патриарха чань (япон. дзэн) в Китае: «Истинный же путь должен течь свободно, как же можно препятствовать ему? Если же дух не пребывает свободно в этом свободно живущем потоке, то это и есть связанность»[37].

Стихи Догэна о четырех временах года, с нашей точки зрения, мало похожи на стихи. Но почему дожили до XX века? Японцы, видимо, не замечают, что они из века в век варьировались разными поэтами, или для них это не существенно. У японцев — свое отношение к слову. То же слово произнесенное в другой момент, в другой обстановке, уже не будет тем же, потому что мир есть «дао». И потому не имеет значения, что образ Догэна воплощался в поэзии тысячу раз А может быть, как раз это и имеет значение, что именно этими словами древние выражали чувства, и потому именно эти, сопричастные вечности слова должны повторяться, чтобы не нарушилась связь времен? И если необдуманно заменить слово, разрушить строй, расположение слов, то через эту пробоину не улетучится ли вобранное время? Не потеряют ли слова причастность к прошлому, не лишатся ли корня? Догэн не случайно назвал свое стихотворение «Изначальный образ».

В этом единообразии глубокий смысл. Слова одни и те же, но жизнь безостановочна, и, стало быть, одни и те же слова не могут быть в потоке бытия одними и теми же словами. Они только кажутся такими тем, кто привык сосредоточиваться на внешнем, на телесной оболочке. Но если мир — «путь» (дао), не может одно и то же слово прозвучать дважды, как не может дважды омыть ваши ноги одна и та же река, как не может дважды повториться одна и та же весна (иначе эти стихи не удовлетворяли бы столь взыскательному вкусу, не волновали бы сердца наших современников).

Традиционное представление о принципе всеобщего развития не могло не сказаться и на отношении к слову, и на законах расположения слов. У одних — самосущее слово движет миром, у других — мир (дао) движет словом. Одни и те же слова мелькают в потоке жизни, или, пользуясь выражением Кавабата, одни и те же слова, «воздвигнутые друг над другом», напоминают о «неизменном в изменчивом».

Частица «но» призывает взглянуть во внутреннее, сокровенное, в скрытую суть вещей, в то, что незримо присутствует. Внимание сосредоточено не на самом слове, а на том, что за ним. Кавабата не сказал, он только намекнул: «истина за словами», «истина вне слов». И наша поэзия знает глубину молчания: «Мысль изреченная есть ложь»—и ощущение всеединства: «Все во мне, и я во всем!» (Ф. И. Тютчев), но у нас это на уровне откровения, а у японцев — на уровне правила, закона.

Насколько труднодоступна нашему пониманию характерная для дзэн относительность, подтверждается еще одной неточностью в моем переводе Нобелевской речи Кавабата: не «громоподобная тишина», а «громовое молчание». Громовым молчанием ответил Вималакирти на вопрос «о природе недуальной реальности». Суть дзэн — в снятии дистанции между двумя крайними, несовместимыми, казалось бы, положениями, в данном случае «громом» и «молчанием» (в общем-то «тишиной»). Не обязательно слышать гром, чтобы его почувствовать (а разве мы не ощущаем предгрозовое молчание, хотя и не задумываемся над его природой?). Для дзэнского восприятия это естественно: почувствовать Полярную звезду в южном небе, увидеть солнце в полночь,— не ощущать границ пространства и времени.

Частица «но» у профессора Кобаяси Итиро ассоциируется с незримыми письменами. Все то же смещение уровней, снятие противоположностей. Если можно услышать непрогремевший гром, то можно и прочесть ненаписанные строки. Можно общаться в молчании, понимать друг друга без слов. Бывает, что молчанием больше скажешь, чем словом. Это знакомо и нам. В потенции способностью молчаливой беседы обладают все, но дзэн возвело ее в правило. «Незримые письмена» в практике дзэн означают — передавать учение не в записи и даже не из уст в уста, а непосредственно, «от сердца к сердцу». Истина невыразима в слове. Истина раскрывается в момент озарения — сатори: мгновенная вспышка сознания все озаряет. Но для того, чтобы испытать сатори, нужно предоставить ум самому себе, освободить от посторонних мыслей. Всякий знак, всякая заданность — преграда на пути. Мысль, согласно дзэн, должна течь свободно, повинуясь своим собственным законам. Внешние связи между предметами несу-

[36] А. Ф Лосев. История античной эстетики (ранняя классика). М., «Искусство», 1963, стр 50.

[37] Е В. Завадская Восток и Запад. М., «Наука», 1970, стр. 117.

щественны. Поэт сосредоточен на внутреннем, он углубляется в единичное до тех пор, пока не откроется его подлинная природа. Проникая в единичное, постигает всеобщее. Кавабата вспоминает слова мастера икэбана — Икэнобо Сэнъо (1532 — 1554): «Капля воды или крохотное деревце может вызвать в памяти огромные горы, полноводные реки. В одно мгновение можно пережить таинства бесчисленных превращений».[38] Можно не иметь перед глазами, но видеть, достаточно намека или настроения, которое создает чайная церемония или сады камней. Но если такова традиционная структура, если элементы не связаны между собой по закону линейной причинно-следственной связи, а связаны единством мирового ритма, то для их выявления непригоден метод дискурсивной логики. Здесь вступает в действие иная логика, к которой приспособлено натренированное в сосредоточении мышление японцев. Это метод коанов, вопросов-загадок (всего их записано около 1700), которые самой своей неожиданностью разрывают привычный логический ряд, выбивают ученика из заданного ритма. Известный знаток дзэн Дайсэцу Судзуки (1870—1966) приводит коан, возникший из разговора Басё с его наставником: «Когда Басё осваивал дзэн у мастера Буттё, тот однажды спросил у него: Чем вы занимались эти дни? Басё ответил: После дождя мох особенно зелен. Буттё: Что же раньше, Будда или зелень мха? Басё: Слышите, лягушка прыгнула в воду!

Говорят, с этого началась новая эпоха в хайку («трехстишиях»),— продолжает Судзуки.— До Басё они были игрой слов и не имели связи с жизнью. Басё, которого мастер спросил о подлинной правде вещей, существовавшей до мира феноменов, увидел лягушку, прыгнувшую в старый пруд, и этот звук пробил брешь в тишину. Поэту неожиданно открылся источник жизни, и он стал следить за каждым движением своей мысли, по мере того как она соприкасалась с миром постоянного становления. В результате появилось множество семнадцатисложных образов, которые он оставил нам»[39]. Это и значит «отпускать» свой ум, доверять ему. Сосредоточенность на вопросе учителя предполагает остановку, разрыв связи с текущими вещами, нарушение их естественного ритма. Чтобы ответить на вопрос учителя, ученик должен произвести какое-то насилие над своими мыслями, лишить их возможности свободного движения в соответствии со своей природой. И потому Басё отвечает не на вопрос и не то, что просто пришло ему в голову, а то, над чем действительно сосредоточена или куда движется его мысль. И это позволяет наставнику понять состояние ученика и проникнуться его настроением в большей степени, чем прямой, логически обоснованный ответ.

[38] Кавабата Ясунари. Уцукусий Нихон-но ватакуси. Токио Коданся. 1968. стр. 25.

[39] Zen Buddhism, Selected writings of D. T. Suzuki, ed. by W. Barret, New York, 1956, p. 286.

А. У. Уоттс прав. Никакой мистики, не полное отсутствие связи, а иной тип связи.

Вера в «незримые письмена» вытекает из особого представления о небытии как источнике, универсальной потенции бытия, откуда все появляется и куда возвращается вновь. В противоположность западному пониманию, небытие воспринимается не как конец, исчезновение, а как начало, возникновение, как источник бытия. Подобное отношение к небытию можно встретить и на Западе, но речь идет не об откровениях отдельных мыслителей, а о преобладающем взгляде на вещи. Галилей в конце XVI века открыл закон единства покоя и движения, но пришел тем самым в противоречие с господствующими со времен Аристотеля взглядами. У китайцев единство покоя и движения (инь-ян) не вызывало сомнений уже со времен «Ицзина». Шекспир мог высказать вполне даосскую мысль: «Поучение — в камнях, книги — в бегущих потоках и добро—во всем» («Как вам это понравится»). Но для этого нужно быть Шекспиром. «Человек, по-видимому, является органом чувств природы...— предположил Гёте.— Но лишь в самых высоких, самых великих людях природа сознает саму себя, и она ощущает и мыслит то, что есть и совершается во все времена». Конфуций ставил акцент на двуединстве вещей: «Только высшая мудрость и низшая глупость не меняются»,[40] (Одни — потому что все знают, другие — потому что и не могут узнать.) Совпадения во взглядах на мир и человека подтверждают принципиальное единство человеческой природы (в сущности, неважно, что одни и те же мысли высказывались в разные времена, важно, что они высказывались независимо друг от друга). Тот же Конфуций говорил: «По природе все близки, далеки по воспитанию»[41]. Потенциально человечество едино, и это важно иметь в виду, так же как важно иметь в виду, что разные типы социального устройства, по-разному ориентированное сознание не могли привести к одинаковым результатам

Если не совпадали основные мировоззренческие принципы, не могли совпадать и производные. Характер европейского искусства в значительной мере определен антропоцентризмом, японского — идеей «не-я», отсутствующего, как бы затушеванного «я». Отсюда пренебрежение личностным. Не потому не развивалась портретная живопись, что японцы не владели искусством портрета, а потому, что портретная живопись противоречила идеалу совершенного человека, как бы забывшего о себе. И когда японские художники все же писали портреты (взять хотя бы Фудзивара

[40] «Луньюй», XVII, 3.. цит. по: Ронго. Тюкоко котэнсэн, т. 3. Токио, 1965. стр. 255 (дальше «Луньюй» цитируется по этому изданию).

[41] «Луньюй», XVII. 2. т. 3 стр 254.

Т. ГРИГОРЬЕВА

И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Таканобу, XII век), то стремились передать не индивидуальную неповторимость лица, а какое-то неизменное свойство человеческой натуры. И все же, пусть все красавицы Утамаро на одно лицо, каждая очаровывает по-своему. Художник уловил неповторимость грации, красоту движения, поз. Гравюры Утамаро воплощают извечную женственность и потому почти уже 200 лет не пресыщают взора.

Кавабата говорил: в процессе сосредоточения исчезает «я», наступает «ничто». «Но это совсем не то «ничто», что понимают под ним на Западе,— напротив, это вселенная души, пустота, где все вещи приобретают самость, свою собственную природу, где нет преград, есть свободное общение всего со всем».

Подлинная природа всего едина, не знает разграничений. Чтобы достичь состояния «не-я», нужно разрушить преграды на пути. Кавабата приводит загадочные слова дзэнского поэта Иккю (1394—1481): «Легко войти в мир Будды, нелегко войти в мир дьявола». Эти слова не дают мне покоя... Их можно понимать по-разному. Наверно, их смысл безграничен. Но, когда вслед за словами «Легко войти в мир Будды» читаешь «Нелегко войти в мир дьявола», Иккю входит в мою душу своей дзэнской сущностью... Нелегко войти в мир дьявола. Слабым духом это не под силу».

Не в этих ли загадочных словах разгадка нравственного императива? Критерии складывались веками. «Нелегко войти в мир дьявола. Слабым духом это не под силу». Как понимать? Преодолеть искус добра, сострадания, искус жизни? Есть в этом призыве что-то надчеловеческое, какое-то непривычное для нас измерение. Сознательно или подсознательно, но западный мир следовал правилу: «человек есть мера всех вещей» (Протагор). Человек сам по себе — высшая ценность, точка отсчета. (Другое дело, что на практике, как свидетельствует история, антропоцентризм не означал осуществленной любви к человеку, но искусство в целом — и в этом трудно сомневаться — жило любовью, состраданием к человеку.)

Кавабата сопоставляет со словами Иккю слова Линь-цзи:[42] «Встретишь будду, убей будду!» Приведем их полностью: «О, ревнители истины! Если хотите узнать, что такое дзэн, не позволяйте другим обманывать себя. Если натолкнетесь на препятствие, внутреннее или внешнее, разбейте его без жалости. Встретишь будду, убей будду! Встретишь патриарха, убей патриарха... Убейте их всех без колебаний — это единственный путь быть свободным. Не позволяйте предметам завладевать собой, но подымайтесь выше их, проходите мимо и будьте свободны!» Вот вам предельное выражение стремления не иметь препятствий на пути. Атмосфера доброты, мягкосердечия, гармонии в чайной церемонии и нетерпимость, беспощадность к себе и к другим в бусидо («путь самурая») — и то и другое созрело на почве дзэн. Дзэн — вне добра и зла, в некотором смысле дерзкая попытка быть равным равнодушной природе. Если мир есть движение, дао, то нужно лишь вверить себя потоку.

Если Иккю дзэнский поэт, он не должен ощущать разницы между «миром Будды» и «миром дьявола» (еще более дерзкий парадокс, чем увидеть солнце в полночь!), но Иккю ощущает ее: «легко» — «нелегко». Между легким и трудным, по логике дзэн, нет разницы. Возможно, внутренняя противоречивость, присущая Иккю, сблизила его с Кавабата. (Возможно, профессор Кобаяси Итиро прав, и эти слова, которые любил повторять Кавабата, послужили «интерлюдией к тому, что последовало затем».) «У меня был друг, художник-авангардист,— вспоминает Кавабата,— он часто думал о самоубийстве, так и умер молодым. Он говорил: «Нет искусства выше смерти. Умереть и значит жить». Отношение к смерти этого человека, родившегося в буддийском храме и окончившего буддийскую школу, видимо, очень отличается от отношения к смерти европейцев. Среди тех, кто хотел понять суть вещей, кто не думал о самоубийстве? Из головы у меня не выходит дзэнский поэт Иккю, который дважды пытался покончить с собой...

Иккю — любимец детей... «дети забирались к нему на колени, чтобы погладить его бороду, лесные птицы брали корм из его рук», он был до предела прост; был добрым, приветливым человеком. И вместе с тем он был истый дзэнец... Его мучили сомнения в сущности религии и человеческой жизни: «Если бог есть, пусть спасет меня! Если бога нет, лучше мне быть на дне озера и пусть меня сгложут рыбы». Он действительно бросился в озеро, но его спасли»[43].

Я перевела «прост», но буквально «мусин»: «му» — отрицание, «син» то же, что «кокоро» — сердце, душа, значит, «без сердца», «без души», в противоположность нашему пониманию — человек, который преодолел в себе свое «я», эгоцентризм. Это всеми учениями признавалось высшим идеалом. Правда, в дзэн состояние «не-я» достигалось сугубо индивидуалистическим путем: «будь сам себе светильником», «на себя полагайся, на других не полагайся». Но и Конфуций, далекий от дзэн, на вопрос ученика, что такое «жэнь» (человечность)[44], ответил: «Преодолеть себя, вернуться к ли[45] и значит жэнь. Когда однажды человек преодолеет себя, восстановит ли, мир вернется к жэнь. Но выявить

---

[42] Линь-цзи (по японски — Риндзай умер в 867) — основатель одной из школ чань (дзэн) в Китае. В Японии школа Риндзай, и ныне одна из популярных, имеет около шести тысяч храмов.

[43] Кавабата Ясунари. Уцукусий Нихон-но ватакуси, стр. 18—19.

[44] «Жэнь» — одно из основных конфуцианских понятий, первое из «пяти постоянств», пяти врожденных свойств человеческой природы (остальные четыре: учтивость, чувство долга — справедливости, искренность, знание), которые сообразуются

жэнь можно только самому, не с помощью других» («Луньюй», XII, 1)[46].

По мнению Ф. И. Щербатского, в отрицании «я» Будда видел превосходство своего учения: «Там, где есть личность, есть и собственность, принадлежащая ей, где есть «я», есть и «мое»... Привязанность же к личной собственности есть корень всякого зла»[47]. Где нет привязанности к «я», нет и желания ставить себя над другими, властвовать.

И даос Чжуан-цзы говорил: «Предоставь каждого естественному [пути], не допуская ничего личного, и в Поднебесной воцарится порядок»[48]. Состояние «не-я» означает не уничтожение, а утверждение человеческого «я», но не путем его превознесения, а путем приобщения к миру. «Я» не исчезает абсолютно, а входит в ритм вещей, индивидуальное дыхание сообщается с дыханием вселенной, человек ощущает себя единым миру.

Здесь закономерно возникает вопрос, можно ли столь благожелательно писать о конфуцианских или буддийских принципах, которые принесли немало бед японскому народу. Не случайно в конце XIX века была резкая реакция на конфуцианство, или чжусианство, которое, по справедливому замечанию профессора Исида Дзёдзи, «в последние века было руководящим государственным принципом», регламентировало поведение людей, «вошло в кровь и плоть» современных японцев Я не касалась специально национальной психологии и ее корней, хотя это проблема чрезвычайной важности. Разговор идет об учениях в их первоначальном виде, а не об их интерпретации.

Существуют разные уровни традиции. Высокая традиция — своего рода идеал, который, несмотря на все испытания, хранит в себе человечество.[49] Уничтожить эту традицию значит уничтожить духовный потенциал, лишить человечество перспективы, надежды на самую возможность совершенства. Уничтожить эту традицию значит уничтожить прошлое и будущее, ускорить собственную гибель. Если бы не восстанавливалась истина, давно были бы стерты с лица земли все духовные ценности, а вместе с ними и сам человек. И потому опасно смещать уровни, выдавать псевдотрадицию — за подлинную, практическое воплощение — за суть учения, налагая на него ответственность за характер времени. Каково время, таковы и акценты, а каковы акценты, таково и воздействие учений на умы людей. История развивалась в вечном соперничестве подлинного и мнимого: псевдоистина как тень преследует истину, рядом с культурой идет псевдокультура, рядом с наукой идет псевдонаука, затуманивая сознание людей, заставляя псевдовещи принимать за истинные.

Естественно, у высокой традиции существует ее негативная, оборотная сторона — неистинная, псевдотрадиция, которая создается и поддерживается господствующими режимами. Казалось бы, токугавское правительство, стоявшее у власти в XVII — первой половине XIX в., провозгласившее чжусианство официальной идеологией, должно опираться на учение Чжу Си (1130—1200), на самом деле оно взяло из учения то что способствовало укреплению режима. «Тень» чжусианства помогла установить строжайшую субординацию, систему беспрекословного повиновения низших высшим как в семейных, так и в служебных отношениях. В массовой пропаганде неоконфуцианства были расставлены те акценты, которые способствовали стабилизации порядка, укреплению семьи, рода, государства, в ущерб самораскрытию личности. Японские критики часто пишут о том, что индивидуум был принесен в жертву группе, внутреннее — внешнему. Принцип стал над человеком. «Жэнь» превратилось в свою противоположность. Достаточно прочесть такие исторические романы современных писателей, как «Молчание» Эндо Сюсаку[50] или «Ее звали о-Эн» Томиэ Охара[51], чтобы представить степень несвободы личности От произвола деспота зависела судьба целого рода.

Может быть, потому так и развилось в Японии утонченное, умиротворяющее искусство, будь то чайные церемонии или сады камней, чтобы как-то уравновесить эту сторону жизни? Отсутствие свободы внешней надеялись восполнить свободой внутренней, но внутреннее и внешнее — неразрывно связаны, как «инь» и «ян»: без одного нет другого Об этом хорошо сказал японский ученый Макото Уэда: «Можно ли в самом деле найти абсолютное успокоение духа в чайной церемонии? Можно ли действительно обрести полный покой вне земной жизни, оставаясь по сю сторону смерти? Словом, можно ли относиться к жизни как к искусству? Печально, но факты

и взаимодействуют с «пятью элементами». «Жэнь» можно определить словами Конфуция: «не делать другому того, чего не желаешь себе» («Луньюй», XV, 23).

[45] Ли — второе из «пяти постоянств», переводится как вежливость, учтивость. Ли — значит вести себя сообразно месту и времени, в естественном для данной ситуации ритме, не нанося ни действием, ни словом оскорбления другому. Для Конфуция знать ли — значит следовать «середине». «Быть почтительным не в соответствии с ли — значит быть трусом. Быть храбрым не в соответствии с ли — значит чинить беспорядок. Быть прямым не в соответствии с ли — значит быть грубым» («Луньюй», VIII, 2, т. 2, стр. 236).

[46] Там же, т. 3, стр. 65.

[47] Ф. И. Щербатской. Философское учение буддизма. Пб, 1919, стр. 34.

[48] Чжуан-цзы, стр. 171.

[49] Высокие идеи отнюдь не означают, что жизнь протекала на высоком уровне. Скорее наоборот, они нередко возникают в самые тяжелые эпохи, чтобы восполнить духовную недостаточность общества, вывести его из тупикового состояния. Именно в такие времена появились и Конфуций и Сакья-муни.

[50] Эндо Сюсаку. Тиммоку. Токио, 1969.

[51] Томиэ Охара. Ее звали о-Эн, «Иностранная литература» № 12, 1970.

Т. ГРИГОРЬЕВА
И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

говорят об обратном. Рикю умер трагической смертью, получив от могущественного правителя Японии и своего бывшего почитателя указ покончить с собой. Содзи[52] умер еще более мучительной смертью: он был казнен после того, как ему отсекли уши и нос. Можно строить разные догадки по поводу причин столь тяжкого наказания, но ясно одно — их насильственная смерть явилась следствием глубокого непонимания человеческой жизни, политической, деловой, домашней. Чайные мастера не должны были пренебрегать жизнью во имя искусства, потому что искусство есть часть самой жизни»[53]. Если окинуть взором историю, почему-то нередко в немилость попадали художники, поэты, ученые. Знаменитый создатель театра Но Дзэами был в ссылке, Утамаро, чем-то не угодивший сёгуну, скончался после тюремного заключения. За проявленную непочтительность самурай высшего ранга мог снести голову с плеч на месте без суда и следствия, и это узаконено в «Завещании» Токугава Иэясу (1616) и с его точки зрения не противоречит «жэнь». Пример того, как принцип превращается в свою противоположность. В неоконфуцианстве, объявленном государственной идеологией, мало что осталось от «Великого Учения» — одной из книг конфуцианского канона,— которое начинается словами: «Путь Великого Учения ведет к выявлению высших душевных качеств, к обновлению народа к пребыванию в совершенном добре». Но усовершенствование человека зависит от усовершенствования всей системы отношений. «В древности, кто хотел выявить в людях высшие душевные качества, сначала (учился) управлять своей страной. Кто хотел управлять своей страной, сначала устанавливал порядок в своей семье. Кто хотел установить порядок в своей семье, сначала (учился) владеть самим собой. Кто хотел владеть самим собой, сначала делал правым свое сердце. Кто хотел сделать правым свое сердце, сначала делал искренними свои мысли. Кто хотел сделать искренними свои мысли, сначала совершенствовал свой ум. Совершенствование же ума зависит от познания вещей».[54]

Но вернемся к афоризму Иккю. Кавабата говорит: «В конечном счете и для людей искусства, ищущих истину, добро и красоту, желание, скрытое в словах «нелегко войти в мир дьявола», в страхе ли, в молитвах, в скрытой или явной форме, но присутствует неумолимо, как судьба. Без «мира дьявола» нет «мира Будды». С искусством, видимо, легче. В мире искусства действительно порой тайно, порой явно, но извечна тяга к самоиспытанию, к предельным ситуациям, когда исчезают грани. «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю ...» (А. С. Пушкин). Красота лермонтовского или врубелевского Демона затмевает зло. Акутагава обронил: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Вопрос соотношения искусства и человеческой жизни решается художниками по-разному. В романе Э. Гонкура «Актриса» — хладнокровно. Героиня, актриса, с профессиональным любопытством наблюдает за гримасой страдания на лице умирающего возлюбленного, невольно подражая ему. В «Муках ада» Акутагава — с душевной болью. Человек приносит себя в жертву искусству. Старый художник «Ёсихидэ как будто окаменел перед этим огненным столбом... Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка.

И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел... В эту минуту в Ёсихидэ было таинственное, почти нечеловеческое величие...»[55] Художник победил человека, но это стоило человеку жизни.

В «Снежной стране» Кавабата — спокойно, задумчиво: «Симамура почему-то не почувствовал смерти, а лишь совершение какого-то перехода, словно жизнь Йоко, выйдя из ее тела, вошла в его тело.

На балконе второго этажа, откуда упала Йоко, несколько балок накренилось и запылало прямо над ее лицом. Ее прекрасные глаза были закрыты. Подбородок высоко поднят. Линия шеи удлинилась. Отблеск огня, колеблясь, прошел по ее бледному лицу».[56] Кажется, что красота зрелища целиком поглотила человека и не оставила места для сострадания.

Тот же мотив — в повести «Тысяча журавлей»: «Холодный и в то же время полный внутреннего жара блеск сино[57] напоминал Кикудзи тело госпожи Оота. И не было в этом напоминании ни капельки дурного, ни капельки горечи, ни капельки стыда, ибо прекрасное выше всего этого».[58] Не случайно чистая Юкико спрашивает Кикудзи, не ставит ли он чашку выше человека... (А Ван Гог сказал: «Нет ничего более художественного, чем любить людей».) И все же понять это настроение нельзя, не отдавая себе отчета в том, что значила для японцев красота и как они относились к смерти, как связывали эти вещи между собой. Может быть, в этом несострадании и есть сострадание, только выражается оно в иной, непривычной для нас форме?

С точки зрения японской традиции красиво то, что недолговечно. Еще Кэнко-хоси (1283—1350) говорил: «Если бы жизнь наша продолжалась без конца, не улетучиваясь, подобно росе на равнине Адаси, и не уносясь, как дым над горой Торибэ, ни в чем не было б очарования.

---

[52] Рикю и Содзи — известные мастера чайного ритуала XVI века.

[53] Makoto Ueda. Literary and Art Theories in Japan. Cleveland, 1967, p. 99.

[54] Дайгаку Тюё. Тюкоку котэнсэн. Токио, 1967, т. 4, стр. 24.

[55] Акутагава Рюноскэ. Избранное. В 2-х томах. М., «Художественная литература», 1971, т. 1, стр. 167.

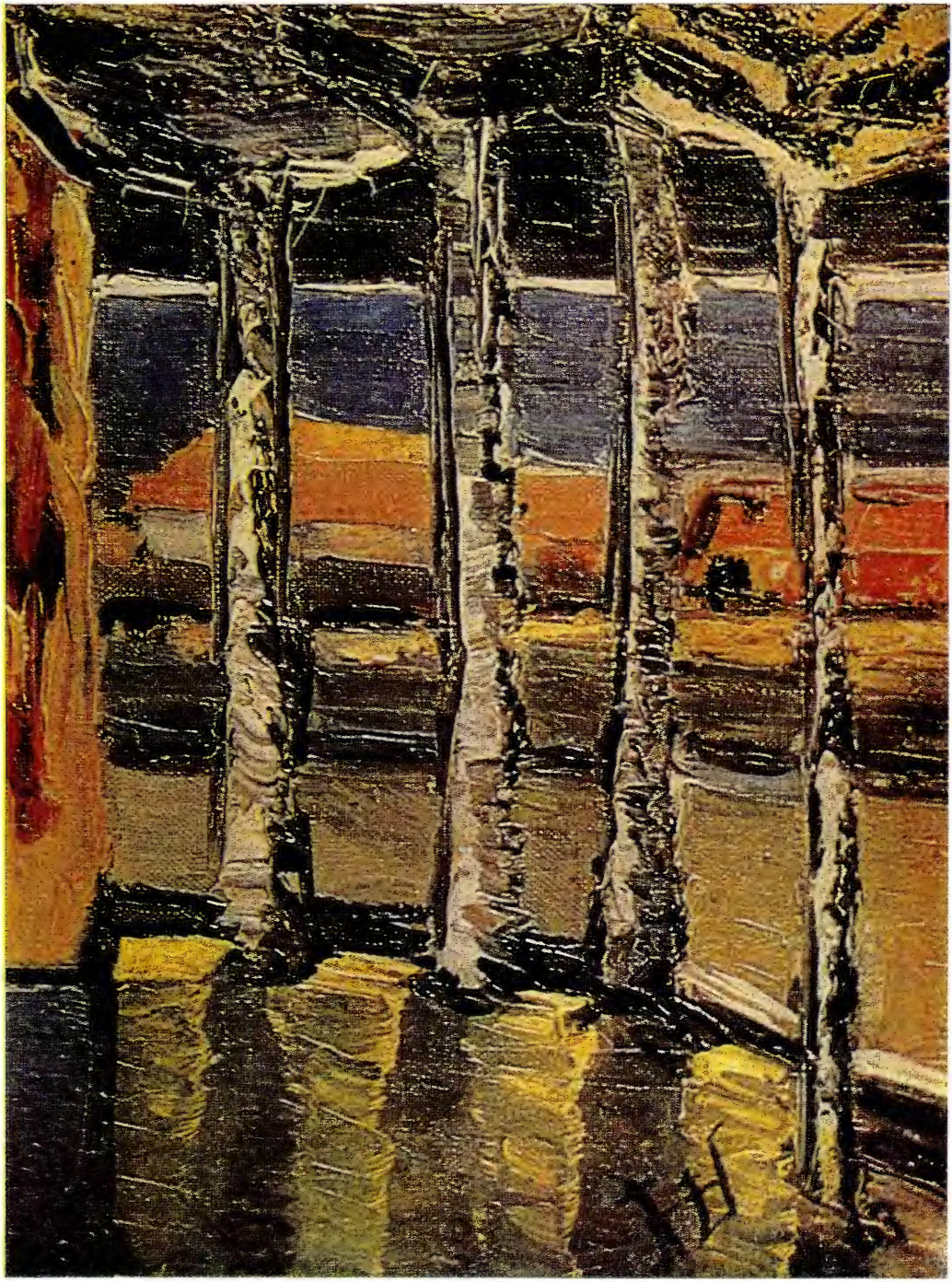
[56] Ясунари Кавабата. Избранное. М., «Прогресс» 1971, стр. 283.

[57] Сино — старинная керамическая или фарфоровая ваза.

[58] Ясунари Кавабата. Избранное. стр. 109.

Крестьянка

Из работ
бельгийского художника
Гастона Тейнинка



Ландшафт при лунном свете

Базарный день

Брюссельские девушки

Фламандский хутор

В мире замечательно именно непостоянство»[59]. Или: «Какие из цветов не опадают? Но лишь опадая, они вновь расцветают, это и делает их прекрасными!» — говорил Дзэами. В способности возрождаться — залог вечности цветка. Красиво то, что переходит в иные формы. Красота — в смене одного другим. Известно влечение японского искусства к незавершенности: нельзя завершить то, что не имеет завершения в жизни, не имеет предела, находится в вечном пути.

Ощущение мира как «дао» обусловило особое отношение к красоте, обусловило и особое отношение к смерти. Естественно, смерть никого не может радовать, но японцы, видимо, действительно относятся к ней иначе, чем европейцы, воспринимая ее не как абсолютный конец, завершение жизни, а как переход в иное состояние.

Я, наверно, не решилась бы говорить о столь сокровенных вещах, если бы не вопрос Мурамацу-сан: «Чем объяснить огромное в сравнении с Западом число самоубийств среди японских писателей? Видимо, и здесь сказывается традиционное мироощущение японцев?» Еще в студенческие годы я задумывалась над тем, почему один за другим покончили с собой Арисима Такэо (1878—1923), Акутагава Рюноскэ (1892—1927), Дадзай Осаму (1909—1948). Тогда все казалось проще. Теперь я думаю — может быть, это связано с таким вот отношением к смерти как к смене времен года, с неверием в смерть как таковую. А может быть, с идеей «не-я», несосредоточенности на собственном «я» и даже ощущением греховности такой сосредоточенности? Или с идеей верности себе, «искренности», которая воспринималась как высший космический закон и отступление от которой приводило к нарушениям в природе? Если «пять постоянств» присущи самой природе, то, естественно, отступление от них могло вызвать катастрофу. И так как эти «пять постоянств» были признаками подлинной человеческой природы, неким интегрирующим началом, то ими дорожили больше, чем жизнью отдельного человека. Вот что Конфуций говорит об этом: «Человек долга, человек жэнь, ради (собственной) жизни не нанесет ущерба жэнь, он убьет себя, но сохранит жэнь»[60]. И последователь Конфуция Мэн-цзы (372—289 до н. э.): «Я ценю жизнь, но еще больше ценю справедливость. Если я не могу иметь и то и другое, то я предпочту справедливость.

Я также ценю жизнь, но есть нечто такое, что ценно более жизни... Я питаю отвращение к смерти, но есть нечто такое, что я ненавижу более смерти... Следовательно, у людей есть нечто такое, что они ценят более жизни, и есть нечто такое, что они ненавидят более смерти. Это чувство имеют не одни только добродетельные и мудрые люди, но и все остальные; разница лишь в том, что первые не теряют его»[61]. Японцы приняли это к сведению. Как говорил Муро Кюсо (1658—1734): «Для самурая на первом месте стоит прямота, затем жизнь, а потом уже серебро и золото». Вряд ли мудрецы предполагали, к каким последствиям приведут их идеи[62]. Самоубийство в Японии стало одной из форм прямого и полного выражения «искренности»: «В самоубийстве раскрыть свое сердце».

В «Алмазной сутре» сказано: «Воздыми свой дух и ни на чем его не утверждай». А вот оборотная сторона, «тень» идеи: «Я вздымаю до самых облаков свое несравненное имя! С воинским кличем делаю харакири, умирая вслед за господином». С этими словами кончает жизнь герой повести «Предсмертное письмо Окицу Ягоэмона» Мори Огай (1862—1922). Речь идет о начале XVII века, но примеры можно продолжить вплоть до наших дней.

Если антропоцентризм не означал осуществленной любви к человеку, то и концепция «не-я» не привела человека к свободе. Высшей формой преодоления привязанности к «я» стали считать пренебрежение собственной жизнью. Но это противоречит духу высокой традиции и может рассматриваться только как суеверие, стоившее японцам бесчисленных жертв. Пренебрежение жизнью, своей ли, чужой, противоречит идеалу «человечности» и закону «середины». Человек предназначен быть «срединным» между Небом и Землей. «Не путь может возвысить человека, а человек может возвысить путь» («Луньюй», XII, 28). Совершая насилие над собой, человек нарушает закон вселенной, закон уравновешенности вещей, смысл которого в идее всеобщей связанности, глубинного равенства всего со всем. Совершая насилие над собой, человек волей-неволей совершает насилие над всем миром. И потому, какими бы высокими мотивами ни пытались оправдать самоубийство, этот печальный обычай нельзя рассматривать иначе, как национальный предрассудок, как дурную традицию.

И все же почему именно в первые десятилетия XX века в Японии было столько самоубийств? Не потому ли, что европейская цивилизация не оправдала надежд и очень скоро появилось ощущение вакуума, несоответствия слов делу? Уже в конце первого десятилетия японские критики заговорили о «крушении иллюзий».

Что касается Кавабата, то, судя по Нобелевской речи, ему чужда была мысль о самоубийстве. «В 1927 году, тридцати пяти

[59] Кэнко-хоси. Записки от скуки. М., «Наука», 1970, стр. 47.
[60] «Луньюй», XV, 8, т. 3, стр. 199.

[61] Перевод М. Л. Титаренко. см. Антологию т. 1, ч. 1, стр. 209—210.
[62] Еще в «Ицзине» говорится, что «справедливости» нет без «человечности»: «В древности, когда совершенномудрые люди создавали [учение о] Переменах, они имели целью согласоваться с закономерно-

Т. ГРИГОРЬЕВА
И ЕЩЕ РАЗ О ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

лет, Акутагава покончил с собой. Тогда я написал в «Последнем взоре»: «Как бы ни опостылел этот мир, самоубийство не ведет к просветлению (сатори). Как бы ни был благороден человек, но, если он совершил самоубийство, он далек от мудрости. Ни Акутагава, ни покончивший с собой после войны Дадзай Осаму, ни другие не вызывают у меня ни восторга, ни сочувствия». Тем не менее ощущение или предчувствие смерти, подсознательное ожидание встречи с ней у него, конечно, было. И это чувствуется и в «Стоне горы»[63], и в более поздних его произведениях. И в Нобелевской речи звучит прощание. Прощаясь с людьми, писатель завещал им беречь прекрасное в себе и в других.

P. S.

Знакомый физик, проникшись моими поисками, посоветовал прочесть статью В. Деглина «Функциональная асимметрия — уникальная особенность мозга человека»[64], уже после написания этих заметок, и я была поражена рядом совпадений. Значит, если функциональная специализация полушарий мозга («Буквально в последние годы стало известно, что левое полушарие — база логического, абстрактного мышления, правое — база конкретного, образного») появилась в результате тысячелетий практики, то почему бы не предположить, что в системе человеческого мышления вследствие той же практики, с той же неизбежной закономерностью должна была возникнуть функциональная асимметрия как условие нормальной жизнедеятельности целого?

Постулируя вечную изменчивость мира, восточные мыслители избегали выражать свои идеи в рамках понятий, а прибегали к образу. Мудрецы достигли на этом поприще неизмеримой глубины. Образный тип мышления обусловил особый культурный код, свое отношение к слову, он, видимо, связан с иероглифической письменностью, где на первый план выступает наглядность, образ явления, а не его смысл.

С той же закономерностью в другой части света стало развиваться понятийное, аналитическое мышление. И там и там было и то, и другое, но акценты разные. Одни не посягали нарушать природу, делить ее на части, и обходились тем, что она им предлагала. Другие посягали и, вмешиваясь в природу, членя ее на части, создавали такие шедевры, которые могли соперничать с природой. И в этой «асимметрии» есть какой-то высший смысл. Ведь поначалу у примитивного человека полушария мозга были одинаковы, а в процессе разумной деятельности перестроились так, чтобы функционально дополнять одно другое. Но как иначе Запад и Восток могли бы самопознаваться друг в друге? Если бы одна функция стала развиваться за счет другой, то пострадали бы обе. Природа мудро поставила одно полушарие в зависимость от другого[65].

Если так, то само собой отпадают вековые споры европоцентристов и востокоцентристов: обе функции равно необходимы для нормальной жизнедеятельности как отдельного человека, так и человечества в целом. (Стало быть, действительно, не разница должна исчезнуть, а неравенство, непонимание.) Значит, аналитический, дискурсивный тип мышления не единственно возможный и речь может идти не об отдельных национальных особенностях, а о типовых, функциональных различиях мышления.

Мы свидетели того, как в мире после веков рационализма уставшее «левое полушарие» ищет отдохновения, приходит во взаимодействие с «правым». И это касается не только гуманитарных наук, но и «точных» (недаром усилился поиск целостного подхода). И это, как предсказывал В. М. Алексеев, должно открыть огромные перспективы для духовного развития всего человечества.

стями сущности [человека и его] судьбы. И вот они установили Путь Неба, а именно: Тьма и Свет; они установили Путь Земли, а именно: Податливость и Напряжение; они установили Путь Человека, а именно: Любовь и Долг. Они сочетали эти три потенции и сочли их двойными» (Ю. К. Щуцкий. Китайская классическая «Книга Перемен». М., Издательство восточной литературы, 1960, стр. 105). Ни одно из «пяти постоянств» невозможно, если не наличествуют четыре остальные. Положим, нет «справедливости» без «человечности», нет «человечности» без «искренности», нет «искренности» без «знаний» и т. д.— все взаимосвязано.

[63] Кавабата Ясунари. Стон горы, «Иностранная литература» № 9—10, 1973.

[64] «Наука и жизнь» № 1, 1975, стр. 104—115.

[65] Закон функциональной асимметрии, инь-ян, носит универсальный характер, его действие можно обнаружить на любом уровне — как на уровне мировой, так и восточной культуры (например, китайской и японской), как на уровне отдельного человека, так и отдельного органа человека. Эта функциональная взаимодополняемость относительна, подвижна: даже у одного человека интенсивнее работает то левое, то правое полушарие, в зависимости от рода занятий. Важно, что эти функции поддаются воздействию, но разные полушария предполагают разные методы воздействия.

Публицистика

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН

МЫШЕЛОВКА НА МЕХУ

Фрагменты из книги

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Накладность накладных расходов

Без сомнения, в истории был период, когда директора, управляющие и все прочие лица, имевшие касательство к уровню заработной платы, могли не принимать к сердцу управленческих расходов. Но наметившаяся в последнее время тенденция ко все большей механизации вызвала относительное сокращение числа «рабочих блуз» по сравнению с «белыми воротничками». В нынешних ведомостях зарплаты на управленческий аппарат приходится внушительная и дорогостоящая доля. Поэтому будет лишь естественно спросить себя, а не удастся ли кое-чего добиться, приложив принципы организации труда к накладным расходам? Нельзя ли получить прибыль не за счет расширения производства или снижения себестоимости, а просто сократив указанные расходы? Совершенно очевидно, что канцелярская волокита будет и впредь обходиться все дороже и дороже, если теперь не принять мер к затормаживанию этого процесса. Эта тенденция отчасти объясняется колебаниями в загруженности. Объем торгово-промышленной деятельности подвержен сезонным изменениям, зависящим от климата и погодных условий, от транспортных проблем и производственных конфликтов, от учебных семестров, от парламентских и судебных сессий, а также от особенностей христианского, мусульманского и индуистского календаря. За взрывами судорожной активности следуют периоды безделья, которые учащаются благодаря эффекту «бутылочного горлышка», когда заминка в чем-то одном приводит к задержкам во всем остальном. Если амплитуда подобных колебаний известна, постоянные штаты, как правило, почти всегда поддерживаются на наиболее высоком уровне, который соответствует моментам максимальной загруженности. Управляющие боятся упустить выгодный заказ потому лишь, что в решающую минуту им некому будет заняться. Раздутые штаты, по их мнению, служат гарантией от подобных случайностей.

Типичная организация, штаты которой оказываются раздутыми в периоды спада, как бы заранее смиряется с тем, что в некоторые дни некоторые люди будут сидеть сложа руки. Но разве это можно допустить? Многие администраторы твердо знают, что привычку к безделью приобрести легко, но избавиться от нее трудно, и для борьбы с ней изобретают какие ни на есть занятия. Во флоте в таких

случаях драили палубы и чистили медяшку. В армии убирали конюшни и наводили глянец на сбрую. В коммерческих предприятиях для этого существуют инвентаризация, составление описей, сведение баланса до последнего полупенса. С помощью подобных приемов высококвалифицированный специалист легко добивается того, что к концу застойного периода все штатные работники изнемогают от усталости. При отсутствии такого специалиста они начинают бездельничать, а это чревато последствиями, которых администрация, возможно, меньше всего ожидает. Ведь люди, с удовольствием бездельничающие половину служебного времени, начинают вести себя беспокойно, когда ничегонеделание затягивается. Если администрация так и не сумеет занять их, они примутся придумывать для себя работу сами. Всевозможные канцелярские процессы можно сдублировать, перепроверить, разнести по графам и реорганизовать. Можно также подготовить всяческие планы на случай возникновения абсолютно невероятных ситуаций. Подобные пустопорожние усилия и суета на первый взгляд кажутся безобидными, но, к сожалению, псевдоработа оказывает крайне деморализующее воздействие. Это отнюдь не просто пустой перевод денег. Нет, в ней заложены причины низкого коэффициента полезной отдачи в период нового взрыва деятельности. В критическую минуту выясняется, что работать некому, так как штатные единицы заняты псевдодеятельностью и не могут ее бросить. Но даже если производится перестановка, от них по-прежнему бывает мало толку, ибо они привыкли все делать как можно медленнее. И с места в карьер изменить метод работы их не заставишь. В результате период подъема превращается в повод для приглашения новых штатных работников, которым в дальнейшем также предстоит сидеть без дела. Такой цикл повторяется вновь и вновь, и все больше и больше людей делают все меньше и меньше полезной работы.

Разумеется, проблема колеблющейся загрузки решается легко, и ответ на нее очевиден. Умный администратор нанимает временных работников и увольняет их, едва период максимальной активности приходит к концу. Например, так каждое рождество поступает почтовое ведомство. Более широкое применение этого принципа обеспечивается специальными фирмами по временному найму. Такие фирмы весьма успешно действуют в США, в Англии и во многих промышленных странах Европы. Суть тут в том, что периоды максимальной активности в разных областях не совпадают между собой. Выяснилось, что домохозяйки с удовольствием поступают на временную работу с неполным рабочим днем в зимние месяцы, а летом их сменяют студенты. Таким образом, достаточно некоторого уменья заглядывать вперед и кое-каких организационных мер, и временная потребность в новых штатах будет удовлетворена. Однако не следует думать, что проблема таким образом полностью разрешится. Нанимая временных работников, мы, возможно, предотвратим разбухание управленческого аппарата, к которому иначе неминуемо должны привести колебания загрузки. Но накладные расходы могут опасно возрасти и не только поэтому. Тут можно выявить три основные причины, тесно между собой связанные, хотя и действующие самостоятельно. Первая — и наиболее очевидная — заключается в расширении данной организации за счет слияния с другими или их поглощения. Вторая — методы контролирования, к которым прибегает главная контора. И наконец — тот факт, что все внимание сосредоточивается на расходах, связанных с материальными предметами, при относительном равнодушии к непроизводительным затратам времени. Именно эти три фактора в основном (но не исключительно!) определяют общий объем канцелярской работы, к сокращению которой мы должны стремиться в первую очередь.

Рост и расширение организаций всегда связаны с тем, что появление все более сложного оборудования подразумевает непрерывный рост капиталовложений. Возьмем хотя бы современные реактивные двигатели — в мире можно насчитать лишь горстку компаний, которым по плечу их выпускать. И это вовсе не заговор гигантов против мелких предприятий, а простое следствие того факта, что неимоверная сложность такой задачи требует колоссальных затрат. Самолетостроение — это не та область, где мог бы развернуться деревенский кузнец или даже управляющий провинциальным банком.

Именно этой причине, а также некоторым другим мы и обязаны появлением весьма крупных промышленных концернов. Их размеры, естественно, ведут к возникновению всяческих усложнений, рост которых в конечном счете вызывается тем, что люди создают работу друг для друга. Существует теория, что любая контора, насчитывающая тысячу служащих, может быть административно самодостаточной. Этот специальный термин обозначает управление, которому не требуются ни объекты для управления, ни другие ведомства для переписки, ни какие-либо внешние контакты. Такая контора способна существовать за счет производимых ею служебных бумаг — начальники ее отделов полностью заняты тем, что читают отношения, которые составляют друг для друга. Ее штаты имеют тенденцию разбухать вне зависимости от количества работы или даже при полном отсутствии таковой. До тех пор, пока статус руководителя будет измеряться количеством его подчиненных, главная контора будет продолжать расти и разветвляться, без конца увеличивая накладные расходы.

Однако масштабы главной конторы

играют все же меньшую роль, нежели методы, которые она применяет для контролирования своих филиалов, предприятий и прочего. Разобраться в этих методах можно, только подойдя к ним исторически. Управления, создававшиеся в старину, стремились главным образом к тому, чтобы поддерживать и укреплять свою власть над организацией в целом. Задача эта была практически неразрешимой ввиду дальности расстояний и относительной медленности, с какой тогда осуществлялась связь. И все главные управления традиционно занимались борьбой с этими чисто физическими препонами, мешавшими им осуществлять желанный контроль. Сто лет назад можно было не опасаться сверхцентрализации, потому что главное управление попросту не имело средств ее добиться. Письма шли месяцами, сведения успевали устареть до их получения, и в результате ответные директивы, когда они, наконец, попадали на места, оказывались ненужными и невыполнимыми. Затем положение изменилось почти мгновенно. Начиная примерно с 1870 года средства контроля, до тех пор весьма слабые, усовершенствовались с драматической внезапностью — телеграф, пароход, а вскоре и телефон революционизировали средства связи. Затем последовали автомобиль, радио, телетайп, самолет и, наконец, электронно-вычислительная машина. Руководитель, получив орудия, с помощью которых он мог в полной мере осуществлять свою власть, был инстинктивно склонен использовать их на сто процентов. Ведь теперь легко получалось то, что прежде было неосуществимым! Теперь он мог затребовать самую полную информацию и разослать самые подробные директивы, ощущая, что наконец-то его подчиненные приведены к одному знаменателю. Эффективность этого контроля можно было измерять тоннами бумаги, содержащей статистические данные, отчеты, доклады и справки, а также инструкции, распоряжения, выговоры и рекомендации. Стремление же к централизации неминуемо должно было привести к сверхцентрализации.

Сверхцентрализация в первую очередь убивает всякую инициативу на периферии организации. Одновременно — хотя это, возможно, и менее заметно — она полностью убивает свободное время в центре. Бумаги поступают в количестве, прямо пропорциональном степени вводимой централизации. Штат управления должен быть достаточно большим, чтобы справляться с этим ливнем бумаг (хотя бы успевать их подшивать!), а кому не известно, что инструкции, ответы и справки имеют склонность плодиться и размножаться! Предположим, будет затребована справка о количестве полотенец, использованных в туалетных комнатах компании, но затребовавшее ее лицо забудет, как это чаще всего и бывает, указать: «справка за прошлый месяц». Оно просто запросит справку, упустив из вида, что положить начало какому-то процессу заметно легче, чем его остановить. Через двадцать лет эта справка все еще будет поступать. И никому не будет известно, с чего это началось и зачем она нужна. Никто не станет в нее заглядывать, а тем более как-то использовать. Или, предположим, кто-то из начальства затребует справку по неявкам на работу для такого-то отдела. В этом случае опять-таки будет положено начало процессу, который забудут остановить. Однако этот внешне полезный запрос выявляет еще один немаловажный фактор. Любой отдел, группа или сектор очень скоро обретают собственную жизнь, облик и традиции, а также стремление выжить и тенденцию расти. Запросить статистические данные о невыходе на работу — значит неведомо для себя столкнуть с горы снежный ком. Через две-три недели сектору, ведущему учет неявок на работу, потребуются дополнительные клерки, а также дополнительные картотечные шкафы — то есть дополнительные ассигнования и дополнительное помещение. Далее — с течением времени эти данные неминуемо будут становиться все более точными и подробными. Потребуется установить, для кого невыход на работу более характерен — для мужчин или для женщин, для молодых или для пожилых, для состоящих в браке или для одиноких, для протестантов или для католиков, для масонов или для членов «Благородного ордена лосей». Существует ли связь между ним и климатом, географической широтой, а также высотой над уровнем моря? Влияют ли на него луна, приливы и результаты футбольных матчей? Сектор учета невыхода на работу — теперь уже ОТДЕЛ с настенными диаграммами, специалистами по математическому анализу и засекреченными картотеками. Объем его деятельности растет, она усложняется, но никаких мер для снижения невыхода на работу не принимается. А почему? Да потому, что уничтожение зла, подлежащего изучению, приведет к закрытию отдела, что было бы нелепо.

В управлении страной наблюдаются точно такие же процессы, но без потенциальной угрозы для сводного баланса. Правительство, столкнувшееся с предположительно усиливающейся угрозой... ну, скажем, порнографии, проведет расследование, и если убедится в необходимости принятия мер, то, возможно, создаст антипорнографическое министерство. Чиновники этого министерства не станут декларировать особого интереса к предмету («У меня даже нет порнографа»,— скажет постоянный заместитель министра в каком-нибудь интервью), но тем не менее готовы будут своротить горы, не отводя брезгливо глаз от того, что может при этом обнаружиться. Одна-

---

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН
МЫШЕЛОВКА НА МЕХУ

ко важнее всего в постоянном заместителе министра именно то, что он — постоянный. Его ждет карьера, завершающаяся пенсией. В старину существовало поверье, будто крысолов (ныне инспектор по борьбе с грызунами), очистив от крыс какой-нибудь склад, не уходил из него, не выпустив прежде парочку этих животных где-нибудь в темном углу. Его вовсе не снедало честолюбивое желание истребить всех крыс до единой. Он предпочитал вести с ними непрерывную войну, так как понимал, что, одержав полную победу, он оставит себя без работы. Вот почему создание учреждения или отдела для «борьбы с...» является надежнейшей гарантией сохранения этого «с». Ибо нет команды, которая могла бы играть без противника. Борцам с порнографией требуются ее поставщики, точно так же, как для существования полиции нужны преступники. Впрочем, если вдруг все-таки возникнет опасность, что данное зло того и гляди исчезнет, его всегда можно будет возродить (как это обязательно и происходит), по-новому определив, что именно мы согласились считать нежелательным. Люди, когда их карьера оказывается под угрозой, проявляют редкостную изобретательность.

На этом мы оставим процесс контролирования, осуществляемый главным управлением, и бумажную вакханалию, с которой он сопряжен. Остается третий фактор, воздействующий на загруженность,— традиционное превалирование материальных ценностей над временем. Другими словами — маниакальное преклонение главной конторы перед оборудованием, машинами, инвентарем и инструментами, уходящее корнями в глубины истории. Этот психологический настрой сложился в те эпохи, когда заработная плата была низкой, а орудия труда — относительно дорогими. Материальные ценности важны потому, что их можно отразить в графе «кредит»,— они, хотя и подвержены амортизации, тем не менее представляют собой актив. Люди же отражаются исключительно в графе «дебет» в виде непрерывных расходов. А потому главная наша цель — проводить инвентаризации для выявления хищений казенного имущества вроде скрепок и конвертов. Эта мания сыграла огромную роль в истории английских больниц — весьма своеобразных заведений, которые довольно-таки нелепо сочетают в себе некоторые аспекты монастыря и армии. С монастырем их роднит твердое убеждение, будто старшие сестры, сестры и сиделки — сплошь святые души, чей труд не надо оплачивать и чье время поэтому не имеет никакой ценности. От армии же они заимствовали страсть к строжайшему учету и проверке казенного имущества. В результате до самого последнего времени никто даже не пытался установить стоимость рабочего времени сиделок, которое, как правило, расходуется главным образом на пересчитывание наволочек и простынь.

Вот наиболее очевидные факторы, приводящие к тому, что наши накладные расходы оказываются слишком уж накладными. Тут будет естественно спросить, а нет ли способа исправить положение. Маловероятно, чтобы нашлась панацея на все случаи. Однако нижеследующий пример сокращения накладных расходов, имевший место в действительности, показывает, что такие средства существуют и ждут только, чтобы их применили.

История, о которой пойдет речь, случилась в фирме, специализирующейся на продаже готовой одежды и имеющей магазины в разных городах. Наша повесть начинается с того момента, когда председатель правления фирмы случайно забрел в магазин одного из второстепенных отделений, обслуживающих захолустный городок. Зашел он туда в субботу после обеда и сразу же столкнулся с тем, что никто не хотел обращать на него внимания. Картина была знакомая: все были заняты делом, и ни у кого не хватало времени обслужить покупателя. В конце концов председатель был вынужден оторвать продавщиц от работы, назвав себя. Затем он задал напрашивающийся вопрос: «Что вы все делаете?» Его поспешили заверить, что продавщицы в строгом соответствии с инструкциями заполняли индексные карточки. «А что вы делаете с этими карточками?» — спросил затем председатель и услышал в ответ нетерпеливое: «Подшиваем». «Зачем?» — не отступал он. «А что еще можно сделать с индексной карточкой? Они предназначены для того, чтобы их подшивали». «Ну-ка, покажите»,— сказал он, и ему подали карточку. Он тщательно изучил ее, но так и не понял, какая может быть от нее польза. Это заставило его задуматься. Если этот листок бумаги бесполезен, то сколько еще может существовать не менее бесполезных бумажек? Сколько мусора движется по соответствующим каналам и во что это обходится, учитывая затраты времени и сил? Было проведено обследование, и в результате удалось сократить число бумажек на двадцать миллионов ежегодно.

Такое существенное сокращение накладных расходов опиралось на три принципа, которые будет полезно запомнить всякому администратору. Первый принцип гласит: доверяй управляющему отделением. Руководство не должно держать его все время на коротком поводке. Если он некомпетентен, его следует уволить. Но если он может быть управляющим, значит, ему можно доверять. Не требуйте от него ежеминутно все новых и новых сведений. Не загромождайте его письменный стол директивами и выговорами. Ведь в результате столь ошибочной политики столы в главной конторе будут окончательно погребены под бумажной лавиной, а генеральный директор будет придавлен к своему креслу грузом служебной переписки. Такой директор,

жертва им же введенных порядков, не имеет возможности узнать, что же происходит на самом деле. Только к вечеру успеет он опорожнить папку со входящими бумагами, достигнув, наконец, того момента, с которого должен был бы начаться его рабочий день. Пожалуй, в вышеприведенной истории важнее всего тот факт, что глава фирмы нашел время посетить в субботу один из магазинов. Если бы он занимался только общими вопросами, то так никогда бы и не увидел индексную карточку. И успех его объясняется только тем, что он оставил себе время для личных наблюдений.

Второй принцип гласит: доверяйте продавщицам. До указанной поры в фирме, о которой идет речь, была в ходу система внутренних накладных. Продавщица, когда у нее кончался тот или иной товар, должна была заполнить требование, заручиться подписью старшей продавщицы и инициалами заместителя управляющего, затем сдать копию в контору, а первый экземпляр отнести на склад — потенциальный же покупатель успевал за это время вернуться домой и напиться чаю. Теперь эту процедуру решено было упростить. В будущем продавщице, у которой кончился товар, предлагалось пойти на склад, взять новую его партию, выложить ее на прилавок и продать. Это вызывало возражение: в таких условиях продавщице легко будет совершать мелкие хищения. Однако в ответ было указано, что, во-первых, все продавщицы, услугами которых пользуется фирма, безукоризненно честны, а во-вторых, новая процедура все равно обходилась бы дешевле, даже если бы честность продавщиц и оставляла желать лучшего. Реальные расходы на возню с бумажками намного превышали возможные убытки от мелких краж.

Третий принцип гласит: доверяй клиенту. До этих пор расстроенной покупательнице, получившей костюм не того размера или расцветки, предлагалось заполнить анкету и сдать ее в магазин, где был приобретен указанный товар. Анкета эта была весьма внушительным документом и включала тридцать семь пунктов, начиная с вопроса: «Кто был ваш дед и почему?» Заполненная анкета изучалась, визировалась, штемпелевалась и проходила проверку, после чего выносилось заключение, заменить ли товар или вернуть деньги. Теперь было решено анкету уничтожить. В будущем недовольный клиент получал возможность пойти с неудачной покупкой в любой магазин фирмы, а вовсе не обязательно в тот, где она была сделана, и положить ее на прилавок. После чего покупку должны были тут же обменять или возвратить деньги без каких-либо вопросов или возражений. И опять-таки причиной перемены была вовсе не любезность, а подсчет стоимости прохождения анкеты по инстанциям, которая оказалась заметно выше стоимости среднего костюма. Выяснилось, что доверять покупателю — а главное, воздерживаться от споров с ним — одновременно и вежливее, и дешевле. А потому с тех пор фирма избрала именно такую политику.

Просчет Питера

Принцип Питера был преподнесен миру с большой помпой и потому, естественно, произвел впечатление на тех, кто посвятил себя изучению политики. Суть его доктрины такова: «В иерархии каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности». В нашем мире, указывает он, буйствует некомпетентность. Человек хорошо справляется со своими обязанностями, а потому его повышают. В результате он рано или поздно достигает той ступени служебной лестницы, на которой оказывается некомпетентным и уже больше не справляется со своими обязанностями. Тогда его перестают повышать, и он до ухода на пенсию продолжает занимать место, для которого не годится. Поэтому, говорят нам, практически везде сидят некомпетентные люди, кое-как дотягивающие до пенсионного возраста. Нам объясняют, что служащий достиг своего уровня некомпетентности — плато Питера, и его коэффициент повышения (КП) равен теперь НУЛЮ. Автор признает, что эта общая тенденция маскируется мнимыми исключениями и отклонениями от правила. Эти явления он весело именует «пасом в сторону», подразумевая маневр, в результате которого некомпетентный служащий получает более длинный титул и переводится в кабинет, расположенный в самой удаленной части здания. Автор указывает, что «синдром конечной остановки» включает маниакальный интерес ко всякого рода побочным вопросам (например, архивофилия или строефилия) и иерархический регресс. Он расцвечивает свои доводы афоризмами вроде: «Если вы не знаете, куда идете, то, вероятнее всего, попадете туда, куда и не рассчитывали попасть». Он утверждает, что даже электронно-вычислительные машины подчиняются принципу Питера. Заключительный его совет сводится к тому, что мы все, находясь на уровне нашей компетентности, должны отказываться от дальнейших повышений или же с помощью стратегических хитростей добиваться то-

---

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН
МЫШЕЛОВКА НА МЕХУ

го, чтобы вопрос о нашем повышении вообще не вставал. Здесь он усматривает торжество и оправдание «силы негативного подхода».

В этих логических построениях есть чем восхищаться, и автор, бесспорно, сделал несколько немаловажных открытий. Основная его доктрина изложена четко и весьма красноречиво, и говорят, что число тех, кого ему удалось убедить, очень велико. Вне всякого сомнения, он — прекрасный учитель, проповедующий высокие идеалы, автор книги, завоевавшей заслуженный успех. Беда лишь в том, что некоторые читатели принимают его книгу всерьез и соглашаются с теорией, которая, возможно, была выдвинута лишь в шутку. Ну, шутить никому не возбраняется, однако теория эта вызывает возражение, правда, одно-единственное: она неверна. Она не согласуется с нашим жизненным опытом и не выдерживает критического разбора. Нам с самого начала хочется задать вопрос: каким образом автор умудрился в нее уверовать (если он в нее действительно уверовал)? Когда мы узнаем, что он занимается (или занимался) координированием учебно-воспитательных программ для детей с эмоциональными нарушениями в Южнокалифорнийском университете, нам в голову закрадывается мысль, а не был ли «Принцип Питера» одной из тех программ, которые ему удалось скоординировать. Ну, может быть, в его университете и имеются дети с эмоциональными нарушениями, и уж конечно нет ничего невероятного в том, что одна из множества этих программ могла понравиться и взрослым с эмоциональными нарушениями. Тем не менее подобный вывод, безусловно, был бы непродуманным и поверхностным.

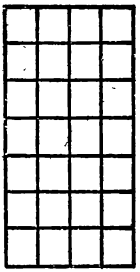
Ключ к системе взглядов Питера надо искать не в былой (или нынешней) его должности координатора (каковая представляет собой всего лишь результат паса в сторону), но в его прошлых занятиях и нынешних домыслах. Он — школьный учитель и школьный психолог, который стал затем преподавателем педагогики в Южнокалифорнийском университете. Примеры некомпетентности в его книге начинаются со школьной системы города Просперити, да и в дальнейшем читателю снова и снова предлагаются истории о школьных директорах, попечительских советах и учителях. Короче говоря, вряд ли можно сомневаться, что жизнь автора проходила главным образом в классных комнатах и в иерархической системе образовательных учреждений. Бесспорно, он приводит примеры некомпетентности и в других областях — скажем, в государственных учреждениях или в административном аппарате корпораций,— однако за ними не чувствуется даже намека на личный опыт или на прежние исследования. Вне школьной системы города Просперити он держится неуверенно, точно священник, впервые в жизни переступивший порог казино. И наконец, нетрудно заподозрить, что город Просперити находится в Калифорнии — то есть в штате, где педагогическая свистопляска принимает форму настоящего стихийного бедствия. Автор пишет, что «процесс деградации ускоряется эскалацией образования», и это убедительно — но лишь в отношении Калифорнии, где система разбавления сливок учености водой уже достигла своего логического завершения. За автором и его теорией вырисовывается специфический и о многом говорящий ландшафт.

Учитель в США — это тот, кто остается «дома» вместе с женщинами и детьми, когда мужчины племени уходят трудиться или воевать. Его выбирают из наименее умных среди тех, кто получает высшее образование, и даже те, кто специализируется в социологии, уступают ему лишь в самой малой степени. Овладевая своей полувзрослой профессией, он узнает, «как вести занятия по ...» — причем последнее и важнейшее слово опускается. Нам всем известно, что хорошее преподавание (если исключить младшие классы) требует: а) самой широкой и глубокой осведомленности в трудном предмете, б) увлеченности этим предметом, которая заражает учеников, и в) десятка простейших профессиональных приемов, которые кто угодно может почерпнуть из любого руководства или из собственной практики в первые же дни самостоятельной работы. Искусство педагога-теоретика состоит в том, чтобы надежно похоронить «в» под массой претенциозного вздора, затуманенного звучными терминами и психологическими чревовещаниями. Заниматься научными исследованиями в такой педагогике — значит прочно забыть про «а» и «б», а «в» превратить в нечто непостижимое. Те, кто способен одолеть все это, одолевают (так, по крайней мере, говорят), а те, кто не способен, обучают учителей, как обучать новых учителей искусству обучать. Они образуют братство факультета педагогики, своего рода академическую сферу внутри академической сферы, так сказать, орден тех, кто посвятил себя изучению выеденного яйца. И вот в этом-то окружении доктор Питер стенает по поводу некомпетентности подавляющего большинства людей. Невольно начинаешь подозревать, что значительная часть его жизни прошла в мире, где дело обстоит именно так.

Мы же, остальные, живем в ином окружении. Опыт некоторых из нас черпается в общении с летчиками, финансистами, инженерами, моряками, композиторами, профессиональными военными и журналистами, то есть с людьми, прямотаки до ужаса компетентными. Более того, мы привыкли считать, что большинство людей, с которыми нас сводит судьба, вполне способны выполнять свои профессиональные обязанности. Мы, как и все наши соседи в салоне реактивного лайнера, полностью доверяем пилоту, которого никогда в жизни даже не видели.

Как-то само собой разумеется, что хирург, удаляющий наш аппендикс, знает свое дело и абсолютно трезв, и так же мы полагаемся на механика, который обслуживает наш автомобиль. Бывали случаи, когда суда терпели крушение из-за оплошности капитана, но это происходит крайне редко, и обычный капитан ничего подобного не допустит. Мосты некоторых инженеров обрушивались, а однажды даже рухнула гидроэлектростанция на американском берегу Ниагарского водопада. Тем не менее мы ходим и ездим по мостам, не сомневаясь в их прочности, и опыт оправдывает наше доверие. Быть может, архитекторам, водопроводчикам и сборщикам налогов мы доверяем не так слепо, а к иным политическим деятелям, модным певцам и художникам и вовсе относимся с подозрительностью. Тем не менее факт остается фактом: мы полагаемся на компетентность подавляющего большинства тех людей, с которыми нам приходится иметь дело, и ошибаемся довольно редко.

Так это выглядит на практике. Но как же теория? В чем слабость аргументов доктора Питера? Она заключается в слове «компетентность», которое лежит в основе всех его рассуждений. Как специалист по педагогике, доктор Питер приучен свято верить в Интеллектуальный Коэффициент (ИК). В школьной системе города Проспери ИК каждого ребенка известен, и учитель не требует от ученика больше того, что сулит его измеренный таким образом умственный потенциал. Наиболее умный ребенок, надо полагать, постарается обеспечить себе ИК пониже, чтобы в дальнейшем за те же успехи пожинать больше лавров. Но если отбросить прямой обман, ИК зависит от природных способностей, и улучшить его невозможно. Автор «Принципа Питера» вкладывает в слово «компетентность» именно этот смысл и приписывает каждому человеку обязательный «потолок» его способностей, подразумевая под этим тот уровень, на котором он неминуемо окажется некомпетентным. Все (или почти все) поднимаются выше доступного им уровня, и в результате возникает иерархия следующего типа:



Директора, компетентные только в качестве управляющих.

Управляющие, способные быть только заместителями.

Заместители управляющих, годные только в мастера.

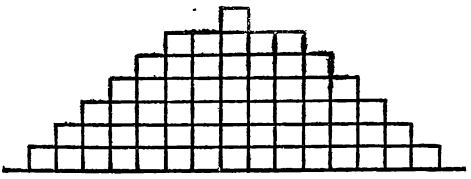
Мастера, которые годятся лишь в десятники.

Десятники, компетентные лишь в качестве рабочих.

Рабочие, вообще не способные работать.

Ученики, которых следовало бы сразу утопить.

Ошибочность этой диаграммы заключается в том, что не существует организации, которая на всех уровнях использовала бы только четырех человек, так что число директоров равнялось бы числу десятников и на каждого рабочего приходилось бы по десятнику. У такой диаграммы обязательно должна быть вершина, которую занимает, скажем, глава компании, а число людей на каждом последующем уровне должно возрастать. И в конце концов мы получим пирамиду. Из этого правила могут быть исключения, как стремится подчеркнуть доктор Питер, но они нередко кажутся исключениями лишь на первый взгляд. Наиболее распространенные типы организаций должны иметь вершину и основание. И прямоугольник неизбежно превратится вот в такую фигуру:



Шеф — глава компании.

Директора.

Управляющие.

Заместители управляющих.

Мастера.

Десятники.

Рабочие.

Это — упрощенная схема обычной организации, а на практике пирамида выглядит более растянутой и не всегда симметричной. Но даже если бы численность персонала предприятия была именно такой и каждый мог бы рассчитывать на повышение, все равно будет только один глава компании и минимум пятнадцать рабочих. Если мы вместе с доктором Питером предположим, что шеф некомпетентен и годится лишь в директора, нам придется прийти к выводу, что на этот пост вообще не было подходящего человека либо все подходящие кандидаты находятся на нижних ступенях иерархической лестницы, то есть ниже своего

уровня компетентности. Но если вспомнить, что из шестидесяти людей, занимающих в данное время все ступени иерархической лестницы, кроме самой верхней, лишь двое-трое смогут в дальнейшем добраться до вершины, поскольку пост шефа оказывается вакантным далеко не каждый день, мы волей-неволей придем к выводу, что надеждам пятидесяти семи — пятидесяти восьми человек по самой природе вещей не суждено сбыться. Даже если из них в шефы годилось десятеро, почти всем из этой десятки придется удовлетвориться должностью на более низком уровне. Сужение пирамиды препятствует людям подниматься выше независимо от их компетентности. Многие не только не станут директорами, годясь лишь в управляющие, а наоборот, навсегда останутся управляющими только потому, что в правлении для них вообще не освободится место. В прямоугольнике принцип Питера хотя бы выглядит правдоподобно. В пирамиде же он явно неверен.

Независимо от схемы организации принцип Питера строится на том, что уровень компетентности человека так же неизменен, как его рост или группа крови. Однако компетентность — это совсем не то же самое, что интеллектуальный коэффициент. Хотя причиной некоторых неудач и промахов служащего иногда действительно является глупость, гораздо чаще за ними стоит недобросовестность, лень, безынициативность, неаккуратность, рассеянность и равнодушие — другими словами, недостатки не столько интеллектуального, сколько морального характера. Моральные же качества вполне поддаются воздействию самых разных внешних факторов, главным из которых является хорошее руководство. Нет плохих солдат, есть плохие офицеры, гласит поговорка. В мире промышленности и торговли на моральный дух служащих фирмы воздействует отнюдь не только внутренняя политика ее администрации. Немалую роль играет общее состояние экономики — переживает ли она период бума или депрессии,— а также множество частных моментов, включая необходимость ездить на работу из пригорода и не исключая погоды. Некоторые свойства человека, такие как, например, интеллект, можно считать врожденными, но основа основ всякой компетентности — нежелание уходить домой, пока работа не сделана,— может зависеть от чего угодно. Мы по собственному опыту знаем, что день на день не приходится: то мы кипим энергией, то при первой же мелкой неудаче у нас опускаются руки. Правда, у каждого человека есть типичный для него уровень, однако он может резко возрасти с надеждой на повышение или столь же резко снизиться перед уходом на пенсию.

Неизменный потолок компетентности — чистейшей воды миф, как неоднократно доказывалось в эпоху революций. Миф и то, будто все люди работают только ради повышения, до тех пор, пока не достигают черты, за которой никакое повышение уже невозможно. На самом же деле активно честолюбивых людей относительно не так уж много. Некоторые с удовольствием согласятся занять высокую должность, если им ее предложат, но большинство почувствует от такого предложения только неловкость. Стоя на верхней палубе «Куин Элизабет II» и прощаясь с Нью-Йорком, мы вряд ли пришли бы в восторг, если бы капитан вдруг заявил: «Ну, а дальше судно поведете вы». Наше воображение нарисовало бы нам вовсе не картину нашего торжества, но целую панораму жутких катастроф, из которых сокрушение статуи Свободы было бы наименьшей. Число мальчишек, которые всерьез заявляют, что намерены в будущем стать президентами Соединенных Штатов, вряд ли так уж велико. А если каждому расколоковать, чего требует от человека этот пост, оно, несомненно, сократится почти до нуля.

Почти в любой системе существует барьер, непреодолимый для подавляющего большинства служащих. В одних компаниях высшие посты получают только родственники председателя правления, в других — только выпускники Принстона. В корпорации А вы преуспеете, только если вы Белый Англо-Сакс (БАС) и протестант. В корпорации Б — только если вы Социально Обеспеченный Невротик и Ябеда (СОНЯ), а в правление корпорации В попадет только Одержимый Самомнением Епископальный Ловкач (ОСЕЛ). Совершенно очевидно, как признает и сам доктор Питер, что существование подобного барьера удержит многих людей на уровне гораздо ниже их потолка — даже если предположить, будто у них есть потолок, тогда как другие получат повышение по причинам, никакого отношения к компетентности не имеющим. Более того: даже в организациях, которые теоретически предлагают одинаковые возможности для всех, компетентность, получающая высший приз, вовсе не обязательно будет связана непосредственно с выполняемой работой. Успешную карьеру можно начать с компетентной сдачи экзаменов, продолжить с помощью компетентного подхалимства и увенчать компетентным выбором выгодной невесты. Каждый из этих типов компетентности вполне реален, хотя, строго говоря, и не соотносим с той компетентностью, которая подразумевается, когда речь идет о служебных качествах. Даже поверхностные наблюдения убеждают нас, что принцип Питера неприложим ни к государственным учреждениям, ни к административному аппарату корпораций, ни к одной из иерархий, связанных с торговлей или военной службой. Он как-то действует только в сфере образования, причем главным образом в том ее секторе, который связан с теоретической педагогикой. Причем и тут он, быть может, не универсален, а справедлив лишь

для Южной Калифорнии. Представляется даже вероятным, что принцип Питера годится исключительно для школьной системы города Просперити. Пожалуй, царствие некомпетентности ограничивается всего лишь этими пределами, и один только апостол Питер хранит ключи к нему.

Лево — право!

Многие и многие люди во всем мире были потрясены — более того, поражены ужасом! — когда Швеция (в 1967 году) сделала гигантский шаг назад, противоуправно изменив издревле принятое направление движения на своих дорогах, и тем самым сократила еще на одну число стран, в которых транспорт следует по левой стороне. А ведь и так уже лишь горстка их сохраняет свои позиции перед лицом советско-американских правил уличного движения. Находятся субъекты, которые считают, что это сущие пустяки и что подобный спор решается простым подсчетом голосов. Однако, как и в вопросе о сантиметрах, гектарах, литрах и граммах, дело обстоит гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Нет, это не тот случай, когда меньшинство может со спокойной совестью принять мнение большинства. Тут на карту поставлены великие нравственные принципы! Мы должны быть готовы бороться за свои убеждения — пусть даже годы и годы, пусть даже в полном одиночестве! Да будет известно всему миру, что в данном случае сила — еще не право. Нет, тут мы имеем пример того, что право как раз лево, а право — неправо.

Старинный обычай ездить верхом или в экипаже по левой стороне дороги опирается на очень древний и очень стойкий инстинкт. Да, горько ошибается тот, кто полагает, будто это — пустяковый вопрос, который может быть решен по прихоти неосведомленного в нем большинства! Даже само человеческое тело уже ориентировано в соответствующем направлении, поскольку сердце расположено (во всяком случае, так принято считать) не где-нибудь, а слева. Этот фундаментальный факт лег в основу исходного принципа тактики единоборства: бей правой рукой, а левой прикрывай сердце. Когда на смену палке и дубине пришел меч, вскоре выяснилось, что любое колющее или режущее оружие (кроме самого короткого), коль скоро его берут в правую руку, носить следует на левом бедре. Таким образом, ножны обретают свое естественное место, поскольку на всяком другом они превратились бы в серьезную помеху.

В более поздний исторический период перед воином с ножнами на левом боку возникла новая проблема: как садиться на лошадь? Методом проб и — нередко — роковых ошибок он пришел к выводу, что человек с мечом может вскакивать на лошадь только слева (заходя справа, он неизбежно оказывался сидящим лицом к хвосту). При этом лошадь, естественно, ставили у левой обочины, чтобы снизить опасность от движущегося мимо транспорта. А вскочив на коня на левой стороне дороги, всадник так по ней и ехал. Наличие копья в свою очередь побуждало его держаться левой стороны — так оно меньше задевало нависающие ветви и так удобнее было оказать достойный прием противнику, который скакал навстречу.

Замените всадника колесным экипажем — и преимущества левостороннего движения станут еще очевиднее. Ведь возница, будучи правшой, берет вожжи в левую руку, а правой сжимает кнут. Если он управляет четверкой, шестеркой, а тем более восьмеркой, ему необходимо свободное пространство справа, иначе кнут не достанет до крупа выносных лошадей. Чтобы обеспечить себе это пространство, он должен держаться левой стороны, как держался и во все прежние времена. Заодно он получал возможность без труда огреть кнутом соперника, пытающегося обойти его справа. Бесспорно, левая сторона дороги была намного предпочтительнее для телеги, почтовой кареты и фаэтона. Таким образом, движение на дорогах наиболее цивилизованных стран стало левосторонним по самым здравым, веским и фундаментальным причинам.

Однако логика, которая направляет экипажи по левой стороне, не всегда приложима к пешеходу. Хотя первобытный инстинкт увлекает его влево — что нетрудно заметить, входя в магазин или ресторан, — развитие материальной культуры оказало на него прямо противоположное воздействие. Дуэлянт со шпагой или пистолетом поворачивается к противнику правым боком, чтобы свести к минимуму уязвимую поверхность тела и защитить сердце. Но дайте ему щит, и все оказывается наоборот: в этом случае он повернется к противнику левым боком, чтобы как можно лучше использовать щит, а правую, атакующую руку введет в действие потом.

Вот почему средневековый пехотинец старался держаться правее — факт, нашедший отражение и в архитектуре того времени. В средневековых замках спираль винтовой лестницы закручивалась по часовой стрелке. В результате, когда противник врывался в такой замок, его защитники, отступая на верхние этажи, оказывались в более выгодном положе-

---

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН
МЫШЕЛОВКА НА МЕХУ

нии: обращенный к внешней стене щит вражеского воина только мешал ему, а его правая рука с мечом была крайне стеснена в своих действиях. Таким образом, у пешехода есть свои исторические причины держаться правой стороны, хотя врожденный инстинкт и тянет его влево.

Последнее обстоятельство, на первый взгляд, служит некоторым, хотя и слабым, оправданием тех в высшей степени своеобразных обычаев, которые царят на американских дорогах. Но думать так — значит заблуждаться. Дело в том, что при левостороннем уличном движении пешеходам всегда следует держаться правой стороны. Так они обеспечивают себе широкий обзор. Транспортные средства вынуждены в этом случае встречать пешехода лицом к лицу. Они уже не могут выследить его, подкрасться сзади и занять выгодную позицию для прыжка. Англичане всегда заботятся о лошадях (и о собаках) гораздо больше, чем о людях, и именно они не далее как в 1930 году потребовали, чтобы лицо, ведущее какое-либо животное, не просто держалось правой стороны, но еще и находилось все время между указанным животным и движущимся транспортом: ведь люди — не лошади, и жалеть их нечего.

Доводы в пользу левостороннего движения настолько неопровержимы, что остается только удивляться, каким образом противоположное направление возобладало в странах, которые в прочих отношениях можно считать лишь умеренно отсталыми. Почему Англия и Швеция сохранили средневековые правила, тогда как французы и их подражатели выбрали противоположную сторону? Не следствие ли это французской революции? Зачем, собственно, надо было что-то менять?

Это — разительнейший пример погони за новизной ради одной лишь новизны, и нововведение это вполне под стать всяким вздорным законодательным установлениям, которые затрагивали календарь, десятиричную систему, меры веса и длины, границы провинций и одному богу известно что еще. Неудобства республиканского календаря стали очевидны тогда же. Не менее очевидны теперь и недостатки десятиричной системы — математики признают, что двенадцатиричная система была бы предпочтительней. Однако езда по правой стороне не только сохранилась с 1815 года, но даже начала распространяться все шире.

В конце концов Англия откликнулась на эту тенденцию параграфом 78 Дорожного акта от 1853 года. До указанного года левостороннее движение в стране опиралось на обычное право, восходившее к весьма древним временам и терявшееся в тумане предположений. Но с 1853 года оно обрело силу закона, под действие которого с 1904 года подпали и механизированные транспортные средства. По своей мудрости Дорожный акт уступает разве только тому закону, который предписывал, чтобы перед каждым самодвижущимся экипажем шел человек с красным флажком,— если бы этот закон проводился в жизнь последовательно и неуклонно, сколько дорожных происшествий было бы предотвращено и от скольких лишних расходов мы были бы избавлены! Отмена этого закона в 1896 году обернулась подлинной катастрофой, вызвав, как и следовало ожидать, отчаянные вопли о необходимости прокладывать дороги, пригодные для автомобилей. Бесспорно, в Англии подобные дороги не столько строятся, сколько служат предметом бесконечных споров и обсуждений, но тем не менее ясно, что они, если их построить, неминуемо окажутся бесполезным бременем. Впрочем, с появлением машин на воздушной подушке и частных вертолетов Англия сможет спокойно положить эту проблему под сукно и перейти к следующей.

Рассуждения, столь неопровержимые в применении к суше, оказываются неприложимыми к морю. Ибо по воде движутся не экипажи, но суда. А суда подчиняются иным причинным связям, и главную роль тут играет одна особенность их первоначальной конструкции. Средневековый корабль заимствовал из Скандинавии рулевое весло, которое помещалось на корме справа, отчего его называли еще и кормовым. Когда два средневековых судна встречались в узком проливе, они с полным на то основанием старались уберечь свои рулевые весла — а для этого достаточно было держать право руля и расходиться левыми бортами. Постепенно это вошло в обычай, сохранившийся до наших дней.

Разумеется, нельзя отрицать, что подобная несогласованность в правилах движения по суше и по воде чревата некоторыми гипотетическими неожиданностями. Именно на это обратил внимание сэр Алан Герберт в своих «Сомнительных случаях применения обычного права», разбирая вопрос о том, что, собственно, происходит на мелководье, если автомобиль сталкивается с лодкой. Он приводит следующий казус: во время разлива Темзы машина истца получила повреждение, когда он пытался избежать столкновения с байдаркой ответчика. Истец представил доказательства, что он держался левой стороны. Ответчик готов был присягнуть, что он положил руль вправо. Впрочем, эти факты и не оспаривались. Разбирательство сводилось в основном к уточнению понятий «затопленная дорога» и «фарватер» Становится ли набережная Темзы во время наводнения частью собственно реки, подпадая таким образом под юрисдикцию адмиралтейства? Если бы у владельца машины на том же месте под угрозой оружия были отняты деньги, должно ли это рассматриваться как разбой или как пиратство? Впрочем, подобные вопросы, хотя и весьма увлекательные сами по себе, к настоящей теме отношения не имеют. Как бы

сложны они ни были и какие бы решения ни принимал суд, подобные происшествия остаются редчайшими исключениями. Расхождения в правилах движения по суше и по воде теоретически, несомненно, сопряжены с риском, но практическая опасность настолько ничтожна, что ею можно пренебречь.

Итак, существование древнего обычая полностью оправдано физиологически, исторически и логически, а потому по меньшей мере удивительно, что английский министр транспорта стал инициатором доклада о перспективах и проблемах замены левостороннего движения в Англии на правостороннее. О, разумеется, представление доклада еще отнюдь не означает, что его выводы и рекомендации будут одобрены, но факт остается фактом: подобная замена рассматривается всерьез! Одного этого уже достаточно. Пожалуй, можно рассчитывать, что значительные затраты, связанные с этой заменой, послужат достаточным поводом для ее отсрочки на неопределенное время.

О юморе

Взнос Англии в мировую цивилизацию включает юмор, другими словами — английское ощущение меры вещей. Всегда находятся сугубо серьезные люди, которые отрицают важность юмора и сомневаются, что шутка, бессмысленное зубоскальство, может принести практическую пользу. Однако племя почтенных поклонников серьезности заблуждается. Шутка служит нескольким целям, и среди них есть не просто полезные, но жизненно важные. С ее помощью можно запомнить урок, который иначе быстро выветрился бы из головы. С ее помощью можно смягчить напряженность — известны случаи, когда шутка предотвращала резню. И наконец, с ее помощью можно выделить нужное и важное из шелухи банальности. У юмора есть свое место в мире, а потому имеет смысл исследовать его функции и назначение. Не следует также забывать, что серьезным способен быть каждый, но умение шутить требует остроты ума. В старину придворный шут был глашатаем общественного мнения и напоминал владетельным особам, что по любому вопросу могут существовать разные точки зрения. Такие напоминания и сейчас не утратили цены, и смех шута не пропадает втуне.

Шутки, как и воплощающие их анекдоты, в целом распадаются на четыре категории — гомеровская шутка, шутка обманутого ожидания, шутка об отношениях полов и игра слов. Самой древней и прямолинейной является гомеровская шутка. Она строится на неприятностях, вытекающих из какого-либо физического или нравственного недостатка — слепоты, глухоты, опьянения, неуклюжести или грубости. В эту категорию входят анекдоты вроде тех, которые можно найти у Гомера: царь или верховный жрец торжественно вступает в зал собрания, спотыкается о порог и растягивается на полу во всю длину. Мы все еще используем такие шутки в телевизионных программах, а дети весело хохочут над злоключениями клоуна. Трусость — отличный материал для шуток, при условии, что трус находится в положении, когда от него можно требовать храбрости, — например, служит в армии. Новобранца спрашивают, пойдет ли он в кавалерию. «Ну нет! — отвечает он.— Вдруг протрубят отступление, а у меня под ногами лошадь будет путаться?!» Это шутка физического характера — нас смешит мысленный образ беглеца, обгоняющего лошадь. Однако существуют и усложненные формы, когда объект попадает в смешное положение не физически, а морально. Много лет назад в «Панче» была напечатана карикатура: весьма важный джентльмен в модном фраке, плаще и цилиндре спускается по ступеням фешенебельного лондонского клуба, а на первом плане один шофер такси спрашивает другого: «Билл, ты про господа бога слышал?» «Ну, слышал», — отвечает Билл. «Так это его папаша Арчибальд». Эта реплика играет роль банановой корки под ногой величественного джентльмена. Тот же тип шутки лежит в основе старого стишка про благочестивого священника:

Он кротостью своей был горд,
Пока не сел в бисквитный торт,
Ужасно липкий и тяжелый,
На пикнике воскресной школы,
Вскричал тут добрый пастырь:
«...!А сейчас, дети,
Встаньте, и возблагодарим Творца».

Чтобы подобная шутка была по-настоящему смешна, необходимы два условия. Во-первых, сан царя или священнослужителя должен внушать почтение. Падение случайного прохожего или пьяного, который еле держится на ногах, такого эффекта не произведет. И во-вторых, нельзя, чтобы падение привело к серьезному увечью или смерти. Смешна несовместимость высокого положения в обществе и нелепой позы упавшего. Однако между высоким саном и смертью никакой несовместимости нет. Если такое происшествие приводит к роковым последствиям, оно перестает быть смешным.

Второй тип шутки строится на обманутом ожидании — на противопоставлении того, чего мы ждем, и того, что мы

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН
МЫШЕЛОВКА НА МЕХУ

получаем. Гости являются на званый обед и узнают, что он был вчера. Публика собирается на стадион, но матч отменяется, потому что лопнула водопроводная труба и поле затоплено. Те, кого игра не очень интересует, посмеиваются, глядя на отчаяние заядлых болельщиков. Элегантный жених в сопровождении множества родственников входит в церковь. А невесты нет. То ли ее похитили, то ли она ждет в другой церкви, но растерянная физиономия жениха кажется очень смешной мальчикам из церковного хора и посторонним зевакам. В телевизионном спектакле нам показывают прибытие нового посла, которого торжественно встречают в аэропорту. Ухает старинная пушчонка, и в облаке порохового дыма посол, протягивая руку для дружеского рукопожатия, проходит мимо встречающих, которые тоже продолжают идти вперед с протянутыми руками. Комичность ситуации усиливается благодаря элементам, которые присущи первому типу шуток — гомеровскому, поскольку мы видим посла при всех его регалиях, в белом парадном мундире, со шпагой на боку и в шляпе с плюмажем.

Третий тип шуток обыгрывает отношения полов. Отношения эти в любом человеческом обществе подчинены определенным нормам. Например, брак — это социальный институт, но число жен может варьироваться в зависимости от страны и века. Считается, что жена выходит замуж невинной девушкой, что муж — глава семьи и жена должна ему подчиняться. Нормы могут быть разными, но они существуют. А шутки и анекдоты строятся на отклонениях от них. У мужа, кроме жены, есть еще и любовница, а у жены, помимо мужа, почтальон. Или же муж робок и уступчив, а жена держит его под башмаком. Анекдоты о мужьях, возвращающихся домой в непоказано поздний час, столь же многочисленны, как и анекдоты о любовнике жены под кроватью. Старик нотариус приходит домой раньше обычного и видит свою молодую жену в объятиях какого-то мужчины. Она считает, что глупо сердиться. «Неужели, милый,— спрашивает она,— это застало тебя врасплох?» Но ее муж привык к точности выражений. «Не это, а я,— говорит он,— и не меня, а вас». Но безусловно, этот анекдот включает и элемент четвертого типа шутки — игры слов. Более чист по типу, хотя и не по содержанию, следующий анекдот о юном летчике, проходящем психологическую проверку. «Предположим,— говорит психолог,— вы стоите на корме парохода и смотрите на бурлящую за ней пену. О чем вы подумаете?» Летчик без запинки отвечает: «О бабах». Психолог, привыкший слышать в ответ «о кружке пива», растерянно спрашивает: «Но почему о бабах?» — «А потому что я о них всегда думаю».

Четвертый тип шутки — чисто словесный. Анекдот строится на необычном, двусмысленном или неправильном словоупотреблении. Сюда же относятся недоразумения, возникающие из-за неправильного перевода, произношения или написания слов. Промахи иностранца, объясняющегося на чужом ему языке, легко приобретают анекдотическую форму, как видно хотя бы из следующего примера. Заезжего француза спросили, есть ли у него дети. Он печально покачал головой, а затем счел нужным объяснить причину. «Увы, моя жена бесфруктна,— сказал он, заметил, что выразился неточно, и поспешил поправиться: — Она бесплотна». Сюда же относятся всяческие перестановки слов или слогов и каламбуры. Вот, например, некий профессор, выговаривая нерадивому студенту, переставил начальные звуки в двух-трех словах и заявил: «You have hissed my mistery lectures — in fact, you have tasted a whole worm»[1].

Сюда же можно отнести и старинные шутливые силлогизмы вроде: «Мышь — существительное. Мышь любит сыр. Существительные любят сыр». Все это — жонглирование словами, их верным и неверным употреблением.

Рассматривая эти четыре категории шуток, мы без труда заметим, что между всеми ними есть что-то общее. Проанализируйте их, и станет ясно, что в основе всех их лежит контраст между тем, чему следовало бы быть, и тем, что есть на самом деле. Это основное положение, но оно в свою очередь опирается на два других момента — чувство пропорции и уважение к авторитету и власти. Пропорция — это взаимоотношение между частями и целым. Открыли ее греки и назвали «золотой серединой». Рассказывается, что установили ее так: людям давали палочку и предлагали разломить ее на две неравные части. Соотношение, выбиравшееся чаще всего, и было признано идеальным соотношением между частью и целым. Но каким бы методом ни воспользовались греки, в действительности свой идеал гармонии они воплотили в «золотом сечении», которое можно выразить формулой «корень квадратный из пяти минус единица, деленный на два», и пропорция эта остается живой и действенной в архитектуре до наших дней.

В гармоничности греки видели секрет телесного совершенства, красоты, искусства и хороших манер. Поэтому обычным объектом для их чувства юмора были диспропорция, неверное соотношение частей и всяческие преувеличения. Впрочем, подобные шутки в ходу и сейчас — например, на эстраду выходит маленький человек в огромной шляпе рука об руку с верзилой в крохотной шапочке. Не менее важно было для греков уважение к власти и авторитетам, которое в свою очередь управлялось их чувством пропорции. Власть имущим у них не приписывалось божественной сущности. Если

[1] «Вы освистали мои таинственные лекции, собственно говоря, вы скушали всего червяка» вместо «Вы прогуливали мои исторические лекции, собственно говоря, вы пропустили весь семестр».

бы о порог споткнулся правитель средневековой Японии или Сиама, это было бы настоящей бедой — дурным предзнаменованием, предвестием катастроф, а потому меньше всего поводом для смеха. Если же взять прямо противоположный пример — общество, где существует полное равенство,— то такое падение также не выглядело бы особенно смешным. Юмор ситуации порождается тем, что сан упавшего обязывает почитать его, но не вызывает слепого поклонения: например, это царь или вельможа, который, хотя и возводит свою родословную к богам, сам богом не считается. При этом уважение, которым пользуются представители власти, неизбежно распространяется и на законы, обычаи, нравы и формы поведения, санкционируемые этой властью и служащее ей. Здесь опять-таки решающую роль играет верность пропорций. Если, скажем, погрешность против этикета карается смертью, его нарушение смешным не будет. С другой стороны, если этикет никак не соблюдается, его нарушение вообще смеха не вызовет. Смех возникает, когда отступать от правил не полагается, но не под страхом смерти. Нарушитель наказывается уже тем, что попадает в смешное положение.

Традиции английского юмора теснейшим образом связаны с такими вот отдельными нарушениями общепринятых условностей. Старые подшивки «Панча» изобилуют карикатурами и шутками, высмеивающими промахи нуворишей, которые они по невежеству совершают на светских приемах, на скачках или во время лисьей травли. Примерно тот же источник питает юмор оперетт Гилберта и Сюлливана. В «Иоланте» мишенью насмешек служит палата лордов: пэры в мантиях выходят к рампе, демонстрируя свою важность — или отсутствие таковой. Однако настоящий успех эта сцена может иметь только у публики, привыкшей почитать титул пэра. Оперетта «Линейный корабль ее величества «Передничек» высмеивает первого лорда адмиралтейства, который не имеет ни малейшего понятия о море. Эта оперетта опять-таки рассчитана на публику, которая видела в военном флоте краеугольный камень британской мощи, процветания и международного влияния. В «Пиратах из Пензанса» пищей для остроумия служат армия и полиция, а в «Суде присяжных» задевается судебная система. Во всех этих случаях, как и во многих других, осмеянию подвергаются власть и ее учреждения. Особого вреда это не приносит, и те, кто склонен к высокомерию, вынуждены смеяться над самими собой. Существует анекдот о прославленном дипломате, у которого был особый метод осаживать молодых коллег, входивших к нему в кабинет со слишком уж важным видом. Когда молодой человек собирался уходить, высокопоставленный государственный муж говорил ему на прощанье: «И помните шестое правило!» На это обычно следовал ответ: «О, разумеется, сэр. Непременно, сэр!» В дверях молодой подчиненный неуверенно останавливался и спрашивал: «Простите, сэр, а что это за шестое правило?» Далее разговор протекал так:

— Шестое правило: не принимайте себя слишком всерьез.

— Ах да, сэр. Благодарю вас, сэр... А остальные правила?

— А остальных правил не существует.

Шутки по адресу власть имущих чаще всего задевали армию, флот и церковь. К первой мировой войне восходит классическая карикатура, изображающая новоиспеченного субалтерна, который проводит учения на дуврских утесах. Солдаты, чеканя шаг, идут прямо к обрыву, а растерявшийся офицерик позабыл все подходящие команды. «Скажите что-нибудь, сэр! — приходит ему на помощь сержант.— Ну, хоть «Прощайте, ребята!»

В морских командах часто обыгрываются сигналы. Один такой анекдот времен мировой войны описывает, как эсминец, входя на якорную стоянку, порвал сети противолодочного заграждения, столкнулся с транспортным судном, ударился о буксир и наконец бросил якорь на месте, отведенном для авианосцев. Все свидетели этого происшествия уставились на флагманский корабль, гадая, что сейчас воспоследует. Сигнальный прожектор отмигал: «Мило.— И после паузы, показавшейся всем вечностью, докончил: — ...сердный боже!»

Сходная история существует в анналах военно-воздушных сил. Немецкий бомбардировщик, возвращаясь после налета на Англию, отстал от своей эскадрильи, сбился с курса и, приняв Бристольский залив за Ламанш, приземлился на аэродроме в Уилтшире. Экипаж бомбардировщика вылез из самолета и направился к диспетчерской вышке. Но тут пилот вдруг почуял неладное — возможно, увидев английский флаг. Как бы то ни было, он повел экипаж обратно к самолету. Он включил мотор, вырулил на взлетную дорожку, взлетел и благополучно вернулся к себе на базу. Министерство военно-воздушных сил разослало по аэродромам сообщение об этом случае с пометкой: «Заслуживает порицания». Даже теперь трудно не согласиться, что у министерства были кое-какие основания для подобного вывода.

Шутки по адресу церкви восходят к историям о младшем священнике, завтракающем у епископа. На карикатуре в «Панче» щуплый попик со срезанным подбородком в отчаянии смотрит на стоящее перед ним тухлое яйцо. Дородный епископ весьма внушительного вида глядит через стол на своего растерявшегося гостя и спрашивает примерно следующее: «Вам не нравится яйцо, мистер

С. НОРТКОТ ПАРКИНСОН
МЫШЕЛОВКА НА МЕХУ

Грин?» И слышит классический ответ: «Ах, что вы, милорд! Местами оно превосходно!»

Из анекдотов про архиепископов, пожалуй, лучше всего тот, в котором архиепископ Кентерберийский жалуется премьер-министру (Уинстону Черчиллю) на недостаточность своих доходов: «Во что обходится одно только содержание Ламбетского дворца! Это же огромное здание! Представьте себе, премьер-министр, в нем сорок спален — целых сорок!» «Да неужели? — сказал Уинстон.— А статей всего тридцать девять [1], если мне не изменяет память?» Примером анекдота про еще более высокую духовную особу может послужить бойкий ответ школьника, которого спросили, что такое папская булла [2]: «А это корова, которую держат в Ватикане, чтобы у паповых детей всегда было свежее молоко». Если подняться еще выше по ступеням церковной иерархии, то мы встретимся с анекдотом про студента, который, не сумев ответить ни на единый вопрос в экзаменационной работе, написал поперек листа: «Бог знает... А я — нет.— И добавил (дело происходило в декабре):—Счастливого рождества!» Он получил свой лист назад с пометкой: «Бог сдал, а вы — нет. Счастливого Нового года!»

Все эти шутки, и хорошие и плоские, предполагают, что их объект пользуется уважением. Они рождались в обществе, в котором министры, пэры, генералы, адмиралы и епископы — фигуры величественные и внушающие почтение. Шутка по поводу тухлого яйца приобретает остроту, только если епископ грозен, а младший священник трепещет перед ним. Для подобных шуток требуется стабильное общество, уважение к власти и авторитетам и чувство пропорции. Первичная гомеровская шутка подразумевает, что царь — действительно важная персона, перед которой благоговеют (но которую не обожествляют). Шутка обманутых ожиданий предполагает твердо заведенный порядок вещей. В стране, где ничто не происходило бы в назначенный час и в назначенном месте, были бы невозможны шутки, построенные на противопоставлении того, что мы ожидаем, тому, что происходит на самом деле. Точно так же шутки об отношениях полов смешны, только если имеются нормы, которые можно нарушить. Если нет правил, то нет и нарушений, которые могли бы показаться смешными. Что касается четвертого типа шутки, чисто словесного, то она предполагает достаточно образованную аудиторию. В «Соперниках» Шеридан потешается над миссис Невпопад, которая то и дело употребляет длинные ученые слова, смысла которых не знает. Ее ошибки могут вызвать легкую улыбку — но только у людей с богатым словарем. В наш век юмористам приходится трудно, потому что необходимый юмору фон упорядоченности все больше исчезает, если уже не исчез. Эффективность юмора опирается как раз на то, что мы решили отбросить,— на иерархичность, которую мы отменили, на дисциплину, которую мы больше не поддерживаем, на институты, в которые мы больше не верим, и на язык, грамматику и орфографию которого мы позабыли. Клоуну в цирке всегда требуется собеседник, воплощающий благоразумие и рассудительность. Если этот фон благоразумия и рассудительности исчезает, шутки клоуна перестают смешить. Суть шутки, как мы убедились, заключена в контрасте между «следовало бы» и «есть». Отказываясь от условностей, сдержанности и правил поведения, мы обнаруживаем, что заодно отказываемся и от юмора. Сумасбродность и непоследовательность не воспринимаются как таковые, когда им ничто не противостоит.

Статья о юморе может быть очень серьезной и затрагивать вопросы менее всего смешные. Тем не менее ее все-таки полагается закончить какой-нибудь забавной историей. Вот, например, чем завершилась биржевая операция одного американского дельца. Он узнал, что цена неких акций упала до одного цента. Решив, что то, чему некуда дальше падать, может только подняться, он тут же купил этих акций на десять тысяч долларов. Два дня спустя он обнаружил, что как будто не ошибся в своих расчетах: курс поднялся до двух центов! Решив ковать железо, пока горячо, он раскошелился еще на десять тысяч долларов и с нетерпением стал ждать, как это подействует на рынок. И вновь он оказался прав: цена акций поднялась до трех центов. Мудрый игрок на бирже всегда знает, когда следует остановиться и вернуть свои деньги с прибылью. Наш делец решил, что такая минута наступила, позвонил своему маклеру, назвал акции и эффектно распорядился: «Продавайте!» В трубке послышался скучающий голос маклера: «А кто их купит?»

---

[1] «Тридцать девять статей» — официальное изложение доктрин англиканской церкви, главой которой является архиепископ Кентерберийский.

[2] Английское слово «bull» значит не только «булла», но и «бык».

В. ОШИС

КРАСКА И ЕЕ ПЕСНЯ

Крестьянин-художник — так называют в Бельгии Гастона Тейнинка [1]. И это не просто метафора, выражающая первое впечатление от его живописи. Почти всю свою долгую жизнь (он родился в 1900 году) Тейнинк прожил на собственной ферме близ Диксмёйде, в провинции Западная Фландрия. Пахал и сеял, собирал урожай и растил детей — в семье Тейнинка их родилось двенадцать.

Писать Тейнинк начал в сорок восемь лет, позади уже немало лет трудной, богатой делами и размышлениями жизни, суровые годы войны и германского плена — было о чем рассказать людям. Но не романы (издание их требовало денег, которых не было), а иллюстрации к ним, которые он рисовал, открыли Тейнинку его призвание.

В 1954 году художник впервые выставил свои рисунки и пейзажи на суд зрителей в ратуше уездного фламандского городка Торхаута. Вскоре пришла известность. Персональные выставки Тейнинка с успехом проходят в Брюгге, Остенде, Генте, Хасселте, Антверпене, Брюсселе. Его произведения экспонируются за рубежом — в Эйндховене, Лилле, Булони, удостаиваются серебряной медали «Искусство, наука и литература» парижского Свободного салона (1959) и медали города Парижа (1965). Искусствоведы начинают классифицировать его творчество, относя его то к фовизму, то к экспрессионизму, сравнивают Тейнинка с Утрилло, Фламинком, Руссо. Поэты посвящают ему стихи.

«Надо быть самим собой» — жизненный девиз и эпиграф к эстетической программе Тейнинка, и этим сказано многое. Публичное признание, обязывающие комплименты и дефиниции критики не поколебали его принципов. И в быту и в искусстве он упрямо оставался крестьянином, теме сельских будней и праздников посвящены полотна «Прополка», «Уборка урожая», «Деревенский праздник», «Духовой оркестр». Сколько радости, света, оптимизма в яркой картине «Базарный день», они не тускнеют даже под матовой тяжестью холодных облаков, пришедших с Северного моря.

Реалистическое восприятие мира, заданное самим укладом жизни крестьянина, прояснено, упорядочено и выражено в обобщенных и экспрессивных цветообразах, найденных живописцем после нелегких внутренних поисков. «Я никогда не любил учиться у других»,— вспоминает он, и это не от пустой рисовки (Тейнинк изучил многих художников, поэтов, философов), а от естественной независимости духа, присущей человеку труда.

Тейнинк признает, что есть художник, который серьезно повлиял на его технику,— это Ван Гог. Однако ранняя техника мелкого мазка, точного удара кисти уступила вскоре место мазку широкому, протяжному. Художник все глубже овладевает пространством — бескрайним простором полей и небес родной Фландрии, когда-то покорившим гений Брейгеля Мужицкого. Кровным жанром Тейнинка стал пейзаж.

В пейзаже он наиболее щедро смог выразить свое пантеистическое мироощущение, любовь ко всему сущему — от простой травинки до «мыслящего тростника», воспеть земную красоту и могущество природы. «Оттепель», «Польдеры в Вёрне», «Мельни-

[1] См. цветную вклейку этого номера.

ца», «Рыбаки выходят в море» — трудно перечислить даже мотивы его пейзажей. Точно колонны, подпирающие небосвод, стоят тополя в «Ландшафте при лунном свете», а сам лунный свет здесь вовсе не холоден и обманчив, как его обычно изображают, и от бурого пятна фермы тоже словно исходит тепло. Тепло сыновней верности матери-природе, которая начало всему и конец, согревает эти холсты.

Тейнинк не стремится повторить натуру. Его пейзажи — больше чем «светокопии природы» (как выразился один критик), они — философские раздумья о ней. Об этом подчас говорят сами названия: «Солнцеворот», «Всесилие моря», «Обновление», «Ритм жизни», «Космическая эволюция», «Ищи мира и стремись к нему». Художник обобщает, но принципиально не выходя за рамки фигуративности.

Абстрактное искусство чуждо его складу. «Как можно превратить в абстракцию то, что происходит с тобой день-деньской?» — недоумевает он. Замечательный колорист, Тейнинк прежде всего опирается на выразительные возможности цветовой пластики, порою даже склонен преувеличивать роль цвета, вкладывать в него символический смысл. Однажды он так сформулировал свое художническое кредо: «Я извлекаю из краски ее песню».

Песня красок, цвета, света звучит в каждом полотне Тейнинка, и звучит по-разному. Сравните бодрую, мажорную многоголосицу красок «Базарного дня» с «Фламандским хутором» — серьезно и одухотворенно передает здесь Тейнинк значительность обыкновенного, особую атмосферу сосредоточенности, которой встречает природа наступление ночи.

«Долг художника — поставить свое искусство на службу обществу,— говорит Тейнинк.— Разумеется, мы пишем картины в первую очередь для самих себя, чтобы высвободить свои впечатления, мечтания, видения... То, что мы пишем, не должно подавлять людей. Оно должно возвышать их... Искусство должно быть отражением высоких идей и переживаний».

Возвышенный строй чувств и стихийный поиск сущности бытия отличает не только пейзажиста Тейнинка. В его портретах и жанровых картинах простой человек, совсем не приукрашенный, но освобожденный от суетных деталей, выглядит сильно, внушительно, почти что монументально: «Гертруда», «Крестьянка», «Брюссельские девушки». Этого впечатления художнику помогает добиться и прирожденный дар композиции — «Мадонна с ребенком» заставляет вспомнить величественные гуманистические творения мастеров Ренессанса. Один из них, Хуго ван дер Гус, был особенно близок Тейнинку.

Изобразительное искусство современной Бельгии являет собой пеструю картину взаимодействия и конкурентной борьбы самых различных школ, течений, стилей. Десятки частных картинных галерей и выставочных залов Брюсселя, Льежа, Антверпена с громкими названиями «Прогресс», «Космос-2000» и т. п. наперебой предлагают потребителю искусства многообразную продукцию художественного авангарда: сюрреалистов, неоэкспрессионистов, кинетистов, летристов, поп- и оп-артистов... На них смотрят объективы теле- и кинокамер, им уделяет первейшее внимание пресса.

Среди шума этой ярмарки тщеславия не сразу выделяешь голоса тех, для кого произведение искусства нечто большее, чем сертификат собственной гениальности. «Творчество протекает не в салоне, а в четырех одиноких стенах»,— говорит Гастон Тейнинк. Вдали от столичного шума работают Роже Равель, Дрис ван ден Брук, Иерун де Брейкер, Феликс де Бек, по-разному продолжая реалистические традиции фламандской живописи. Обращение к глубинным истокам национальной культуры вливает свежую кровь в жилы бельгийского искусства, усиливает в нем демократические тенденции. Жизнеутверждающее творчество Гастона Тейнинка — наглядное тому свидетельство.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

АНТОЛОГИЯ «КЛАССИЧЕСКИЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ РАССКАЗ»

В Мельбурне выпущена антология под названием «Классический австралийский рассказ», составленная писателями Джудой Уотеном и Стивеном Мерей-Смитом. Сборник включает произведения тридцати одного писателя Австралии и призван, по замыслу составителей, «показать разнообразие композиции и стиля, а также проиллюстрировать различия литературных направлений в историческом развитии этого жанра». Эти рассказы названы «классическими» потому, как отмечается в предисловии к антологии, что каждый из них завоевал признание в определенный период или в рамках той или иной литературной «школы». Все тридцать восемь рассказов, представленные в сборнике, неоднократно перепечатывались в различных периодических изданиях и сборниках.

Антология открывается рассказом «Затруднение лейтенанта Дэррелла» Прайса Варунга, который был предшественником Генри Лоусона, замечательного писателя, открывшего новую эпоху в австралийской литературе. Помимо произведений Лоусона читатель найдет в сборнике произведения Катарины Сусанны Причард, Алана Маршалла, лауреата Нобелевской премии Патрика Уайта, Джона Моррисона, Дэла Стивенса, Джуды Уотена и других.

Среди писателей самого молодого поколения обращают на себя внимание рассказы Барри Оакли, Фрэнка Мурхауза, Питера Кэри.

Выпуск антологии «Классический австралийский рассказ», а также нескольких других сборников, появившихся в самое последнее время, по мнению Джуды Уотена и Стивена Мерей-Смита, свидетельствует о том, что, вопреки утверждениям некоторых критиков, австралийский рассказ вовсе не пришел в упадок.

АНГЛИЯ

КОНРАДИАНА

Удивительная судьба выпала на долю выдающегося английского писателя Джозефа Конрада (1857—1924).

Настоящее его имя— Юзеф Тедор Конрад Коженёвский. Родился на Украине, под Бердичевом, спустя семь лет после того, как в том же городке венчался Бальзак. Пяти лет попал в Вологду — вместе с родителями, ссыльными польскими повстанцами. Потом снова Украина, учеба во Львове, потом Краков. С двенадцати лет — круглый сирота. Живет на попечении дяди, восемнадцати лет уезжает в Марсель, где поступает матросом на французский корабль. Французский язык он знает с детства, английский начинает учить в двадцать один год, перейдя служить на английский корабль. А к сорока годам он — признанный мастер английской прозы.

Его «открыл» Голсуорси, оказавшись пассажиром на корабле капитана Конрада Коженёвского. Его ценил Уэллс. За ним, как в фарватере флагмана, шло целое писательское поколение.

Высокий авторитет Джозефа Конрада в западноевропейской и американской литературе 20-х годов отметил Горький. Сейчас вокруг Конрада образовалось целое «критическое море»: только за последние годы о Конраде было написано свыше четырехсот книг, статей, различных биографических и библиографических исследований. В США

Сцена из спектакля театральной группы «Фоко-Ново».
(Газета «Морнинг стар»)

в университете штата Техас с 1968 года издается специальный журнал, названный «Конрадиана».

В Англии в год пятидесятилетия со дня смерти писателя прошел Международный Конрадовский конгресс и было основано Конрадианское общество. На выставке различных материалов о Конраде, приуроченной к открытию конгресса, демонстрировались экспонаты из Польской Народной Республики, где ведется большая работа по изучению творчества выдающегося писателя, представлены были и советские исследования творчества Конрада (его имя прозвучало в русской печати впервые еще в конце прошлого века).

Одним из инициаторов проведения Конрадовского конгресса и организации общества был сын писателя, инженер по профессии, Борис Конрад.

У Бориса Конрада, недавно опубликовавшего свои воспоминания, судьба тоже по-своему удивительная. Его с детских лет окружали друзья отца, выдающиеся писатели XX века. Ездить верхом учил его Стивен Крейн. Он сидел на коленях у Генри Джеймса и слушал, как тот рассказывает его отцу о своих встречах в Париже с Тургеневым. Он помнит, как незадолго до кончины отец сказал ему: «Хотел бы я стать таким писателем, как Достоевский».

К юбилею отца Борис Конрад выпустил буклет с описанием тех мест, где жил в Англии его отец. Особенно любил Конрад графство Кент, которое напоминало ему его родину.

ПЬЕСА ОБ АРТУРЕ ХОРНЕРЕ

Молодежная театральная группа «Фоко-Ново» гастролирует по шахтерским поселкам Южного Уэльса, выступая перед рабочей аудиторией со спектаклем по пьесе Фила Вудза «Артур Хорнер», рассказывающей о жизни и деятельности видного борца за интересы рабочего класса Ирландии и Великобритании. По мнению рецензента газеты «Морнинг стар», жизнь Хорнера, полная ярких драматических событий — он участвовал в ирландском восстании 1916 года, во всеобщей стачке, был боксером, политзаключенным, лидером профсоюза горняков,— словно предназначена для воплощения на сцене. Рецензент газеты отмечает мастерство диалога, яркость коротких эпизодов и живость, с которой рассказывается о важных исторических событиях.

Рецензент высказывает пожелание, чтобы этапы рабочего движения чаще становились темой серьезных театральных постановок, подобных спектаклю «Фоко-Ново». Выступления труппы вызывают живой интерес у зрителей, многие из которых были непосредственными участниками событий, изображенных в спектакле.

Единственное замечание, которое можно сделать драматургу, пишет рецензент, вызвано тем обстоятельством, что в пьесе Артур Хорнер выступает как агитатор и борец, отстаивающий интересы трудящихся. Но из поля зрения автора пьесы ускользнула вдумчивая многолетняя работа Хорнера — теоретика по общим вопросам стратегии и тактики рабочего класса в борьбе за свои интересы, его размышления о переустройстве общественной системы страны, без которого, по мнению Хорнера, рабочий класс не мог рассчитывать на решение коренных проблем своей жизни.

БОЛГАРИЯ

РОМАН-ЭПОПЕЯ «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ» ЗАВЕРШЕН

Издательство «Народна култура» выпустило в свет шестую часть романа-эпопеи Георгия Караславова «Простые люди». Это последний том обширного повествования, охватывающего события трех десятилетий — с 1914 года до исторической победы болгарского народа 9 сентября 1944 года.

«Рисуя своих героев,— сказал Г. Караславов в интервью газете «Отечествен фронт»,— я хотел показать, как простые люди творят историю».

«Если спросить писателя,— пишет газета,— кто же главный герой эпопеи, то автор с полным правом мог бы ответить: Болгарская коммунистическая партия. Потому что это первое значительное произведение, в котором так всесторонне, так масштабно решена задача — дать широкую панораму общественной жизни за тридцатилетие, предшествовавшее Девятому сентября, когда ведущая, организующая и направляющая роль в истории принадлежала коммунистической партии. В романе нет запутанной интриги, нарочитой усложненности образов и сюжетных линий — подобные приемы чужды писателю. Все в произведении подчинено ярко выраженной политической идее, стремлению с партийной страстностью показать самоотверженность борцов за свободу и социализм. Суров, правдив и драматичен Караславов и в шестой части своей эпопеи — достойном завершении его большого прозаического полотна».

ВЕНГРИЯ

«ТВОРЧЕСТВО И ПРИЗНАНИЕ»

Под таким заголовком газета «Непсабадшаг» опубликовала сообщение о том, что в юбилейный год празднования тридцатой годовщины со дня освобождения Венгрии от фашистских захватчиков большая группа венгерских писателей удостоена высшей правительственной награды — премии имени Кошута, Государственной премии, а также литературной премии имени Аттилы Йожефа. Среди удостоенных премии имени Кошута— поэт Имре Чанади, прозаики Эндре Фейеш, Тибор Череш. Советские читатели хорошо знают Т. Череша по повестям и рассказам, опубликованным в сборниках. Поэт Имре Чанади автор не только многих стихотворных книг, но и непревзойденный знаток фольклора, его неутомимый популяризатор. И в собственном творчестве Чанади «органически соединяет традиции старой народной венгерской поэзии с современностью».

Прозаика Эндре Фейеша сегодня в Венгрии называют «бытописателем рабочего класса». Его романы «Кладбище железного лома» до сих пор остается у читателей, особенно у молодежи, одной из популярнейших книг.

И сегодня Эндре Фейеш верен этой теме. В дни весеннего праздника книги вышел первый том его трилогии «О любви в ту сумасшедшую ночь», действие которой охватывает период с 1945 по 1974 год. Сейчас писатель работает над второй частью.

За литературную публицистику и деятельность в области популяризации венгерской культуры в стране и за рубежом Государственной премии ВНР удостоен писатель Иван Болдижар, главный редактор журнала «The new Hungarian Quarterly».

Литературная премия имени Аттилы Йожефа присуждена семнадцати писателям, в том числе прозаикам Булчу Берте, Эмилю Коложвари Грандьерре, Дюле Чаку, поэтам Шандору Ракошу, Дюле Такачу, Анне Беде, критикам Имре Бата, Миклошу Беладя.

«Венгерские писатели,— указывается в газете,— наряду с работниками производства, деятелями науки и культуры, своим творчеством объективно помогают развитию социалистической Венгрии, и правительство ВНР от своего имени и от имени всего венгерского народа горячо поздравляет их с присуждением заслуженных наград и желает дальнейших успехов в труде».

ГДР

ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕНРИХА МАННА

Присуждение премий имени Генриха Манна в 1975 году совпало с другой знаменательной датой: отметила свое 25-летие немецкая Академия искусств. В статьях, посвященных юбилею, пресса Германской Демократической Республики отмечает огромную роль, которую играет Академия в жизни страны, в пропаганде ее культуры за рубежом, в культурных связях с другими странами. На торжественном заседании с речью выступил президент Академии Конрад Вольф, который рассказал об истории создания немецкой Академии искусств, о роли крупнейших писателей, принимавших участие в ее основании. Среди них — Генрих Манн, Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Вилли Бредель, Иоганнес Бехер. Конрад Вольф сказал также о задачах Академии и о ее планах на ближайшие годы.

В торжественной обстановке были вручены премии имени Генриха Манна. Лауреатами 1975 года стали писательница Ирмтрауд Моргнер и писатель Эберхард Паниц. С приветственными речами выступили Герхард Вольф и Манфред Векверт.

«Мне кажется, что Ирмтрауд Моргнер пишет с большой увлеченностью. Недаром она сама говорит, что автор не должен выдумывать, что он должен писать только о том, что сам пережил и передумал, о том, что для него жизненно важно», — сказал Герхард Вольф.

«Паниц всегда остается рассказчиком,—сказал Манфред Векверт,— для него главное не размышления, не впечатления, а реальные, осязаемые образы людей. О его героях всегда говорят как о живых людях. Возможно, именно поэтому по его произведениям созданы такие известные фильмы, как «Третий», «Семь похождений донны Жуаниты» и «Неблагочестивая София». О фильме по этой последней, самой зрелой книге Паница, по-видимому, еще много будут говорить».

Кроме премий имени Генриха Манна в этом году была присуждена и премия имени Кете Кольвиц. Ее получил скульптор Вернер Штётцер.

«ЗОЛОТАЯ ПТИЦА» АРМИНА МЮЛЛЕРА

С большим успехом идут на сценах театров Германской Демократической Республики пьесы Армина Мюллера «Франциска Лессер» и «Семь желаний» (см. «ИЛ» № 5, 1972 и № 12, 1974). Недавно лейпцигский театр «Шаушпильхауз» показал третью пьесу Мюллера «Золотая птица».

Эта, по определению рецензентов, «лирическая пьеса» рассказывает о любви молодого немецкого метеоролога Адриана к польской девушке Стефании. Хотя прошло уже тридцать лет после окончания второй мировой войны, но у родственников Стефании живы воспоминания о том, что пережил польский народ во времена фашизма. Не сразу принимают они Адриана, не сразу верят этой молодой любви.

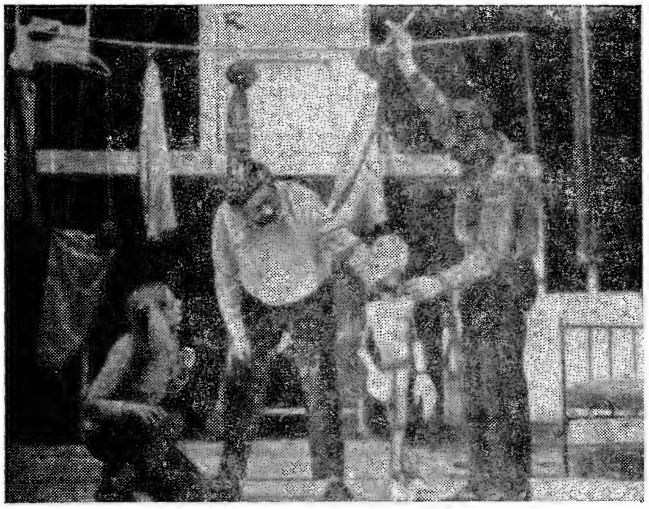
В действие пьесы активно вторгаются сказочные мотивы: Адриан втайне от всех сочиняет сказки, он живет в мире красочных кукол, которые ему достались в наследство от деда. Постепенно куклы начинают принимать участие в событиях: они борются за любовь молодых людей и помогают им преодолевать препятствия.

«Тема польско-немецких отношений всегда была для меня одной из ведущих,— говорит Армин Мюллер.— Я обращался к ней в своих стихах, в прозе, в радиопьесах. Теперь я посвятил этой теме новую пьесу. Не случайно мои герои — совсем молодые люди, не знавшие войны. Именно о молодежи, о ее проблемах мне всегда хочется рассказывать зрителям. В своей основе пьеса реалистическая, а при помощи фантастики, вплетенной в реалистический фон, оживают воспоминания и мечты действующих лиц. Приведу один пример: среди кукол — знаменитый краковский трубач. С этой символической фигурой для меня связана вся история польского народа, его страданий. По преданию, трубач подал сигнал, предупреждая о нападении врагов. Сигнал этот оборвался внезапно, когда вражеская стрела перебила горло трубачу. И сейчас, в полдень, все польские радиостанции передают этот сигнал. В пьесе трубач вместе с другими куклами активно помогает молодым людям».

Рецензенты отмечают, что в новой пьесе Армин Мюллер показал себя не только «драматургом с острым чувством современности», но и «поэтом, сумевшим создать тонкое, лирическое произведение».

Режиссер Хорст Смишек, артисты Эллен Хельвиг (Стефания), Готфрид Рихтер (Адриан) на репетиции спектакля по пьесе Армина Мюллера «Золотая птица».

(Еженедельник «Зонntаг»)



ФРГ

СОТЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Вышел сотый, юбилейный, номер журнала «Тенденцен». Он начал издаваться пятнадцать лет назад группой «ангажированных художников» и искусствоведов, придерживающихся марксистских взглядов. С тех пор журнал, выходящий шесть раз в год, превратился в один из самых крупных и авторитетных журналов по изобразительному искусству не только в ФРГ, но и во всей Западной Европе. На его страницах обсуждаются проблемы живописи, графики, скульптуры, фотографии, архитектуры, рекламы, плаката, карикатуры, художественного воспитания и образования, истории искусства, марксистской эстетики и культурной политики.

«Ни преследования времен фашизма, ни «охота за ведьмами» в годы «холодной войны» не могли задушить традиций прогрессивного искусства,— пишет в связи с выходом юбилейного номера орган ГКП газета «Унзере цайт».— Группа деятелей искусства, которая в 1960 году основала журнал, выступила с призывом к художникам осознать свою ответственность перед временем». Пятнадцатилетняя работа журнала, отмечает газета, была направлена на утверждение реалистических и социалистических тенденций в искусстве.

ГРЕЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОРЬБЫ

«Я не хочу продавать свои работы,— сказал корреспонденту газеты «Ризоспастис» известный грече-

стране театральной постановкой «Рим-335» по пьесе Карло Бернари в «Чиркотеатро Ди Рома» (об этом спектакле уже писала «Иностранная литература» № 8, 1974 г.).

К осуществлению замысла Витторио Де Сика он приступил по договоренности с Дзаваттини, а также с актрисой Адрианой Асти, на которую Де Сика возлагал особые надежды и считал единственной актрисой, которая сможет воплотить образ героини повести — Фелиситэ, воспроизвести ее жизнь на протяжении пятидесяти лет: от совсем молоденькой девушки до семидесятилетней женщины.

Джорджо Феррара надеется противопоставить свой фильм порнографии и насилию, широко распространенным на современных экранах. «Простая душа»,— сказал режиссер корреспонденту газеты «Унита»,— будет, как я надеюсь, фильмом идей и чувств».

Партнером Адрианы Асти в фильме выступит известный английский актер Алан Бейтс. В роли хозяйки Фелиситэ Феррара надеется снимать Ингрид Бергман, с которой в настоящее время ведутся переговоры.

Время и место действия (Нормандия) будут воспроизведены в полном соответствии с флоберовской повестью.

КУБА

ФИЛЬМ О ВИКТОРЕ ХАРА

Находясь на Кубе по приглашению Национального совета культуры, известный американский певец и общественный деятель Дин Рид заявил на пресс-конференции, что готовится сниматься в фильме о Викторе Хара. Актер будет играть роль замечательного чилийского певца и композитора, зверски убитого палачами военной хунты. Подчеркнув, что у себя в стране он занесен в «черный список», Дин Рид сказал: «Мне не позволяют выступать по телевидению, однако в ноябре этого года я вернусь в свою страну и дам ряд концертов в знак солидарности с братским народом Чили».

«Побывав впервые в странах Латинской Америки,— рассказал певец,— я действительно понял, что такое американский империализм. Потом я уехал в США и поступил в университет на курс испанского языка, чтобы иметь возможность лучше помогать народам этих стран. Я чувствую, что теперь моя жизнь приобрела больший, чем когда-либо, смысл».

МАРОККО

НОВЫЙ РОМАН ДРИССА ШРАЙБИ

Парижское издательство «Деноэль» выпустило в свет новый роман Дрисса Шрайби «Смерть в Канаде». Это десятое крупное произведение известного марокканского писателя, живущего в настоящее время в эмиграции. Подзаголовок на обложке книги гласит: «Любовь-ловушка».

Главным героем романа является некий Патрик Пьерсон, который пережил в Канаде несчастную любовь. Пьерсон возвращается во Францию совершенно опустошенным. Возрождает его к жизни разговор с двенадцатилетней девочкой Доминикой, которую он встречает в Бретани. Чистота и жизнерадостность ребенка вливают в Пьерсона новые силы.

«Все в романе Дрисса Шрайби,— отмечает рецензент журнала «Жён Африк» Хабиб Буларес,— говорит о том, что писатель достиг расцвета творческих сил: достоверность персонажей, гармония языка, сдержанно патетический тон романа». Буларес считает, что, хотя в жизни Шрайби мало внешне схожего с жизнью героя произведения, писатель вложил в этот роман много личного. «Патрик Пьерсон,— пишет он,— возможно, и далек от автора, но его попытки разобраться в самом себе невольно отражают метания североафриканского интеллигента, воспитанного западной культурой, но продолжающего независимо от собственного на то желания смотреть на нее со стороны».

МОНГОЛИЯ

«ОДНОКЛАССНИКИ»

По сообщению журнала «Монголия», на экраны страны вышел фильм моло-

Кадр из фильма «Одноклассники». *(Журнал «Монголия»)*

дого режиссера Х. Дамдина «Одноклассники».

Фильм посвящен проблеме воспитания детей в семье и в школе. Он вызвал интерес не только детей, но и взрослых. Х. Дамдин так определяет назначение своего фильма:

«Хотя мой фильм о детях, но он адресован также и взрослым... От детей надо не только требовать, их надо уважать, надо с ними считаться — вот к чему я призываю в своей картине. Я не даю ответов на поставленные вопросы, пусть поразмышляет сам зритель, будь то подросток или взрослый».

В фильме снимались школьники улан-баторских школ.

НИГЕРИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖУРНАЛА

После почти трехлетнего перерыва вышел очередной 110—112-й номер журнала «Найджирия мэгэзин», выпускаемого отделением культуры Федерального министерства информации. Редактором журнала по-прежнему является поэт Фрэнк Эг-Имоуккхуэде. То, что журнал не прекратил своего существования, что редакция смогла преодолеть трудности, что направление его и облик не изменились,— уже само по себе важное событие в культурной жизни Нигерии.

В журнале публикуются статьи по истории культуры, искусства, литературы Нигерии и других африканских стран, историко-этнографические исследования африканских ученых.

Открывается последний номер журнала статьей Мариуса Нкво «Великий Офала». Офала — это народный праздник жителей г. Оничи и его окрестностей, по значению своему равный христианской пасхе. Автор рассказывает об истории праздника, объясняет его значение и описывает современные фестивали, его сопровождающие. Известный нигерийский художник профессор Ибаданского университета Нкем Нванкво опубликовал в журнале статью «Искусство в традиционных африканских религиях».

М. Эчеруо, профессор университета г. Нсукка, в статье «Развитие нигерийской прессы в 1960—1971 гг.» дает характеристику газет и журналов Нигерии и анализирует тенденции развития журналистики этого периода.

В большом литературном приложении, по своему объему равном тонкому журналу, публикуются рассказы нигерийских писателей Коле Омотосе и К. Аниебо, стихи К. Аниебо и Криса Авонуги, статья о поэзии стран Восточной Африки, рецензии на книги африканских писателей.

НОРВЕГИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Новый сборник стихов современного норвежского поэта Челля Эрика Виндторна, подготовленный издательством «Аскехоуг», получил положительные отзывы критики.

«Поэзия Виндторна привлекает экспрессией, высоким эмоциональным накалом. В новом сборнике поэт размышляет о судьбах современности, о нравственной подготовленности людей к высоким достижениям науки и техники, о гармонии человека с окружающим миром. Сверхтехнизированное общество — «общество потребления» в своей бессмысленной погоне за материальными ценностями утратило моральное равновесие, популярная «болезнь» — вещизм — заслонила сокровенные человеческие чувства и побуждения. Поэзия Виндторна — мозаичная, гротескная, лиричная и гражданственная — причастна к проблемам современной Норвегии, ее ритму и пульсу»,— отмечает литературный обозреватель газеты «Фрихетен».

ПОЛЬША

ПЛАНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЧИТЕЛЬНИК»

Крупнейшее польское издательство «Чительник» в текущем году предполагает издание около 250 названий книг. По многолетней традиции, главное место в плане займет современная польская литература. Наряду с признанными авторами, постоянно сотрудничающими с издательством, появятся дебютанты.

В этом году выйдут новые книги Тадеуша Голуя и Юлиана Кавальца, сборник рассказов Т. Лопалевского, эссе и воспоминания Яна Парандовского, названные «У запертых дверей времени», романы Владыслава Рымкевича («Холодный взгляд»), Анджея Твердохлиба («Третий раунд»), Войцеха Жукровского («Пляж на Стиксе»). Из запланированных в этом году уже вышли в свет «Черный роман» Владыслава Терлецкого и «Долина гортензий» Збигнева Жакевича.

Особого внимания заслуживает издание полного собрания сочинений Ярослава Ивашкевича. Уже вышли из печати «Книги моих воспоминаний» и роман «Луна восходит», в этом же году читатели получат роман «Заговор мужчин».

В план переизданий включены «Малая книга» Казимежа Брандыса, «Одиночество» Зофьи Быстшыцкой, «На деревне свадьба» Марии Домбровской, «Тристан-46» Марии Кунцевич, «Одынец» Ежи Путрамента, «Алхимия слова» Яна Парандовского, «Продвижение» Ежи Редлинского, «Моя тридцатилетняя война» Магдалены Самозванец, «Рассказы моей жены» Мирослава Жулавского.

В «Библиотеке Тридцатилетия» наряду с уже опубликованной книгой «Божественный Юлий» Яцека Бохенского увидит вновь свет «Топориада» Эдварда Стахуры, а также антология польской поэзии «Колумбы и современники», подготовленная Анджеем Ламом.

В «Библиотеке Тридцатилетия. Литература факта» готовится к печати «Мы из Варшавы» Ольгерда Будревича и «Буш по-польски» Е. Капустинского.

Поэтическая серия готовит к публикации стихотворения Юлиана Тувима, Эрнста Брылля, Станислава Гроховяка, Казимиры Иллакович, Мечислава Яструна, Анджея Кусьневича, Веславы Шимборской.

В «Библиотеке Победы» будут изданы «Пепел и алмаз» Ежи Анджеевского, «Поколение» Богдаша Чешко, «Сорок четвертый» Збигнева Залуского.

Большое внимание уделяется «Библиотеке для школьного чтения», в которой будут опубликованы произведения крупнейших польских писателей: Станислава Жеромского, Адама Мицкевича, Марии Домбровской, Ярослава Ивашкевича, Леона Кручковского, Зофьи Налковской, Яна Парандовского.

Будет продолжена популярная серия «Ника», в которой публикуются выдающиеся произведения мировой литературы.

ГУСТАВ ХОЛУБЕК — АКТЕР БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В журнале «Театр» опубликована статья Яна Копровского, посвященная Густаву Холубеку—выдающемуся актеру и режиссеру.

Еще в начале своей деятельности, работая в Катовицком драматическом театре, Холубек сразу привлек внимание театральной критики после того, как блистательно сыграл роль Перчихина в драме Максима Горького «Мещане». В этом театре им были сыграны такие роли, как роль Яна Казимира в «Мазепе» Словацкого, доктора Ранка в «Норе» Ибсена, и много других как в классических, так и в современных польских и зарубежных пьесах.

«Холубек,— пишет Ян Копровский,— принадлежит к актерам, щедро одаренным природой, стоит ему только появиться на сцене, как он сразу же приковывает к себе внимание зрителей». Далее Копровский приводит пример, как к одному признанному писателю пришел начинающий литератор и спросил, что требуется для того, чтобы его творения вызвали интерес и восхищение. «Ничего,—ответил ему писатель,— надо быть просто личностью».

«Густав Холубек,— продолжает Ян Копровский,— несомненно является личностью, ему есть что сказать зрителям. И в этом секрет его мастерства. Можно удивляться совершенству актерской техники, однако если ей не сопутствует глубокая духовная жизнь актера, богатство его чувств и мыслей, зритель останется равнодушным.

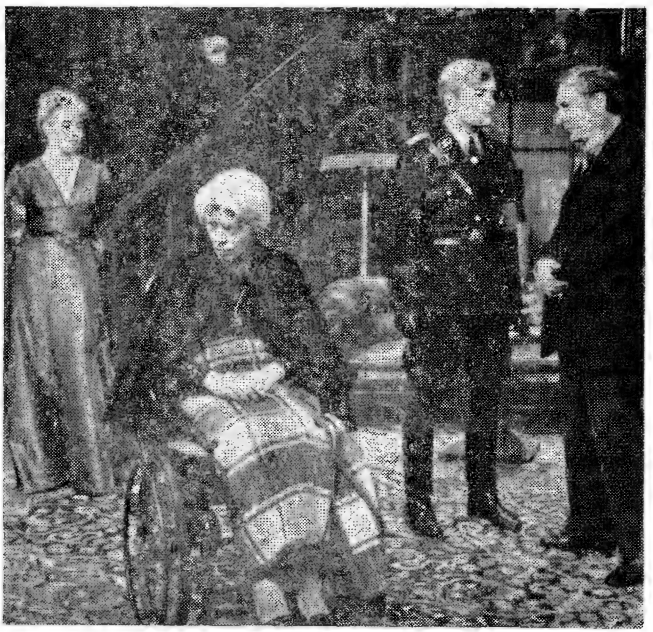
Холубек заставляет себя слушать, его слова всегда полны глубокой внутренней убежденности, даже когда он молчит, он все равно приковывает к себе внимание, потому что в его игре нет пауз».

В варшавских театрах Холубек работает с 1958 года. Он сыграл множество самых разнообразных ролей, больших и маленьких, главных и второстепенных, неизменно вызывающих самые горячие отклики театральной критики, подчас острые дискуссии, но никогда ни одна роль, сыгранная Холубеком, не прошла незамеченной. Холубек снимается в фильмах, участвует в телепостановках, радиопередачах. Он много и плодотворно работает и как режиссер. Большие споры вызвала его постановка «Гамлета» на телевидении. Нередко в поставленных им спектаклях Холубек является исполнителем главной роли. Так было в спектакле «Человек со стороны» Дворецкого в Варшавском драматическом театре, где исполнение Холубеком роли Чешкова было признано блистательным.

Одна из последних ролей Холубека — роль профессора Зонненбрука в пьесе Леона Кручковского «Немцы», показанной польским телевидением.

Майя Коморовская, Халина Миколайская, Анджей Северин, Густав Холубек—в спектакле «Немцы» по пьесе Леона Кручковского.

(Журнал «Экран»)



США

ЧЕТВЕРТЫЙ РОМАН ЭЛИА КАЗАНА

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» публикует сообщение о выходе четвертого романа Элиа Казана — «Дублер». Напоминая о том, что режиссерские работы Казана стали классикой американского кино — «Смерть коммивояжера», «Трамвай «Желание» и др.,— рецензент указывает, что и его романы «Америка, Америка!» (1962), «Контракт» (1967) и «Убийцы» (1972) пользовались широкой популярностью. Роман «Контракт» продержался в списках бестселлеров тридцать семь недель.

Роман «Дублер» рассказывает о взлете и закате карьеры крупной кинозвезды, кумира публики 20-х годов. Рекламируя роман, литературная гильдия США дает ему высокую оценку на страницах еженедельника: «Книга раскрывает талант Казана, его знание людей — их желаний, горестей, стойкости».

Совсем иную оценку дает роману «Дублер» журнал «Тайм», поместивший едкую рецензию Поля Грея. Критик отмечает, что Казан — первый американец, преуспевший в трех сферах современных средств информации: театре, кино и литературе. Однако Грей называет романы Казана «коммерческими». История взаимоотношений кумира публики Сонни с его дублером не лишена, по мнению П. Грея, своеобразной прелести. Но «Казан не дает материалу говорить за себя. Он нагромождает абсурд...». Не считая нескольких удачных анекдотов из жизни Марлона Брандо, книга скатывается на пересказ закулисных сплетен и подробностей из театральной жизни.

«Если бы роман «Дублер» прочел Лоуренс Оливье,— иронизирует Поль Грей,— это, возможно, и могло бы улучшить его, но ведь этого мало».

ТУРЦИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

«Милитан» («Борец») — так назвали свой новый журнал, который начал выходить в Стамбуле, его основатели — молодые, но уже широко известные читающей публике турецкие поэты Атаол Бехрамоглу (о нем см. «Иностранную литературу» № 4 за 1973 г.) и Нихат Бехрам. В передовой статье первого номера они сообщили, что новый журнал будет продолжать традиции закрытого властями в 1971 году журнала «Друзья народа», который объединял вокруг себя молодых писателей, получивших известность под именем «новых реалистов». (О движении «новых реалистов» и журнале «Друзья народа» см. «Иностранную литературу» № 1 за 1971 г.)

«Милитан» считает своей главной целью борьбу против мелкобуржуазных тенденций и течений в культуре и литературе, проявляющихся в бегстве от общественных проблем и «крайнем формализме», хотя эти течения, по мнению журнала, и подорвали свое влияние среди интеллигенции после государственного переворота и установления военного режима 12 марта 1972 года.

Другой главной задачей журнал считает борьбу против схематизма, сектантства и вульгаризаторства, распространившихся особенно в последнее время под маской революционной фразеологии. «Революционное социалистическое искусство,— пишут авторы передовой статьи,— это не повторение штампованных тем, слов, образов и представлений. Оно должно отражать действительность со всеми ее противоречиями и видеть ее в революционном развитии. Социалистическое искусство не может пренебрегать формой, напротив, оно предполагает тщательные и смелые поиски новых форм для выражения революционного содержания. Социалистическое искусство не обезличивает человека, не превращает его в «винтик», напротив, в борьбе с эксплуататорским строем, обезличивающим человека, оно открывает простор для утверждения творческой силы и постоянства личности».

Журнал «Милитан» полагает долгом показывать несостоятельность «с позиций научных, общественных и эстетических как модного подражания Западу, так и шовинистических и фанатически религиозных тенденций в культуре и литературе и намерен отстаивать марксистский интернационализм».

В осуществление своей программы журнал в первых номерах поместил стихи и рассказы прогрессивных турецких писателей разных поколений, статьи и критические исследования, посвященные вопросам литературы и эстетики.

Зарубежная литература представлена в журнале «Милитан» стихами Б. Брехта. Журнал опубликовал подборку высказываний Маркса и Энгельса об искусстве, а также текст выступления Чингиза Айтматова на V Конференции писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате и подборку, посвященную памяти Василия Шукшина.

ФРАНЦИЯ

«ВСЕОБЩАЯ ПЕСНЬ» НЕРУДЫ В ПАРИЖСКОМ ТЕАТРЕ

В парижском «Театр д'Орсей» в музыкальном сопровождении чилийского ансамбля «Апаркоа», уехавшего на гастроли еще до фашистского путча в Чили, состоялось исполнение «Всеобщей песни» Пабло Неруды — эпической поэмы, повествующей о пути страданий и освобождения латиноамериканских народов. За три года до смерти Неруда проработал почти девять месяцев вместе с участниками ансамбля над аранжировкой своего произ-

ведения. «О, эти «Апаркоа»,— восторженно отзывался об ансамбле поэт,— они извлекают звуки из воздуха, из снега, из тумана, из всего, что существует, они заставляют звучать сердце народа, и они правы... В их флейтах и барабанах поют воздух и вода, земля и народ».

«Всеобщую песнь» исполняла в театре известная французская актриса Эммануэль Рива. В стихи Неруды гармонически вплетались индейские и испанские мелодии: звуки гитар, флейт и барабанов сопровождали полное драматизма действие — вторжение испанцев и превращение индейцев в рабов, зарождение рабочего движения и освобождение от иностранного господства и эксплуатации.

В вечере приняли также участие известные чилийские певцы Исабель Парра и Патрисио Кастилья, исполнявшие песни замученного хунтой певца и композитора Виктора Хара и самого Пабло Неруды. Французские и чилийские исполнители были встречены восторженными аплодисментами публики. Этим представлением в Париже начались вечера солидарности с народом Чили.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЧЕТЫРЕЖДЫ О ДЕВУШКАХ

На экраны чехословацких кинотеатров вышли четыре фильма, и в каждом из них — речь о судьбе девушки.

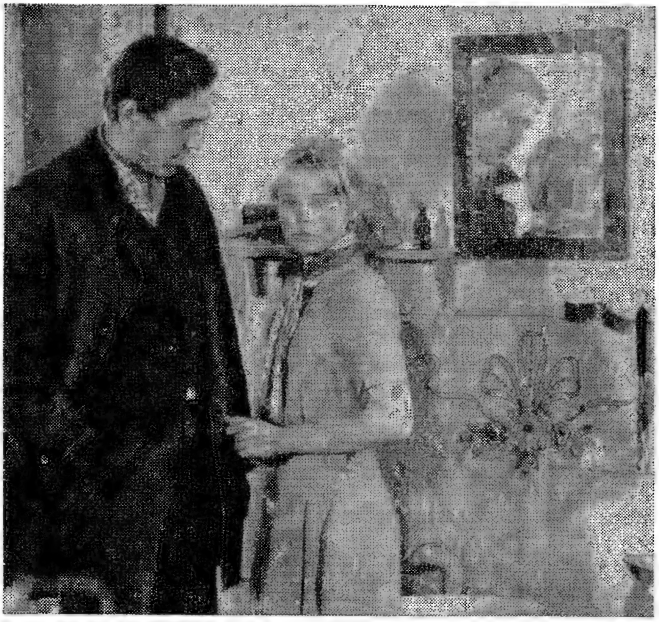
«Долина замечательных девчонок», поставленная режиссером Иржи Ганибалом, удостоена наград на отечественных фестивалях детских кинофильмов в Готвальдове и фильмов для юношества в Трутнове. Участие в обоих этих фестивалях определялось возрастом героини фильма, переступающей незаметную границу, которая разделяет детство и юность.

Автор сценария — писатель Станислав Рудольф, занимающийся проблемой воспитания молодого поколения.

Иржи Ганибал также снял фильм «Большие страдания» по одноименному роману писательницы Гелены Шмагеловой. Это рассказ о восьмикласснице Яне. Родители Яны разошлись. Маленькая сестренка Яны уехала с матерью в деревню, а Яна осталась с отцом, который очень скоро привел новую, молодую «маму», поместив мешавшую ему дочь в детский дом. Яна с трудом привыкает к строгому режиму и к детскому коллективу, тоскует по дому и в конце концов отправляется к матери в деревню. Фильм «Большие страдания», как отмечают обозреватели, в психологическом отношении гораздо глубже и серьезнее «Долины замечательных девчонок».

Судьба девушки в третьей картине трагична. В основу сценария фильма режиссера Карела Кахини лег хроникальный роман «Сваров» писателя Альфреда Технике. В нем рассказывается о социальной драме, имевшей место сто лет назад на чешском промышленном севере и вылившейся в историческую сваровскую стачку. Солдаты, вызванные фабрикантом Дибигом, начали стрелять в демонстрацию рабочих и убили семь человек — в их числе и 16-летнюю Павлинку Ликнову, чьим именем назван фильм. Фильм воспроизводит скромную жизнь Павлинки с бабушкой, ее первую любовь к молодому рабочему с текстильной фабрики. Павлинка становится в фильме символом только начинающейся жизни, погубленной слепым и жестоким произволом. Роль Павлинки исполняет словацкая студентка Бригита Гауснерова, которую, по мнению зрителей, ждет многообещающее артистическое будущее.

«Робинзонка», популярный роман для молодежи, написанный тридцать лет назад Марией Майеровой, стал основой для еще одного фильма Карела Кахини.



Кадр из фильма «Робинзонка».

(Газета «Руде право»)

Авторы этого номера

■

ДОРА ГАБЕ (род. в 1886 г.).

Болгарская поэтесса, уже более полувека занимающаяся литературной деятельностью, признанная и любимая как взрослыми, так и юными читателями. Автор многих стихотворных сборников, поэм, книжек для детей. Наиболее известны «Земной путь» («Земен път», 1928), партизанская поэма «Вела» (1946), «Неспокойное время» («Неспокойно време», 1957), «Лирика» (1966), «Помедли, солнце» (несколько стихотворений из этого сборника напечатано в № 12, 1968 г. нашего журнала).

В этом номере мы публикуем стихи из новых сборников Доры Габе «Невидимые глаза» («Невидими очи», София, «Български писател», 1970) и «Сгустившаяся тишина» («Сгъстена тишина», София, «Народна младеж», 1973).

■

БЛАГА ДИМИТРОВА (род. в 1922 г.).

Болгарская поэтесса, прозаик, публицист. Начала печататься в 1939 г. Автор сборников стихов «Песни о Родопах» («Песни за Родопите», 1954), «Мир в ладони» («Светът в шепа», 1962), «Другое время» («Обратно време», 1966), романов «Путешествие к самой себе» («Пътуване към себе си», 1965), «Отклонение» (1967) — фильм по этому роману шел на советских экранах,— «Лавина» (1971). Широкую известность получили ее стихи и книги, написанные после поездок во Вьетнам: документальный роман «Страшный суд» («ИЛ» № 10, 1970), «Подземное небо Вьетнамский дневник» (см. «ИЛ» № 3, 1973, главы из книги).

В переводах Благи Димитровой вышли в Болгарии произведения Веры Инбер, «Василий Теркин» А. Твардовского.

Предлагаемые в этом номере стихи взяты из сборника «Как» (София, «Народна младеж», 1974).

■

АНТОНИ ФЕЛПС — ANTHONY PHELPS (род. в 1928 г.).

Гаитянский писатель, в настоящее время живет в эмиграции. Дебютировал в литературе в конце 40-х годов. Автор поэтических сборников «Лето» («L'été», 1960), «Взорванное молчание» («Eclats du silence», 1961), стихи из этой книги публиковались в нашем журнале — № 3, 1963, а также в одноименном сборнике, выпущенном издательством «Прогресс»), «Присутствие» («Présence», 1963), «Четыре стороны света» («Points cardinaux», 1966), пьесы «Условное» («Le conditionnel», 1967), поэмы «Моя страна» («Mon pays», 1969), книги рассказов «А я — остров» («Et moi je suis une île», 1973) и др.

Об Антони Фелпсе и его творчестве — в предисловии Юрия Дашкевича.

Мы публикуем первый роман Антони Фелпса «Минус бесконечность» («Moins l'infini», Les Editeurs Français Réunis, Paris, 1972).

■

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — JAMES BALDWIN (род. в 1924 г.).

Американский негритянский писатель, драматург, публицист. После войны покинул США и поселился в Европе. Там были написаны первые его романы: «Идите, поведайте это с горы» («Go Tell It on The Mountain», 1953), рассказывающий о жизни негритянской семьи в Гарлеме, где родился и вырос писатель, «Комната Джованни» («Giovanni's Room», 1956) и книга «Записки сына Америки» («Notes of a Native Son», 1955).

Возвратившись на родину, Дж. Болдуин оказался в центре борьбы за гражданские права негров. Вскоре вышли его публицистические книги «Никто не знает моего имени» («Nobody Knows My Name», 1961), «В следующий раз пожар!» («The Fire Next Time», 1963).

После убийства Мартина Лютера Кинга Дж. Болдуин вновь уехал из США и теперь живет на юге Франции.

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Джеймса Болдуина, опубликовав пьесу «Блюз для мистера Чарли» (№ 11, 1964), рассказы (№ 4, 1971) и отрывки из публицистической книги «Имени его не будет на площади» (№ 2—3, 1974).

В последние годы писатель выпустил романы «Скажи, когда ушел этот поезд?» («Tell Me How Long the Train's Been Gone», 1968) и «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» («If Beal Street Could Talk». New York, The Dial Press, 1974), который напечатан в этом номере. Отдельным изданием роман выйдет в издательстве «Прогресс», переводом которого редакция и воспользовалась.

■

ВОЛЖИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА.

Одна из ведущих советских переводчиц англо-американской прозы. Печатается с 1930 г. Переводила произведения Ч. Диккенса, Дж. Лондона, Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, Гр. Грина и многих других.

МИКЛОШ РАДНОТИ — RADNÓTI MIKLÓS (1909—1944).

Венгерский поэт, один из самых любимых и популярных на его родине, широко известный также и за рубежами Венгрии. При жизни поэта вышли следующие сборники его стихотворений: «Календарь» («Naptár», 1924), «Языческая здравница» («Pogány köszöntö», 1930), «Песня новых пастухов» («Újmódi pásztorok éneke», 1931), «Подымается ветер» («Lábadozó szél», 1933), «Ноная луна» («Újhold», 1935), «А ты ходи, приговоренный к смерти!» («Járkálj csak, halálraitélt», 1936), «Крутая дорога» («Meredek út», 1938), «Избранные стихотворения» («Válogatott versek», 1940). Последний, составленный самим поэтом сборник «Вспененное небо» («Tajtékos ég») увидел свет лишь после его смерти — в 1946 г. Сюда вошли не только произведения поэта последних лет, но и те, что ранее не пропустила цензура.

Первое полное собрание стихотворений М. Радноти, включавшее и стихи, найденные при эксгумации, издано в 1948 г. С тех пор полное собрание его стихотворений и переводов выходило неоднократно.

Ну русском языке издательством «Художественная литература» выпущен томик избранных произведений Радноти («Стихи», 1968).

Публикуемая новелла-дневник «Под знаком Близнецов» («Jkrek hava», Budapest Magyar Helikon, 1969) была впервые напечатана будапештским издательством «Альманах» в 1940 г.

МАЛЫХИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Советский переводчик, литературовед. Автор многих статей к изданиям венгерских писателей на русском языке. Основные переводы с венгерского: Ласло Немет «Траур», Дюла Ийеш «Шандор Петефи», Тибор Дери «Ответ», Ференц Шанта «20 часов», Дюла Фекете «Смерть врача» и др.

ВОЛЕ ШОЙИНКА — WOLE SOYINKA (род. в 1935 г.).

Нигерийский поэт, прозаик, драматург, режиссер, актер, один из наиболее значительных деятелей культуры Нигерии. Окончил университеты Ибадана и Лидса (Англия). В 1960 г. основал в Нигерии театральное объединение «Маски, 1960». Автор нескольких пьес, романов «Интерпретаторы» (опубликован в нашем журнале — № 10, 1970) и «Время беззакония» («Season of Anomy», 1973), поэм, сборников стихов. В публикуемую подборку вошли стихи из сборников «Иданре и другие стихотворения» («Idanre and Other Poems», 1967) и «Челнок в темнице» («A Shuttle in the Crypt», 1972).

КИСТЯКОВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1936 г.).

Советский переводчик прозы и поэзии с английского. В его переводах выходили произведения Уильяма Фолкнера, Ричарда Уилбера, Роберта Данкена, Флэннери О'Коннор, Амоса Тутуолы и др.

ОРХАН КЕМАЛЬ — ORHAN KEMAL (1914—1970).

Один из крупнейших турецких прозаиков. В юности работал на фабриках рабочим, затем писарем. Три с половиной года провел в одной тюремной камере вместе с Назымом Хикметом, куда был брошен за свои демократические убеждения. Начал печататься в 1939 году. Выпустил около тридцати книг — рассказы, повести, романы, пьесы, очерки. В их числе романы из серии «Записки маленького человека» — «Отчий дом» («Baba evi», 1949), «Бродячие годы» («Avare yıllar», 1950), «Семейная жизнь» («Dünya ev», 1960), а также романы «На плодородных землях» («Bereketli topraklar üzerinde», 1954), «Инспектор инспекторов» («Müfettişler müfettişi», 1966), «Крапленая карта» («Üçkağatçi», 1968), повесть «Муртаза» («Murtaza», 1952).

Орхан Кемаль был награжден премией Турецкого языкового общества. В русском переводе вышли сборники его рассказов «Борьба за хлеб», «Мстительная волшебница», романы «Преступник», «Брошенная в бездну», «Происшествие».

Повесть «Семьдесят вторая камера» («72-ci koğuşu») печатается по турецкому изданию 1954 г. Выйдет в томе избранного О. Кемаля, выпускаемого издательством «Прогресс».

Статья о творчестве Орхана Кемаля будет напечатана в одном из ближайших номеров журнала.

ФИШ РАДИЙ ГЕННАДИЕВИЧ (род. в 1924 г.).

Советский писатель, востоковед, переводчик, кандидат филологических наук. Переводил стихи, романы и рассказы современных турецких писателей: Назыма Хикмета, Сабахаттина Али, Орхана Вели, Кемаля Тахира, Азиза Несина и др. Автор книги литературных портретов «Писатели Турции. Книги и судьбы» (1963), научно-художественных биографий «Назым Хикмет» (1968), «Джалалиддин Руми» (1972), статей и очерков о культуре и литературе стран Ближнего Востока.

ВИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ — WILLIAM WORDSWORTH (1770—1850).

Английский поэт, романтик. (О нем см. вступление Д. Урнова).

■

НАГИБИН ЮРИЙ МАРКОВИЧ (род. в 1920 г.).

Советский писатель, кинодраматург, автор многих повестей, сборников рассказов, очерков, киносценариев. Наиболее известны сборники рассказов и повестей «Человек с фронта» (1943), «Зимний дуб» (1955). «Перед праздником» (1960), «Ранней весной» (1961), «Погоня. Мещерские были» (1963), «Далекое и близкое» (1965), «Не дай ему погибнуть» (1968), «Чужое сердце» (1969), «Переулки моего детства» (1971), «Ты будешь жить» (1974), «Пик удачи» (1975) и др. По повести «Страницы жизни Трубникова» поставлен фильм «Председатель». Перу писателя принадлежит также сборник статей о литературе «Размышления о рассказе» (1964); по его сценариям поставлено более двадцати кинофильмов.

Произведения Ю. Нагибина переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР.

■

ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА.

Советский литературовед, японист. Автор книг «Очерки японской литературы. От древности до нового времени» (1964), «Одинокий странник. О японском писателе Куникида Доппо (1871—1908) и его времени» (1967), ряда статей по японской литературе и философии. В «Иностранной литературе» (№ 8, 1971) опубликована ее статья «Читая Кавабата Ясунари...»

■

СИРИЛ НОРТКОТ ПАРКИНСОН — CYRIL NORTHCOTE PARKINSON (род. в 1909 г.).

Английский писатель-социолог, сатирик, публицист. Получил широкую международную известность своим знаменитым памфлетом «Закон Паркинсона, или Пути прогресса», в котором высмеял косность обветшалых государственных институтов Англии, изъяны ее бюрократической системы (опубликован в «Иностранной литературе» № 6, 1959). В «ИЛ» напечатаны также главы из его книг «Зятья и прочие», «Закон миссис Паркинсон» и «Закон отсрочки» (№ 1—2, 1972).

С. Норткот Паркинсон по профессии историк, автор ряда работ по социологии и истории, читал лекции по этим предметам в университетах многих стран.

В последние годы выпустил приключенческий роман «Дьявол ждет платы» («The Devil to Pay», 1973), социологическое исследование «Большой бизнес» («Big business», 1974), книгу «Мышеловка на меху» («The Fur-Lined Mousetrap». London & New York, Leviathan House, 1973), очерки из которой мы предлагаем вниманию читателя.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 6/V 1975 г. А04835. Подписано к печати 12/VI 1975 г.
Бумага 70×108/$_{16}$ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. п. л. + 1 вкл. Уч. изд. л. 28,84.
Тираж 600.000 экз. (1-й завод 1—350.000 экз.) Зак. 1640.

Журнал выходит один раз в месяц.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394